

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2000

3

---

2000

**В 2000 ГОДУ ВЫЙДЕТ В СВЕТ 900-Й НОМЕР ЖУРНАЛА.**

**В 2000 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ  
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО.**

**В 2000 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ  
ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**МАРИНА АДАМОВИЧ (США). Сетевая проза — новый тип литературы (аналитический обзор);**

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);**

**МИХАИЛ АРДОВ. Вокруг Ордынки (новые главы);**

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);**

**ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ. О сердечности и бессердечии в культуре;**

**АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);**

**ЮРИЙ БУЙДА. У кошки девять смертей (повествование в расказах);**

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**

**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Купавна (повесть);**

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**

**РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);**

**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**

**ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов (из наследия);**

**БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);**

**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**

**ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);**

**АЛЕНА ЗЛОБИНА. Заметки о раздробленности культурного общества;**

**ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Культурно-политические статьи для рубрики «По ходу дела»;**

**ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Литература после конца времен (статья);**

**ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречье (сцены из захолустной жизни);**

**БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;**

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Буква «А» (повесть);**

**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);**

**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки** (повесть);  
**ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Ужас победы** (повесть);  
**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;**  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек** (документальное повествование);  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период** (роман);  
**АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. НЕДО** (автогеография);  
**А. СОЛЖЕНИЦЫН. Крохотки;**  
**ИРИНА СУРАТ. Пушкинский юбилей как заклинание истории** (опыт подведения итогов);  
**АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ. Америка — каждый день** (заметки натуралиста);  
**ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская коллекция;**  
**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с...** (роман);  
**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыка о перспективах для России и мира** (три композиторских портрета);  
**МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. Людская молвь и конский топ** (из записных книжек 1950 — 1990-х годов);  
**ИГОРЬ ШАЙТАНОВ. Русская «метафизическая поэзия» после Бродского;**  
**ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ. Город мертвых и город бессмертных** (об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII — XX веков);  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Прощение о Еве** (повесть);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, МИХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, НИНЫ ГОРЛАНОВОЙ, ДАНИИЛА ГРАНИНА, СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, АНАТОЛИЯ КИМА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОВОЛОЦКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АНТОНА УТКИНА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, МАРКА ФЕЙГИНА** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

**Адрес редакции:** Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: nmir@aha.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1, стр. 144, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на первое полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабλικейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира»  
обращать внимание на обложку журнала.*

*За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется  
только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»;  
торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3 (899)

Март, 2000 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Пред окном с пчелиной позолотой, стихи	7
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом, роман	14
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — Письмо демиургу, стихи	71
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ — Как там ведет себя Шаргунов? Рассказы	76
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Воплощение Леонида, рассказ	83
БОРИС ВИКТОРОВ — Птица и человек, стихи	90
МАРИНА ПАЛЕЙ — Lond Distance, или Славянский акцент. Сце- нарные имитации. Продолжение	94
СЕМЕН ЛИПКИН — Одно мгновение, стихи	108
АЛЕССАНДРО БАРИККО — 1900. Монолог. Перевел с итальян- ского Валерий Николаев	112

### ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА — Людская молвь и конский топ. Из записных книжек 1950 — 1990-х годов. Продолжение	134
---	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

КИРИЛЛ ГРАДУСОВ — Заволжье. Записки посадского жителя	148
---	-----

### МИР НАУКИ

ЕЛЕНА КНЯЗЕВА, АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ — Единая наука о единой природе	161
---	-----

### ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Ложь с истиной сличить. Кинематографи- ческие мечтания	179
---	-----

### ОПЫТЫ

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — Искусство не принадлежит народу. Весе- лые заметки о грустных обстоятельствах	185
СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — Синдром Курилова	194

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — «Полный вдох свободы» 199

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Ознобкина. Сны о себе 214  
Дмитрий Дмитриев. Не надо все вслух... 217  
Татьяна Бек. Весь день было утро 219  
В. К. Структуралист в повседневной жизни 221

---

Елена Невзглядова. — I. Давид Раскин. Доказательство существования. Стихи 1962 — 1987; Давид Раскин. Запоздалые сообщения. Стихи 1988 — 1998; Давид Раскин. Стихи. II. Александр Танков. На том языке; Александр Танков. Стихи 224  
Михаил Горелик. — Роман Чайковский. Случайные строки. Стихотворные тексты, этюды в прозе, переводы 227  
Евгения Свитнева. — От города W. до города D. Петер Альтенберг. Венские этюды. Джеймс Джойс. Дублинцы 228  
Александр Доброхотов. — Т. В. Васильева. Путь к Платону. Любовь к мудрости, или Мудрость любви 230  
А. Михалков. — Т. Ступникова. «...Ничего кроме правды...». Нюрнберг — Москва. Воспоминания 232

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА 235

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко) 240  
Периодика (составитель Андрей Василевский) 243  
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко) 250  
SUMMARY 256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ПАВЛА БАСИНСКОГО  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ АНТИБУКЕР ЗА 1999 ГОД!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Благотворительный Резервный Фонд выкупает с благотворительными целями 1500 экземпляров журнала «Новый мир» для их последующего бесплатного распространения среди неимущих читателей, а также для провинциальных библиотек.

---

---

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ



## ПРЕД ОКНОМ С ПЧЕЛИНОЙ ПОЗОЛОТОЙ

\* \*  
\*

*Павлу Крючкову.*

Беспричинные слезы, это когда  
Застревает всяческая ерунда  
Рыбьей костью не в горле — в твоей душе,  
Позабывшей, что косточка — не драже.

Ну а смех беспричинный, это когда  
Видишь воду и знаешь, что это вода,  
Видишь зиму и знаешь, что это зима  
И что ты не выжила из ума.

Ну а смех и слезы, это когда  
Исхитришься огонь добыть изо льда  
И во тьме допотопной возжечь свечу,  
Чтоб тебя похлопали по плечу.

2 октября 1999.

\* \*  
\*

Куст. Приоконный куст —  
Радость для бедных уст, —  
Можно сделать дуду  
И упреждать беду.

Весть. Внезапная весть —  
Басурманская месть:  
Ждите от нас гостей —  
Вам не собрать костей!

Век. Многовзрывный век.  
Новый орды набег, —  
Страх под ребрами сжат,  
А дуда — как набат.

---

Лиснянская Инна Львовна родилась в Баку. Автор поэтических книг, вышедших в России, Франции, США. В последние годы пишет и прозу. Лауреат литературной премии Александра Солженицына и Государственной премии России. Постоянный автор нашего журнала. Живет в Москве.



Сон. Провидящий сон.  
 Лучше бы я с пелен,  
 Как пропойца — вина,  
 Сна была лишена.

30 мая 1998.

\* \*  
 \*

Вместе с осенью горю и холодею,  
 В две сопелочки задумчиво сопя:  
 Понапрасну ты затеяла затею  
 Наизнанку выворачивать себя.

Никому чужая тайна не в подмогу,  
 Никому богатство опыта не впрок —  
 И никто не заберет с собой в дорогу  
 Этой памяти-прапамяти мешок.

Все, что будет, не учтет всего, что было,  
 А иначе бы не двигалась земля.  
 Ой, гуляй, гуляй, осеннее светило,  
 Сердцевидными листочками пыли!

Человека человек не повторяет,  
 И времен не повторяют времена...  
 Будет заживо, — лишь песня допыляет, —  
 Твоя память-перепамять сожжена.

19 октября 1999.

### Брат

Осень была, как жар-птица, перната,  
 Знала наш тайный маршрут:  
 У твоего синеглазого брата  
 Мы находили приют.

Наша любовь не была бесприютной.  
 А в одиночестве жил  
 Нервный, и этим похожий на ртутный  
 Столбик, твой брат Михаил.

Ты говорил: в детстве младший мой братик,  
 Ангелокудрый блондин,  
 Всех очаровывал. Он математик,  
 Он не женат и один.

...Дни были тусклы, судьба не ласкала,  
 В смерти нашел он приют,  
 И над могилой оранжево-ало  
 Осени перья поют.

Я по нему, как по ангелу, плачу, —  
 Что же он знал на земле?  
 Артиллерийский расчет и задачу  
 Жить в человеческом тепле.

7 октября 1999.

### Жалоба

Я люблю, но ты не знаешь,  
 Я зову, но ты не слышишь,  
 За чужой спиной витаешь,  
 Над чужим дыханьем дышишь.

Чьим внимаешь ты тревогам,  
 Чьей задачей озадачен?  
 Глупый ангел мой, ты Богом  
 Мне в хранители назначен.

Жалуюсь я и в записке  
 В паутине Интернета:  
 Сколько можно без прописки  
 Околачиваться где-то?

Наконец ты будешь возле, —  
 Вызван жалобой великой, —  
 И окажется, что вовсе  
 Ты не ангел, а калика,

Что изранен, и что раны  
 Всяких крыльев мне дороже,  
 И что мне нужней охраны  
 В безымянном бездорожье  
 Врачевать тебя.

20 октября 1999.

\* \*  
 \*

Слежались архаика, суржик и сленг  
 Не хуже валежника...  
 Усталое, будто бы мартовский снег,  
 Сознание мое ожидает подснежника.

Едва уловимо дыханье цветка,  
 Едва уловимая —  
 Расцветка, — так пахнут над снегом века,  
 Так выглядит имя навеки любимое.

И все, что слежалось, вдохнет новизну,  
 А имя засветится,  
 И я вечеряющим словом рискну  
 К подснежнику утреннему присоседиться.

2 октября 1999.

### Письмо

Меж нами — все более писем,  
 Все менее длительных встреч,  
 Давай же прощеньем возвысим  
 Все то, что возможно сберечь.

У встреч наших привкус миндальный,  
 Миндаль — ядовитый орех,  
 В нем грех мой и давний и дальний,  
 Увы, материнский мой грех.

У моря, где ты подрастала,  
 Мы мало бывали вдвоем,  
 Я сказок тебе не читала —  
 Стихи запивала вином.

Ссылаюсь на давность и дальность,  
 И все-таки вечность подряд  
 Меж нами, как злая реальность,  
 Те детские сказки стоят.

И памятью слезы ты множишь,  
 А я множу соли в кости...  
 Прости меня, если ты можешь,  
 И если не можешь — прости.

7 октября 1999.

\* \*  
 \*

Настолько раскидиста осень, что мы  
 С листвою и птицами вместе парим  
 Поверх разуменья толпы и молвы,  
 Где всякий огонь превращается в дым.

Вкруг листьев — взамен обручальных колец —  
 Нам дым дорисует сюжет неплохой:  
 Я помню тебя, словно книгу слепец,  
 Ты помнишь меня, словно скрипку глухой.

И в этом загвоздка, и в этом залог  
 Того, что мы видимся только во сне.  
 А птицы, а листья летящих дорог  
 Без нас хороши в золотистом окне.

21 октября 1999.

### Голос

1

Говорю сама себе: не кисни  
 Перед угасающим окном,  
 Смерти нет, поскольку после жизни —  
 Снова жизнь, но в облике ином.

То, что тенью было, станет светом,  
Станет эхо голосом моим,  
Из жилья жемчужины воздетым  
К берегам, как небо, голубым.

Говорю себе: сиди работай  
В мороке последних сигарет  
Пред окном с пчелиной позолотой,  
Перед сном, в котором смерти нет.

## 2

Крыла твои — камыши,  
Плеча твои — перегной,  
Прошу тебя, не спеши,  
Ангел смерти, за мной.

А ты, который хранил  
Жизнь мою, не сули  
Взмахами белых крыл  
Музыку вне земли.

И если солгу, что мне  
Плоть моя не нужна,  
То провинюсь втройне  
И трижды буду грешна.

О Боже, к Тебе приду  
В горе, что признаю, —  
Мне лучше в земном аду,  
Чем у Тебя в раю.

## 3

Мне слышен голос из-под снега:  
Не сорок дён,  
А сорок зим — душе до берега,  
До райских до окон!

И воздух я перекрестила,  
А между тем  
Блестит в снегу твоя могила,  
Как храм из хризантем.

И снова слышу голос давний,  
Как наяву:  
Мне гроб — ковчег, забиты ставни,  
Я сорок зим плыву.

Не тронут ни водой подземной  
И ни червем,  
Отсюда вижу луч полдневный  
И страх в зрачке твоём.

Не бойся! Голос мой — предвестье,  
И повторю:  
Тебе у райского предместья  
Я окна отворю.

3 октября 1999.

\* \*  
\*

На слова мой век разменян  
И летит, как вьюга:  
Друг от слабости надменен, —  
Пожалею друга.

Я не вследствие недуга  
Жалостью крылата:  
Спесь бессилием чревата, —  
Пожалею брата.

В нищете гнездится злоба, —  
И сестрицу злую  
Пожалею, — в глаза оба  
Песней поцелую.

Грех на святости алеет —  
Оставляет метку, —  
Пожалею, пожалею  
Я свою соседку.

А за то, что в зимнем бреде  
Правда еле тлеет, —  
И меня на этом свете  
Кто-нибудь жалеет.

8 октября 1999.

### Черный год

Кто пред скинией пропляшет  
В этот черный год?  
Дождик мочит, время пашет,  
Вечность жнет.

Кто себя в благую жертву  
Нынче принесет?  
Время косит, вечность жатву  
Соберет.

Ветер сеет, косит время.  
Кто ж кропит росой  
Человеческое племя  
Под косой?

19 октября 1999.

## Свеча

Горит свеча, не видя ничего, —  
Ни Матерь Божью, ни ее Младенца,  
Свеча слепа от света своего,  
От фитильком пропущенного сердца

Сквозь стеарин. Но слышит, как молюсь,  
В словах одних и тех же повторяясь:  
«Прости, Господь, помилуй нашу Русь!»  
И чувствует — молюсь, над ней склоняясь.

И лишь когда свеча почти сгорит,  
Черноресничным всмотрится огарком  
В два лика, пред которыми стоит, —  
И свет свой обнаружит в нимбе ярком.

Отметит мельком то, что я жива,  
Что, в сущности, одно творили дело:  
Я пыл души влагала во слова,  
Она во славу Господа горела.

1 ноября 1999.



---

---

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

\*

## ВОСХОЖДЕНИЕ НА ХОЛМ ЦАРЯ СОЛОМОНА С КОЛЯСКОЙ И ВЕЛОСИПЕДОМ

*Роман*

1

Сто лет назад или около на дороге из Пущи-Водицы в Киев умерла старуха. Баба Руденчиха совершенно не собиралась этого делать, она была настроена на жизнь и на долгое путешествие аж до самой Белой Церкви, где вдовела ее старшая сестра. Семидесятилетняя Руденчиха собиралась соврать сестре Варваре, что пришла ради нее, чтобы подмогнуть в старости, все-таки той уже ближе к восьмидесяти, а Руденчиха, слава Богу, крепкая, до работы спорая, она еще самое то — принести и сделать. И баба шла быстро, ее босые пятки стучали по шляху вполне энергично и, может даже, отдавались в центре земли.

Пуща-Водица дула ей в спину ветром недобрым, но чем дальше, тем дула слабее, и в этом положительная сила расстояния. В Киеве баба собиралась помолиться, для чего говела уже две недели, чтоб снять грех со своей души, но главное, с души тех, которые вытолкнули ее на дорогу. «Хай! — молилась Руденчиха. — Хай живуть!» Главное было — не думать про это все время. Про то, что она одна на дороге, в легком мешке у нее все, что у нее есть, и ей, как потом скажут ее правнуки совсем по другому поводу, нельзя ни шагу назад.

Руденчиха стучала по земле и мысли старалась отбирать исключительно местного значения. Вон та загогулина, что буквой обзмеила овраг, пройдет — и дорога станет под гору, а там и Киев закрасуется так, что сердцу станет больно от красоты, и вот тогда она уже даст себе поплакать хоть и тихонько, но все-таки допуская к слезам тонкий голос, чтоб душе стало легче. От красоты можно и повить в чистом поле, когда она сядет на землю и даст пяткам роздых.

2

Одновременно...

Из Киева в Пущу-Водицу — совсем наоборот — шел еврей Хаим, это был случайный проходящий еврей, которому вообще-то надо было в другую сторону, но так встали звезды, что и он своими босыми пятками (ну чем их можно еще заменить?) дошел до того места, где ногами в сторону Киева лежала баба Руденчиха, и рот ее был жадно и навсегда открыт небу.

---

Щербакова Галина Николаевна родилась в г. Дзержинске Донецкой области, окончила Челябинский пединститут, работала в школе. Автор книг «Справа оставался городок» (1979), «Вам и не снилось» (1983), «Анатомия развода» (1990), «Love-стория» (1996), «Год Алены» (1996), «У ног лежачих женщин» (1999). Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

Хаим сказал что-то на своем печальном языке и оттащил бабу в хорошую такую ямку, которую придумала сама природа как бы специально для Руденчихи. В мешке ее он нашел бумаги, но Хаим не знал грамоты этого народа, он только по-польски немножко читал по-печатному.

Конечно, можно было сделать вид, что его не касаются мертвецы, лежащие на дороге, и не его дело с ними как-то поступать. Но Хаим очень хотел бы, чтобы его тоже быстро положили в землю, если придет его час, и чтоб ни у кого не возникло мысленных затруднений на этот счет. И он, выпевая свою молитву, хорошо присыпал Руденчиху, закрыв ей лицо платочком в мелкую такую точечку. И трохи посидел рядом с могилкой, думая над жизнью как таковой... Жизнь не давалась ему в разумение, а положиться без задумчивости на Богом данные истины у него почему-то не получалось. Истины были прекрасные, но хрупкие, а жизнь некрасивая, но сильная, и концами они не сходились. Имеются в виду истины.

Покидая уже никуда не идущую Руденчиху, Хаим попросил Бога, чтоб он не оставил его с открытым в небо ртом, чтоб нашелся и для него по дороге путник с правильными понятиями.

### 3

Через сто лет или около на тахана-мерказит маленького города близ Хайфы, что в Израиле, сомлела пожилая дама, всем своим видом доказывающая непричастность к народу этой земли. Она уперлась спиной о бетонный стояк этой самой таханы, или этой самой мерказит, одним словом, дело было на автобусной станции. Дама, значит, сомлела, но не упала, а осталась сидеть, откинувшись на стояк.

Ее заметили скоро: если не через десять минут, то через пятнадцать точно. И тут же завывла не своим голосом амбуланц — то есть «скорая помощь», — хотя почему не своим, очень даже своим, — и молодой бородастый доктор Хаим сам положил даму на носилки и дал вскоре этому делу колеса и ноги, и уже скоро все, кому надо, знали, что всякие трубочки, шлангочки и прочие стражники жизни приставлены к Анне Лившиц, приехавшей в гости и так далее.

Внешний мир спорадически пробивался к мозгу женщины, она слышала его всплески, но когда они исчезали, на самом моменте их излета, утихания, возникало нечто, что в переводе на язык жизни можно было бы приблизительно обозначить как радость и удовлетворение... Но это очень приблизительно, как приблизительно само наше немощное представление о том, что с нами случается там, за гранью. Гораздо интереснее в смысле описания живой и полнокровный доктор Хаим, который, успокоившись состоянием больной, покинул ее — и зря, между прочим, — на могучую аппаратуру и сноровистых медицинских сестер, а сам вышел в коридор, где, не озабоченные сохранением тишины, шумели многочисленные евреи, и Хаим (Леня Вильчек в прошлой жизни) в который раз подумал о том, что своих соплеменников он любит вкрапленными в тело других народов, там они как бы умнее и как бы выдержаннее, а тут одна орущая «мешпуха». То бишь семья. Леня-Хаим был немножко художником — так, для себя, без всяких претензий. Он малевал под Шагала, под Дали, под Шемякина, это самое «под» было в его картинах главным и даже как бы позорило Леню, но ведь он и не лез со своими картинками на выставки, он даже никому их не дарил. Они висели у него дома в темном коридоре — так решила его жена, — и он не спорил, еще чего! Там им скорее всего и место. Но когда никого не было дома, он включал все лампочки и ходил по коридору туда-сюда, туда-сюда, и на него падали из иллюминаторов самолетов скрипки, шахматные доски, «Анны Каренины» и таблицы логарифмов. Картина под Шагала, которая «устраивала» это безобразие, называлась «Освобождение от лишнего. Исход из России».



Сейчас Хаим, не художник, не мазила, а реаниматор Божьей милостью, разглядывая орущую семью Анны Лившиц, особо выделил хлопающую руками по широким квадратным бедрам женщину, определил ее как главную в этом коdle и обрадовался, что не надо выстраивать на кончике языка медленный ряд ивритских слов, так как «бедра в квадрате» говорили на хорошем русском, которому Богом дано выражать словами много больше, чем только смысл самих слов. В русской речи есть еще нечто — надсловие, подсловие, — а есть и что-то притулившееся рядом... Правильно делают те, кто упорно овладевает английским. Вот он как раз создан для того, для чего и быть языку, — для понимания, тогда как наш великий и могучий — и для понимания конечно же! — но и для того, что над... под... и сбоку...

Хаим уже растянул губы от радости этой русской непонятности, но мы его оставим на этом. Хаимы в нашей истории сыграли свои исторические роли, они Первыми держали за концы Полог целого столетия, который нам надлежит сейчас натянуть как следует, чтоб кусок человеческой истории вместился под ним, как помещаются дети под простыней, тряпкой, полиэтиленом, натянутыми на что ни попадай, чтоб сыграть под прикрытием, как под небом, свою игру в дочки-матери.

Собственно, и мы об этом.

#### 4

Никто никогда не искал бабу Руденчиху. Сестра Варвара в голову не могла взять, что кто-то там к ней идет на подмогу. Какая подмога? От кого? В Пуще-Водице живет сестра, так у нее ж трое детей, внуков она даже не знает сколько... Какая подмога! Смех с вас!

У Варвары снимала угол и столовалась фельдшерница. Старая дева верила в звезду Сириус, но показать ее на небе не могла, потому как та была с другой стороны неба. Варвара сразу подумала, что это очень умно — верить в то, что не видно. Что это — считала Варвара — освобождает от ответственности. Фельдшерница же как раз была ответственна до противности, и это единственное, что вызывало у Варвары желание отказать ей от угла и стола, потому что сама она никогда не озабочивалась поливом огорода, если ей хотелось другого — например, погадать на свою младшую сестру и убедиться лишний раз, какая у той «дурная судьба».

Это ж надо, при живом, правда отсутствующем, муже завести шурымуры с шинкарем из жидов. Варвара от одной этой мысли холодела ногами и влезала в подрезанные валенки, потому как ножной холод считала очень опасным для дыхательных путей. Начнешь стынуть с пальцев — а перекинется аж в горло. Злые языки говорили, что кто-то из детей сестры — от шинкаря, потому как это дело естественное: раз есть одно, то и другое идет следом. Но Варвара знала точно: брехня. Два раза, тайком от чужих глаз, была у нее непутевая — это когда надо было травить ребенка. «Не от Николая», — говорила она Варваре и ложилась на грех и муку. Правда, кончалось все благополучно. Организм у грешницы был крепкий.

У Варвары за время пребывания сестры набухало много вопросов и высоких, и низких. Последние для нее были вообще неговоримы по причине стыдливости. Давным-давно, всего два месяца, у нее был муж. А потом взял и утоп. Повис тогда в воздухе вопрос — не сам ли? И уставился на Варвару острый глаз народа: не она ли причиной, потому как... С чего бы другого? Она тогда заколотилась в страдании именно от этого — от подозрения. И всю свою жизнь оправдывалась за Федю, когорый ушел на речку и не пришел. А ей ведь живи! Потому кто, с кем и зачем, Варварой и не говорилось, и даже зачеркивалось в мозгу. Стеснялась она спросить и другое: почему сестра не боится греха измены вере? Соединения с другим Богом? Но та как-то сама сказала: «Не было б детей — ушла б. Глупость

это: евреи — не евреи. Любовь, Варька, — это все!..» Тут уж Варвара не стерпела и сказала, что за такие слова — «любовь — все» — точно ад и горячие печи. На это сестра засмеялась, закинув голову. «Дура ты, Варька! Ад и печи — здесь. На земле». — «Сгоришь, сгоришь!» — кричала Варвара.

Тогда же пришла к ней странная мысль: сестра — чтоб всем назло — могла оставить плод и от шинкаря. Такой у нее характер. Варвара быстро перебрала в памяти племянников. Не сообразишь! Все, как один, лупатые и кареглазые, в мать. Шинкаря же Варвара никогда не видела.

Но это когда все было... Не считаешь. К ней уже давно не приходит вопрос о Феде — сам или не сам? И сестра уже бабка. Теперь у них обоих один ответ — перед Богом. Он справедливый. Он определит. Но смерть на шляху, и чтоб рот открытый, и чтоб еврей «заховав» — такого карты показать не могли. И то сказать — как? Еврей, он ведь не валет и не король. Он кто? И вообще смерть на шляху — если бы Варвара про нее знала — гораздо ширше пикового туза, даже если положить на него сверху девятку пик, а пик даму сунуть ему под ноги.

В общем, Варвара жила-поживала под приглядом фельдшерицы, и та похоронила ее по всем церковным правилам, хотя и держала в голове потусторонний Сириус. Она была широким по мировоззрению человеком, эта старая дева тех времен, когда слово значило то, что значило.

И царство им всем небесное.

Не искали бабу Руденчиху и ее дети. Старший сын давно существовал где-то в кацапских краях, средний пил и гулял, считая, что если не это, то тогда зачем жизнь? В смысле — вообще? Мать являлась ему тогда, когда настырный такой хлопец-чертеня садился ему на шею и бил его копытками под самый что ни на есть кадык. Вот тогда и являлась с рушником ридна матынько и рвала рушник на чертячьих рожках, но маленьке бесеня прыгало с шеи, гогоча по-своему. Где ж она, мать, думал сынок, общупывая болючие ребра, звидкиля появлялась и куды счезла?

И он спрашивал сестру Паню, от которой и ушла с мешочком старуха Руденчиха:

— От матери ничего нема?

Паня начинала ответ с самой высокой ноты, может, «ля», а очень возможно, что даже «си». Она могла держаться на ней долго, на ноте, так что даже куры прятались кто куда, не то что имеющие соображение собаки, которые учували ноту «ля» («си»?) за момент до ее возникновения. Ответа на вопрос брат, как правило, не дожидался, он уходил вместе с курами, завидывая мудрой скорости собак.

Паня знала сокрушительную силу своего голоса, потому всегда после крестилась, нервно ища направление прощения, но где ты его найдешь, если кругом, куда ни глянешь, то клуня, то курятник, то уборная? Панин глаз все это ухватывал, и уже до второго перекрестья дело не доходило, зато гнев набухал в ней рьяно, и из двора тихонечко убежали уже и дети, и даже Тарасик — звездочка, внучек ненаглядный — и тот на своих кривых лапках тикал за всеми, улавливая высокое напряжение воздуха и природы.

Вот его Паня обязательно славливала и, обнимая, отходила голосом, и уже другие звуки шли из нее, те, что хорошо годятся для расцветания и плодоношения. Такие звуки — не исключено — мог слышать и сам Моцарт. Не от Пани, конечно, но где-то недалеко от Киева. В Европе.

Совсем в другое время, когда уже и внука Пани на свете не было, его внучка играла в настольный теннис в огромном редакционном холле, а тамошние мужики и парни в этот момент всегда открывали двери, потому что каждому хотелось поймать глазом краешек трусиков Паниной праправнучки, когда та дотягивалась ракеткой до шарика, который взбрыки-

вал от нее подальше. Тогда у картины был вид так вид — и весь мужской род набрякал кровью, желая незамедлительно войти в пределы розовых штанишек. Надо сказать, что многим это удавалось. После игры, конечно. Хотелось этого и Моцарту. Так в редакции называли попа-расстригу, регулярно приносившего в пятничный номер газеты «уголок атеиста», где он высоким тенором выпевал отсутствие Бога как такового, ссылаясь на свой трагический опыт заблуждения, когда он смолоду и сдуру, под влиянием и так далее... За то, что он брал в этом важнейшем деле идеологии самую что ни на есть высоту и парил в ней на прямых крыльях аки тот голубь, он и получил кличку «Моцарт», хотя фамилию имел грубую — Шумейко, звался Иваном, но это не имеет никакого отношения к делу. Поп-расстрига нужен нам, что называется, на раз.

А раз такой...

Наглядевшись с близкой, удобной позиции на хорошенькие ножки Паниной праправнучки, в миру Лильки Муратовой, и обмыслив хитромудрым лукавым умом свои шансы на возможность более конкретных отношений с Лилькой, Ваня-расстрига понял, что разыгравшуюся фантазию ему лучше попридержать в конюшне, а не давать ей вольную волю. Лилька заведовала тем самым отделом, куда он приносил свои насмешки над Богом и иже с ним, отношения у них сложились вполне деловые, каждую пятницу, лишь солнце закатится, он имел свеженький оттиск статейки, их уже поднабралось более чем, и обком вынашивал в своем большом животе идею Дома Атеизма, именно так — с двух больших букв. Хотя Ваня Шумейко в партии еще не был, а только собирал рекомендации, но по существу он и забрюхатил идеей обком. Поведи он Лильку в какое-нибудь укромное место, при ее языке завтра же весь мир узнает, какие у него параметры и скорость. Поэтому экс-поп ударил сложенной в трубку очередной заметкой по возбудительной Лилькиной попке, Лилька потеряла шарик, заорала на него «дурак!», Ваня сказал, что Бог все видит, как они в рабочее время стук-стук да стук-стук, одним словом, игра прервалась, и Лилька повела Ваню на свое рабочее место, одновременно выкусывая из своей крепенькой ладони мозолики от ракетки. «Дай!» — сказал Ваня, беря Лилькину руку. Дело в том, что он последнее время баловался хиромантией, хотя в те годы слово это знали очень сильные интеллигенты, а простой народ вообще если и слышал его, то был убежден, что корень там совсем не тот, что имели в виду греки. Наш задний ум на самом деле очень передний, и нас хлебом не корми, а дай вставить любимое слово ума в самую что ни на есть середину. Ваня Шумейко с чувством глубокой печали отметил у Лильки очень сытный «венерин бугорок», вздохнул по поводу жизни, в которой так часто приходится отказываться от вкусного, и хотел уже бросить горячую Лилькину лапу, но тут профессиональный взгляд усмотрел точечную ямку на линии Лилькиной жизни, после которой линии как бы не стало; получалось, что жизнь у нее совсем, совсем неинтересная, хотя что-то в раскладе ладони было необычное, потому Иван подвел Лильку к большому окну и развернул ее лапу широко и навстречу самому солнышку...

— Тебе, мать, чтоб спастись, надо уйти в монастырь, — сказал он.

— Шас, — ответила Лилька.

— Ты меня слушай! — закричал расстрига. — Тебе придется что-то смочь...

Лилька засмеялась. Вот уж что без проблемы — это смочь. Она даже печку переложила, когда снимала халупу в Нахичевани. Разобрала к чертовой матери трубу, вычистила дымоход, побелила комнатку, хозяйка пришла и, как в том стишке, — «такая корова нужна самому». Отказала от комнаты. Лилька ей пригрозила, что, выезжая, сделает печку, как было, а стены чистые «обоссют». Девушка с красным дипломом университета, Лилька могла мгновенно о нем забыть, если надо было что-то объяснить родному народу. Ее уважали технички, электрики, слесаря, даже продав-

щицы, потому что Лилька всегда держала в кармане пульт на спуск некой себя другой, не знающей французского и латыни и не почитающей Аполлинера.

Так вот... Ей ли не смочь?

— Смогём, если надо, — ответила Лилька, вырывая руку у расстриги. — Давай лучше свой пасквиль.

— Лиль! — сказал тот. — У тебя будет трудный период... На грани...

— Помру? — спросила Лилька, которой уже гадали и короткую жизнь, и длинную, и бедность, и богатство, и двух мужей, а у нее уже был четвертый, и трех детей, а у нее была двенадцатилетняя дочка, за которой вослед вытащили из нее все рожальные причиндалы, и была она теперь свободна от страха забеременеть, и никакой печали о неродившихся ребеночках у нее сроду не было. Так что поп-расстрига мог ее пугать как хотел, мог ей морочить голову — Лилька была свободна от мыслей, как оно там будет...

Но мы запомним этот момент развернутой к солнцу ладошки. Как запомним лежащую на шляху ногами к Киеву Руденчиху, двух Хаимов, сомлевшую у тахана-мерказит Анну Лившиц и то, что мы так шутя-играючи натянули полог на целое столетие и теперь нашли себе место в центре жизни Лильки Муратовой, которая читает статейку расстриги, выкусывая из ладошки пинг-понговые мозолики.

Вечером она положила на стол редактору статью Вани, тот привычно, даже, можно сказать, буднично приспустил ей трусики и — не подумайте плохого! — почесал ей лобок, такая у них была игра, потому что другой быть не могло, редактор был слегка импотент, слегка трусоват, но так чтоб совсем от всего отказаться — силы воли не хватало.

Правда, после этого он шел по лицу багровым пятном и прилично скотинел глазом, но и это кончалось столь же быстро, сколь быстро и начиналось. К тому же у редактора была фамилия Минутко, и, видимо, она все и определяла, хотя Лилька давно всем объяснила, что никакой он не Минутко, Минутки теперь все, он — Секундко. Но определение не прижилось. Неудобные для произношения встали буквы, а мы не какие-нибудь там венгры, чтоб ломать себе язык на слепившихся согласных. Лилька оправила юбочку, редактор незаметно нюхнул подушечки пальцев-игрецов, пятно с лица его сошло, и он сказал, что двухкомнатную квартиру им в этот раз не дают, а дают однокомнатную, так что «извините, Лилия Ивановна».

— Хочешь — жди следующего дома.

— Я тебя сейчас убью, — сказала Лилька и взяла каслинского Дон Кихота, подаренного редактору на пятидесятилетие. Дон был большой, и если прицелиться его оттопыренной рукой в висок... Почему ей хотелось убить редактора именно так — *рукой* Дон Кихота, когда куда как легче было это сделать основанием скульптуры прямо по лысой башке, на которой висок — в сущности, малость. В него еще попади.

Минутко пожевал собственный рот — так он обижался. Он и правда боролся за двухкомнатную квартиру для Лильки, заведующей отделом, ее мужа, сотрудника чумного института, и их ребенка — девочки Майи. Но ему сказали: какие претензии? Двухкомнатные рассчитаны на четверых. Не меньше! Сам посчитай: пять на четыре — двадцать, плюс еще пять на хозяина. Это же арифметика.

«Это арифметика, — думала Лилька, проживая в автобусе свои сорок минут. — Эта лобковая сволочь даже не подозревает, как он прав».

Тут надо сказать: писать о метрах остобрыдло. Хорошо бы в качестве завязки взять что-то изящное, тонкое, какой-нибудь файф-о-клок. Но ни туда ни сюда. Мы все будем подрывать на этой теме как на mine. Это такая наша народная забава. Но чтобы слегка отвлечься от противного и навязшего, возьмем Лильку в руки — это приятно! — и выясним, откуда у нее растут и ноги, и притязания.

...Первым мужчиной в ее жизни был одноклассник, призер всех и всяческих математических олимпиад. Он ей объяснил про количество сперматозоидов и про теорию вероятностей, по которой только и может случиться беременность. Он не подозревал, что ей было плевать на это, что она так его обожала и так хотела, что математике просто рядом стоять не стоило. Она забеременела от первого же сперматозоида, и ей сделали аборт накануне выпускного сочинения. Обескровленная, синяя, с острой болью в крестце, она писала про то, что в жизни всегда есть место подвигу. Ни Боже мой! Никаких аллюзий не было и близко. Это была самая легкая, бездумная тема, которую не надо было знать, а просто сидеть и нанизывать пучки слов и фамилий. Учительница литературы очень обиделась на Лильку за этот ее выбор. Отличница, она должна была писать про вольность русских поэтов, а она возьми и напиши то, про что пишет всякий троечник. Учительница подло заподозрила Лильку в расчетливости, и ей, носителю высоких мыслей и чувств, было противно. Она столько вложила в эту девочку своего, личного, можно сказать, даже тайного, а та возьми и сделай такой выбор, тогда как у нее, Лильки, просто не должно было быть выбора. Лилька кожей чувствовала обиду литераторши, когда та сновала между рядами и остро пахла «Серебристым ландышем» и сукном юбки.

Лилька писала автоматически, думая совсем о другом. О том, как она лет в десять поняла: всегда надо выбирать вещи простые, они удобней, они несносимей. Какому ненормальному человеку удастся поместить в головке теорию вероятностей? А вот арифметику «подзалета» знать надо. И она знала! Знала. Ей мать сто раз говорила, что дела на миг, а неприятностей — на всю жизнь. Правда, мать не говорила, как поступать с жаром, который распирает изнутри и тебе только и надо, чтоб *это* случилось, потому что иначе спятишь, сама изорвешь себя ногтями... Нет, про такое говорено не было... Такого как бы не было вообще. Получалось, что десятилетняя Лилька была умней семнадцатилетней. Маленькая, она рассматривала в зеркальце все свои сморщенные складочки и таинственный ход, в который она легонько ткнула пальцем — и ни-че-го не произошло. Но потом случилось с этим призером-чемпионом, и она забыла, что была умная, а стала какой-то хищной росянкой, жаждущей поглощения.

С того выпускного сочинения, когда Лилька абсолютно инстинктивно — как пригнуться, чтобы не удариться головой, — выбрала самую забубенную, самую примитивную тему, она навсегда отвергла для себя путь сложный.

Когда математический мальчик на выпускном вечере сделал ей предложение руки и сердца «как порядочный человек», она захохотала ему в лицо. Она сказала ему, что не сможет жить с человеком, у которого в голове дурь в виде теории вероятностей, что она любит — обожает! — арифметику, где дважды два никогда не подведут, что таблица умножения во сто крат важнее таблицы логарифмов, что мальчиков, которые рисуют формулы, надо сбрасывать со скалы, чтоб другим неповадно было. Одним словом, она такого нагородила, что мальчик назвал ее ничтожеством, и тогда она с полным на то основанием двинула ему кулаком по носу, да так, что призер захлебнулся кровью, хорошо, что аттестаты уже были в родительских сумках. Их просто выставили из школы, а учительница литературы, все еще обиженная на Лильку за измену глубоко прекрасному, сказала:

— Чтоб твоей ноги...

— Да пошла ты, — перебила ее Лилька, хотя логики в словах не было никакой: это она навсегда покидала школу, а учительница оставалась. Но Лильке было хорошо в каком-то новом, освобожденном от лишнего теле.

Но ничто не канет навсегда. И воля одного непременно обернется неволей другого, это просто элементарная физика. У Лильки была младшая сестра Астра, которая попала потом в руки оскорбленной Лилькой литера-

торши, и бедной девочке мало не показалось. Выше тройки она не зарабатывала никогда, хоть головой об стену бейся. В результате — отчаяние, обида, все пошло комом, и Астра едва-едва поступила в швейный техникум, такую печать неспособности поставила на ней страшная месть. А ведь если разобраться, то все началось с теории вероятностей, которой заморочил голову один математический мальчик девочке-росянке.

Тут надо ввести еще одно объяснение, чтоб было все ясно впоследствии. Имя Астра. Мама хотела девочек-цветов. Если бы были мальчики, то, возможно, они стали бы Эльбрусами, Эверестами, и это определило бы их стремление ввысь, что-то в этом духе... Девочкам же надлежало цвести и пахнуть. Поэтому, во-первых, Лилия. Поэтому, во-вторых, Астра, хотя такого имени нет вообще. Но Роз зналось слишком много, и мама колотилась между Азалией и Астрой и в конце концов остановилась на Астре, Азалия показалась чересчур. Беда с этими романтически настроенными мамами и их неумной фантазией. Астра была неудачницей по жизни, ей в восьмом классе объяснили, что она ничтожество, бедный ребенок поплакал-поплакал и принял свою судьбу, потому что куда же от нее денешься?

Лилька же взнуздала в себе волю и храбрость и была всегда и всюду первой.

На первом курсе университета она вышла замуж в первый раз. На втором — во второй. Если учесть, что это было строгое время и оно любило наказывать разное индивидуальное баловство, то естествен вопрос: как? Как ей, комсомолке, удалась такие пируэты? А вот так. Первый муж быстро попался на болтовне по поводу давно прошедшей финской войны, с ним по-хорошему поговорили — и ничего больше, но Лилька шкурой («арифметикой») почувствовала, что ее муж-интеллектуал может ей дорого стоить, к тому же семейная жизнь на частной квартире в холодной коридорной выгородке ничем таким особенным не показалась.

Развелись летом, к радости мамы, которой зять не нравился длинностью, сутулостью, длинным ногтем на мизинце и распадающимися на две неравные части прямыми бесцветными волосами. «Это не муж», — сказала мама. И хоть сказала она так, считай, во вторую встречу с зятем, в Лильку диагноз попал. Она так его и звала, вроде бы с юмором: «Немуж! Немуж!» Университет тогда был захвачен событиями масштабными — докладом Хрущева. Потому на фоне большого катаклизма мелкое обстоятельство Лилькиной жизни потрясения не вызвало.

Не успели людишки оправиться от речей и собраний, как Лилька прыгнула в койку преподавателю древнерусской литературы, некрасивому, старому козлу, у которого дочь училась вместе с Лилькой. Лильке нравился доцентский дом, в нем устойчиво пахло высшим образованием — книгами, пылью, теплыми свалывшимися кофтами, уже тогда бывшими «уни-секс». Большая квартира была холодной, поэтому в ней часто пахло и горелым: это когда на включенный рефлектор падала газета или цеплялась та же безразмерная кофта. В первый же раз на Лильку натянули одну такую, до самых колен, и это определило точку обзора для замороженного древностью доцента. Он увидел красиво вытянутые бутылочки Лилькиных ног — на ней как раз были длинные зеленые рейтузы. Больше никуда доцент смотреть не мог. Его откровенно сластолюбивый интерес был, можно сказать, нараспашку, но и жена и дочь — как ослепли. А Лилька как раз напряглась и мысленно вымыла и вычистила квартиру.

Во втором замужестве неприятностей было гораздо более... Общественность, забыв о разоблачении культа личности, восстала против Лильки и ее старухи еще более древней, чем наука сына. Она уже мало что кумекала, путала Лильку с внучкой и не сразу понимала, что за старик сидит у нее в кресле. Лилька мысленно вымыла и эту квартиру, такой тогда сидел в ней внутренний мойдодыр.

На помощь спятившему с ума от острых ощущений доценту было вызвано подкрепление в образе его младшего брата, который вынес за порог Лилькин фибровый чемоданчик, а доцент был скручен в прямом смысле слова и доставлен в «тихое место», где у него стало «много друзей». Партбюро поставило в повестку дня Лилькино личное дело, запахло крупным пожаром. Лилька сконцентрировалась, пошла в ректорат и забрала документы «в связи с болезнью матери». Бюро не успело очухаться, как Лилька исчезла в неизвестном направлении, вынырнула в Свердловском университете и на той же липе — болезни матери — стала тамошней третьекурсницей. Чистенький, без штампов, паспорт она заимела раньше, это ей недорого стоило. Начальник паспортного стола был хороший арифметический человек. Он слыхом не слыхивал про теории неожиданностей и невероятностей, войну с финнами считал справедливой, не читал Вересаева, даже не знал, кто это такой. От него пахло «Шипром» и чистой мужской плотью, а не свалявшимися кофтами, и Лилька подумала, что простота, она, может, и хуже воровства, зато безусловно лучше интеллигентской кажимости.

В Свердловске Лилька в третий раз, но как в первый, вышла замуж — за строительного инженера, который имел большую комнату в общежитии и держался за нее обеими руками, когда совершались попытки переселить его или в комнату поменьше, или дать ему подселенца. Инженер принимал бой и выигрывал его, поэтому Лилька сразу въехала в человеческие условия — двадцать квадратных метров, два огромных окна, отдраенный желтый краник над раковиной и туалет — три шага по коридору. Лилька купила трюмо и поставила его между окон. Теперь кто бы ни входил, прежде всего видел себя, и это имело большое организующее значение. К ним в гости люди старались приходиться поприбранней, без этого нашего расейского абы как, помноженного на общежитские нравы.

Этот тип женщин — тип Лильки — многожды был показан в кинематографе и в литературе, и не стоило бы трудов опять и снова браться за захватанное. Лилька, едущая в автобусе в свои тридцать пять лет, — красотка будь здоров. На нее пялятся весь мужской пассажирский состав, а женщины мысленно выкалывают ей ключами глаза и с мясом рвут сережки. Вокруг Лильки такое энергетическое поле, что какой-нибудь затрюханный Гондурас вполне мог бы существовать на ее электричестве. Эх, времечко, куда ты котишься...

Сегодня ей за шестьдесят, что называется, отработанный пар. Она — тетка с сумками. Она — «в Советском Союзе секса нет». Она — старая пердунья, которая зажила на этом свете... Чтоб писать про это горе, его надо чуть-чуть забыть. Чтоб создался паз, расстояньице, может, через него, может, через время и всколыхнется жалость... Не сейчас... Но у нас другая история. Лилька в ней — точка обзора иных причудливых пространств.

## 6

Надо было срочно прописать мать. Та всегда жила с Астрой, потому что портнихи, как правило, люди оседлые, им не требуется знание других земель. Мать уже много лет вдовела, похоронив отца Астры. Тут надо сказать, что у Лильки и Астры были разные отцы. Лилькин канул в середине тридцатых, именно канул. Был, был — и не стало, не пришел с работы, но — люди видели — с нее ушел, его заметили на крыльце конторы, когда он опустил ногу на ступеньку, чтоб идти вниз, но вот свидетелей, что он сошел со ступеньки, не оказалось. Именно эта сдуваемость человека с ровного места, хотя нет, не ровного, крыльцо — место промежуточное между плоскостями... Так вот, сдувание человека с места промежуточного чуть не довело мать до наложения на себя рук. Спасла Лилька. Крохотная девуля требовала материнской жизни, и мать собралась с силами и выжила...

И тут к месту сказать, что в другие времена, когда исчезновение людей в пресловутые годы стало знаком качества семьи, некоей самоценностью фамилии, ни мать, ни Лилька не вставляли отца в автобиографии как этот самый знак, что тоже, мол, не лыком шиты. Воспарение с крыльца в момент опускания ноги больше годилось к предположению о похищении отца пришельцами с НЛО, но про них тогда слыхом не слыхивали, поэтому ни в коем случае для автобиографии отец не годился. А потом мать нашла себе другого, тишайшего из тишайших евреев Семена Лившица, специалиста по шахтерскому силикозу, играющего в шахматы и на скрипке и имеющего национально-горбатый нос. Его слегка презирали врачи других направлений — дантисты и гинекологи, работа которых приносила куда больше уважения и денег, ибо всегда имела результат: вырванный зуб или удаленная киста. Силикоз же — вещь эфемерная, его нельзя поддержать в руках, нельзя предъявить начальству как факт собственной нужности. Поэтому жил Лившиц тихо и, как теперь говорят, не возникал. Знал свое место. От него и Астра. Он погиб на фронте, и доводил девочек до ума уже третий материн муж. Такой весь из себя бычок-мужичок, маленький, крепенький и лобастый. Лилька скоро уехала учиться, стала строить жизнь по собственному разумению — а по чьему же еще? А мать и отчим так и куковали с Астрой. Та их обшивала, потом вышла замуж за шахтного технолога, потом родила Жорика. Это случилось раньше рождения Лилькиной Майки. Собственно, не будь Жорика, была бы Майка? Первый опыт, как мы знаем, был у Лильки не вдохновляющим, но тут племянник, курчавое дитя, так раззадорил какие-то неведомые силы, что Лилька стала ощущать пульсацию в сосках и какую-то влажную слабость от вида младенцев. Ей хотелось их нюхать; лизать, тискать, сердце ухало куда-то в область выходящих отверстий, одним словом, в той самой комнате, где между окнами стояло трюмо и посверкивал на солнце медный краник водопровода, и родилась Майка через пять лет после рождения Жорика.

Сейчас Жорику семнадцать, Майке одиннадцать с половиной, мать живет с Астрой, технолога нет и в помине. Уехал на северá за длинным рублем, да так там и остался, прижился у какой-то коми-женщины и сказал, что «это хорошо». Правда, в алиментах был честен, что да, то да.

Лилька написала матери письмо, в котором без всяких обиняков сказала: «Ты всю жизнь жила для своей Астрочки, так вот расстарайся и для меня и для Майки, моя дорогая. А то людям сказать стыдно...» Что стыдно, было не ясно, но именно неопределенность обвинения ударила мать в сердце. Мы ведь боимся не того, что уже стоит на пороге, а того, что таинственно скребется, не имея лица. С тем, что есть, уж как-нибудь, туда-сюда разберемся, а там, где нам ставят три точки и на что-то намекают, — все. Сердце такого может не выдержать. Мать выписалась и примчалась к старшей дочери, Лилька прописала ее в два дня, явилась к Минутко-Секундо и шлепнула его по рыжей пятнистой лапе материнским паспортом.

— Нас четверо, — сказала она. И боком потерлась о рукав начальника, как бы подбадривая его совершить традиционную шалость. Лилька тогда готова была пойти и на большее и предупредила секретаршу в приемной:

— Надя, у меня дело конфиде... Чтоб ни одна собака...

Надя хохотнула так, что задрожал графин с водой, и сказала, что — пожалуйста, ей не жалко, разве только придет Трофимыч, тут ей не устоять... Но это была редакционная хохма. Трофимыч — секретарь обкома по идеологии — был замечен в неожиданных появлениях там и сям. Поэтому, выпивая в кабинетах, люди закрывали стулом дверь. Предусмотрительность называлась «вот придет Трофимыч».

Лилька получила вождленную двухкомнатную квартиру, перекрасила кухню, отциклевала пол, врезала глазок, а однажды, сидя с матерью перед телевизором, сказала как бы между прочим, что теперь мать может вернуться к Астре.



А матери так понравилось жить в большом городе. Пять минут — и ты на набережной главной речки России. Вода в ней то отдает фиолетом, а то зеленью, густая такая вода, как настойка пустырника, и пахнет пьяно, не сказать чем, каждый раз по-разному. То разрезанным пополам грибок, то сохнувшей после зимы бочкой, а бывает и спермой, от этого запаха у матери возникали молодые и забытые чувства, и ей виделся то беглец с крыльца, то канувший в войну специалист по силикозу, но весомей всего возникал недавно умерший третий муж-бычок, который был хорошим человеком, что там говорить! Взял ее с двумя девками и даже не задумался. И когда у этой дуры Лильки случился аборт в десятом, успокаивал и жалел и мать и Лильку, а мог бы и выгнать девчонку, люди бы поняли. Такое люди понимают всегда.

Но умер... Болел несильно, кашлял, и на тебе — воспаление легких, и на тебе — осложнение, и на тебе — нет человека.

Тут же, в большом городе у реки, мать, что называется, отошла душой и приготовилась жить еще долго-долго, а Лилька качнула ногой и так, как бы между делом, предложила вернуться к Астре.

У Астры же в тот период возьми и случись шанс.

Обязвился работник орса, вдовый дядька, приезжий, местными связями не опутанный. Пришел шить себе костюм из ткани заказчика. Сестра щупала ткань — «дрек» (в смысле барахло), а не ткань. Глаз не поднимая на клиента, она пыталась по трубам штанин выяснить глубину личности заказчика, но картина в голове не складывалась, требовала расширения обзора, и Астра подняла глаза и увидела очки, что, конечно, не стало вдохновляющим открытием. Очки, они и есть очки. Они недостаток во-первых, во-вторых и в-третьих. С ними неудобно жить, сильно наклонись — и они могут упасть с потного лица. Как-то очень ярко это увиделось — падение очков с лица. И надо сказать, что потом так все и случилось, и через десять лет у Николая Сергеевича упадут очки, когда он, стоя на коленях, будет затягивать ремни Жориных чемоданов, и будет он в этот момент потный, и у Астры внутри все ухнет, потому что она испугается, что все это уже видела и заранее знала. Хотя в тот момент еще ничего страшного не произойдет: просто упадут очки, потому что на хрен разболталась дужка.

Но мы об раньшем.

Возник простой и естественный вопрос — как быть? Это вокруг Гамлета наворотили незнамо сколько, а у него целый замок, а может, и не один. У него что — с матерью одна комната на двоих, как у Астры? Николай же Сергеевич, возникший в вяло текущей жизни, так хорошо себя проявил, так вежливо пригласил в кино на содержательный фильм «Красная палатка». Назад они возвращались медленно, и Николай Сергеевич сказал Астре, что жена у него была замечательный человек, жаль, что Бог не дал им деток, что после нее трудно представить кого-то, кто лучше, — на этих словах он крепко сжал локоть Астры, локоть бурситный, болючий, и она стиснула зубы, чтоб не заорать, стерпела, умница... В результате слов, боли и выдержки получилось вполне убедительное предложение соединить судьбы. В отличие от старшей сестры Астра была женщиной нрава строгого, ее за руку никакой случайный мужчина взять не посмел бы, а уж о тех фокусах, что творила Лилька, Астра понятия не имела. Она бы померла, просто померла бы, пощекочи ее кто-нибудь... Да ей козу-козу было делать опасно, все эти шутейные атю-тю-сеньки... Могла бы и в глаз... Видимо, могла. Но не было случая.

Николай же Сергеевич поцеловал ей исколотые подушечки пальцев. Именно их...

На этом историческом моменте и вернулась мать. Вся обиженная, вся во внутренних слезах. Вот тут-то и возникает подспудно, всплывает, как

град Китеж, тема Эльсинора. Интересно, сколько в нем квадратных километров? Тут и возникает озарение всей темы — именно у нас, на самой большой территории, возникла жилищная (в смысле — мало места) проблема. Острая нехватка пространства...

Поэтому Астра пишет гневное письмо Лильке и покупает матери (выписанной из домовой книги) обратный билет.

На процессах переезда — мать приехала «к старшенькой», а у той для нее уже билет обратный — она стала скукоживаться. Было в матери, еще хорошо, как выясняется, помнящей запах спермы, добрых семьдесят пять кило, а усохла до шестидесяти. И никто — никто! — этого не заметил. Даже она сама, перекручивая в который уж раз резинку в сползающих рейтузах, думала о качестве галантереи, в которую «забыли положить» главное — резиновую нитку, на усыхание же собственного тела внимания не обратила. У всех пламенем горела душа, до плоти ли было!

А тут случись... Лилькин четвертый муж (не Майкин отец, отчим) — ну ничего на это не указывало заранее! — собрал вещички, трусы к трусам, рубашки к рубашкам, в полиэтиленовый пакет (редкость по тем временам), набил комочки носков, громко хрустнул коленом и ушел. Ушел к знакомой еще по школе, с которой в молодые лета не было ничего, а потом — раз! — встретились, и откуда что пошло-поехало. Развернула женщина собственного мужа в обратном направлении, Лилькиного же — в койку, а тот, дурак, и рад. Хотя квартира, выстрадавшая Лилькой, еще пахла свежей краской. Им самим положенной. Больше всего Лильку потрясло то, что он ее же обвинил во всех тяжких, хотя она — конечно, всякое было — оставалась в семейной постели и никуда из нее не собиралась, просто поддерживала время от времени организм иными, чем дома, мужскими витаминами. А *этот* — муж! — сказал как плюнул: «Мне твои блядки уже поперек всего. Я хочу иметь женщину, другими руками не захватанную». Лилька у него спросила: «Где таких дают?» Ну и узнала про школьную подругу — «после мужа — и не захватанную?!». И получила в ответ: да, именно... Светлая и чистая.

У Лильки в голове случился ступор, потому что она была убеждена: она хорошая, можно сказать, замечательная жена. У нее чистота и порядок, у нее заработок не ниже мужнего, у нее супы и борщи — закачаешься, не говоря уже про специфические женские умения. Предыдущих мужей она бросала сама, Майкин отец в свое время чуть умом не тронулся, когда она его бросила. Она всегда была *такая*: если хотела, то брала, если очень просили — давала, не смущалась пребыванием в тамбуре там или в фотолaborатории или даже торжественным собранием в честь... Это место вообще было очень сексуальным, потому как освещались только нужные лица, в последних же рядах, или в кулисах, или даже за плотным сукном стола была хорошая темень. Именно там такое можно вытворить, сохраняя при этом значительность и строгость лица... Лилька была в этих делах мастер высшего (правильней — низшего) пилотажа.

Итак, развод. И мать при нем особенно лишняя. Не надо ей видеть! Не надо! Как бы гуманная позиция.

А на другом конце — свадьба. Тоже не повод вторгнуться и поселиться жить.

Мать в сердечном приступе (предположительно) ссадили с поезда на полустанке, не подумав о длине перегона. Какая «скорая» поедет в чистое поле по колдобинам и выбоинам? Люди же, которые ссаживали, мысли имели хорошие: случись окончательный исход, все равно придется выносить на ближайшей станции труп, так лучше вынести еще живенькую старушку, которая на земле, без поездной качки, может и оклематься, задышит воздухом простора, а не духотой плацкартного вагона. Ведь старики живее всех живых.

Мать вынесли и посадили на травку, как ребенка. Спину ее оперли на столбик шлагбаумного цвета. Все сказали: смотрите, как ей тут хорошо. Она тут отдышится. Посадите ее потом на вечерний скорый. И чемодан поставили рядом. И сумку с документами. Правда, двести рублей, которые там лежали, вытащили, когда искали паспорт заболевшей. Дело простое, естественное: когда лежат деньги, как же их не взять?

Дочки долго ничего не знали. Астра думала: мать осталась у сестры. Сообразила, мол, та, что не время матери возвращаться. А Лилька думала: обиделась мать и не отписывает. А ей сейчас это и годится: надо соскрести себя со стен, чтоб жить дальше.

Так удачно появился гость из Москвы, из ЦК комсомола, классный такой мужчина, с которым было и легко, и просто. Пробегая пальцами по тугому Лилькиному животу, без единой жириночки, замирая ими же над пупочным кратерком, Леня (для остальных — Леонид Всеволодович, но Лилька сказала: не то у нее здоровье — такие отчества выговаривать) пообещал:

— Я тебя заберу в Москву. Разбазаривание кадров — держать тебя здесь. Но надо быстро. До сороковника.

И не соврал. До того как переехать в Москву, были поминки по матери на территории Астры, и случился жуткий скандал, сестры чуть не убили друг друга. И если бы не Майка, которая стала вопить, могли бы и покалечиться. Обе были сильные и цепкие. Но унялись и поминки уже делали в четыре руки.

Странные поминки на семнадцатый день смерти в отсутствии могилы.

Столько именно времени потребовалось, чтобы найти родственников уже закопанной там же, на полустанке, покойницы, которая тихо отошла в чистом поле. Последние ощущения матери — вытягивающиеся в длину, вдаль, ноги. Она смотрела, как все дальше, на большой скорости убегали от нее ступни ног, уже где-то там, ближе к горизонту, виднелись прюнелевые туфли, сохранившиеся еще от послевоенной. Мать тянула к ним невероятно короткие руки, и на этом странном действе, действе-попытке придать себе привычные соразмерные формы, мать и отлетела, не подумав ни о чем таком значительном, какое полагалось бы, если б сообразить.

Расстались сестры холодно, ткнулись друг в дружку носами — и пока. Между готовкой и подачей на стол кутьи Лилька сказала, что, возможно, переедет в Москву. Астра вскинула брови, и Лилька подумала: вот так она похожа на еврейку. Не надо ей играть бровями. А Жорик, тот вообще внешне чистый еврей, хотя всего ничего — внук. Но вот же... Взыграл в нем дедушка. Лилька смутно помнила второго материнского мужа. Перед самой войной он водил ее на карусель. Астра была еще маленькая и сидела у матери на руках. Лилька помнит эту радость отделения от тех, кто совсем мал и никуда еще не годится. Эта радость была связана с отчимом, и она-то в душе и осталась.

Лилька считала, что жизнь у сестры не получилась. Портниха, она и есть портниха, и ничего больше. И выглядит Астра старше своих лет, такая вся дебая...

Что было неправдой. Астра выглядела хорошо. Ей нравилось снова быть женой, нравилось вечерами ходить в капотах. Она их сама себе шила, с оборочками на широких рукавах, в цвет им отделанными петельками для пуговиц, а главные ее семейные капоты были широки в запахе, не обтягивали и не западали куда ни попадя. Одним словом, у Астры как раз был хороший вид в отличие от Лильки, загнанной мыслями о переезде в Москву и всеми проистекающими.

Поминки прошли, и слава Богу. О матери старались не говорить. Уже ее нету. Все. Какие тут могут быть разговоры? На самое дно положили се-

стры то, что они втайне друг от друга считали своей виной, но называли вину иначе — обстоятельствами. На поверхность же была извлечена и всячески обнародована мысль — как знамя: мать должна быть там рада перемене участи дочек. Одна в столице на хорошей работе и в хорошей однокомнатной квартире. Другая снова в замуже. Они так и лежали где-то там на тарелках весов — Москва и замуж — и находились практически в равновесии. Временами колыхнутся чаши, то одна перевесит, то другая. Но это было такое время — время не до конца определенных ценностей. Хорошо, конечно, — муж, но что он без жениной работы? Хороша, конечно, работа, когда ты сама, сама, все сама и никто тебе дома не указ, но тогда зачем тебе муж? Возможности Москвы оказались безграничны и в смысле пространств, и в смысле вариантов для выбора. Езжай в какое-нибудь Забубенино с кем-нибудь не обремененным лишними мыслями и погуляй как хочешь и сколько тебе надо.

Они надолго разошлись по своим интересам, Астра и Лилия Ивановна. Время было густое и неподвижное. В нем было легко застыть. Слова в нем гасли, не давая эха. Астра взяла — тогда это было модно — участок, а Николай Сергеевич поставил на нем домик на курногах. Посеяли редиску и стали страстно смотреть в землю, страстью ожидания подгоняя природу вегетативных процессов. Редиска уродилась на славу. Ходили к соседям с пучками редиски, у тех была своя такая же. Происходил процесс обмена как начало гостевания, потчевания, принятия рюмочки и так далее. На следующий год, чтоб всех перехитрить, сеяли огурцы. Но у всех оказывались они же. Выяснилось, что в поисках радости все были одинаковы. Одного размера. Одной колодки. Но это не раздражало. Это даже укрепляло время и его клейкость.

Лилию Ивановну в этот же период прикрепили к кремлевской поликлинике. Всеволодович из ЦК оказался человеком слова и дела. Он хорошо ее устроил в издательство, где под ее бойким руководством выходили бойкие брошюры про то и про это. Через нее шли рефераты диссертаций. Они назывались публикацией. Важным фактором защиты. Перед ней заискивали лихие пожилые вьюноши, готовящие себе «ученый отстойник». Лильке нравилась их пусть и небольшая, а зависимость от нее. Отсюда и быстрая квартира, и престижная клиника. От вполне хорошей жизни она тогда пополнила. В поликлинике обратили на это внимание, обмен веществ и всякое другое, она махала рукой, но анализы возила. Причем гордо. Процесс, прямо скажем, деликатный. Но в случае Четвертого управления — это уже нечто большее, чем просто скляночка-баночка понятно с чем. Ее хотелось нести на вытянутых руках, как редиску, клубнику, облепиху, виноград... такова была Всевышняя Насмешка над вконец впавшим в анабиоз человеческим фактором.

## 7

Сестры старели. У Астры обнаружилась стенокардия, осложненная непредсказуемыми аллергическими реакциями то на одно, то на другое. У Лилии Ивановны стали болеть придатки и прочая женская мелочевка. Сказалось ношение капрона в ветреные зимы, потому что Лилия Ивановна всю жизнь следила за красотой нижнего белья как решающего момента в делах и начинаниях.

С сестрами случилась еще одна не замеченная предвидением вещь. Выросли дети. Еще вчера — Жорик, Маечка, деточки, сынуля и доча, а они уже вон какие. У Жорика — баба с семилетним дитем, он к ней бегаёт каждую ночь. У Майки — парень кудрявый, статный и бравый, из команды КВН. Такой веселый и находчивый, что Маечка подзалетела с ним, как и ее маменька. Девочка вторжения острослова-кавээнщика, считай, и не заметила. Конечно, хотелось ее убить, а как же иначе? Но Лиль-

ка помнила себя, свой детский случай. Помнила и то, что, когда случилось с Маечкой, она уезжала в закрытый пансионат на неделю, потому что очень ей хотелось «насадить на шампур» одного типа. Так что сама, мамочка, такая, не тебе учить!

Тут вступает другая музыка, куда что делось — раньшее... Еще позавчера — казалось бы! — зорождественское «догони, догони, только сердце ревниво замрет», вчера длинноногая Эдита бьет по сердцу тайночью своего акцента, как бы намекая, что не весь мир припадает на широкое «а...а...а...», а какая-то его часть позволяет себе и некоторую чуждую артикуляцию и, не дай Бог, картавость, приводя к странному трепетанию души, а сегодня...

Боже! Боже!! Рыжая, лохматая, горластая дива смеется над бессилием королей. И сам черт ей не брат. Ошалелое от долгой спячки русское человечество пробует на вкус новое имя. Для этого надо всего ничего — постучать языком по верхним зубам.

Колокол всея Руси зовется Аллой.

Но не об Алле речь. Просто жизнь застремилась, заструилась... То ехала по ровному, а то раз — и с горки, ускоряясь до спирания в дышалке.

Маечка родила Димочку. Однокомнатная квартирка, в которой все элегантно стояло по стеночке, где два дивана вытягивались на ночь вперед ножками, а днем их подбирали, растянувшись, как старая вязаная кофта на локтях и запяхе. Та же, считай, кофта, но уже, получается, на выброс. Где там стеночки, где подобранные ножки диванов-кроватей. Кавээнщик, радый месту, спал на одном. Майка на другом. Промеж ними детская кроватка. От стены к стене натянули лесочки для пеленок. Время той новой музыки — по нынешним временам просто пещерное. Оно не знало одно-разовых радостей памперсов, оно ставило ведерную кастрюлю на газ, круглые сутки в ней кипели какашкинские подгузники. И дышала всем этим Лилька, которая жила теперь на кухне.

Естественность переселения привела ее в шок уже потом, через некоторое время, когда она, лежа на раскладушке, вдруг обнаружила над собой смятый сыростью потолок. Он странновато рябил по ночам, освещенный уличным фонарем. Казалось, на нем проступали некие письмена, которые не давались пониманию.

Надо было срочно что-то делать. Но даже залетно не возникала мысль, что должен что-то предпринять статный и бравый кавээнщик. Он улыбочиво переступал раскладушку, на которой лежала Лилия Ивановна, не сердясь на нее за то, что та расползлась на дороге к чайнику и к форточке, в которую он курит. Он, можно сказать, благородно принимал чинимые тещей неудобства его жизни. Он был широк и не обужен, он был вполне коммунальное дитя, но Лилька-то — нет!! Даже общежитие в ее жизни имело два окна, просвет для трюмо и желтенький (как трогает сердце!) краник, и все это было на двоих! Потом с жильем у нее все было лучше и лучше, потом стало совсем хорошо, когда прописали маму... Царство ей небесное, она их не ущемила. Ушла себе покойненько... Так было вычерчено в памяти дочери: мать ушла на тот свет без болезни, можно сказать, на ходу. Всем бы такую смерть... Праведница...

Лилька стала отхлопывать большую квартиру, вписала зятя, написала слезницу в профком... Не первая и не последняя на этом пути. Майка сказала:

— Лучше выйди замуж. Ну, дадут нам две комнаты... Три-то все равно не дадут.

Лилька вздрогнула, но раз. Один. Потому как поняла: дочь насчет квартиры права. Грандиозная цель требовала таких же усилий. А главное, она требовала внимательного взгляда окрест на разнообразно лежащих в природе мужчин.

Плохо лежал их замредактора, некто Свинцов, необаятельный внешне господин, но отмеченный некоторыми добродетелями. Как-то: по бабам не бегал. В случае Лилии Ивановны это было минусом: на хорошо известной кобыле к нему было не подъехать. Надо было искать другой «транспорт».

Сын Свинцова (все-таки остается непонятным происхождение фамилии — то ли от свинца, то ли от свиньи) жил уже отдельной семьей. Лилия Ивановна выяснила, что тот удачно женился в просторную квартиру. Жена Свинцова — ученая дама-микробиолог — имела стариков родителей знатного научного происхождения, те имели барскую квартиру в центре, уже похварывали, и дочь частенько у них ночевала. Это было самое слабое место жизни Свинцова и давало Лилии Ивановне стратегический шанс. Ведь брошенный ночами муж — достаточный аргумент для начала разведательно-наступательных работ. Пару раз она исхитрилась поехать с начальником на популярные в те годы семинары в загородных дачах. Именно на них тогдашняя идеология оттягивалась в размышлениях о пользе хозрасчета под бдительным оком партии, о безграничии метода соцреализма, который, куда ни кинь, дает и дает плоды в виде полотен там и балетов. Семинары трогали и таинственно светящиеся пальцы ученых Кирлианов, что было уж совсем не для всех, а исключительно для избранных, ибо свечение это некоторым образом грозило материализму как основе всего и вся, одновременно возбуждая неведанным удовольствием подрывной деятельности внутри самих основ.

На этих посиделках Лилия Ивановна старалась быть ближе к Свинцову, разрешила ему это приметить, тот пару раз молодцевато развернул в ее сторону плечи, но не более того. Не будь сырого потолка в кухне над раскладушкой и не перешагивай через нее зять-кавээнщик, Лилька бы действовала неторопливо и тонко. Но ее поджимало со всех сторон, она видела глаза Майки, в которых стыло отчуждение и осуждение, мол, что ты, мать, как маленькая, не понимаешь? Нам же те-е-е-сно! Лилия Ивановна стала подгонять ситуацию, сама начала распускать слух, что у нее... как бы... со Свинцовым... никому ни слова... чтоб не дошло до жены...

Дошло тут же. Ученая-микробиолог была оскорблена до глубины души самим фактом существования возможных слухов. Не из той она была среды! Свинцов тоже оскорбился — уже из-за реакции жены, не считая нужным оправдываться в том, в чем виноват не был. Одним словом, бульон, хоть и ни на чем, уже закипал. Лилька тоже изо всей силы изобразила оскорбление и громко зарыдала в кабинете Свинцова, тот растерялся и взял ее за плечи, на этот момент была подучена войти секретарша (у Лильки смолоду с секретаршами всех мастей заговоры), та вошла...

Съехала микробиолог к родителям, ибо она была из тех людей, которые слышали от других, ранних, людей, что семья — это как бы что-то святое и нельзя топтать ее основы. Тем более в коллективе. Или что-то похожее... Или совсем непохожее... Но не на улицу ушла бедная жена, а в высоченную квартиру с лепниной, мебелью красного дерева и фарфором еще тем, старинным, севрским, а не из-под Кисловодска. Тут прытью пробежала мысль, что человеческое достоинство, что бы там ни говорили гуманисты, очень и очень зависит от материального благополучия. Блюсти себя в чести легче при хорошем хлебе в красивой хлебнице. Ну не будь у микробиолога комнаты в доме родителей, куда бы она делась? А она делась... Сын оскорбился за мать, а Свинцов поседел так, будто прошел казematы и пытки. Тонкий оказался человек.

Тут Лилия Ивановна пригодились всюю. Она выхаживала брошенца со всем накопленным за жизнь умением.

Дочь попросила ее не выписываться. Кавээнщик со своей стороны где-то «долбил стену», и наличие тещи в ордере придавало его усилиям большую крепость: дети «шли на трехкомнатную». А что матери — жалко?

Она живет в таких условиях, в каких не жила никогда. Даже после вынесения микробиологом из квартиры раритетов дом был таким, что Лилия Ивановна, если б умела, то молилась бы Богу. За то, что сподобил так жить. Но она не умела. Она честно хотела приспособиться к Свинцову, стать его половиной или хотя бы четвертью. Она перешла на работу в другое издательство, тихое такое и никому не нужное, это была ее большая плата за квартирную удачу. Новое издательство — мышьяная нора, слышно, как летают мухи и как ширкают в рукописях тараканы. Довлатов не прав, подчеркивая их нечеловеческую незлобивость. Положите на таракана сочинение и посмотрите, что будет.

Со Свинцовым жизнь не получалась. То есть все было как бы в порядке, но чего-то важного не было. Лилька не могла понять: чего? Тут для понимания не мешало бы перейти на сторону Свинцова. Тогда кое-что станет понятным. Дело было в философии. Так-то... Свинцов не мог смириться с разрушением в нем этической конструкции, которая вполне вкладывается в сегодняшний рекламный слоган: «Река — Волга. Поэт — Пушкин. Журнал — „Огонек“. Жена — одна».

Нельзя переоценивать наши внутренние стропила. Они могут рухнуть. Свинцов жил под обломками собственных строений, и не было авторитета, который бы посоветовал ему хотя бы выйти из руин. Нет! Он в них остался, и ему даже стала нравиться боль, доставляемая гвоздями выломанных досок. Но что там гвозди? Женщина в доме доставляла ему боль всем: расческой с волосом, шагами в коридоре, запахом земляничного мыла, который достигал его всюду, утренним откашливанием. Тут вполне к месту возникает важный, не нами поднятый вопрос: почему люди не летают? Ведь имей они крылья, сколь многого неизбежно не произошло бы. Люди бы пролетали над патогенными пространствами, куда ни в коем случае не следовало бы приземляться. Но люди идут ногами, жмут половую паркетину, гнут скрипучие крыльечки, давят тропинки и забубенный асфальт. И ход их слышен и неотвратим...

Время шло. Но даже самое неприятное, дробясь на пакостные подробности, кажется, застывшие навеки, исчезает с абсолютно неизменной скоростью от вчера до послезавтра.

В нашем случае прошли годы.

Кавээнщик все-таки получил трехкомнатную квартиру у черта на рогах, в новых домах-столбиках.

Умерли родители бывшей жены-микробиолога. Свинцов ходил на похороны, сначала тестя, потом тещи, и возвращался со странным позавчерашним лицом. Смерти помирили его с сыном. Лилии Ивановне пришлось устраивать большой обед и приглашать его семью. Нет-нет, она делала это вполне со всей душой. И то, что был напряг, не ее вина. Невестка Ира... «Она как будто слушает в себе одно и то же, одно и то же», — думала Лилия Ивановна.

Ира обошла квартиру и даже заглянула туда, куда не надо, — в стеной шкаф.

— Ну и? — добродушно спросила Лилия Ивановна, ставя себе высший балл за добродушие. А ведь удавить хотелось!

— Убирать такую квартиру руки не немеют? — такими словами Ира ей ответила.

— Не немеют. У меня они сильные. — Лилия Ивановна взяла Ирину руку и жала, так, чуть-чуть...

— Убедительно, — ответила Ира, встряхивая вялую смятую ладонь. Гнездо в колечке, из которого давно выпал крохотный сапфирчик, царапнуло ей кожу до крови. Что стало знаком для Иры не связываться с новой лжесвекровью. Кровь — хорошее топливо для ненависти (и для любви, кстати, тоже). Она поняла, что будет всегда ненавидеть «эту хабалку», но

исключительно на расстоянии. Лилия Ивановна не знала, что выиграла вчистую у очень сильного противника, и поддайся она чуть-чуть, неизвестно, чем бы все кончилось.

А так — ничем. Свинцов слушал передвижение жены по коридору, презванивался с микробиологом, о чем Лилия Ивановна — ни сном ни духом. Майка рыдала в своем ненавистном далеке и намекала матери на родственный обмен: «Вы уже немолодые, вам тут самое то... Знаешь, какой у нас воздух? Как мед». «Она что, не помнит, что я у них прописана?» — думала Лилия Ивановна.

Потрясением того времени были «Унесенные ветром». Лилька благодаря издательской деятельности сумела прочитать книгу даже раньше других. И была сражена простотой мудрости: о плохом, трудном — не надо думать сразу. Отложить на потом, плохое может и отсохнуть! Может! Она же знает про это. Как и Скарлетт. И она не стала думать, где прописана, не стала брать в голову родственный — якобы! — обмен.

Получалось, что она берегла силы для наиглавнейшего потрясения той ее жизни, которое, как всякое истинное потрясение, не оказывает себя раньше времени. Не высылает оно вперед гонцов предупреждения, не машет издали платочком — вот оно, мол, я, вот! Как всякое уважающее себя потрясение, оно нисходит сразу на голову, на плечи, оно только ему известным ударом — снизу и вверх — пронзает сердце, и кричи потом открытым ртом, кричи!

## 9

В Москву со всеми бебехами, с женой, пасынком, собственным сыном на руках и собакой Фросей явился не запылился, без звонка, между прочим, любимый племянник Жорик. Легко запомнить, когда это было. Чернобыль. Тогда люди чертили карты рек, по водам которых мирный атом имел цель добраться до любого грешного и праведного, потому как кому-кому, а ему это было без разницы. Радиация заявила о себе как девушка аполитичная, неверующая, в сущности, беспринципная, готовая дать себя попробовать всем.

Некоторых беспокоило смутное знание о том, что по водам надлежало бы пускать что-то совсем иное, чем яд, но кто теперь знает доподлинно, что именно? Самые храбрые искали ответа в Библии, но она ведь такая толстая! Самые мудрые планировали себе южное полушарие, где реки текли в другую сторону. И оставался шанс.

У Жорика был вызов на историческую родину, которая, конечно, в верхнем полушарии, но тем не менее... Он смотрел на тетку с хитрым еврейским прищуром. «Шо за удивление лица, Лилечка? — говорил он, противно изображая акцент. — Я же имею в кармане маму-еврейку... Или?»

Ах, эта бесконечная сладость еврейской темы! Этот детский грех откусывания до крови ногтей! Это блудливое всматривание в волосяные покровы и булькатые глаза! «Вы не знаете, он не ...?» И восторг ответа, мол, да, да, как это я не заметил сразу? Конечно! Еще бы! Иначе откуда всё?

Лилия Ивановна презирала антисемитов. «Я сойду!» — кричала она, когда сущностный русский разговор набухал на ее глазах. «Она сама... Да?» — спрашивали тогда даже близкие ей люди и рылись в Лилькиной физике лица и позвоночника, ища неизбежно проявляющееся и тайное, которое, как его ни скрывай... Те, кому было очень надо, докопались: она — нет. Сестра — да. И изучали возникающую время от времени в Москве Астру. Дебелую портниху со смиренным лицом. Они так отличались, сестры. Они даже дышали не в пандан. На один вдох-выдох Астры приходилось по меньшей мере три быстрых и нервных глотка воздуха старшей сестры. Тахикардия и брадикардия.



Так вот, Жорик засобирался в Израиль. И это нам неинтересно, потому что это был забубенный отъезд, неотличимый от тысяч подобных. Но в жизни Лилии Ивановны этот отъезд сыграл вулканическую роль. Пока она туда-сюда распределяла места в квартире для репатриантов — так выросло на московской почве новое слово-дерево, — пока приспособливалась к большой кастрюле, чтоб всем хватило первого, пока брезгливо убирала за сбитой с толку в новых условиях Фросей, муж Свинцов во второй раз в жизни уронил свои стропила. Помните его слоган? Поэт — Пушкин... Жена — одна и так далее. У слогана была еще одна ключевая фраза. Фраза-матка для всего остального. Родина — Россия.

В сущности, Свинцов категорически и безусловно отказывал всем, кто смел заикнуться, что родиной могла быть, извините конечно, какая-нибудь Швейцария. Нет, существование Швейцарии не подвергалось сомнению. Швейцарии разрешалось быть на карте, но — быть родиной?! Нечто неформулируемое, горячее и сильное подымалось в груди и начинало выходить клочкотаньем патриотического счастья. Ну что тут поделаешь? Какой-нибудь перуанец или бельгиец разве способен любить родину до такой силы чувства? Он же не понимает значения этого слова — родина, тогда как русский хороший человек Свинцов идет от него просто сыпью... Нет, Свинцов не отказывал другим народам в умении любить. Он отказывал им в объекте. Пусть Люксембург живет и здравствует. Пусть! Но родина на земле есть одна. Она — Россия. И все тут. Как говорит один чумовой ведущий в телевизоре: и зашибись!

Вот с этой не по росту высокой ноты пойдем дальше, но уже по-простому. Жорик с бебехами и Фросей был в глазах Свинцова некоей малочеловеческой субстанцией, потому что, имея счастье иметь... (см. выше), он раскатал губки на какую-то другую, вымороченную, придуманную, краем бока зацепившуюся за кусочек моря... И эту кажимость признать и ради нее покинуть то, что не имеют даже американцы! Вывешивание вышеупомянутыми по всякому случаю своего флага Свинцов не считал адекватным хлопанью в груди. «Пацаны, — думал он о бравых чужих парнях-пехотинцах с большими ногами и крепкой шеей.— Вам не дано...» И было в этом даже сочувствие сильного к младшему дуралею.

Очень возможно, что невыразимые чувства Свинцова и есть таинственная русская душа, постичь которую уже зареклись другие страны и государства.

Но климат в доме Лилии Ивановны образовался еще тот. Она не понимала глубинных чувств мужа, она, как глупая баба, подозревала его в примитивном — в антисемитизме и готова была прибить чем-нибудь под руку попавшимся. Это надлежало скрывать от гостей — и свой гнев, и стыд за Свинцова. Хорошо, что забот полон рот, не до тонкостей чувств, успевай корми, успевай мой посуду.

Всякая бюрократия и ожидание чартерного рейса заняли почти месяц. Когда стал известен точный срок вылета, приехала Астра. Увидев сестру, Лилька чуть не упала в обморок, так та «сдулась». Это детское Майкино выражение о родивших женщинах. «Мама! Мама! Тетя Валя уже сдулась!»

В новой Астре проявилась, видимо скрывавшаяся полнотой нервность, она ее молодила и даже делала соблазнительной, что конечно же корбило и ее невестку, и Майку, потому что подлый женский ум наворачивал на это совсем уж лишнее. Лилька, глядя на новую сестру, просто вынуждена была устроить досмотр собственных доспехов, влезла на весы, их зашкалило, посмотрела на лицо в увеличивающее зеркало — на нее просто выпрыгнули поры, эдакие кратеры мертвечины, если помнить снимок обратной стороны Луны. Но было не до себя. Последние дни перед отъездом оказались совсем оглашенными. Фрося истерически заходила лаем на ровном месте, по собачьему разумению не понимая смысла сдерживать

собственные чувства. Совсем как та зоценковская обезьяна, что шла по головам за продуктом, ибо не видела смысла оставаться без продовольствия. Животным в жизни живется проще. Они не отягощены разумом.

Отъезд свершился. В ночном аэропорту Астра билась о грудь Жорика, а когда они остались вдвоем с сестрой, Лилия Ивановна увидела старую женщину, у которой не то что все в прошлом, а даже и будущего нет никакого — одна незримая черта, на которой она недоуменно застыла. И не будь Лильки, волею судеб стоящей рядом, очень может быть, что Астра аннигилировала бы. Лилька будто почувствовала, схватила, обняла и мгновенно, как о давно известном, подумала, что вся физика — брехня, а вместе с ней химия, и никакой науке нельзя верить, разве что математике, которая имеет дело с дистиллированной цифрой, ею играет, ею удовлетворяется и ею утешается. Одним словом, подвергнув сомнению все, что трогается и щупается, сестру свою она схватила двумя руками и перетащила через невидимый барьер, за который та уже готова была уйти.

— Не смерть! — сказала ей Лилька громко и грубо. — Не смерть! Он поехал за лучшим... Скоро он позовет нас в гости.

Оказалось, произнесено было самое правильное слово. Гости. Рожденное среди баулов и чемоданов, можно сказать, явленное из самой своей сути, слово оторвалось и воспарило. Оно осиялось верхним светом и запахло праздником приезда, запахом родственности и любви. Конечно, не смерть! Конечно, поедem в гости! Астра шла и бормотала эти спасительные слова, да разве она одна делала это в ночном аэропорту?

Вернулись домой — а Свинцов вымыл квартиру. Лилия Ивановна просто остолбенела. Во-первых, плохая примета, во-вторых, он никогда, сроду этого не делал.

— Запах Фроси, — сказал он ошеломленному лицу Лильки.

— Да! Да! — затараторила Астра. — Мы вам тут устроили! Фросю вполне можно было бы оставить. Вполне.

В голове Свинцова сразу нарисовалась картина оставленных *его родине* собак. И это взамен бесплатного образования и медицинского обслуживания, дешевых квартир и городского транспорта? Он как-то странно всхлипнул и ушел от женщин, в которых в этот момент сосредоточилось для него все зло мира. Он был потрясен превратностями своей жизни, что расположилась так близко к эпицентру зла.

Возможно, оставшись один, он плакал. Но, потрясенная свернутыми дорожками в прихожей, Лилька все равно не прониклась бы всхлипами мужа, а Астра, обнаружив на стене часы, стала тупо считать время. Жорик обещал позвонить по приезде. У него было право на один звонок.

— Еврейские самолеты не падают, — сказала Лилька.

— Право одного звонка, — бормотала Астра. — Это звучит как-то угрожающе...

## 10

Уже не Пугачева, но еще и не Распутина, уже не хор Минина, но еще и не «Виртуозы Москвы», уже не Паулс, но еще и не Ростропович. Планетарная картина: Иван и Марья, не помнящие родства, выплескивают из ушата помой и детей. Ну да, конечно... Все до основанья. Все! К берегам на легком ветре идет белый корабль под странным именем «Приватизация». Люди лезут в словари, находят там «приват-доцентом», спускаются строчкой вниз. Ах, это что-то буржуазное! Машут кораблю платочками по причине глубинной российской неверности. Потом они будут плевать в этот корабль и писать на нем родные слова.

Но как бездарно говорить об этом и как невозможно из этого выйти.

Свинцов очень сдал в те дни. Лилия Ивановна, увлеченная событиями перемен, смотрела на мужа с чувством глубокого превосходства, ибо считала: она живет во времени, он же, мужчина, из него выпал, а значит, и пропал.

Оказалось, все не так. Пока жадная до жизни Лилия Ивановна вникала в тело перемен, Свинцов тихо и сосредоточенно приватизировал квартиру и написал завещание в пользу сына. Одновременно с этим, пользуясь наличием в ордере свекрови и каким-то веселым взлетом по службе, кавээнщик исхитрился получить большую квартиру, уже не на куличках, а в самом центре. Пировали до сердечного приступа хозяина дома и чуть было не потеряли кормильца, но веселый и находчивый выкарабкался с помощью Божьей и медсестринской. Барышня Даша была столь длиннонога, что ей переступить через простодырую Майку ничего не стоило. Ну ладно, Майка всегда была не оборотистой в жизни, но Лилия Ивановна ведь выносила из-под зятя горшки и длинноногую видела — как стояла та, держа на отлете шприц, и ждала, пока пожилая теща туда-сюда развернется с перестилкой постели. Потом девица боком обходила не стерильную Лилию Ивановну, чтоб выполнить свою медицинскую миссию, сдергивала с большого живописные трусики и с интересом изучала его мощную анатомию.

— Ну-ну, — говорила она, похлопывая по заднице кавээнщика и наблюдая за возрождением еще вчера полуживой мужской природы.

Майка проглядела момент заболевания, проглядела и момент выздоровления мужа. Захваченная обилием пространства в новой квартире, она двигала туда-сюда кресла и кушетки, перепоручив выхаживание мужа матери. А та и рада. За такого зятя стоит побороться с дядькой Инфарктом. Однажды притаранила кусок горячего, прямо из духовки, капустного пирога, который пах самой сутью жизни, ее вкусом, а за белой выгородкой — такая у зятя была привилегия — Даша умело выласкивала оживающего зятя. Быть бы еще одному инфаркту, но Лилия Ивановна сдюжила. Более того, она нашла объяснение, ибо всегда знала, что мужчина слабее женщины и духом, и телом. Его легко поднять, а опустить еще легче. Она взяла Дашу за шиворот и вытолкнула из палаты. Когда прикрыла зятев стыд, напоролась на такую лютую ненависть в зрачках, что аж качнулась, но опять же... Устояла. Пирог обнаружили на следующий день. Он уже не пах жизнью, он отдавал той тяжестью капустного духа, по которой как по нотам читается неблагополучие и даже начало больших несчастий. Чертова капуста! Нет более говорящего российского продукта. «Воняет капустой» — это не запах, это диагноз.

Из больницы зять вернулся с Дашей. И тут обнаружилось еще одно бессмертное свойство жизни: самая-рассама (вспомните особняки с лепниной) становится коммуналкой на раз-два. Что было бы с Майкой и Дашкой, возьми они в руки сковородки и дуршлага фирмы «Тефаль», еще не описано литературой этого периода. Какова «тефаль» в рукопашной схватке супротив, к примеру, чугуна?

Но была еще сильна Лилия Ивановна. И она была прописана в квартире, по которой в детском раже гоняла пуфики ее дистиллированно-дефективная для нашей жизни дочь. Именно Лилия Ивановна села за стол переговоров с зятем. Она помнила ненависть его зрачков, но помнила и говно, которое выносила своими руками. С говна она и начала. Конечно, будь советская власть в силе, не помирай она в жалких конвульсиях бездарности и глупости, кавээнщика могли бы взять за то самое место, к которому нашла путь Даша. Но сломались кости старой власти, поэтому Лилия Ивановна сказала просто: «Я сюда въеду, и будете иметь дело со мной. Я тебя, сукиного сына, из инфаркта вынула — я тебя туда же и засуну. Ты еще не знаешь, что такое черная кровь».

Он ей поверил. И они разменяли новую квартиру на две. И Майка получила лучшую. Пока шел процесс, Дашка жила где-то в другом месте, и у

этой идиотки Майки стали возрождаться дурьи мысли, что, может, все и зарастет. Пришлось Лилии Ивановне рассказать дочери историю в больнице, когда, мол, все началось, едва «эта сволочь» из реанимации вышел. Дочь залилась рыданиями, что было уже хорошо. Раз есть слезы, значит, жить будет.

Вот почему мимо глаз Лилии Ивановны прошел момент завещания Свинцова. Она тоже не очень с ним делилась семейной драмой, в которой так существенно была задействована. Свинцов знал вершки. Дочь разводится и разменивается. С кем не бывает. Говоря эти слова, Лилия Ивановна меньше всего имела в виду себя, что, казалось бы, естественно. Она как раз намекала Свинцову на него самого, который тоже ушел от жены. Странная логика женщины заключалась в том, что, клеймя зятя как последнего, случай со Свинцовым она рассматривала с некой другой стороны, где тот был прав, прав и прав. А зять — гад, гад и гад. Плюрализм мнений в одной башке — это не шизофрения или меньше всего она, это кухня жизни, в которой чужие мысли не потому потемки, что ты их не знаешь, а потому, что и собственные мысли можно не узнать в лицо.

Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые... Если сени — прихожая, на кой ляд ей решетчатость? Если же они крыльцо — то другая песня. Так и всегда: слово одно, а смыслов в нем тьма. Поди узнай, конец какого смысла у тебя в руках.

## 11

...Выплывают расписные Стеньки Разина челны. Скажем так. Сбрасывание за борт — это наша национальная игра. Это наша радость и гордость. И, может, единственное, что у нас получается наверняка.

Когда Лилия Ивановна схоронила Свинцова... А его усущение носило не только политический подтекст (сгубили страну-отечество, была великая, а стала никакая, распахбелъ развели, дерьмократы, и прочее, прочее), усущение Свинцова имело конкретную раковую причину. Тут, конечно, есть момент способствования, благоприятного сочетания плохих мыслей и плохих клеток, но скорей всего Свинцов умер бы и при советской власти, а не потому, что его отлучили от престижной клиники. Тем более что Лилия Ивановна так кинулась на его спасение, что Чазову и Блохину не снилось. Она поняла, как упустила его, как он чах в одинокой гордости... Но это она так думала. На самом деле у Свинцова наладились словесно-телефонные отношения с бывшей женой, и та передавала ему через сына импортные таблетки. Это и спасало его от той боли, какую невозможно терпеть, а малую боль он в отличие от других мужчин терпеть мог и считал нужным терпеть. Лилия Ивановна ни сном ни духом не знала, что Свинцов завел со своей болезнью очень доверительные отношения. Он даже уважал ее за силу, за настойчивость, за упрямство, за то, что она шла к цели, не сбиваясь с пути, чтоб он, Свинцов, тоже мог собраться с духом для дальнейшей дороги.

Для себя он понял важное. Болезнь его — кара за предательство жены, той, первой, микробиолога. Во весь рост стояла перед ним «нелепица его жизни» — вторая жена, возникшая как бы из ничего, но зато сразу в большом количестве. Свинцову не удавалось вычленить момент, когда раз — и сломалась его вполне хорошая и даже, можно сказать, нежная семья. Свинцов читал книги, в некоторых была описана страсть. Так ведь ничего же похожего! Ему и в постели было удобней с первой женой. Его всегда мущала некоторая агрессивность Лилии Ивановны, ее напор в деле молчаливом и потаенном. Для него были чересчур — сильные движения и сбитое дыхание. Зачем это? Ему важно было облегчение, и только оно, важен результат, процесс был стыден. А Лилия Ивановна могла додуматься

притащить в спальню бутылку вина, чтоб предложить запить это дело, тогда как ему хотелось повернуться спиной, чтоб не видеть и не слышать. Но он шел на поводу и обязательно прокапывал вино на подушку и потом спал на пятнах, испытывая мучительное отвращение. Лилия же Ивановна никогда ничего не прокапывала, успевала словить каплю с краешка губы, если, не дай Бог, случался пролив.

И так ведь прошло больше десяти лет. Без утешения привыканием. Он был счастлив, когда болезнь отстояла его право на отдельную постель. Уже в бессознании он видел вокруг себя первую жену и сына, а Лилию Ивановну не видел никогда, но, вероятно, чувствовал, потому что отталкивал ее (сильно, конечно, сказано, движение было бессильным), но, как ни странно, Лилия Ивановна понимала шевеление его пальцев как отталкивание, а не иначе, и обижалась почти до слез. Второй раз за небольшой срок она, борясь со смертью, получала в ответ эти наполненные нелюбовью (тут как раз сказано мягко, бывший зять просто пронзал ее ненавистью) глаза. Ей становилось тошно, пару раз ее и вытошнило. Она объяснила это концентрацией запаха, которым вся пропиталась, а ей следовало померить давление.

После похорон Лилия Ивановна спала почти двое суток. Конечно, очень многое на себя взял сын Свинцова, и она подумала, что не успела полюбить пасынка раньше, а получилось, что сейчас как бы и не время. Но лучше поздно, чем никогда. Она ведь помнила, что жила всю жизнь не прописанной, но кто ж не знает, что она — законная жена уже десять лет как... Она быстро пропишется, потому что паспортистка живет в соседнем доме, сами собой у них случились отношения в отделе продуктовых заказов, когда кило гречки стоило особых связей. Проспав после поминок почти сорок часов, Лилия Ивановна стала собирать документы и наткнулась на папку, в которой была и приватизация, и завещание, и письмо ей. И не то что это все было спрятано, нет. Все лежало в нижнем ящике письменного стола, где хранились разные отработанные бумажки, счета на квартплату, квиточки о междугородных переговорах, гарантийные талоны на то и се. Папочка лежала во всем этом. Откроешь ее — и сразу грамота ЦК КПСС, тут же и закроешь, но под ней-то все и было. Убийственное. Конечно, можно от этого умереть. И Лилия Ивановна даже уже не хотела читать письмо, которое, по всей вероятности, должно было ей что-то объяснить. Хотя разве это можно объяснить? Но тем не менее, сделав вдох и выдох, она вынула страничку, написанную уже тяжело больным почерком, с прерыванием букв, их недорисовыванием. Как будто письмо не писалось, а выклевывалось клювом.

«Лилия Ивановна!

Я знаю вашу оборотливость, поэтому принял меры. Вам надо покинуть квартиру, в которую вы вошли как татаро-монгол. Мне удалось найти ваших мужей и взять с них показания на вас. Это на случай вашей недобровольности. Исчезните! Я проклинаю тот день, когда вы встретились мне на пути».

— Это посильнее, чем «Фауст» Гёте, — сказала она вслух, следя за тем, как где-то в глубине ее начинается великое оледенение, и вопрос недлинного времени — сковать ее в айсберг, торос или какую другую глыбу. Потом она поняла, что не это самое страшное. Самое страшное — это с грохотом обвалившееся прошлое, как если бы ты шел, шел, а за спиной вдруг взрыв и пламя, оборачиваешься — а там ничего нет. Пустота и дым, а ты на кромочке, все разверзлось у самых пяток, но каков гуманизм! Пятки остались на тверди. И тут же выясняется, что без того, что было позади, нет и того, что впереди, и идти некуда. Это уже не великое оледенение, это не просто ты — ледяная дура внутри себя, это что-то другое.

Когда Лилия Ивановна посмотрела на часы, то выяснилось, что с момента открытия папки прошло пять часов. Странное исчезнувшее время на кромке провала. Ни мыслей, ни чувств, и застывающая от холода кровь.

Потом произошло включение. Она снова взяла письмо в руки. Оно так и лежало открытым. Она его свернула и обнаружила на обороте выклеванные буквы. Уже не письменные, плакатные. Буквы сложили слово: «ЛИМИТЧИЦА». Лилия Ивановна представила, как Свинцов волочил ноги к столу, возможно, когда она ездила в онкологический диспансер за рецептами. Возможно, она в тот момент моталась в конец города, где ей по заказу делали специальные подгузники. Свинцов признавал только русский самострок. Однажды он высказал ей мысль, что не завали нас Америка «ножками Буша», он вполне мог остаться здоровым. Он объяснил ей строительство их холодильников по принципу газовых камер, где нейтральные к политике куриные ноги подвергались особому опылению, которое тут убивает и калечит русских. «Мели, Емеля!» — смеялась Лилия Ивановна. Но не сердилась. Большой человек вправе молоть чепуху, она его отвлекает. И чем дурее чепуха, тем дальше она уводит от главного — болезни. У Лилии Ивановны было свое отношение к дури как таковой. Она наша национальная черта, думала она. Она часть замеса русского характера, притом немалая. Она наше горе и наше спасение. Дурь нам ниспослана. Она помогает не понять степень собственной катастрофы. Поэтому пусть! Пусть Свинцов сводит счеты с Бушем. Самое для него время.

Так вот, получалось — она ушла по его делам, а он встал. Держась за стенку и шаркая тапочками, добрал до стола. Как он сумел открыть ящик? Ведь надо было нагнуться, а ящик набитый, тяжелый. Значит, сумел. Преодолевая практически непреодолимую немощь. И все для того, чтобы тупым карандашом процарапать ей еще и это. Сам-то! Сам! Из деревни Пердюки, в Москву приехал мальчишкой в тридцать третьем. Говорил, не знал, что такое сахар. Самое смешное — того босого мальчишка она даже любила. И если муж всегда оставался Свинцовым, и только, даже в мыслях — человек-фамилия, то мальчик был Петя. Фотографий никаких, естественно, не было, но однажды, после аппендицита, она его зачем-то нарисовала. Была у нее неосуществленная страсть — рисование. Пара-тройка березово-осиновых пейзажей висели у внука, он сам, фломастерный, сидел на горшке с выпученными от старания глазами. И некто Петя. Лучшее ее баловство.

Очень спокойно, почти облегченно подумалось, что ей ничего не стоит разломать эту конструкцию, которая называется приватизация и завещание. Сладко подумалось, как она сметет это все с лица земли. Без напруга вошли в верхний слой памяти телефоны, фамилии, должности. Как все будет просто!

Она набрала номер сына Свинцова.

— Слушай, Филипп, — сказала она, — я разбирала бумаги и нашла распоряжения отца. Я думаю, ты в курсе. Я съеду на следующей неделе, после девяти дней. Пока! — и положила трубку.

Телефон тут же стал звонить, она не сомневалась, что это сын, что, может, он приготовил какие-то жалкие слова, может, просит ее не прикасаться больше к вещам, может, еще что, но Лилия Ивановна трубку не брала. Она знала, что совершила глупость, что эта глупость на конкурсе красоты глупостей заняла бы первое место, но знала она и другое: рухнуло что-то большее, чем квартира, и обнаружилось что-то большее, чем, может быть, сама жизнь. Хотя что есть большее? Бог? Но нет! Бога оставим в покое. Воистину это тот самый случай, когда не Его это дело, не Его... Она еще не способна до конца сформулировать. Ее еще обдувает сзади бездна, а впереди у нее сумрак ничего. Красивая, сволочь, жуть.

Надо было сжечь письмо.

Получилось все весьма ритуально. Она сжигала его на индийском подносе, который подарила ей Астри на пятидесятилетие. Поднос изображал из себя серебро, был по этому поводу чванен, но Лилия Ивановна его любила именно за эту его попытку выбиться в люди по фальшивым документам. В сущности, все такие. У каждого что-то скраденное: у кого национальность, у кого образование, а у некоторых сама жизнь. Любимый писатель молодости говаривал: жизнь взаймы. Но Боже, какое изысканное было это «взаймы» у них! Бумага горела плохо и пахла болезнью. Запах провоцировал и гневил. «Я что? Совсем полная идиотка? Или только частями? С какой стати я должна отсюда уходить?» Но в дым улетали все эти мысли, ибо были они не те... Потом она растирала по подносу пепел, разукрасилось фальшивое серебро черной грязью, когда вымыла, обнаружила: поднос засверкал, засветился. «Какая же ты гадина! — думала о подносе Лилия Ивановна. — Я на тебе жизнь сожгла, а тебе хаханьки!»

Между прочим, все время звонил телефон, но она не подходила. Ей казалось, что это Филипп, но ведь ей больше нечего было ему сказать.

На девять дней пришли только Филипп и Майка. Это было неожиданно. Готовилась ведь как на маланьину свадьбу.

Никто не пил. Лизнули рюмки, как говорила покойная мама, ради блезира. Именно этим словом мама ворвалась и села рядом, мест-то за столом навалом. Присутствие мертвой в отсутствие живых не казалось странным, не виделось мистическим, а выглядело вполне естественно и даже правильно. Лилия Ивановна нервничала на похоронах, ожидая, что может прийти первая жена. В конце концов, это было бы по-человечески, со Свинцовым она прожила большую часть жизни. Но той не было. Лилия Ивановна оскорбилась ее отсутствием, но ей объяснили: микробиолог на каком-то симпозиуме в Австралии и Филипп решил не срывать матери мероприятие. Тем более — такое расстояние. Лилия Ивановна стала думать: бывшая придет на девять дней. Первая жена и сейчас не пришла. Филипп уже ничего не объяснял, а вот покойная мама пришла и села.

— У меня такое ощущение, — сказала Лилия Ивановна дочери, — что здесь сейчас бабушка. Ты хорошо ее помнишь?

— Хорошо, — с удивлением ответила Майка. — Нормальная была бабуля, только очень храпела.

Разговор потек в этом направлении — о старческом храпе, потом о детском, который тоже есть, но он не злит, а умиляет. Застопорились на этом. Одни и те же проявления — забывчивость, неопрятность, неуклюжесть — у детей милы, а стариков убить хочется.

Майка говорила об этом громко, даже с каким-то вызовом, Филипп молчал, но криво улыбался, и мама криво улыбалась, получалось, что речь идет как бы о Лилии Ивановне, она тут одна бабушка-старушка, и вот, не называя ее, ей показывают, как она никого не умиляет.

— Я не храплю, — сказала она.

— Воистину ты — ты! — воскликнула Майка. — Ты не допускаешь, что речь может идти не о тебе, если речь вообще о ком-то идет.

«Получай, фашист, гранату», — подумала Лилия Ивановна, а мама подмигнула ей: знаю, мол, знаю.

— Так когда? — спросил Филипп.

Они уже попили пустого чаю, хотя и конфеты, и печенье, и разное печиво стояли на столе. Только мама пальцами прошлась по конфетному одежку и сказала вызывающе: «Конфекты!» Так она говорила всегда, когда все уже перестали вставлять эту лишнюю и претенциозную букву, намекающую на некий другой язык жизни, где жили люди с более искусными словами, поскольку они сами, люди, были поискусней. Не то что *эти*.

— Так когда? — повторил Филипп.

— Днями, — ответила Лилия Ивановна. — Дай мне собраться.

Когда закрылась за ним дверь, возьми и скажи скорей себе, чем Майке:

— Он что, ждал, что я прямо сейчас съеду?

— Ты про что? — спросила дочь.

«Ну да, — подумала Лилия Ивановна, — ей еще предстоит узнать».

— Тебе предстоит узнать, — сказала со всем возможным к случаю спокойствием.

Его было бы больше, не торчи в прихожей мама, которая шла как бы на выход, но замерла с руками калачиком. Так уже никто не держит руки под грудью, они всегда заняты, руки, они все время в движении, суете. Какой из них калачик?

— Дочь! — сказала Лилия Ивановна. — Я тут не прописана, как ты знаешь... И потому съезжаю туда, где прописана. Не поссоримся?

Конечно, слово произносимое надо выверять лучше. Прежде чем что-то ляпнуть, хорошо бы слово посмотреть на свет, попробовать на зуб. Неплохо бросить слово в кипяток и посмотреть, каково оно в кипении, не распадается ли на буквы, а потом быстро достать шумовкой и кинуть в морозильник, наблюдая за шипением, возникновением паров и силой запаха. Но где же взять на все это время, когда двое дышат друг другу в лицо, а третья — мама — притулилась сбоку, и теперь у нее уже кисти замочком, а большие пальцы быстро-быстро — так просто не бывает в живой жизни — крутятся друг вокруг друга?

Не выверенным в эксперименте оказалось слово «поссоримся». Оно-то и пошло в рост. И еще как! Крик стоял такой, что Лилии Ивановне тут же заложил уши, и она, господне благословение, перестала слышать. Вообще. Но видеть стала как раз лучше. В открытом криком рту дочери свинцово посверкивали пломбы, оказывается, их там много, а она уже и не знала. Непристойно мокрый язык опенился слюной, и Лилия Ивановна подумала: «Надо было умереть пять минут тому назад».

— У тебя и молочные зубы были плохие, — сказала она невпопад, потому что была в пограничном состоянии — уже и не жизни, но еще и не смерти.

В таком состоянии людей берут голыми руками и делают с ними что хотят.

## 12

Время сдвинулось, и в игру во всю молодую мощь вошла Майка. Распаленная, она взяла квартирное дело в свои руки. Она просто отодвинула мать в сторону растворяющейся бабушки, которая то ли от крика, то ли от слюнных брызг истончилась, извяла, а потом и исчезла где-то в складках висящих в прихожей пальто.

Майка вызвонила Филиппа, едва тот вернулся домой, и назначила ему встречу.

Начался великий торг.

Тут надо сказать, что, опытная интриганка шестидесятых — семидесятых, Лилия Ивановна к ходу его допущена не была. Отдав дочери документы в той самой папочке, которую она обнаружила так недавно, она снова оказалась во власти больных букв сожженного письма, выведших это проклятое слово «лимитчица». Она снова сполна глотнула ненависть и презрение этого понятия и снова всей душой, страстно захотела покинуть квартиру, надышанную Свинцовым. Ей было физически плохо, немочно в ней. Выяснилось: она на самом деле боялась и стеснялась неких «показаний» со стороны ее бывших мужей и с ужасом ждала слов Майки: «Так, значит, ты...» Ей хотелось бечь незнамо куда как от прошлого, так и от будущего. Но она — и это важно — была заперта. Так решила Майка.

— Ты сейчас социально опасна, потому что глупа. Отлежись. Я буду приносить тебе вкусенькое. Даже не мысли собирать чемоданы.



И дочь заперла Лилию Ивановну. Теперь за ней по квартире бродила мама. За мамой следом, шаг в шаг, — мысль о самоубийстве. Мама легонько прихихатывала, а мысль о самоубийстве имела облик давней однокурсницы, которая мазохистски, чайными ложками, пила уксус, чтобы «знать ощущение предсмертья». Еще она цепляла на себя петлю и опускала ноги из окна шестого этажа, пока однажды ее не увезли в психушку. Где и потерялся ее след. Так вот... Мысль о самоубийстве имела высокий рост и маленькую головку несчастной Зои Майоровой, а Лилия Ивановна и не подозревала, что помнит ее, долговязую, сутулую, в коричневом платье старенькой школьной формы с белесыми разводами многожды высохшего под мышкой пота.

Майка приходила, мерила матери давление, оставляла кассеты с новыми фильмами, разговор вела посторонний. Однажды шагами просчитала квартиру от входной двери до противоположной стены. Лилия Ивановна просто вживе увидела, как дочь проходит сквозь стены. Ей позвонили из издательства, в котором она числилась и даже получала какие-то копейки, поинтересовались, не выбросила ли она сто лет висящую на редакции рукопись о бурятских шаманах. «Нет, — сказала она, — лежит на антресолях». Попросили прочесть ее живым, свежим глазом. «Вам сейчас это нужно», — сочувственно сказали ей. Как же, как же! Очень ей это нужно! Шаманы плюс мама и эта Зоя Майорова. Самое то!

Но полезла на антресоли, достала рукопись. Майка поддержала намерение заняться делом и стала вымерять квартиру, уже от одной несущей стены до противоположной.

«Она меня недооценивает, — думала Лилия Ивановна. — Я все равно здесь жить не буду».

Майка не приносила ей в клюве разоблачительное «я теперь про тебя все знаю». Да и было ли что? Реже стала появляться искательница смерти Зойка, а однажды и совсем исчезла. Ушла и мама. Как-то Лилия Ивановна проснулась от зуда во всем теле, пришлось снять рубашку перед зеркалом, чтобы рассмотреть, нет ли сыпи. На нее смотрела вполне складно сложенная дама, без оглушительных разрушений временем. Сыпи не было. И она поняла, что зудит у нее изнутри, что так прорастает в ней то ли трава жизни, то ли так постреливает энергетика, которая совсем было покинула ее, но вот вернулась и теперь разминает ее нервы, тоненькие и полуживые. Лилия Ивановна голяком прошла по квартире, отражаясь в зеркалах, стеклах дверей, полированных плоскостях. Изысканно изогнутой она была в белом металле смесителя в ванной.

— Ух! — сказала она себе зеркальной и выматерилась так, как и не знала, что умеет.

Потом позвонила дочери и велела вернуть ей ключи.

— Конечно! — прочирикала та. — Только не сегодня и не завтра. Хорошо? У тебя ведь есть еда?

Через три дня Лилия Ивановна ломиком вскрыла дверь.

Майка появилась с большущей сумкой и букетом цветов, когда в дверь уже врезался новый замок, мать стояла на стреме, а ломик лежал на подзеркальнике.

— Вот и хорошо, — сказала Майка. — Я это тоже имела в виду. — Она бросила две связки одинаковых ключей. — Это Филипповы, — пояснила она. — Мы обо всем договорились.

Когда ушел слесарь и Лилия Ивановна подмела стружку, Майка ждала ее с обедом — пельменным супом с укропчиком и двумя коробочками тертой магазинной морковки. «Руки бы у нее отвалились потереть самой», — подумала Лилия Ивановна, душа которой не принимала пластиковой еды. «Разве знаешь, какими руками это все хватают? — сердилась она. — Мы народ, который еще не научился подтирать задницу». — «Фу, мама! — гворила Майка. — Я знаю, где покупаю».

— Мамуля! — сказала дочь. — Слушай внимательно. Филипп берет мою квартиру. Ему она удобней географически. Мы с ним как бы совершаем обмен. Ты остаешься на месте, мы с Димкой въезжаем сюда, Филипп — в мою. Сечешь? То есть в мою въезжает его сын, у них получается одна линия метро.

— Как тебе удалось? — спросила Лилия Ивановна.

— Припугнула! — засмеялась Майка.

Было видно, ей хочется рассказать подробности, потрясти мать оборотистостью, ловкостью. Чтоб та поняла, что обставлена и отставлена. Вечно она трандела, что Майка — полная балда по жизни. Что, конечно, так и было. Тот ее развод и обмен она целиком прорыдала в подушку, зато сейчас... Слушай, мамуля, слушай!

Оказывается, в дело был включен кавээншик, который, как говорили раньше, «шился в сферах». Теперь говорят иначе: «У него все схвачено». Филиппу пообещали и моральный, и материальный урон, если он начнет тяжбу с женой отца, а Майка...

— Я ему прямо сказала, — тараторила дочь, — подворзую в прямом смысле. Он сначала взвизгнул, а потом уже испугался. Ответил, что и сам это может. Ну, в общем, я ему объяснила, что, конечно, может, но стоит ли дело крови? Он мне про волю отца, тут я посмеялась. Все ведь знают, сколько дерьма ты из-под его отца вынесла за время болезни. Я тебе скажу, мамуля: его можно было додавить еще и на сумму прописью. Ведь моя квартира оказалась на пять метров больше. Но я не мелочная. Хрен с ним. Так что давай думать, как мы тут расделимся. Выбирай себе комнату.

— Я не буду тут жить, — сказала Лилия Ивановна. — Мне тут не климат.

В голове у нее все спуталось. Так бывает с волосами, если долго носишь тесную шапку. Волосы в темноте и панике свиваются в узлы и колтуны, которые проще бывает отрезать, чем расчесать. Приблизительно так или близко к тому было и с мыслями. Колтуны, но только в нежном теле мозга. «Зачем ей это? Зачем? А... Ну да... Она испугалась, что я к ней вернусь? Но мы и так остаемся вместе... Как она сама сказала — там даже на пять метров больше... Отдельные комнаты... Ну да, ну да... Но в ее квартире можно было сделать легкую стенку... Есть же пять метров!.. Но я занимаю неизмеримо больше места. Ко мне приходит мама, Зоя Майорова, шаманы скоро придут... Я уже слышу бубен...»

Это Майка стучала ложечкой по чашке.

— Кому я все говорю? — кричала она.

— Я не буду здесь жить, — сказала Лилия Ивановна

— Об этом будем думать, когда оформим все бумаги, — вдруг миролюбиво сказала Майка.

«У нее своя стратегия, — подумала Лилия Ивановна. — Свой расчет». Она хотела резко сказать, что все раскусила и все понимает, но позвонили в дверь. Принесли телеграмму. Приезжала Астра с мужем.

— Вот видишь, — сказала Майка. — Наглядный пример. Три отдельные комнаты всегда лучше двух смежных.

Сестра не знала, что умер Свинцов. Лилии Ивановне помнился отъезд Жорика и то, как набряк по этому поволу покойник. Астра, какой бы ни была наивной, провинциальной и потрясенной, не могла этого не заметить.

— Он тяжелый человек? — спросила она тогда уже перед самым отходом поезда.

— Кто? — сделав вид, что не понимает, ответила Лилия Ивановна.

Но тут возник угол чемодана, какая-то сумка с банками. Вокзал — идеальное место уходить от вопросов, в его движении перемалываются и ответы, и вопросы. Это место компромисса и замирения, потому что ссориться в дорогу бездарно. Мало ли как под колесо ляжет слово.

Потому Астра только и знала, что Свинцов болен, а кто в наше время здоров? Когда он умер, Лилия Ивановна решила, что напишет обо всем обстоятельно, но случилось другое письмо в папке и все такое. А вот теперь Астра приезжает с мужем, и ее не остановить, потому что она уже в дороге. Телеграмма дана со станции, когда был куплен билет.

Оказалось, все не просто так. Астра замыслила отъезд в Израиль и приехала в Москву на разведку. Деловитая и конкретная, этим она была нова и неожиданна. «Квашня подобралась», — определила развитие Астры Лилия Ивановна. Все еще существующая в пространстве слова «лимитчица», выведенного ненавидящими пальцами, придавленная квартирным пасьянсом, она сейчас, сегодня, была полной противоположностью сестре: она была квашней, растекшейся по столу.

Лилия Ивановна заперлась в ванной и пустила в полный напор воду. Благословенный широкогорлый смеситель страстно ударял воду о голубое дно, бурунчики, брызги, завихрения, потение зеркала были замечательной средой обитания слез и тихого горлового вопля женщины. С ним выходила из Лилии Ивановны жизнь, но не в том смысле, что она умирала, нет, из нее выходила предыдущая жизнь, зато другая, наступающая, капельным методом входила, что доподлинно доказывало наличие в нас определенного количества сущностей, которые в нужное время заменяют друг друга, как заменяет в несении гроба одно плечо другое, уже затекшее от тяжести. И тогда откуда ни возмись тихо так — присутствие смерти дисциплинирует — возникает плечо-дублер, и шествие гроба продолжается, лишь секундно вздрогнув на моменте передачи веса.

Лилия Ивановна вышла из ванной с высоко подколотыми волосами. Так всегда. В ней сам собой возникает придурочный Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота. И тогда резкий, можно сказать, авангардистский пучок вверх странным образом придает ей силы жить. Разве это самый нелепый способ спасения себя? Бывшая жена бывшего Свинцова (так он рассказывал Лилии Ивановне в ту пору, когда говорение о первой жене помогало моменту перехода от одной женщины к другой), когда у нее возникли неприятности по партийной линии в связи с невежеством секретаря парткома, ни бельмеса не понимающего в тонком, но крепком теле микробиологии — так вот, жена пыталась при помощи двух зеркал и крепкого раствора марганцовки извести крохотную бородавочку, никому сроду не видную. Когда случался в жизни караул, уничтожению подвергалась именно эта невинная выпуклость, мирно живущая где-то в районе подмышки. А вот подруга самой Лилии Ивановны в отчаянии всегда ела в огромном количестве свиные хрящи, ее спасало собачье чавканье и громкое пережевывание.

Так что волосы столбом вверх — просто пустяк и ерунда в деле самохранения. Во всяком случае, выйдя из ванны и увидев профиль Николая Сергеевича на белом шелке оконных штор, Лилия Ивановна подумала: «Как она с ним живет? Я бы его убила!»

### 13

— Я восстановлю свое еврейство в полной мере, — сказала Астра.

— У тебя русская мать, — ответила Лилия Ивановна, — в полной мере. Для них это непрохонже.

— Надо поискать пути, — мягко сказала Астра. — Я собираюсь съездить в Пушу-Водицу. Ведь мы оттуда... Я не хочу, чтобы у Жорика были проблемы.

— Боже! Какая глупость! — воскликнула Лилия Ивановна. — Это называется поди туда — не знаю куда... Придумала какую-то Пушу-Водицу...

Но с сестрой все было непонятно. Та улыбалась загадочно и по-новому, хотя волосы за уши заправила абсолютно старым детским жестом.

Николай Сергеевич все время молчал. Как немой. Куда-то ходил, когда сестра шла в посольство. Возвращались они поврозь, и он профильно застывал на фоне шторы, а Астра же была таинственно возбуждена и подвижна.

На пятый день Майка спросила мать:

— Они надолго? Мне надо знать, когда переезжать. Но в коммуналку я не хочу.

Обретающей еврейство сестре все не расскажешь... Да что там все! Ничего не расскажешь... Ни про завещание, отбросившее Лилию Ивановну в незнамо куда, ни про хитроумную интригу дочери и пасынка, ни про бывшего зятя-кавээнщика, привлеченного в качестве пугала-устрашителя. Ни про письмо ненависти, которое она сожгла, а пепел перетерла пальцами. У нее до сих пор скрипят подушечки от того перетирания. И саднит, и саднит фантомная боль, хотя все цело, все на месте.

Не пришлось задавать бестактный вопрос об отъезде. Астра сама показала ей билет в Киев для себя, а для Николая Сергеевича — обратный домой.

Накануне переезда Майки с сыном Лилия Ивановна произвела до-смотр всех своих доспехов, отобрала те, что годились для прохождения службы, аккуратно, как всегда умела, сложила вещицы в хороший легкий чемодан и скрипнула молниями. Дочь на порог — а мать с порога.

— Ты куда это? — заполошенно спросила Майка. — Сейчас же привезут вещи!

— Живи, детка, — напевно ответствовала мать. — Живи! Ты же меня не спросила... А мне тут жить запаadlo...

— А где же ты будешь жить? — ничего не понимала Майка.

Какая она у нее простодырая — дочь!

— Подробности письмом! — почти смеялась в ответ Лилия Ивановна.

Была некоторая потасовка, когда Майка вырывала из рук матери чемодан, был тычок матери в дочерино тело («Боже! Что делаю? Что делаю?»), но Лилия Ивановна втащила в лифт, нажала кнопку.

— Ну и черт с тобой! Черт с тобой! — кричала и плакала в лифтовую шахту Майка.

«Очень правильные слова. Самое то!» — думала летящая вниз Лилия Ивановна. Кто бы ей сказал, что на старости лет она будет способна на такой выбрык! Суть же заключалась в том, что у новорожденной Лилии Ивановны, так хорошо и грамотно планировавшей всю свою прежнюю жизнь, на этот раз не было никакого плана. Ей уже в эту ближайшую ко дню ночь ночевать было негде. И уход ее был дурью, другого слова не найти, но что тут сделаешь, если пришло время дури? Явление дури столь же закономерно и целесообразно, как пришествие наития гению. И еще неизвестно, что более матери-истории ценно.

Ужас охватил Лилию Ивановну на улице, сразу за дверью. Но не возвращаться же назад? По закону дури она шла вперед.

В это же самое время сестра ее, Астра, сидела в тесной киевской квартирке и пила чай со своей троюродной, а может, и четвероюродной сестрой-учительницей, которую сроду не знала, но вот нашла по цепочке. Новая родственница, конечно, удивилась, но чай заварила свежий и теперь смотрела на Астру круглыми, через край проливающимися любопытством глазами.

«Они у нее как у мамы и Лильки, — думала Астра. — Зрачок дрожит одинаково». Сама Астра носила глаза темно-карие, но с зеленовато-морским отливом. Зрачок в них стоял как влитой, как шляпка гвоздя, вбитого не дрожащей рукой мастера.

Учительницу звали Вера Алексеевна, она была старой девой из тех генетически обреченных женщин, которые принимают судьбу с покорным достоинством. Отсутствие мужчины в ее жизни было абсолютным и, как всякое законченное явление, имело свою идеологию. Когда-то в дурном детстве ее изо всей силы прижимал к забору соседский мальчик. В момент возни он вдруг стал вялым, заклокотал горлом и резко ушел, шмыгая носом. Ей хватило на всю жизнь такого опыта. С тех пор прошла одинокая однополая жизнь. Трудна была молодость тела, подающего стыдные сигналы. И будь другое время, Вера Алексеевна вполне могла стать религиозной фанатичкой, с восторгом влезаящей во власяницу. Но никакое время не лучше другого. То, которое обломилось ей, было временем, скажем, материалистического идеализма. Абсолют был выведен корявыми словами: «У вас у всех грязно, а у меня всегда чисто». Она терла, терла себя грубым, плохо пахнущим хозяйственным мылом, потому как мыло хорошее не могло обеспечить дезинфекцию.

Учительская среда была вполне комфортна для такого рода истязаний, школа изначально ненавидела радость. Радость — обманку счастья — разоблачали в глазах детей, потому как жизнь — «ведь это труд, и труд, и труд, труд и там, и здесь, и тут...». И все. И приехали. И не воображай себе.

Такова была новая родственница.

Вера Алексеевна с интересом узнавала о неведомых побегах фамилии, особенно ее заинтриговала живущая в Москве Лилия Ивановна. Надо же! Всегда такая проблема — остановиться в Москве, а тут на тебе! Есть сестра! Да к тому же теперь вдовая, значит, меньше неловкости от возможной встречи с женщиной. Пожилые и старые мужчины вызывали у Веры Алексеевны особенно брезгливую жалость. Если они такие отвратные бывали в юности, то какие же они становились потом? Она жалела всех женщин, имеющих несчастье жить со стариками. Никто, никто не знал, что Вера Алексеевна с глубоким удовлетворением узнавала о смерти любого из несовершенной половины, удивлялась удивлению тех, кто восклицал: мужчины живут много меньше! А как могло быть иначе? Как?

Еще она с удовольствием узнала, что новые родственницы по нескольку раз ходили замуж. Разве она изначально, априори, не знала, сколь бессмысленно глупо это путешествие? Вера Алексеевна все сильнее и сильнее чувствовала мудрость собственной жизни, а ведь никогда мы не бываем так добры, как в сознании собственного превосходства.

Никогда бы сроду она не стала распахивать перед чужим человеком ворота рода, но тут...

Она высыпала на пол фотографии из большого полиэтиленового мешка, они доставались ей по смерти старых, никому не нужных родственников. Именно к ней стекались ветхие открытки с пасхальными яйцами и кучерявыми младенцами, талоны на галоши за тридцать четвертый год, корешки от хлебных карточек, розовые раковины с надписью «Привет из Сочи!», грамоты обкомов, райкомов и прочих комов, вот уж их была полным-полна корбушка... И, конечно, фотки. Практически вечные дореволюционные и нэпманские и разламывающиеся от прикосновения выцветшие последующие. В мешочном хозяйстве Веры Алексеевны это сразу бросалось в глаза.

— Как же отличается качество! — сказала Астра, разглядывая фотографии. — Вот это кто?

Она не говорила о цели своих поисков. Она с детства знала: не зная броду, нельзя касаться еврейской темы. Всегда можно напороться на тех, кто «их ненавидит». Легкими касаниями проверяла она обстановку, дабы потом ступать дальше.

Вот и здесь. На фотографии горбоносая, с еврейской поволокой женщина. Астра ведь просто так спрашивает. Без смысла. «Это кто?»

— Жена моего двоюродного дедушки. Полячка. Видите, какой глаз глазливый? Наводила порчу. Сейчас это понимают, а тогда не признавали. От нее умирал животный мир.

Астре неинтересна гибель животного мира. Она ищет свое. Вместе рассматривают фотографию широкобородого старца. Их общий корень. Растил своих детей и племянников, оставшихся без родителей.

— Белогвардейцы были, — тихо бросает Вера Алексеевна.

Но Астре неинтересны и белогвардейцы. Вера Алексеевна — веточка от племянников, а она, Астра, — видимо, от самого широкобородого.

— Крепкий мужчина, — говорит Астра, чтоб что-то сказать.

— Его мать — такая семейная сплетня — гуляла с местным шинкарем. Из евреев. Вроде бы он от него.

Конечно, Астра уловила нотку удовлетворения, что в самой Вере Алексеевне нет следов блуда с чужой кровью. Ничего не было сказано, но Астра прочитала все по движению воздуха, по легкому дуновению ветерка неприязни к доисторической грешнице.

Астра ликовала. Она уверовала сразу и до конца, что ее мать — след того старого греха и это то, что ей надо. Не важно, что никто никогда этого не докажет. Ей важно *знать самой*. Она прошибет, если надо, своим нутряным знанием любую стену. Конечно, Вера Алексеевна понятия не имела, какая фамилия или хотя бы кличка была у шинкаря. С какой стати ей, непорочной, знать? А старика с бородой звали Руденич Тарас Иванович. Потом редкие бровишки на лбу Веры Алексеевны сползлились вместе, и даже как бы слегка затрепетала их коротенькая неказистая поросья.

— Уже плохо помню, — сказала она. — Но кажется, она куда-то исчезла, его мать. Говорили, что ушла из дома и не вернулась. А может, не мать — бабушка? Но история с исчезновением была.

— А какие еще были истории? — ласково спросила Астра. — Живем же — и ничего не знаем, а за нами тысяча и одна ночь.

Но Веру Алексеевну повело в сторону, она стала лопотать про своего брата, который уехал строить БАМ и женился на бурятке. Приезжали в гости. Ужас, а не женщина! Глазки-щелочки и какой-то острый запах. Вера Алексеевна, говоря о невестке, почему-то прослезилась, обнаружив слабую душевную струну. Возник удобный момент перевести разговор на другое — на то, что пора и честь знать, хороши гости, если в меру. Пока Вера Алексеевна отсмаркивалась, Астра уже влезла в туфли, уже платочек натянула, сказала, что позвонит, и прочее, прочее... Чмокнула обретенную родственницу и исчезла.

Итак, была обретена уверенность в праве на отъезд. Факты — ерунда. Их отсутствие — чепуха. Семя шинкаря играло в ней с такой силой (конечно, семя! а что же еще?), что ее распирало от желания скорей, скорей рассказать все Лильке. «Ну, — скажет она ей. — Что я тебе говорила?»

И пусть эта дура найдет что ответить.

Из-за этой дури — «рассказать!» — она поперлась домой через Москву, где и обнаружила полное отсутствие старшей сестры. Майка хлопала в не очень свежий носовой платок, вспоминая, как хватала маму за чемодан, а та с «перекошенным лицом села в лифт и уехала».

— Я из окна ей кричала! — плакала Майка. И еще она сказала: мать звонила на работу, сообщила, что уезжает в деревню готовить рукопись про шаманов.

— Какая деревня? — плакала Майка. — У нас сроду никого в деревне не было.

Астра была потрясена до глубины души. Поезда столкнулись и пошли под откос. Ведь она только вчера узнала, что когда-то, давным-давно, некая пра... ушла и канула. Она гуляла с шинкарем-евреем, эта пра... Имен-

но этим была похожа на нее сестра. Не в смысле шинка и еврея, а этой способностью гулять.

Ах, какая сильная кровь! В организме Астры происходили взаимоисключающиеся физические процессы — леденели жилы и плавилось сердце.

## 14

Химия организма может ставить безответные задачи. Оставим их. Нам важно другое — момент убегания. В нем находилась сейчас старшая сестра Астры. Кто бы мог подумать о ней такое, глядя на нее же из ее прошлого. Но получалось так: анализ из вчера, из вчерашней Лилии Ивановны, просто не годился для понимания сегодняшней, убегающей. Итак, она услышала, вернее, учувствовала крик дочери в шахтную пропасть. То самое «черт с тобой!» оказалось самой что ни на есть компанией. Паника, отчаяние, гнев, ненависть... Что там еще по разряду не божественного? Все в Лилии Ивановне спеклось в ком, он рвал ее на части, уже и не осталось ничего, один всамделишный вопрос: куда мне идти? Что я себе надумала? Барахло вещей тяжелило руку, но надо было с ним двигаться.

Она шла навстречу трамваю, лоб в лоб, какая дура! В последнюю минуту отпрыгнула и отметила не без удовлетворения: «У меня хватило сил отпрыгнуть». Она полюбила трамвай.

В конце концов на следующем она поехала к трем вокзалам, а потом в Мамонтовку. Когда-то она жила во грехе с инструктором ЦК. Тот страшно боялся неприятностей с женой и партией, и ей самой пришлось искать пристанище у этой — как ее? — Таси, нет Тоси, что торговала творогом на Бутырском рынке. Лилия Ивановна была у нее постоянным клиентом и имела скидку. Потом было какое-то пальто-деми из ГДР, оно не подошло Лилии, а тетке с рынка — в самый раз, даже так: та просто обалдела от капюшона, который красиво так прикрывал мохеровую шапку с чулком внутри. Зелено-бутылочный капюшон и красный мохер — этот «вырви-глаз» оказался воплощенным прекрасным, и творог для Лилии Ивановны упал совсем до смешной цены.

На фундаменте красоты и рибофлавина стали не то что подругами, а гораздо больше. Стали подельницами в борьбе за счастье. Такой случился замес из творога, мохера и гэдээровской швейной промышленности. Смешно сказать для тех, кто потом положил в основание счастья пейджер и «тойоты», но ведь, как говорится, времена не выбирают, в них живут... А что окажется у времени в заглавнике для завтрашней радости, не знает ни один мудрец. Было счастье иметь козу (война), счастье обуви «прощай, молодость» (эпоха физико-лириков), синтетически сосулистых шуб (расцвет загнивания), время «Спидол», быстрых пирогов из блинной муки историка Похлебкина, водки из «Рояля»... Да мало ли...

Много лет Лилия Ивановна не виделась с торговкой Тосей с Бутырского рынка. Но почему-то была уверена: та жива и обретается в том же кирпичном доме со свирепой собакой, посаженной на такую толстую цепуру, что еще неизвестно, от чего холодела кровь — от лая, идущего из мокрой, хищной пасти, или от грохота цепи, намекающего на некую гораздо более страшную кару, чем быть покусанным.

Дом был жив. Собака, видимо, тоже, потому как висела та, раньшая, пластинка с предупреждением о ее злости, но во дворе было тихо. Лилия Ивановна стала стучать калиткой, как делала когда-то. Раньше (вот странность!) это был довольно сильный звук, а теперь он таким не был. Постукивание и поскрипывание не означали сигнала о приходе, они вообще не означали ничего. Так бессильно кричит о себе щепка, которую несет вода. Она не топит ее, нет, она просто не берет ее в расчет.

Лилия Ивановна во двор войти не решалась (память о собаке). Кричать: «Тося! Тося!» — тоже могло оказаться глупым. В конце концов, той

могло и не быть. Дома ли, на белом свете. Бездарно являться через ...на-дцать лет и ожидать, что не ворохнулась ткань вещей. Лилия Ивановна нашла на дороге железку от металлической решетки и стала стучать ею по металлическому почтовому ящику. Еще тот видок у леди в отороченном мехом полупальто и модных сапогах с металлическими носиками. В округе откликнулись чужие собаки, но двор Тоси молчал.

Странное сочетание облегчения и паники (см. леденение и плавление в этот момент у Астры). Ужас, если никто не откликнется, — дело к ночи, но одновременно — и холодок освобождения из побега тоже. Она из счастливой безвыходности вернется домой (к себе домой!), она поставит все на место! Черт возьми тебя, дочь! Будет так, как решит она, потому что нельзя с ней поступать, будто она уже сосет рукав. Не сосет! И тем не менее она барабанит и барабанит по ящику, стучит и стучит ногой по столбу забора и уже кричит во всю силу легких: «Тося! Тося!»

Воистину не ведаем, что творим...

Крохотное облако, практически без величины, так, одна кажимость, набрякло именно в этот момент и пролилось густым и омерзительно холодным мелким дождем. Это выглядело как проделка пакостника, брызгающего клизмой из окна на идущих внизу.

Когда дождь прошел, Лилия Ивановна обратила внимание на закрученные проволокой изнутри ворота и калитку, она увидела не топтанное ногами крыльцо, а потом и то, что должна была увидеть сразу, — внутренние ставни.

Ощущение себя нигде. Чемодан тяжел, сапоги неудобны. И ни один человек из другого двора не вышел сказать ей, дуре: «Кого ты зовешь, женщина?»

На станции она села в первую попавшуюся электричку.

С этой минуты Лилия Ивановна исчезла из поля зрения дочери, сестры, издательства по шаманизму и разных прочих шведов.

## 15

История могла легко свернуться сама в себя, как сворачивается сухой лист. Но ничто на земле не проходит бесследно.

Возьмем ту же Астру. Она уехала из Киева, приехала в Москву, не нашла сестру, а нашла племянницу, узнала, как ускользнула от той в пропасти лифта Лилия Ивановна, как дочь обиделась на мать и наоборот... Можно не останавливаться и писать, и писать длинно и печально о несопадении и непонимании, но нет...

Вернемся обратно в Киев.

Вера Алексеевна, чисто вымытая хозяйственным мылом учительница-дева, была переполнена явлением новой родни, ей хотелось поделиться новостями с кем-то, рассказать про Астру («молодежная стрижка, как-то даже неловко, когда открытая шея при наличии дряблости»), про некую Лилию Ивановну («молодая вдова, осталась в большой квартире, потолки три пятьдесят»).

Вера Алексеевна металась в поисках собеседника из родни, потому что просто так, чужому, это неинтересно. Но наступило время, когда все рассыпались горохом и живут без общения. Где-то умирают дальние старики, соседи уносят с собой их подушки и заварные чайники, а ей достаются фотографии, глянцевые грамоты и неотоваренные талоны.

Вера Алексеевна испытала обиду одиночества, стала чистить пемоксолью раковину, зачихала, пошла искать супрастин («это у меня аллергический компонент на химию»), а к ней возьми и приди двоюродная сестра. Очень нелюбимая, очень неприятная, одним словом, еще один аллергический компонент. Вера Алексеевна выразительно, с некоторым даже вызовом выпила при ней лекарство, говоря прямо в глаза: «Между прочим,



это супрастин». Имея в виду момент раздражения, который вызвал у нее приход Марии.

А та, как оказалось, много чего помнила и знала. Во-первых, она знала девчонок — Лильку и Астру. Во-вторых, она знала их маму. В-третьих, после самой войны она у них жила, потому как... Боже, какое было время!

Вера Алексеевна, занятая усвоением супрастина, оставила без внимания то смятение лица, которое случилось у ее гостя. Вера Алексеевна не полагала правильным считаться с чужими эмоциями, когда имела свои. А то, что Мария стоит к ней спиной и смотрит в окно, так это ее свойство — бестактность поведения. Пусть стоит. Если бы Вера Алексеевна подошла ближе к Марии, то она увидела бы такое лицо у нелюбимой сестры, о котором не подозревала. Тем более она бы в голову не взяла абсолютно неправдоподобную вещь, что сама Мария тоже не подозревала, что прошлое может так проявиться и так тебя достать.

Мама, мамочка, мамуся...

...Во время оккупации у ее мамы, самой красивой женщины на свете — так думает она и сейчас, — был дядечка немецкий офицер, тоже писанный красавец. Они шли по улице — и люди замирали от такого количества красоты. Кареокая, с косой вокруг головы, мама носила такие ямочки на щеках, что казалось — никакая война не горе. Дядя Францик, высокий и сильный, выставлял один палец, и она, дитё, висла на нем и раскачивалась, и было ей так легко и спокойно, как никогда не было потом. Но потом наступило сразу. Было прекрасно — и сразу без перехода стало «потом».

Мамочку побрили наголо до маленькой синей головки и увели навсегда. Марусечка кричала: «Дядя Францик! Дядя Францик! Спасите!» И ее сильно, наотмашь, ударила женщина в форме. Она потеряла сознание, и на нее лили холодную воду, и она как-то сразу, без перехода стала взрослой, мокрой и несчастливой на всю оставшуюся жизнь.

Ее взяла к себе, «пока не вернется папа», тетя Дуся. Две худые, поцарапанные девчонки с бритыми, но не голубыми, а вычерневшими, будто подкопченными головами выпрямляли, вытягивая изо всей силы, ее кудри. «Кругом война, а ты кудрявая», — строго говорила старшая, Лилька. Но она тогда была уже большой и мудрой, и сказала, что хочет, чтоб ей сделали так, как у них. Наголо.

— Так у них же были воши! — смеялась тетка Дуся. — А ты вся вон какая сытенькая.

Пришлось жить кудрявой и терпеть насмешки бритоголового населения войны. Ее тошнило от козьего молока, а эти две девчонки не могли им напиться. И вечно ходили с белыми окружками вокруг рта.

Приехал с войны папа. У него дергалось веко и время от времени спазм перекашивал лицо. И тогда все ждали конца его муки, а потом продолжали разговор как ни в чем не бывало.

Она не могла полюбить этого человека. Не мог-ла! И уже понимала, что он знает про это. Потому и кривило его чаще всего, когда она была рядом. Она приносила ему боль. Когда ей было шестнадцать, папа умер. Это был какой-то специфический год. Его называли годом разоблачения культа. Она этого не понимала, ей было все равно: культ — не культ. Отец в гробу лежал красивый и длинный. Впервые она подумала, что они с мамой тоже были неплохой парой, хотя разве можно сравнить? Немца — так получалось! — она считала более красивым.

Всю жизнь она перебивалась из нищеты в нищету. Связь с теткой после их отъезда была потеряна сразу. Отец ей не писал, а Мария еще была безграмотной. Забылись бритые девчонки, а собственные кудри как-то сами собой почти выпрямились. Лет в семнадцать у нее поседела прядь волос. Красиво так поседела, с вызовом. Через многие годы дамы начнут

платить деньги за создание такого волосяного изыска. Она же стеснялась пряжи. Она вообще жила невпопад и понимала: да, именно так живет. Невпопад.

Долго не выходила замуж, потому что боялась несчастья возможных детей. Зоркий глаз отмечал неуменьшаемость детской бритоголовости на единицу площади и времени. Она долго думала над этим свойством — страны? земли? народа? — которые просто переиначивают время от времени название, оставляя суть. Вшивость теперь называлась исключительно педикулезом. Недоедание — авитаминозом. Война — миром. Работа в лаборатории больницы (после медицинского техникума) очень способствовала размышлениям. Тихо вокруг, только не спит барсук, стеклышки бряк-бряк, специфический запах человек изнутри. Она искала зависимость внешнего от внутреннего — и, увы, не находила. Разные люди имели одинаковую кровь, не говоря уже о прочих, более грубых, материалах.

Она жалела, что не смогла получить хорошего образования, спокойного и постепенного. Завлабша говорила ей: «Какие проблемы! Учись! Ты молодая и одинокая». Действительно, какие? Но она робела, боялась перемен, людей, конкурса, к тому же ей хотелось в университет, не в медицинский... Одним словом, духу не хватило, а там приспел и замуж, от которого она так долго оборонялась.

Он был прибалт, высокий и рыжий. Его звали Франц. Она никогда не скажет ему, что пошла на звук имени, как крыса за дудочкой. Она просила его вытягивать пальцы и пыталась повиснуть на них, дура такая. Хороший оказался парень. Она понравилась его родне, хотя он сказал, что мама пару раз вызывала неотложку, когда он написал ей про русскую невесту.

Боже, как она учила чужой язык! Когда переступила порог чистенького маленького дома недалеко от моря и пролепетала первые слова на их языке, мама Францика заплакала и заговорила с ней по-русски, и все пошло у них хорошо.

Потом она стала «собирателем их фамилии». Это когда ринулась в свой отпуск в Кемерово, где жила сослannая и считавшаяся потерянной родня мужа. И привезла на родину бабушку восьмидесяти лет, которая уже сходила с ума от сознания близкой смерти на чужбине. Она везла ее через всю страну, едва не потеряв старушку на Рижском вокзале в Москве, когда та сомлела, услышав свой язык по вокзальному радио. Кто-то потерялся, и его искали.

Она так и жила между Киевом и Ригой. В Киеве она копила силы, в Риге она их тратила. Дочка Лайма была счастьем в полном смысле слова. Она была похожа на ту бритоголубоголовую маму, которая, уходя от нее навсегда, старалась улыбаться. Так и эта маленькая дурочка вечно растягивает губы, чтоб виделись глубокие ямочки на щеках.

Сейчас она уже взрослая барышня, Францика уже нет. Он умер легко, на ходу, ни разу до этого не хворал. Лайма кончила университет и жила с бабушкой в Риге, а она сама по-прежнему со стеклышками бряк-бряк.

К Вере Алексеевне ее привело простое дело: она хотела узнать точно, из первых рук, сколько зарабатывает учительница в школе и легко ли найти сейчас работу в школе. Лайма ни о чем мать не просила, более того, говорила, что никогда-никогда-никогда в Киев не вернется, тем не менее... Если тут может быть лучше, «никогда» можно смять до последнего слога. Потому Мария пришла на разведку, хотя Лайма на это определенно скажет: «Мать! Это мои проблемы». Она ее называет — мать. Каждый раз Мария чуть-чуть пригибается под словом, как под непомерной тяжестью, но потом выпрямляется. Слово-то хорошее. Оно суть жизни, ее первоначальная клетка. Какого лучшего слова она ждет? Мать — это хорошо. Совсем не грубо. Не надо пригибаться.

Сейчас ей надо повернуться к Вере Алексеевне с лицом сегодняшнего дня и задать все необходимые вопросы. Но она спрашивает:

— Какая она, Астра?

— Стрижка короткая, а шея дряблая, — торопливо повторяет та уже давно сформулированную характеристику. — Интересовалась родней. Мы смотрели фотографии. — И вскриком: — Но я же понятия не имела, что ты ее знаешь!.. Откуда?

— Я жила у них после войны, ожидая папу, когда мама умерла. Ее мама — сестра папы.

Вере Алексеевне это неинтересно. Они познакомились, будучи вполне взрослыми дамами. На чьих-то похоронах.

— Жаль, что я не знала, — раздражается Вера Алексеевна. — Встретились бы... Но имей в виду: она оставила и свой адрес, и сестры.

— Хорошо, — отвечает Мария. Она еще не знает, что адресом воспользуется. Не знает, что войдет в их посмертную жизнь, что это уведет ее далеко-далеко от квартиры Веры Алексеевны. Она пока ничего не знает. Ничего...

Голубая головка мамы мелькнула и исчезла. Исчезновение паче смерти. Еще она не знает, что коснулась самого средостения боли. Боли ее рода. Фу, как высокопарно! И потому неловко. Просто она вспомнила, как уводили маму. И сердце ее сжалось до размера высушенной сливки.

## 16

Лилию Ивановну так и не нашли. Наступило время потерянных людей, хотя, как явствует дальше из этого скромного сочинения, такое время просто никогда не кончалось. Майка, плача о матери и одновременно ругаясь с ней, ища ее в моргах и больницах и испытывая облегчение («не она! не она! не она!»), все-таки и слегка ликовала, потому как процесс обмена был завершен и ей обломилась удача, что там ни говори. И центр, и отдельная комната для Димочки, и потолки как у бывших людей, а самое главное... самое... Этот политический проходимец из кавээнщиков, то бишь бывший муж, уже цокнул зубом, переступив порог ее квартиры, и сказал: «Красиво живешь, Параскева!» Тут было два момента: момент его зависти — самоочевидный — и момент нежности — потайной. Параскева — домашнее, постельное имя, имя только для них двоих, сим-сим или сезам их сокровенно-откровенных отношений. Майка от его слов вздрогнула от копыток до маковки, но стреножила чувства. А измену, оскорбление подняла до самого горла и ими выплюнула:

— Да пошел ты!

И тем не менее ликование от слова в ней поселилось.

Астра звонила, спрашивала о сестре и успокаивала племянницу: никуда, мол, не могла деться Лилия Ивановна, взрослый, разумный человек, еще, слава Богу, не в маразме. Просто она делает им всем назло. Астра говорила эти слова с чувством, как бы видя всю тенденцию жизни Лилии Ивановны: делать другим назло, а себе — исключительно удобно.

Из прошлого выплывали расписные Стеньки Разина челны, и на них громоздилась история с их мамой. Как та вызывалась сестрой, когда была нужна, а потом выпихивалась в грудь, когда была без надобности.

О себе Астра в этот момент думала в превосходной степени. Она копила в себе хорошее, собираясь к Жорику.

— Я поеду на разведку, — объясняла она мужу Николаю Сергеевичу. — Хотя заранее знаю: там хорошо. Столько умных людей не могут уехать туда, где плохо.

Николай же Сергеевич от слов этих становился вялым и неконтактным. Он не загорался внутренней идеей отъезда, и Астра думала: вот она, разница крови. Вообще с той минуты, как где-то на облаке желания посе-

лился шинкарь, Астра думала о собственной крови с нежностью, смешной для пожилой леди. Николай Сергеевич новаций в природе супруги не заметил и был, грубо говоря, не в курсе. Астра даже присмотрела себе новое имя, более подходящее ее новому составу. Например, как она узнала, еврейским было имя Анна. Кто бы мог подумать, но нате вам: Анна Каренина носила еврейское имя. На него Астра и наметила сменить свое. Пока она туда-сюда клокотала над ономастическими задачками, Николай Сергеевич ушел в себя так далеко, что окликающая его жена не получила ответа, обиделась, но и этим его не проняла, а когда он сподобился вернуться из собственного забредания, то очень удивился, обнаружив в доме мало-знакомую женщину с оскорбленно поджатым ртом. Николай Сергеевич печально задумался над всем этим, но задумался тайно. Он как-то враз решил, что его последующая жизнь не будет и не должна проистекать из предыдущей, и, опять же втайне, высадил план новой жизни в виде письма в город Таганрог, где должна была быть его родственница, потомственная хранительница чеховских мест, покинуть которые она могла, только если бы случился разлив Азовского моря с последующим затоплением Таганрога. Но и тогда... Впрочем, это уже страшное. Николай Сергеевич чувствовал желание прибиться к другому берегу. Но Астра была как бы без понимания. Она дотошно выясняла, сколько ей может стоить перемена паспорта, в котором она уже Анна и еврейка, с другой стороны, она не хотела, чтоб это стало достоянием всей улицы. Процесс шел тайный.

Как естественно и легко раздваиваются тропы. Это хорошо видно, если зависнуть на старенькой самолетной стрекозе, зависнуть и восхититься мудростью раздвоений, расцветверений дорог. Если же нет «У-2» — а его нет и неоткуда взять простому человеку, — то можно зависнуть и над муравьиной кучей. Тоже красиво и наглядно, как в анекдоте про пограничника, который сравнивал на вкус до боли родное слово «ж...» с чужим и неизвестным — «дупа». «Тоже красиво!» — восхищался он, удивляясь чудности языка, который для замечательного места в любом народе находит замечательное слово. Так и мы...

Не мы — Астра и Николай Сергеевич. Они еще живут вместе, но тропы уже торят разные.

Когда Астра снова приехала в Москву с уже новеньким паспортом (два миллиона и золотые серьги — еще то золото — с камушком никаким, но как бы бриллиантовым), она застала там странную женщину в балахонистом платье, которое могло скрывать все, что угодно, — и шестьдесят кг, и восемьдесят пять. «У вас платье на вырост», — сразу, с порога, съязвила Астра, ибо была уже Анной, была другой и могла легко, с места в карьер, сказать человеку возникшую мысль-гадость.

— Я люблю такие, — сказала женщина. — Я не люблю давление вещей.

Анна хотела ответить, что еще не пришло время носить на себе мешки, парашюты и плащ-палатки, время сейчас другое — время Дживанши и Версаче, ей ли, портнихе, этого не знать, но не сказала. Смолчала. Зачем накалять атмосферу не по делу, надо еще разобраться, кто она, эта дура.

Через пять минут балахонистая уже плакала на груди у Астры-Анны. Та сразу вспомнила девочку с неукротимыми кудрями, которые они с Лилькой выпрямляли при помощи прищепок.

— Боже!

— Боже!

Вошла Майка, хмыкнула. Несколько дней тому назад она категорически воспротивилась этой тетке из Киева (Знаем мы вас, знаем! Я ваша тетька, приехала из Киева. Я буду у вас жить!). Но в конце концов на порог пустила, долго рассматривала паспорт, в котором ничего, ну ничего не

указывало на родственные связи. Майка считала, что упомянула бы, если бы слышала раньше, имя — Мария Григорьевна, с перебором рычащих звуков. Она еще не забыла собственное выкарабкивание из детской картавости. Родственница, однако, оказалась вполне нормальной. Выяснилось и приятное: где-то есть и сестренка из Риги. Возникло странное ощущение: пустоту, оставленную матерью, стала бурно наполнять неведомая родня. Майка выросла в суровом климате родственных отношений: ни на чью грудь припадать было не принято. Даже матери. Ошибочка вышла с разводом. Но тут Лилия Ивановна сама вмешалась. Возникшая из ничего родня смущала Майку. Когда тетя из Киева шла ночью в туалет и Майка слышала щелчок выключателя, она сонно думала: «Сиротой быть лучше».

Потом число щелчков увеличилось — приехала еще и тетя Астра. Сыночек Дима заперся в комнате, какое счастье, что есть такая возможность, и выходил, только когда «старух не было», те же царапались к нему в дверь, каждая со своим киндер-сюрпризом, но упрямый мальчик дверь не открывал и молчал как убитый.

— У него нет момента аутизма? — спросила близкая к медицине тетя из Киева.

Майка шваркнула сковородкой по плите, а могла бы и поосторожней, как-никак — металлокерамика.

— Он просто засранец! — сказала она. — Имеет всех нас в виду.

Астра нежно вспомнила Жорика. Всегда выходил к людям и здоровался, не важно даже как. Но выходил. И факт — здоровался.

Мария тоже вспомнила Лайму, воспитанную девочку. Но, может, у нее это балтийское?

Скажи она это вслух, они бы с Астрой сцепились: та вся сейчас состояла из крови шинкаря и отца-еврея, и ей даже казалось, что ее ишемическая болезнь стала вести себя несколько иначе, поддавшись грамотному определению. В конце концов, внутренняя жизнь организма человека — это такая тайна...

Приложив ладони к тому месту, где под покровом тканей полагается быть сердцу, Астра-Анна думала об удивительном полете, который ей предстоит. Она видела под собой лужу записанного человеками Черного моря, плавно парила над неизвестным Средиземным, она оставляла за собой горы и поля и шептала ишемическому сердцу слово, которое слышала в ателье, когда по требованию молоденькой и прыщевой заказчицы все завывала и завывала той подол. Уже хорошо и четко ей снизу виделись беленькие трусики и бедра хорошей лепки, от колена до паха — просто загляденье. Так вот, на какой-то ей одной известной высоте юбки прыщавенькая разрешила остановиться и сказала это слово: «Кайф!»

Теперь вот, мысленно пролетая над бросаемым отечеством, Астра произнесла именно это слово, и сердце отдалось высокой и пронзительной экстрасистолой.

О, чудность человеческих природ! Русской и еврейской. О, великий антагонизм кровей, одинаково закодированных создателем! О, великое учение, придуманное евреями и агрессивно захваченное русскими как свое, собственно рожденное.

Такая грязь у помоек, какая существует в еврейских религиозных дворах в славный праздник Песах (Пасхи), существует всегда в русских дворах, за исключением одного дня — праздника Пасхи.

Таинственные, перепутанные кровями и идеями чудики земли.

И смеющийся сверху Бог, который смеется над этими двумя, даря им все и все отнимая.

Астра смотала удочки. Не насовсем. На пока. Чтоб потом вернуться и забрать Николая Сергеевича. Ей и в голову не приходило, что переписка

мужа с Таганрогом шла вовсю и ему уже было найдено место в семье хорошей вдовой женщины, тоже хранительницы какого-то музея. Эта женщина уже радостно ждала мужчину для оставшейся жизни и даже сходила к гинекологу на предмет что и как. У вдовицы все было в порядке. И тропка не заросла.

На что Николаю Сергеевичу было намекнуто в письме чеховской хранительницы. Он взволновался и выпил настойку пустырника. Астра как раз ходила ставить набойки на удобные немецкие туфли. Все-таки дорога, хотя и полет. Она хихикнула над этим, чувствуя в себе молодую траву радости.

Так и улетела в чиненой обуви, с ощущением парадоксальности понятия «удобная обувь для полета в небесах».

Уехала и Мария. Она и провожала Астру, и все домогалась, когда та вернется, чтоб ей приехать и встретить. Но Астра виляла, от ответа уходила, а новая родственница нервничала: вот-вот обрела сестер — и сразу потеряла. Одну так в прямом смысле, а другая просто вся дрожит от самолетного нетерпения.

В этот момент у Марии началось то, что когда-то уже было, — страсть собрать семью. Она еще не оформила это в конкретное желание, но снова прицепилась к Астре как репей: когда, мол, и когда? В смысле — вернешься...

Ей и в голову не могло вспрыгнуть, что клокочущее Астрино нутро просто сдерживало страстное «никогда! никогда!», хотя в голове этого еще не было. (Тут разница в ощущениях нутра и головы.) Сдерживалась же Астра по простой причине: в дорогу слова отрицания (в данном случае — «никогда») не говорятся. Нельзя на дорогу прощаться навсегда. Такая есть примета, а может, и не примета, а что-то более значительное, например, знание силы слова говоримого. Сказал — считай, что сделал, и это не шуточки, потому как по невидимым проволочкам побежал звук, завертелся спиралью — и пошло-поехало.

На Майку наступило одиночество, ощутимо так, будто босой ногой. То было столько пожилых теток, которые задевали мятыми турецкими юбками и пахли дешевым мылом. На всю жизнь оторопелые их глаза тайно высматривали в ней нечто им нужное почти до задыхания. Они ее тяготили, раздражали манерой часто пить соду, а еду заглатывать торопливо, не жуя, будто это последняя их пища. Исчезнувшая мама была такой же, вдруг подумалось Майке, просто она делала *другой* вид. Мол, я не такая.

Теперь вокруг нее никого. Только сын за постоянно запертой дверью, в которую ей нет ходу. «Не мешай, мама!» Майка куталась в пуховый платок, подаренный Астрой, никакой балконный ветер не мог выдуть из него запах нафталина, жареных семечек и каких-то примитивно стойких духов. Но уже через время она вдруг почувствовала: чужеродный, даже как бы неприятный дух вошел в нее и стал своим. С этого момента где-то в самом сущностном месте ее природы стала стремительно выпрямляться линия судьбы, о которой ни одна клеточка мозга не знала. Мозг не знал судьбы. Он был самодостаточен и в линии не верил.

Астру поселили в салоне, комнате главной, всеобщей и ничейной одновременно. С шести утра мимо нее начиналась странноватая мелодия другой жизни. Внуки влезали в футболки, снятые прямо с просушки. Жорик застил свет волосатыми ногами и плоскими жесткими коленями. На взгляд Астры, шорты начинались очень высоко, если смотреть на сына так, как смотрела она, — с лежачего положения. Невестка носила тигриные лосины, и Астра стыдилась ее не смыкающихся ног. Самое невероят-

ное — ноги были предметом гордости невестки, именно такие — растущие как бы сбоку. Такие ноги имели одну задачу — они носили тело невестки, и Астра с силой вдавливала именно эту педаль: носите ее, ноженьки, носите! Дай ей Бог здоровья!

Внуки ее не замечали, они включали телевизор в полседьмого, когда она деликатно притворялась спящей. Они садились на пол и пукали в ее сторону. «Это замечательно! — думала Астра. — Они здоровенькие и веселые». Педаль любви, которую она держала на пределе, уже слегка проваливалась, но ведь она приехала любить! Она приехала любить навсегда. В ней бурлила кровь отца и змеился ручеек таинственного шинкаря. Она имела правильные документы. Она носила еврейское имя Анна. Она ждала, когда Жорик скажет: «Правда, у нас хорошо?» — «Да! Да! Да!» — закричит она. — «Ну так в чем же дело? — скажет он так трогательно и подетски потянет носом, а она ему строго попеняет: «Жорик! Сынок! Ты большой мальчик, а так и не научился пользоваться платком». — «Да ну тебя, мама! Свои же сопли в себя же и тяну».

Они сядут рядком и будут кумекать, как все оформить, чтоб и Николай Сергеевич потом приехал. Они не с пустыми руками явятся — они продадут все!

Так она мечтала. Не зная — слава Богу, и не узнав, — что Николай Сергеевич уже сидел под вишней у смотрительницы музея, не той, что сторожила Чехова, а у другой — намеченной ему на жизнь. Николаю Сергеевичу нравились и женщина, и вишня. Нравилась укорененность и той и другой именно в эту землю, без всяких выбрыков сняться с места и податься черт-те куда. Когда Николай Сергеевич думал об Астре применительно к ее фантазии эмигрировать, он начинал испытывать что-то нехорошее, недоброе, он становился обиженным и оскорбленным сразу.

Конечно, можно сказать, что у сестер была закодирована ущербность выбора, если в конце концов они запали на идеологических патриотов, у которых родина — вишня. Но это не так. Сочиняющий слоганы Свинцов был совсем не Николаем Сергеевичем, и наоборот. Николай Сергеевич был слеплен из другого теста, чем Свинцов. Если Свинцов натужно гордился пространством, то Николай Сергеевич просто боялся изменений собственной географии. Ему покойно было жить далеко от границы, в самой что ни на есть середине. Потом он гордо скажет: «Я центрист». Но это потом, когда он окончательно укоренится рядом с вишней. И придет время этому слову. Пока же Астра нахально лезла на ребро, а он с этим согласен не был.

— Она еще пожалеет, — сказал он новой своей подруге, но той не хотелось думать так. «Пусть не пожалеет, — считала она. — Тогда этот культурный мужчина останется со мной».

— Мы не будем ей желать зла, так ведь? — деликатно сказала она Николаю Сергеевичу.

— И думать нечего! — ответил тот.

Как же можно желать зла человеку на ребре? Это какую же надо иметь совесть!

Они хорошо сходились, эти оба-два.

А там, где была Астра, где она ожидала от сына важных, сущностных слов, происходило совсем другое. Истекал срок пребывания матери у сына, а никаких намечанных слов ею услышано не было. Астра не сомневалась: слова эти существовали в голове у Жорика, просто он не замечает, как быстро летит время, а им ведь многое предстоит обсудить до того, как она поедет в последнюю поездку на свою первую (эта, конечно, вторая, хотя и первая по глубинной сути) родину.

Как-то на большой лоджии, где только у ее детей ничего не росло и не завязывалось, она сказала невестке, цепляющей мокрые детские футболки:

— Я потом здесь все посажу. Я завью вам зеленью солнечный бок, где палит. И столик белый купим, со стульями. Как у тех... — И Астра ткнула пальцем в соседнюю лоджию, где под ярким зонтом стоял балконный гарнитурчик.

Невестка замерла с вытянутыми вверх руками, по ним вниз, под мышку, стали наперегонки скатываться капли с плохо отжатых футболок.

И еще у невестки слегка открылся рот, и в нем — было видно — дрожал почему-то желтый язык. Видимо, от экзотических фруктов, которые та ела корзинками.

Нет, невестка ничего не сказала. Шумно выдохнув, она закрыла рот и в один миг прищепила белье.

Вечером Жорик спросил мать, что она хочет, чтоб они ей купили *в память о поездке*. Именно так, четко было проартикулировано. Память о поездке. Рапан там с надписью «Привет из Хайфы!», сувенирные стеклышки с волнистыми линиями, изображающими море, и белыми пятнами облаков, на которых млеют какие-то неведомые слова.

Значит, и ей, Астре, полагался израильский рапан — и никаких слов? И больше никаких слов?!

— В следующий раз приедем уже мы, — затараторила невестка, — еще не на следующий год, но потом...

— У отца какой размер? — перехватил мелодию разговора Жорик.

Это она, Астра, настояла, чтоб сын называл Николая Сергеевича отцом. Но сейчас ее это почему-то царапнуло. Может, каким-то неведомым путем пришло к ней знание о соприкосновении двух рук на клеенке под вишней — руки хранительницы музея и руки ошущенного как бывший мужа? А может, было другое? Просто Астра засобиралась в неведомую дорогу, еще не осознавая, что это за дорога и куда она ведет.

Она вскочила, что-то залопотала про то, что хочет пройтись. Она стала фальшива и неестественна, но ни Жорик, ни невестка этого не заметили. Суетится перед отъездом старуха — подумает! К тому же сама она ощущала в себе странную горе-радость побега. Оказывается, горе-радость гнездилась где-то глубоко, и, видимо, гнездилась всегда, а вот сейчас взяла и расщеперила смятые, волглые крылышки и норовит взлететь, норовит взмыть эта ее птица побега.

Таким вот образом и оказалась Астраанна на тахане-мерказит, по-простому — на автобусной станции, где можно было сесть на длинную лавку, а спиной прижаться к бетонному столбу. Очень хотелось вытянуть ноги, и она подняла их на свободное место. Подняла и удивилась, как далеки от нее оказались детские носочки на ее ногах, в какой-то такой необозримой дали, что ей теперь до них как бы уже и не добраться никаким живым путем.

Уже потом, потом была суета поисков, больница, бородатый доктор Хаим, думающий свою странную думу о еврействе вообще и о себе в частности...

Были телеграммы Николаю Сергеевичу и полная тишина в ответ, пока Жорик не вызвонил какого-то приятеля, который и сообщил ему: а Николай-то Сергеевич канул! Был, был и канул. Ни куда, ни зачем — народ не в курсе. Были новые, уже израильские, приятели Жорика, хорошие ребята, которые сказали: хорони здесь. Как мать и как одинокую там, в России. Тут-то и пригодились выправленные под знаменем шинкаря бумажки, и легла Астраанна в землю обетованную, как того и хотела. В конце концов, все было правильно. Это она, а не кто другой, запевала в хоре песню: «Все мечты сбываются, товарищ, если только сильно пожелаешь, если только захотеть, если только не робеть...» — и так далее в том же напористом темпе, с большим количеством вложения души в горло.



Майка мерзла в пуховом платке. Она не знала, что носит подарок уже покойницы, она как раз обижалась, что тетка не написала ни словечка, откуда было ей знать, что Жорик звонил, но по ее старому телефону — попробуй уследи за нашими переменами, — и его послали куда надо, послали даже с некоторым перебором чувств, мол, пошел ты, жидовская твоя морда, нету тебе тут знакомых. Это был сын Филиппа, пасынка исчезнувшей Лилии Ивановны. Парень просто был пьян и зол. А тут по телефону голос издалека, со специфической синкопической мелодией. Да кто ты та-кой? А? Чтоб меня тревожить?

Жена Жорика криком закричала, что в «эту страшную страну» она не пустит мужа, даже если маме (именно так было сказано об Астре единственный раз в жизни) придется лежать в холодильнике всю оставшуюся жизнь. Или смерть? Или жизнь после смерти? Или смерть после жизни? Но последнее — глупая глупость, потому как и есть истина. Хотя разве истина может быть глупостью? Именно она и может!

Сама же мысль душу саднит. Что есть пребывание человека в холодильнике? Он уже там или еще тут? Трудно же как-то вообразить душу, на которую мы так стали рассчитывать, что она, как беспутная дочь, отлетит от еще вчера согревавшего ее дома с нахальным вскриком: «Да разбирайтесь сами с вашим грубым материализмом! Меня заждались в четвертом измерении».

Нет, мысль о лежащих в холодильниках людях (?), и, как известно, в большом количестве, саднит.

Невестка сомкнула несмыкаемые колени и закричала:  
— Хороним здесь!

И это было хорошо и окончательно.

Майка же мерзла, мерзла и мерзла. И только когда прошли все сроки возвращения тетки, сама вызвонила Жорика по справочному. И тот ей оскорбленно (за телефонное хамство Филиппова сына) сказал, что маму похоронили по всем правилам. Случился инсульт, можно сказать, в последний день, как раз собирались идти покупать сувениры.

Майка плакала в пуховый платок, ощущая себя как на юру. Дуло, сквозило со всех сторон, а пуще всего со стороны запертой двери, где сидел у ухмыляющегося компьютера сынок Димочка. Дорогая машина смеялась над женщиной, потому как была бессмертна и не отягощена мелко-стью человеческих чувств. Тоже мне — смерть. «Все сдохнут», — глядя в лицо Димочке, сказала машина, но он, юный, не понял ее, потно держась за мышку. Повелитель мышей, он верил в машину больше, чем в маму, одиноко стоящую за дверью.

Только психическим нездоровьем можно было объяснить, что Майка позвонила бывшему мужу-кавээнщику.

Тот был рад. Ему нравилось собственное участие в судьбе бывшей жены. Ему нравилось и то, что она теперь жила *квартирно совсем хорошо*, и иногда — иногда! — он видел себя в тех стенах, и вариантность жизни, возможность выбора делали судьбу терпкой и даже пьяноватой. Только случай — какая-то вонючая презентация — помешал ему приехать к бывшей жене сейчас и сразу.

А у Майки, таким образом, оказалось время, чтобы написать письмо Марии. В конце концов, при более внимательном рассмотрении обнаружилось: смерть тети Астры могла заинтересовать Марию больше, чем ее бывшего мужа.

И та примчалась из Киева.

На это расчета не было. Нет, не в том смысле, что Майка была ей не рада, но, скажем, и не настолько рада. Мария — родственница приبلудная, иначе не скажешь. Тетка она ничего себе, но чтоб вот так явиться не запылиться... Мария начала с дурного: покойницу надо перевезти на родину, туда, где лежат бабушки и дедушки, что только так по-людски, а не иначе.

— А где они, могилы? — спросила Майка.

Вопрос на засыпку. Мария не знала, где лежит ее матушка, до сих пор ничего не знала об исчезнувшей матери и Майка. Она кричала всем: «Она уехала от меня на лифте!» Некоторые спрашивали: «Вверх или вниз?» — «Вниз!» — отвечала Майка, и люди как-то загадочно переглядывались, как бы намекая на бесконечность движения лифта вниз вплоть до...

Майка отвергла глупость перезахоронения, «тоже мне Шалыпин», сказала она, имея в виду незначительность Астриного праха. Мария как-то сразу согласилась, проявив бессмысленность напора своих предыдущих слов. «Да-да, она же осталась с сыном», — согласилась Мария.

Майка уже жалела, что Мария приехала; она не облегчает внутреннюю смуту, а надсаживает душу еще сильнее и больше.

Утром Мария вышла из комнаты с новой идеей. Они все — она, ее дочь Лайма, Майя, сын Димочка — должны съездить на могилу Астры. Это их долг.

«Боже! Какая она идиотка! — подумала с тоской Майка. — Какая законченная и клиническая идиотка».

Она так и сказала:

— Это чушь, тетя Маша, чушь! У нас просто нет денег.

— Тогда я поеду одна, — ответила Мария.

— Воля ваша, — буркнула Майка.

Они раздраженно пили чай. Нет, не так. Раздраженно пила Майка, а Мария сидела замолкшая, отстраненная. В этот момент она мысленно предлагала поездку дочери Лайме, и та ей отвечала так, как она отвечала всегда: «Мать, надо думать, прежде чем...»

Ну да, ну да... Русско-балтийские скорости у них не совпадали. И чем дальше, тем больше Лайма становилась дочерью своего отца Франца и внучкой потомственной рижанки. Отделение от матери было мягким и холодным. Мария слабела от несправедливого хода вещей, а слабость делала ее покорной. Разве она имеет что-то против своей свекрови? Боже сохрани! Одна любовь и благодарность, но получалось — именно на этих замечательных чувствах уплывала вдаль единственная доченька. «Надо думать, прежде чем...»

## 19

Стремление на могилу Астры стало ее манией.

Поездка на ту могилу закрывала для Марии какие-то внутренние пустоты. С точки зрения ходового здравого смысла это, конечно, дурь. Но при чем тут смысл? Более того, отодвигание здравого смысла в сторону — посторонись, дескать, — и было главным в поездке. Поди ж ты, *какая чушь!* Но с некоторых пор все больше краешком ума касаешься этой весьма небогоугодной идеи — не эта ли последняя, что на букву «ч», и движет солнце и светила? Крутись они от другой буквы, стало бы с людьми то, что стало?

Мария написала письмо Жорику. Представилась. Двумя фразами очертила общее детство с его матерью. Попросилась приехать. Она не знала, что в доме Жорика возник скандал из-за тетки, про которую никто не слышал.

Жорик позвонил Майке. Та сказала: «Не бойся. Она хорошая, только забубенная. А кто сейчас без прибабаха? Или ты хочешь, чтобы я ее отговорила? Сказала, что у вас там бомбят или тропическая болезнь?»

Но Жорик оскорбился: он вынесет на своих широких плечах неизвестную родственницу, если не больше недели. «Вот об этом предупреди ее обязательно, скажи, что у нас человеческий перегруз».

И Мария получила приглашение.

На нее обиделась прибалтийская родня. Не было сказано никаких таких слов, но мимика и жесты были. Мария приехала в Ригу приодеться на далекую дорогу, чтоб Лайма научила ее, как ей лучше выглядеть. «Если бы я их не знала, — думала Мария, бродя по кромке воды Юрмалы, — я бы решила, что они антисемиты. Но это не так! Они спасали в войну еврейскую семью. Это все знают».

Могло ли ей в голову прийти, что тут другое. Что само желание Марии слепить прошлое их раздражает как действие бессмысленное, никчемное и даже в чем-то богопротивное. «Нельзя вернуть ушедшую воду», — сказала ей свекровь.

Мария чуть было не лягнула, как она возвращала ушедшую воду, едзя в Кемерово и обратно, как держала на руках сомлевшую на Рижском вокзале их бабушку, но смолчала. Куда бы привело выпячивание этой истории? Ведь для нее это было счастье, которое уже само по себе награда. Она смолчала, потому что совсем недавно как-то сами собой сложились слова: «Не надо спорить. В споре не рождается истина. В споре рождается склока».

Конечно, ушедшую воду не вернуть, но поставить свечу на могилу Астры от них от всех — она поставит. Это бесспорно.

При первой встрече с Жориком Марии бросилась в глаза прерывистость его бровей. Размашисто и лихо начинаясь у переносицы, бровь как бы уставала и теряла силу роста в середине, создавая лысую прогалину, но потом, опоминаясь и собираясь с духом, бровь мощно и красиво заканчивала свой бег на финише виска. Лайма каждое утро зарисовывает такой же изъятый карандашом, а Жорику не надо, он мужчина, ему замечать такие прорехи природы ни к чему. Мария прижала к себе Жорика. Могучий ген родства, так мгновенно обнаруженный под крышей Бен-Гуриона, придал ей какую-то неведомую силу, но одновременно и слабость, ибо показал бессмысленность человеческих ухищрений, когда речь идет о самом родовом знаке! Конечно, для Лаймы он ничего не значит, и она будет чернить прогалинку, и Жорику на это плевать. К их жизни это не имеет никакого отношения. Жизнь будет идти своим чередом, но в какой-то неведомый момент именно прогалинка подскажет им шаг или слово, которые будут едины в своей сути.

Мария оробела от собственных мыслей. Они были больше ее самой, и она стеснялась быть внутри их, как стеснялась своих рижских одежек, очень пестрых и излишне изысканно вывязанных.

Все было мило и по-родственному. Она спала на месте Астры, но не знала об этом. Ее умиляла утренняя круговерть чужой жизни и следующая за ней какая-то особенная тишина. В ней, тишине, Марии слышалось легкое спорадическое потрескивание — так звучит старое полотенце, разрываемое на кухонные тряпки. Она хотела понять, откуда идет этот звук, — и не понимала. Треск не пугал ее, скорее занимал, она даже выходила на лоджию и смотрела на синее-синее небо, ища на нем следы самолетов, преодолевающих звуковой барьер. Но ведь она знала, что это не самолеты.

Поездка на кладбище была просто поездкой на кладбище и ничем больше. Единственное потрясение — она не могла толком вспомнить лица Астры, оно рассыпалось на фрагменты, которые упорно не соединялись вместе. А что удивительного? Она видела ее в жизни один раз, если не считать наголо стриженного детства.

Вечером Жорик купил бутылку вина, и они помянули Аструанну. Еще Мария съездила на тахану-мерказит и постояла там. Лавочек было полно,

глазом не окинуть, и где присела идущая по последнему следу покойница, не узнать.

За три дня до отъезда Жорик отправил Марию на экскурсию в Иерусалим. Мария обрадовалась, но сильнее взволновалась.

С ощущением робости вступила она на землю Древнего Города. И первое, что почувствовала, — жар. Город входил в ее ступни внутренним огнем. Такое уже было в ее детстве. Было! Когда она оказалась судьбой и войной в семье двух девчонок. Она застыла тогда на морозе, отец уже оттирал ей руки, пока они ехали на подводе со станции. Какая-то женщина по приезде усадила ее к печке, ногами к духовке. Стало так хорошо и счастливо от печной теплоты, от этой женщины с легкими руками, небеспокояще раздевающими ее.

Так же теплом и покоем входил в нее Иерусалим. Дальше начиналось странное, чудное, хотя странным и чудным это все-таки не было. Все было естественным, как согревание после мороза.

Она узнавала Иерусалим нутром. И еще она его угадывала. Так она признала сразу храм святой Анны, бабушки Христа.

Хотя смешно сказать — признала. Что, она подозревала о его существовании? Что, она хоть раз подумала о том, что у Божьей Матери, к которой она всегда тайно обращалась, — а к кому же еще? — была своя мама? И существовала какая-то их человеческая жизнь, и была она, видимо, бедная, видимо, с болезнями — а какая же еще?

Оказалось, есть храм Бабушки. Мария еще не была бабушкой, хотя все ее сверстницы уже имели совсем взрослых внуков. Ее это не беспокоило. Значит, не время, думала она. Но, переступая порог храма, знала, о чем будет просить, — о внуках.

Случилось же странное. Их попросили тихонечко попеть, в четверть голоса, чтобы убедиться в огромной силе резонанса этого храма. Тихая песня, сказала гид, будет слышна всюду, такова особенность сводов. Экскурсия засмушалась: как это — взять и запеть? Но одна дама из Нижнего Тагила, которая все время задавала гораздо больше вопросов, чем существовало ответов, вызвалась спеть. Потому что, сказала она, всегда все надо проверять самой. Пизанская башня, объясняла она свое желание пенья, никогда не упадет, это только реклама. Она там была и колупала пальцем стену — такая кладка! А самого наклона — чуть! Подняв храбрый, экспериментаторски настроенный подбородок, дама запела во всю силу открытого рта, видимо считая именно такое пение более годным для проверки:

Пусть бегут неуклюже  
Пешеходы по лужам  
И вода по асфальту рекой, —

взревел храм. Пешеходы просто рухнули им на головы. Вместе с лужами и асфальтом. Ах, это пение утробой изо всех физических сил! Что бы подумать и привлечь голову как резонатор или сообразить о возможностях свода неба и тайности носовых пазух? Может, тогда и не надо бы так надрывать глотку? Но мы именно так распрягаем коней.

Потом от смущения и неловкости много смеялись. Но никто их не одернул — нельзя, мол, смеяться в храме, низ-з-зя. И тогда к ним стал возвращаться их собственный смех. Но возвращался он другим. Он был отмытым и легким, как детские слезы.

Расправив ладошки к солнцу, по-восточному сидели вокруг храма японки-христианки и что-то шептали бабушке Христа. Это было так ей знакомо, будто она сто раз уже была японкой или кем там еще и будто это ее узенькие руки были повернуты сейчас к солнцу. Она посмотрела на свои — широкие и, что там говорить, достаточно мощные, с шершавыми

от медицинской химии пальцами. В них тут же упало солнце. Хотелось так и идти вперед с распахнутыми руками и солнцем в них.

Город поглощал ее узкими улицами, кладкой камней, наклонами переулков. В конце концов она сказала городу: «Да хватит тебе! Я не жадная, смотри, сколько меня, и я вполне могу поделиться с тобой своей кровью».

Тут-то она и напоролась на разбитую керамическую чашку, задетую немецким фотолюбителем, замороженным лавкой с разнообразными глиняными причиндалами. Большой палец на ноге, торчащий из босоножки, изо всей силы, вкусно наступил на острячок от чашки. Она не понимала суеты вокруг себя, всеобщей виноватости, как будто это не обыкновенный ножной палец, а некая вселенская поруха, которую надлежит исправлять всем миром.

А тут еще этот немец-фотолюбитель, совсем старый, растерянный и неуклюжий. Из его выцветших глаз вдоль коллоидного шва через щеку текли слезы. Мария знала, они старческие, произвольные и на них не нужно обращать внимания. Ей не хотелось тратить на утешение старика время, и она твердила ему «гут! гут!» — в смысле все хорошо, а он ей на невероятном русском вышамкивал что-то типа: «Зер извиня... Их стар дурэнь...» Если бы не немка, то ли просто посторонняя немка, то ли родственница, которая увела его, Марии было бы не спастись... Старик напоследок сунул ей визитку — зачем? Она положила ее в карман ветровки, которую взяла на всякий случай. Она не могла, не умела объяснить ни этому немецкому деду, ни толпящимся вокруг нее людям, что капля ее крови — это ее договор с Городом, скрепленный маленькой кровью на его земле.

Но кровь, конечно, тут же вытерли, а палец обиходили, как куколку, и надарили чего только не...

Мария кланялась и благодарила, благодарила и кланялась. Кланяться было неудобно, ее как бы тяжелил город, живший в ней.

Уже вечером Жорик сказал:

— Извините, вы дура. Вы могли с них столько взять, потому что у вас страховка. Вам же надарили кучу говна!

— Жорка! Дети! — закричала его жена.

— Брось! — сказал он. — Мы теперь вполне можем общаться матом, они в него не въедут.

Разговор был Марии неприятен, он мешал ее состоянию... То, что было в ней, было сильным, горячим, а разговор о страховке был холодным и липким. Под каким-то удобным предлогом Мария вышла на лоджию. На сиреневом закатном небе слева от нее чернел холм. Он был графичен, как пирамида. Сумрак скрывал на нем зелень деревьев и кустов, которые виделись днем. Сейчас же, без всяких лишних одежек, он был тем, чем был. Холмом в чистом виде.

— Какой красивый! — сказала она, как казалось ей, тихо.

— Это холм царя Соломона, — ответила ей с соседней лоджии женщина, которую она считала африканкой.

Африканка ответила ей по-русски?

— Да? — растерянно переспросила ее Мария.

— Да! — ответила шоколадная женщина и ушла в квартиру.

— А соседка, оказывается, говорит по-русски, — закричала она, возвращаясь к Жорику и его семье. — Она мне сейчас...

Семья вытаращила на нее глаза, а Жорик, с трудом скрывая раздражение, объяснил, что соседка — эфиопка, она не может говорить по-русски по очень простой причине: она не знает русского языка.

Но она мне сказала, что тот холм — холм царя Соломона, — растерялась Мария.

— Тетя Маша! — закричал Жорик. — Вы тут у нас перегрелись! Сообразите своим умом: неужели бы мы, евреи, не знали об этом и не сделали из этого холма игрушечку? Мы бы имели с этого дела бизнес, если бы эта куча чего-то стоила. Но это просто куча земли! Просто! Даже если она встала торчком по воле Божьей. Соломона тут и близко не стояло. Я вам тоже говорю по-русски.

— Я хочу на него подняться, — пробормотала Мария. — Просто пойду завтра и подымусь. А что такого?

— Идите! — сказал Жорик. — Идите и идите! Увидите своими глазами, что это именно то, что я вам сказал.

Ночью она почему-то взволновалась. Сама себе она объяснила свое состояние так: приехала за тридевять земель, а не сумела связать концы, не подружилась с этой частью семьи, а ей послезавтра уже уезжать.

Поверхностностью своих мыслей Мария скрывала главное, откуда и шло беспокойство. Говорила ли с ней эфиопка на русском языке или у нее на самом деле от жары отшибло памороки? Как странно вспомнилось! Именно так говорила своим девочкам, Лилии и Астре, их мать, когда они что-то забывали или поступали по-дурному. «Отшибло вам памороки», — кричала мать и подымала руки вверх, какие-то излишне длинные руки, которые могли достать отовсюду, а она, Мария, была тогда такая забитая после того, как увели ее голубоголовую мамочку! Она боялась длинных поднятых рук. Завтра она обязательно поймает эфиопку и спросит ее как бы ненароком о чем-нибудь по-русски.

Но утром случилось другое. Возник гость. Давний знакомый Жорика с бывшей родины, человек с весело-бессмысленным лицом, какое случается за границей, когда не обязан рисовать на лице мысль, потому как для этого существует специально отведенное время и место жизни.

А за граница — отнюдь не то место.

У жены Жорика в глазах взметнулось смятение: еще один на голову и как бы готовый остаться на день-два. Мария отозвала ее в сторону и рассудительно сказала, что если так все складывается, она запросто уедет в аэропорт вечером и переночует там в кресле, это для нее ничего не стоит.

— Правда? — радостно спросила жена.

— Чистая! — ответила Мария, уже понимая, что в любом случае, независимо от гостя, ей лучше сегодня уехать. У нее остался только холм, который она сама себе придумала.

— Мы все пойдем на холм! — вдруг закричала жена Жорика.

Благодарная Марии за такой замечательный выход из положения и будучи правильно воспитанной семьей и школой, жена Жорика считала нужным отвечать добром на добро. Поход на холм с этой ненормальной теткой, которая тем не менее разумно решила уехать сегодня, был адекватным ответом «от нашего стола — вашему столу». Опять же! Этот новый гость тоже должен был быть подвергнут культурной программе. Семейная вылазка вполне годилась для этого. Теперь, чтобы оторвать детей от компьютера, надо притащить из чулана велосипед и коляску, а также запастись водой и чипсами.

Жорик был потрясен дурью жены, но она увела его в спальню, и оттуда он вернулся спокойным и удовлетворенным. Гость отметил это и гикнул, на что Жорик сказал:

— Ты пошляк и только про это и думаешь. А у нас целая стратегия.

Гость гикнул снова, удивляясь качеству стратегии, когда принесенная бутылка остается на столе, а люди прутся на какую-то забубенную горку, на которой — невооруженным глазом видно — нет ничего. Одно утешение — близко. Бутылка не заждется.

Так и вышли. Жорик, жена, двое детей, гость, Мария, велосипед и коляска. Уже на улице старшенький сел на велосипед, младшенький — в коляску, в коляску же были поставлены вода и полиэтиленовая пища.

Через пять минут уже стояли у подножья.

Заросший мелкой порослью пригорок был по-русски неухожен, повсюду валялись сплюснутые банки, а травинку клонили к земле высосанные жвачки. Вершина холма была слегка надкусана и затрапезна, низводя на нет само сочетание «Холм царя Соломона». «Глупо как тут», — подумала Мария. На экскурсии в Иерусалиме ей объяснили, что царь Соломон знаменит строительством храмов и водопровода. И еще он был философом и писателем. Но обо всех древних здесь говорили в превосходной степени. Евреи откровенно чванились своим давним прошлым. Мария пыталась вообразить себе Соломона, каким он мог быть тысячу, две — или три? — лет назад, но на ум шла стоматолог Раиса Соломоновна из их клиники. Однажды Мария по линии профкома посещала ее во время болезни — калькулезный холецистит — и видела ее отца, старичка в шапочке и пуховом платке на плечах. Он был Соломон. Мария же подумала о нем тогда: «Плюшкин». Таким ей виделся гоголевский герой, и она чуть было не ляпнула это на работе, но вовремя прикусила язык, потому что это было бы с ее стороны неэтично: прийти в гости с добрыми намерениями, а потом обзывать.

Вот такой Соломон и возник сейчас в голове у Марии и данный неухоженный холм вполне соответствовал старику — не то мужику, не то бабе. Кажется, так.

Но раз пришла, значит, надо взойти. И Мария взрастила в себе чувство благодарности за водопровод. Хороший водопровод, их водили, им показывали. А она смолоду считает правильным помнить добро, сделанное даже не лично ей — людям. Она всегда поминает Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь за основание города Киева. Надо помнить добро, надо. И Мария сделала шаг.

Вверх вела кривая тропа. Мария взялась вести велосипед, мальчишка радостно бежал впереди. Младший тоже захотел пешком, пришлось его из коляски вытащить. Мария взяла его за ручку, но ребенок вырвался, полез наверх сам, упал, заорал. Жорик взял его на руки, тот заорал пуще, дитя взяла мать и быстро пошла вверх, догонять старшенького. А мужчины, как этого ждали, приостановились. По их лукавым мордам Мария поняла, что для них восхождение кончилось на этом месте, на нижней трети горки. Они даже присели на какие-то камни, ведя разговор о чем-то своем и простом. Все это время Мария продолжала идти вверх, толкая правой рукой велосипед, а левой таща коляску. Ушедшие вперед свернули куда-то в сторону, где виднелись соблазнительные детям руины, Мария слышала их крики и осторожение матери. Она думала: сейчас на каком-то более-менее ровном месте я брошу велосипед и коляску, а дальше пойду сама, осталось ведь всего ничего, два десятка метров. В конце концов она все-таки положила велосипед на землю, а коляску приткнула к нему, чтоб та не съехала ненароком, и пошла вверх налегке. Неказистая с виду горка обладала каким-то чудным свойством: город внизу казался очень далеким. Конечно, это от ее плохого зрения, материалистически объяснила себе странный эффект Мария. Не на Эвересте же я. Хотя откуда она знает, как на Эвересте? В ее жизни не было гор. Однажды в Пятигорске, куда она ездила по курсовке, собиралась экскурсия на Машук, на место гибели Лермонтова, но она спросила себя: зачем мне это? Зачем смотреть на площадку смерти? Это нехорошо. Сейчас же, тяжело дыша на последней дорожке к корявой и слегка откусанной вершинке, она подумала: а есть ли на земле хоть кусочек пространства, который не был бы местом чьей-то смерти?

Когда она взобралась на вершину, город исчез. И солнца не стало тоже. И звуков жизни. Остался пятачок холма и она стоймя на нем.

Она думала, что надо испугаться и закричать. Но, во-первых, не было страха. А неловкость крика как раз была. Поэтому она бестолково топталась на сухой, в мелких, как у человека, морщинах земле. Мария даже пригнулась и тронула землю рукой. Она была теплой. «Надо подождать, — подумала она. — Может, это туман». — «А то я не знаю тумана», — ответила она сама себе.

В конце концов, за ней, если что, придут. Там внизу куча народу. Она прислушалась, но было оглушительно тихо. И тогда она села на морщины земли и заплакала от удивления перед непонятым. Сидючи, она увидела горизонт. Значит, сказала себе, проясняется. И она стала смотреть на горизонт не моргая, боясь его исчезновения. И тут вспомнила.

...Такое пребывание наедине с горизонтом в ее жизни уже случалось. Как она могла забыть ту часть своего детства, что была между мамочкой и жизнью у тетки? Ведь был еще и детдом. Она убежала из него каждый день, иногда по два раза на дню. Ее возвращали и наказывали, а однажды сильно побили и исщипали, а потом заперли в кладовке с вениками и ведрами. В кладовке было темно и пахло жизнью мышей. Выяснилось, что она их не боится. Более того. Ей не только не было страшно, наоборот, с ними ей стало покойнее. Измученная детским горем сиротства, она забылась и тут-то и увидела горизонт. Она не знала, что он так называется. Но соединение, слияние земли и неба видела много раз, еще с мамочкой, и ей оно всегда нравилось. Так вот, сколько сидела она с мышами и вениками, столько и «смотрела» горизонт из черной каморки-чемодана.

Вспомнилось и чудное: она тогда, в заточении, пробежала ножками землю до горизонта, перепрыгивала на низкое «там» небо и возвращалась уже по небу как птица. Когда ее выпустили, она была разумна, а от нее ждали полоумия.

Она не помнила об этом сто лет. А вот сейчас у нее было то же самое. И даже вернулось детское желание пробежаться туда и пролететь обратно. И даже мышами пахло тоненько так, на раз...

Тогда она, опираясь на глупость собственных мыслей, и поняла, что умерла. Раз нет живой разумной ясности, значит, она там, где она не знает ничего. На этих мыслях и явилась дорога, бегущая от горизонта прямо к ее ногам. Вполне широкая, туда-сюда могли проехать две машины, и еще оставалось место по бокам, чтобы идти пешим ходом. Но машин не было, а вот люди как раз были. Только они не шли, а сидели, как сейчас она, прямо на земле. Женщины, которых она не знала. Они все были похожи чуть навывкате круглыми карими глазами. У нее самой серые. А вот у Лаймочки точно такие же. («Вы проверяли дочери щитовидку?») Кареглазость Лаймы выделяла ее в прибалтийском клане, носившем фамильные водянисто-голубые глаза. Кареглазость могла порушить их стойкую породу, пойдя от Лаймы цвет другой силы. Марии однажды, когда они со свекровью в четыре руки чистили картошку для большого пюре, пришлось как бы в шутку оправдываться за цвет дочерних глаз: они, мол, у нее от отца. У покойника были подслеповатые карие. Потом Мария думала: почему я сказала — подслеповатые? И засмеялась: хотела этим снизить возможную силу кареглазости.

...Мария не знала возникших женщин, но и они, видимо, тоже не знали ее. Смотрели — и все. Она пыталась найти слова, какие пристало бы произнести. К примеру: «Я Мария из России. Придумала вот подняться на холм — и на тебе»... Но стоило ей открыть рот, как женщины стали исчезать прямо на глазах, как фокус-покус какой-нибудь. Они стали переливаться разноцветьем, как бракованное стекло, они делались выпукло-вогнутыми, как гусь-хрустальные козлики на тонких ножках. Они на глазах



меняли цвет, как природа на закате солнца. Они сливались и в конце концов слились вместе и прямой радугой резко ушли в небо. В последнюю минуту от них отделилась одна и тронула Марию рукой. Именно она попыталась объяснить что-то Марии, но не успела. Уже на исчезающем звуке Мария сообразила, что это та самая прибалтийская бабушка из Кемерово, которую она везла через всю страну.

«Я про это читала, — подумала Мария, — они меня встречают, мертвую».

Такое с ней тоже было: она никогда не знала правил поведения в конкретных житейских случаях. Когда-то в молодости, начиная свою работу в лаборатории, она перепутала мазки, испугалась до смерти и хотела доложить заведующей. «Не смей, — сказала ей напарница. — Все путают, но никто не кричит об этом. Ошибки надо скрывать. Ничего не случится. Мы не хирургия». Все действительно обошлось. После этого Мария стала аккуратней, но знала: анализы перепутываются сплошь и рядом.

Вот и сейчас она не знает: как быть? Нужно ли ей все-таки было им представиться? Сказать какие-то приличествующие слова типа: «К вам пополнение!»? Или это выглядело бы неприлично и глупо? Такое неудачное слово — пополнение. Но все равно надо было что-то делать, а оказалось — уже и не надо. Никого не было. Они исчезли, не дождавшись ее слов. Ах, какая она бестолковая, что не сумела ни сказать, ни спросить. «Они же такие одинокие», — жалело ее сердце, хотя с чего это она взяла? Пришли же компанией... Одинокие, как я... — закончила свою мысль Мария и заплакала. Она подумала, что никогда сроду не могла пользоваться никаким моментом. Не хватало ума ни вовремя спросить, ни к месту сказать. До нее все доходит поздно, когда уже и ни к чему.

К ней пришли. Ей смотрели в глаза. Она же не сказала им даже «здрасьте».

Мария плакала, размазывая слезы, а те не кончались и не кончались. И это совсем сбивало с толку — существование ее абсолютно живых и мокрых ладоней. Разве *там* плачут?

— Бог стрет, — услышала она голос и совсем заполошилась оттого, что ее застали врасплох.

Она увидела большие босые ноги во вьетнамках. Боже, как она их ненавидит, эти вьетнамки. Ее ступни всегда сползали в них во все стороны, а пальцы жалко цеплялись за перемычку. Поносив их один день, она сказала: «Никогда! Никогда в жизни!» Ноге же, возникшей перед ней, было в них хорошо. Длинные пальцы без следов мозолей и потертостей красиво и спокойно стояли на оранжевой резине. Ногти без заусениц чуть поблескивали.

Она подняла голову и увидела балахон, достаточно мятый и явно плохо отстиранный — это когда у стирающей женщины не хватает ума и понятия потереть материю между фалангами пальцев до скрипа чистоты. Стирка же абы как уже на другой день не имеет вида.

— Соломон, что ли? — тихо, скорее себя, чем незнакомца, спросила Мария, нащуривая глаз на мужчину.

Он вполне был ее возраста. Тридцать седьмой — тридцать восьмой год рождения. Красивый старик с чувственными губами.

Сейчас она думала об одном: повести себя правильно. Она упустила женщин, она не упустит Соломона.

— Я пришла специально, — быстро сказала Мария.

— Зачем? — спросил он.

Она не знала, что говорить дальше. И снова заплакала. Но ей не хотелось, чтобы он видел ее слезы, поэтому она быстро — раз-раз — промокнула их пальцами. Но пальцы были сухими.

Мария совсем растерялась, потому что стыдилась выглядеть притворщицей. Она столько нагляделась на как бы плачущих хитрованок, всегда

чего-то выгадывающих при помощи слез. Не дай Бог, он подумает о ней так же. Пришла, мол, и подвывает в сухие руки, как профессиональная побирушка: «Помогите, люди добрые! Мы тут не местные»...

На этом ее смятении, страхе выглядеть не такой, какая она есть, Соломон засмеялся, чем совсем ее ушиб. Значит, так и есть! Значит, так он ее и понял! Вернее, не понял совсем!

Не будь она окончательно растерянной, она, может быть, и встала, и сказала, что думает о его смехе над умершим человеком. Может быть, она сказала бы ему, что всю жизнь, всю прошедшую жизнь, она бежала от насмешников и остроловов, так как не видела в них смысла. Когда постоянно живет внутри боль и страх, смех, что ни говори, выглядит неприлично. Она даже на смешных комедиях стеснялась смеяться. Она думала: а вдруг рядом у кого-то горе, а я захохочу?

Правда, она не знала, что отсутствие у нее чувства юмора бесило Лайму. Откуда было Лайме знать, что мать подавляла в себе смешливость как грех, как изъян. Она смотрела на портреты великих — никто не смеется. Все мрачные. Господи, прости! Но ведь и иконы Твои тоже мрачные...

Посмеешься — и легче? Глупости... Ни одного микроба смех все-таки не убил. Это она знает как лаборант. Мария была царевной-несмеяной, но не от царской блажи, а, так сказать, из идеологических убеждений. Это был ее внутренний камень с надписью: жизнь вам — не смешочки. Она и в любви всегда стыдилась наслаждения, как слишком щедрого подарка от жизни, которого она не заслужила. Плотская любовь была сродни смеху на шкале грехов. Поэтому она так давно верная вдова. Поэтому так сурово была наказана за любовь мамочка. Какие же могут быть после этого смехи? Какие?!

Собственное смятение было больше существующих обстоятельств. Она даже прикрыла глаза, чтобы не видеть явления Соломона. Что-то надо было делать с невыразимой мукой мысли. «Но если я умерла, то тогда это не имеет значения? Значит, мысли кончились... так ведь? Но они не кончились и болят, как болели всегда». Она думает: зачем пришел этот, во вьетнамках? Ну да, это его гора. Сколько лет она его гора? Что говорили на экскурсии? Две тысячи — или больше? Мария пыталась это представить — время, что внизу, что до нее. В Иерусалиме их водили в глубины смотреть на камни. Тут, на теплой земле неказистого холма, она вдруг поняла: она не верит тем кладкам камней. Не по ним считается время. По ним было бы очень просто. Но тогда по чему?

— Никто не приходит, — снова услышала она тенористый баритон Соломона. — Прибегал тут мальчишка. Пописал и убежал.

— Ну и что? — отвечает она ему, как в трамвае. — Ребенок имеет право пописать там, где ему приспичит.

— *Sinite parvulos*, — брезгливо бормочет Соломон.

Вот этим ее не удивишь. Единственное, что она знает, кроме русского, — это латынь. В медучилище латыни коснулись боком, она же учебник для университетов заучила до дыр. Она учила торжественные слова, не годящиеся ни к одному случаю ее жизни. Потом забыла их все. А теперь вот вспомнила и поняла и уловила чванливое презрение к выражению: детям, мол, стали позволять то, что не позволено взрослым.

— Так относиться к детям! — воскликнула Мария.

У нее есть сосед, доктор наук, между прочим. Он не входит в лифт, если там ребенок. Мария отворачивается, когда при встрече он поднимает руку к цигейковому пирожку, демонстрируя желание как бы приподнять его перед дамой. «Пошел ты!» — говорит она ему мысленно. За детей! Она не знает, как это по-латыни. Сейчас Марии кажется, что они похожи — Соломон и доктор каких-то там наук.

— Ты откуда? — спрашивает Соломон. Вежливый голос, уже без капризного бормотанья. Это хамство с ее стороны — прийти в гости и думать о хозяине плохо. Это, можно сказать, свинство.

Мария выдыхает из себя желчь. Сейчас она скажет: «Я Мария из России». Но тут же думает: «Вообще-то я из Киева». Надо ли уточнять? Или сказать: «Я русская». Но моя мамочка украинка, а Киев уже не Россия.

— Я православная Мария, — говорит она неожиданно для самой себя. Но тут же смущается, потому что и этот факт ее жизни смутен: она не помнит собственного крещения. Тетка, мать Астры и Лилии, в те, еще военные, годы сказала, что ее дочки — не крещенные, а вот ее якобы тайком крестили. Но якобы. И все-таки добавляет: — Из России.

— Большая холодная страна, — сказал Соломон. — Такая еще молодая — и такая уже измученная.

— Войны, — отвечает Мария.

— Не по уму ноша, — говорит Соломон, а Мария вдруг ошеломляется мыслью, что войны не могут быть оправданием, ибо зло не оправдывает зло. И сейчас ей стыдно, что сказала «войны», значит, приняла их существование как уважительную причину несчастий своей родины. Ведь, Господи, сами же начинали, и сколько раз. Сейчас она поправится и все пояснит. Но тут Мария вспоминает, что мертвая, а значит, весь разговор бессмыслен, ибо он вне. Вне сущего.

Ее охватывает живой, какой-то очень конкретный страх: она доставит кучу неудобств Жорику и его семье. Ее ведь не только с этого дьявольского холма придется нести на руках, ее и отправлять в Москву придется, а это какие деньги и хлопоты!

Вот это беда так беда. Напросилась, приехала — и на тебе... А она последнее время думала, хорошо бы умереть — как исчезнуть. Не в том смысле, что пропасть без вести, — это еще хуже. Но чтоб не отяготить. Выйти из дома и умереть на ходу. На ходу... Вот оно, главное слово. Самой, силой своей перенести душу туда, где ей надлежит остаться, а потом в облегчении и вытянуть ноги. С ногами у нее все в порядке — они вытянуто лежат. Но все остальное ведь не то! Не там они лежат!

— Я неправильно умерла, — торопливо говорит Мария, — будут большие хлопоты. Второй у Жорика получается случай... Это ж какие надо иметь деньги и блат, чтоб меня отправлять.

И уже кричит криком.

— Перенеси меня как-нибудь на родину, — просит она, — на любое место, хоть в чистое поле. Хочу в свою землю. Она меня примет и глупую.

— Сама уйдешь, — сказал он и протянул ей руку, сухую и сильную. Всталось легко. Даже коленки не скрипнули.

Она стояла на дороге. Она ощущала свое тело. Мягкое и теплое. И хотя она уже стояла и — наверное — могла идти, она не понимала слов «уйдешь сама». Какой-никакой, она медик, она много смотрела в микроскоп и знает, как все устроено изнутри. Сейчас перед ней в не очень свежей, скажем, рубаше Соломон. Он носит эти придурочные вьетнамки и из-за них выглядит слегка глуповато. Но это он! Истинно. Разве так может быть? Если она жива и та, которая знает мир в микроскоп, значит, нет и не было женщин, что измеились радугой. Нет Соломона, который сказал: «Уйдешь сама» — и подал ей руку.

— Объясни! — просит она его. — Объясни мне это. Я мертвая. У меня есть время слушать.

— Все объяснено, — грустно ответил он. — Все! — И пошевелил пальцами ног, а потом зацепил ими перемычку.

— Гадостная обувь эти вьетнамки, — сказала Мария. — Я свои выбросила. Насмешка над ногой... Вообще-то, — добавила она, — я, конечно, пришла сюда сдуру, придумала поблагодарить за водопровод.

Видимо, некоторая общность ощущений — пальцы ног в общении с перемычкой — успокоили Марию. Ей вдруг не захотелось больше виноват-

титься, дышалось легко и спокойно, а недавнее прошение помочь в хлопотах о ее смерти выглядело нелепым и смешным.

— С водопроводом, — ответил Соломон, — все вышло много хуже. Мне хотелось иначе.

— Обычное дело, — сказала Мария. — Колготишься, колготишься, а получается не то... Но водопровод, даже если он и не очень, — все-таки водопровод. Я как подумаю... Те, ваши, времена... Ни машин, ни буровых — такие работы! В голове не укладывается...

Он засмеялся. Мария подумала обидеться, но засмеялась тоже. Да, она смеется над собой, потому что разве забыла, что все лучшее на земле было создано без машин и буровых? Софийский собор, новгородские фортификации... А пирамиды? А мексиканские каменные боги? Она же талдычит про буровые. Что за идиотка!

«Конечно, я не соответствую его уму. Он мудрец, а я, что называется, мимо шла. Я вообще должна молчать как проклятая... А я возникаю...»

На этом слове Мария спотыкается. Кто из них возникает? Она с коляской и велосипедом или все-таки он взял и пришел, или не уходил, или он тут всегда, мальчика видел, который прибежал и окропил его гору? Кто к кому пришел?

— Ты, — говорит ей Соломон. — Ты забралась на мой холм — поблагодарить меня за водопровод. Спасибо! — Он ей кланяется в пояс, как Дед Мороз на елке.

Странноватый, прямо скажем, вид: голые от колен ноги в этой обуви — вырви глаз.

Мария смеется, но тут же смущается:

— Поклонился как Дед Мороз. У нас ведь зимы, зимы... Не знаю, почему подумала, — теряется она от собственного несоответствия.

— Дед? — спрашивает Соломон. — Это который бил, бил, не разбил?

— Нет! Нет! — опять смеется Мария. — Это другая сказка. Там били яичко.

— А, это когда два старых дурака колотили золотое яйцо?.. Ваши сказки забавны и двусмысленны. Меня всегда восхищало, что вы храбро читаете их детям. Не ведая того, даете им алгоритм. Но все втуне.

Мария не знает этих слов.

Ей стыдно, и ее берет зло. Видимо, Соломон понимает это, потому что говорит:

— Тебе пора идти. Иди с миром и ешь с веселием хлеб свой, но вот насчет вишневого компота... Остерегись косточек. У тебя в следующем году будет гнойный аппендицит. — Соломон улыбается, кончиком языка трогая зубы. — Хотя не дело — остерегать...

— Почему же? — не соглашается Мария. — Если можно предупредить...

— Давно предупреждено, — говорит Соломон.

Мария снова заплакала. Кончиком языка она отлавливала слезы, умиляясь их теплой солоноватостью, мгновенно растворяющейся во влаге рта. Слезы были легкие и бессильные, рот же был жадным и горячим. Она жива. Она счастлива помучиться аппендицитом.

— Иди, — говорит Соломон. — Иди...

Мария вздохнула, думая уже о том, что спускаться всегда хуже, чем подниматься.

— Так как, ты говоришь, они называются? — спросил Соломон, слегка приподняв ногу.

— Вьетнамки, — засмеялась Мария. — Выкинь к чертовой матери.

— А мне нравятся, — смущенно ответил Соломон.

— В твоём возрасте они просто неприличны, — сказала Мария, но сказала уже холму, городу, небу, потому как все было на месте. А за поворотом тропы слышались детские крики и плач.

— Где вы там? — звала жена Жорика. — Мы спускаемся!

Мария видела, как дети бежали по тропе к мужчинам, за ними торопилась их мать, коляска и велосипед так и лежали на боку холма. Мария засмеялась.

«Так тебе и надо, — сказала она себе, — это твоя затея. Вот и тащи их вниз».

Но когда она подходила к велосипеду и коляске, вверх ей на помощь уже взбегал Жорик.

— Не суетись, — услышала она голос. Но это был не Жорик.

Перед ней кувыркалась птичка. Она то камнем падала вниз, то взметалась у самой травы, которая нервничала своим травяным существом от такой птичьей наглости. Птичка облетала голову Марии, как спутник Земли, и Мария слышала живой и теплый запах вздохмаченных и восторженно растопыренных перьев. Птичка сопровождала ее до самой компании, а потом взяла и улетела. Было в птичке и что-то слегка мышинное. Было.

— У вас сердце получше моего, — сказала Марии жена Жорика. — Я едва дышу, а вам хоть бы что...

— Ты же бегала за детьми, — ласково сказала Мария, — а я отдыхала.

— Ну, тетя, и что это за гора? — смеялся Жорик, подмигивая своему приятелю.

— Теплая, — сказала Мария, — и вся в морщинках.

— Ей же сколько лет! — гордо сказал Жорик, будто его рук дело — вечный надкусанный холм. Он даже плечи развернул, тоже мне строитель. — Нигде ничего не было, а тут — все!

— Земля всюду была землей. И тут, и там, и незнамо где. Тоже мне новость! — Вот кем не была жена Жорика, так это пафосной женщиной. Наоборот, чужой пафос заводил ее на плохое, на свару. Мария учуяла это и увела тему.

— Я там какого-то старика видела... Издали...

— А! — ответил Жорик. — Городский сумасшедший. Но он безобидный. Является то там, то тут. Не пристаёт...

— Глухонемой он, — сказала его жена.

— Слышит! Слышит! — поправил Жорик. — Языка нет. Забыл, почему...

Мария вспомнила, как кончиком того, чего нет, Соломон проводил по чувственному рту, а она тогда подумала: «Не выработался мужик...»

— Зимой и летом ходит во вьетнамках, — на этот раз Жорик сказал правду.

Станным было ее пребывание в ночном аэропорту. Жорик и жена отговаривали ее уезжать в ночь, они вообще были с ней милы после холма, и дети жались к ноге совсем по-родственному.

— Вы, тетя, как будто бежите, — сказал Жорик. — Но вас же никто не гонит, и диван нам не продадите.

Она их успокоила. Не бежит и не продавит. Хотя в какую-то минуту Мария чуть было не согласилась остаться, чтобы освободить Жорика от вины, той, раньшей, когда он легко отпустил мать и та перегрелась на тахане-мерказит. Но вовремя остановилась. Ветерок дунул с балкона и навевал совсем другое: пусть Жорик останется со своей виной. Пусть! Она бы очень удивилась, если бы узнала, что никакой вины тот не чувствовал и, более того, даже не мыслил, а покойную мать считал «дамой с кониками», то бишь фокусами. «Это у них в роду принято — сняться и бежать черт-те куда, такая у женщин нетерпеливая злость», — объяснил он все себе.

Поэтому мысль Марии о вине племянника как вошла в окно, так туда же и вышла. Ей не за что было зацепиться. Сколько их, таких не востребовавшихся мыслей, витают в воздухе, и оставшихся от веку, и родившихся в

одновременно... Мы — мимо них. Они — мимо нас, живущих — как это сказал Жорик? — в нетерпеливой злости.

Мария сидела в удобном кресле, вокруг нее суетились приземлившиеся люди. Они отличались от тех, кто только еще собирался лететь. Радостью обретенной под ногами тверди. Она, твердь, в аэропорту была главной. Только одни радовались, что на ней. Другие паниковали, что ее покидают.

Мария же в связи с отдаленностью времени вылета была как бы экстерриториальна. Ей было жалко и тех и других. И прилетевших, и улетающих, жалко человека в смятении, ибо не спасает нас прилет, равно как не спасает и отлет. Твердь и высь — они или есть, или их нет. В тебе самом. Сверхзвук только и может, что нарисовать на небе пушистый след.

В самолете подавали вишневый компот. Мария старательно собрала косточки и положила их в карман. Соседка справа сказала, что первый раз столкнулась с таким меню. На ее взгляд — «Я так много и разносторонне летаю!», — вишневый компот не входит в разряд международного стандарта напитков. Именно из-за косточек. Мария усмехнулась. «Ты, женщина, не туда летаешь, — думала она. — Не в те стороны...» Косточки в кармане были ласковыми, они обегали ее пальцы как живые.

Трогая их, Мария нащупала картонку. Это была визитка, которую ей сунул старик немец в Иерусалиме, когда она там из-за него порезала палец. Мелкую вязь готического шрифта ей было не прочесть без очков, которые остались в пальто, повешенном в самолетный гардероб. Покрутив визитку, Мария положила ее в карман сиденья. Зачем она ей? Она тут же забыла немца, и, в сущности, это было правильно. Потому как надень она очки и высмотри буковки, она прочла бы «Франц Шеклер» — до такой степени немецкой грамотности она была обучена. И, конечно, вспомнила бы — или нет? — что так звали дядю Францика. И куда бы это ее завело? В какие дебри поступков? А так лежит себе визитка в ничейном кармане, где-то там живет старик с коллоидным швом. Помнит ли он красавицу украинку с маленькой девочкой, которая висела у него на пальце и кричала: «Дурень! Дурень! Растопурень!», а мамочка сердилась: что за выражения? Берет ребенок слова прямо с улицы земли.

Но визитка сделала свое тайное дело. Мария вспоминала детство и войну.

...Что понимает в любви мужчины и женщины ребенок? Да ничего! Но было так замечательно внутри их счастья. Так больше не было никогда. Всю жизнь она искала, ждала именно то свое состояние — покоя, защищенности, радости, исходивших от грешной любви мамочки и дяди Францика. Ничего похожего. Прислониться бы, постоять рядом с тем, у кого это есть. У нее был хороший муж, царство ему небесное, она видела и другие вполне удачные семьи. И только у мамочки случилось яичко не простое, а золотое. И пробежала не мышка — война, будь она проклята во веки веков. Но ведь не будь трижды проклятой войны, не было бы их встречи. Нет, Соломон, не на все вопросы есть ответ. Есть вопросы, что хуже самых страшных ответов.

Работал самолетный телевизор. Певицы пели широко открытыми ртами, звук уходил в бесконечность и не возвращался.

Что хотел сказать народный хор, выпрастывая из горла звук такой мощи, что мог померкнуть свет? Куда рвется голос, пренебрегающий свойствами резонанса и всей физики?

Мария удивилась странности своих мыслей. И можно сказать, она их застеснялась. Она зыбыла, что была в храме святой Анны и ее рассуждения оттуда. Может, она вспомнит о нем потом, а может, и нет. И скорее нет. Чудо, оно и есть чудо. Вскрик вполношенной им экстрасистолы. Марию же сейчас занимает другое. Надо будет откладывать деньги на опера-

цию, которая предстоит ей в следующем году. Аппендицит, конечно, ерунда, но у нее-то гнойный... И она засмеялась, хотя, казалось бы, с чего?

— Что-то не так? — спросила соседка.

— Наоборот! Так! — смеялась Мария. «Ишь! — думала она. — Он на-шел мне повод жить — гнойный аппендицит. Ох и штучка этот Соломон, ох и штучка! Но вполне сохранный мужчина. Ни одного мозоля... А в русских сказках цари всегда дураки... Это у меня вопрос или ответ?» Мария, чтоб не смущать разносторонне летающую соседку, смеется в ладошку. «Алгоритм какой-то придумал. Другой бы объяснил...»

Она закрывает глаза. В момент засыпания она делит чудное слово на два — на алгебру и ритм. Ей приятно такое ковыряние в буквах. Хотела когда-то учиться на филологическом. Дальнейшие метаморфозы слова она проспит. Проспит, как алгебра обратится в арифметику, а потом и вообще в цифру. Ритм же стал сначала музыкой, а потом вообще нотой. Цифра и нота, освободившись и отряхнувшись от лишнего, нетерпеливо полетят на родину — в изначальность...

Хотя кто их знает? Может, и не улетят?

Ведь никто ничего не знает наверняка. Не знает спящая Мария, не знает соседка, что рядом.

Не знает и Соломон. Штучки с вишневыми косточками у нас проделает любой экстрасенс. За небольшие деньги.

За большие он покажет вам Соломона.



---

---

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

\*

## ПИСЬМО ДЕМИУРГУ

Армия

Что за дело мне до беспечных,  
До удачливых, молодых?  
Буду строить армию из увечных,  
Отставных, негодных, худых.

Из грубиянов, замученных дачников,  
Сочинителей странных поэм,  
Из алиментщиков, из неудачников,  
Проигравшихся в «МММ».

Что нам грезы безумные Гретины  
(Ты со смертью была визави!),  
Все мы храним отметины  
Лесных пожаров любви.

Вот оно, мое новое воинство,  
Другого не будет дано.  
А ну, выходите строиться!  
Да не умеет оно!

Кто на свете мне ближе их?  
С кем пойду на войну?  
Вот оно, мое стадо рыжее,  
Никогда его не прокляну!

Обезьянья поэма\*

1

Есть у каждого изъяны, и печали, и судьба.  
Снова, братья обезьяны, снова нас зовет труба.

Неухожен март стыдливый, снег идет, не важно как.  
Санний поезд терпеливый в Петербург везет ясак.

---

Захаров Владимир Евгеньевич родился в 1939 году в Казани. Доктор физико-математических наук, академик РАН, директор Института теоретической физики им. Ландау (в Черноголовке). Лауреат двух Государственных премий. Автор двух поэтических книг («Хор среди зимы», 1991, и «Южная осень», 1992). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Черноголовке.

\* Зимой 1920/21 года в голодном Петрограде писатели по инициативе А. Ремизова играли в своеобразную игру. Они объявили себя обезьянами, членами «Обезвелволпал» — Обезьяней Великой Вольной Палаты (см.: Ремизов А. Взвихренная Русь). Полноправные обезьяны имели звание кавалеров. Гумилев был этим званием недоволен и требовал себе титул обезьяньего графа. Царем обезьян считался Асыка, которого никто никогда не видел.



Едут люди и зевают, строят помыслы свои.  
Но никто из них не знает, где зимуют соловьи!

В окружении мигалок едет новый дуралей.  
А что знает он про галок, и гусей, и журавлей?

## 2

Где, младенец, Амалфею Зевс со чмоканьем сосет,  
Где в далекую Корею глупый золото несет,

В африканские туманы укрываясь от людей,  
Надзирают обезьяны за прилетом лебедей,

Прячась в горные туманы, провожая лебедей,  
Наблюдают обезьяны за безумствами людей!

Наши шерстки шелковисты, а хвосты весьма пышны,  
Наши замыслы цветисты, но сомнений мы полны,

Мы ведем от Ханумана наши добрые дела,  
И в Китае обезьяна серебристая жила,

И с тех пор мы, кавалеры, благородством дел своих  
Суть достойные примеры для хвостатых молодых,

Кто же тихо достигает совершенства, тот всегда  
Вместе с облаком летает, как полдневная вода!

## 3

Но велел нам царь Асыка, наш достойнейший собрат,  
Наш таинственный владыка, всем собраться в Ленинград.

Здесь подростки жрут колеса, здесь бандиты всех мастей,  
Здесь на нас посмотрят косо, на непрошенных гостей.

Каждый зело уж научен, но смирим, однако, нрав:  
Здесь когда-то был замучен обезьяний гордый граф.

Нам найти его могилу, где болота и ручьи,  
Распевая что есть силы, помогают соловьи.

Стало быть, не зря веками мы воспитывали птиц,  
Глянь же новыми глазами на черты знакомых лиц,

Над могилой ночью белой мы в молчанье постоим,  
Вспомним камеры, расстрелы, череду голодных зим,

Когда здесь в краю обманов, нагоняя в души мрак,  
Тайно властвовал Агранов, Маяковского свояк,

И обратно, обезьяны, улетим уж навсегда  
В иностранные туманы и в чужие города.

\* \*  
\*

Боясь довериться бумаге,  
Я доверяюсь больше сну...  
Мне снятся дети-лотофаги,  
Свою забывшие страну.

Где над низинами туманы  
Вползают в утреннюю мглу,  
Где в бубны грянули шаманы,  
Сажая солнце на иглу.

Ведь лишь доверишься бумаге —  
Поднимется аэростат,  
И на ветру заплещут флаги,  
Чтоб не было пути назад.

Любое место — только локус,  
Одна моргает всем звезда,  
А лотос, он вкусней, чем лотос,  
Чем с гор хрустящая вода.

### Письмо демиургу

*В. Е. Фортову.*

Робко спускается вечер смиренный,  
Тьма застилает межи,  
Друг-демиург из соседней вселенной,  
Как тебе там, Расскажи?

Боги по крыше гремят сапогами,  
Их не слабеет рука,  
Мы же — не боги, и дружба меж нами  
Все же возможна пока.

Можем пока обменяться лучами,  
Как у тебя, Расскажи,  
Жертвы становятся там палачами,  
Точат убийцы ножи.

Как ты куешь свое гибкое пламя,  
Чтоб получилась слюда,  
Боги по крыше гремят сапогами,  
Страшно тебе иногда?

Долгие годы труда и заботы,  
Дымное море стыда,  
Что же в награду — всего две-три ноты,  
Грустно тебе иногда?

Как нам за это читается Плиний  
Младший в ночной тишине!  
Вечер над лесом спускается синий,  
Звезды горят в вышине.

## Одной птице

Когда обрушивалась ты,  
Глотая боль, теряя перья,  
В то озеро своей мечты,  
Какие детские черты,  
Какое робкое доверье  
Вбирала бездна черноты,  
Покрытая коварной пленкой,  
Такой обдуманной и тонкой!

Когда обрушивалась ты,  
Ломая лес, роняя скалы,  
В себя любуясь с высоты,  
Ты знала ведь, что там обвалы,  
В соседних грохоча горах,  
Несут поток и разграбленье,  
Но разве чувствовала страх?  
О нет! Восторг и нетерпенье!

Ты верила — внизу вода  
Благословенная, живая,  
Что, камнем падая туда,  
Преобразишься ты для рая,  
Одна мгновенная беда —  
И ты взлетаешь ввысь, играя!

А оказалось — там смола  
Под гладким зеркалом обмана,  
Она тебя не отдала,

И было поздно, было рано,  
И долго бились два крыла.

Прощай! Являйся мне во снах!  
Мы будем плавать в поднебесье!  
В холодных утренних лучах  
Увидим город и предместье,  
Я буду счастлив в этом сне,  
Твоя судьба — моя геенна.  
Тафономически<sup>1</sup> вполне  
Твоя могила совершенна,  
Все сохранится в ней века:  
Книг золоченые обрезы,  
И эта звонкая строка,  
И неподкупной мысли срезы.

Прощай! Ты верила в добро!  
Когда-нибудь оценят это!  
Я выйду утром — и серо,  
И над каналом нет просвета,  
В дождливой дымке Амстердам,  
Кварталы шлюх, там все уснули,  
Но крепким хорошо цветам  
В дождливом климате в июле.

Ты можешь ли меня простить —  
Мне нравятся чужие страны,  
Ведь невозможно не любить  
Те гиацинты и тюльпаны!

## Черноголовским юношам

Ради счастья моих черноголовых я не сплю ночей.

*Цинь Ши-хуанди.*

Ясноголовые мои!  
Какими шумными толпами  
Теснитесь вы у врат МАИ  
Или МЭИ, — Спаситель с вами!

Давно уже отчизны нет,  
Одни Распутины и воры,  
И скоро вам держать ответ  
За это все, и очень скоро,

А вы все тянетесь к добру,  
Архивны юноши, толпою:  
Ах, как же вы не ко двору!  
Молчал бы уж, Господь с тобою!

<sup>1</sup> Тафономия — наука о могилах, часть палеонтологии, изучающая захоронения живых существ в естественных условиях.

\* \*  
\*

И странные дикие звуки...

*М. Л.*

В просторы бездомного духа,  
Где бродит один Агасфер,  
Нежнее гагачьего пуха  
Слетаются души химер.

Уставши плескаться в повторах,  
Сидеть на соборах, столпах,  
Купаться в бесчувственных взорах  
В одной чешуе, без рубах.

Протянут когтистые руки  
Они для желанных гостей,  
И страстные хриплые звуки  
Летят из свинцовых пастей.

\* \*  
\*

Перебирая лапками поспешно,  
Поплыли утки в утренней воде,  
И Друг Вселенной улыбнулся нежно,  
Он, как всегда, был рядом и везде.

У девушки — цветистое крыло,  
У юноши — зеленая головка,  
А ты случайно здесь, и встал неловко,  
И думаешь: уже и рассвело!

Проси Его!  
Сегодня тишина  
Насыщенна и всюду недомолвки...  
Чтоб красная рассветная стена  
Не рухнула, распавшись на осколки!



---

---

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

\*

## КАК ТАМ ВЕДЕТ СЕБЯ ШАРГУНОВ?

*Рассказы*

### БЕДНЫЙ РЯЗАНОВ

**Д**евятнадцатилетний Андрей Рязанов возлюбил ближнего своего как самого себя.

Рязанов боялся темы «субъект — объект». Он глядел на человека, разговаривающего с ним, и переставал существовать, делался полностью этим же человеком. Так Рязанов воспринимал мир с момента рождения и только в последнее время поймал себя на этом: сказалась склонность к самоанализу. Просто таким родился Рязанов, так неправильно с самого начала глянул на мир. Надобно подчеркнуть, что понимание «объекта» как «субъекта» происходило скорее не на уровне мировосприятия, а на уровне визуального отождествления себя и предмета, на уровне идентификации движений и манер предмета со своими.

Мальчик-однокурсник в пропотевшей маечке, с челочкой, карими глазками, маленьким личиком морской свинки — им становится Рязанов.

Курносый коренастый мужчина-функционер, светлоглазый, с редкими сальными волосиками — Рязанов.

Толстая девка с толстой косой + потухшим мышинным взором — Рязанов.

Долговязый, запористый журналист с горловым клокотанием — Рязанов.

Труп в гробу — древняя бабка с оскалом — Рязанов!

Рязанов боялся инвалидов с дефектами движений, потому что невольно начинал повторять инвалидов — например, прихрамывал при виде хромого, дико притом стесняясь. Все, что видит Рязанов, как бы оно ни было отвратно, наконец, уже просто окружающий мир, просто предметы — все это становится Рязановым: и мокрый зеленый парк, и собачья кривая кашка на асфальте...

Рязанов начал бояться любви к своей девочке Насте, ведь он стал все более воспринимать ее как «субъект», как себя. А какая может быть в таком случае возня (секс), ведь ты же САМ СЕБЯ не возбудишь видом собственных красот. Поэтому, о, да-да, именно поэтому иногда Рязанов смотрел на красоты девочки как на абстракцию...

На станции «Фрунзенская» старушка ползла по зеркальному, скользкому граниту как каракатица. Старушка цеплялась хрупкой лапкой за стену. Красный новый гранит свистел и расползался. Вместе со старушкой полз Рязанов. Вместе с гранитом блестел и краснел.

Рязанов глядел из вагона, став в углу. Поезд ускорял движение, старушка исчезла, взгляд Рязанова проскользил по красной глади, стукнулся

о большое зеркало, укололся о циферблат и полетел туда — в черноту туннеля.

Андрей вылез на «Кропоткинской», пошел к дому. Некрасиво скрипел под ногами старый ровный снег, назойливый, как мамка-татарка на кухне. Идешь по снегу и видишь: вот стоит она на кухне, черноволосая, в пестром переднике, с маленькой серой кастрюлей в руке, и выражает недовольство. И небо было померзлое, выше и шире обычного. Рязанов ощущает себя и скрипучим снегом, и небом, и мамкой, которая и вправду стоит сейчас с кастрюлей вон в том далеком окне, за безвкусной желтой занавеской.

На самом деле все это лишь усиливало полное отчуждение девятнадцатилетнего Андрея от окружающего. Дело было в том, что отождествление себя с посторонним миром вело к обесцениванию и обесмысливанию для Рязанова понятия «я». Как в момент безумного озарения или вылета души из тела человек видит себя со стороны, так и Рязанов, порой доходя до некоего экстаза, мог отречься от себя самого. В таких ситуациях он воспринимал себя, пересекающего улицу или ждущего трамвай, в качестве постороннего, инородного предмета. Внешность, любые изъяны, опасения: «А что подумают?» — все это переставало существовать. Андрей Рязанов мог общепринято двигаться, что-то покупать, отвечать на стандартные уличные вопросы, но отстранялся от земного, мелочного, тягучего «я». Только тогда, при отчуждении себя от себя, слияние со средой обитания тоже преодолевалось — она делалась прозрачна и несущественна.

Дома без конца звонил телефон. И Андрей бросался к трубке со скоростью звука звонка. Каждый вечер звонил знакомый экстремист-маргинал Кирилл с дикой фамилией Тараментов, прыщавый отчаянный отрок, из боевой сектантской организации под забойным названием «Авангард Консервативной Молодежи». Он читал Рязанову свои дурацкие стихи:

Вот кто-то стесняется высказать что-то,  
Отводит глаза и бормочет в бреду.  
А пулю, дружок, повстречать неохота?  
Поверьте, на каждого пулю найду!

Подросток шатается, спину сутуля,  
И что-то он ищет, и худ, и высок.  
Я знаю, подросток, нужна тебе пуля,  
Да, пуля в дурной подростковый висок!

Щека моя вдруг заскользила от смеха,  
Как русская шука в холодной реке.  
«Товарищ, нам пуля совсем не помеха!» —  
Мы скажем друг другу в фашистской тоске.

Рязанова забавляли такие стихи. Естественно, страсть к насилию была у Кирилла Тараментова ненастоящая, являлась лишь следствием подросткового порыва. Но тем волнующе-очаровательнее выглядел этот «насильник», еще школьник, с верхней губой в мягком пушке, несущий бред на другом конце провода. Важно, что при всем том Рязанов по-прежнему оставался бедным — даже прижав трубку к уху, он отождествлял себя с Кириллом, был податлив, плыл в разговоре теми подземными реками, по которым направлял его ломающийся голосок юного придурка собеседника.

В этот зимний вечер бедный Рязанов опять звонил девочке Насте. Настя была хорошая и сексуальная, как малиновая косточка, особенно когда носила тонкие свитера, обтягивающие горло. «На самом деле я очень хочу спать», — сказала она и в очередной раз повесила Рязанова (трубку). Любовь всегда состоит не только во взаимном притяжении, но и как бы во взаимном отталкивании. Влюбленные не могут друг без друга, но одновременно с этим, встречаясь, чувствуют трагедию незаконченности, недости-

жимости. Так было у Андрея Рязанова и девочки Насти Петровой. Она училась с ним в одном институте. Сразу и светлая, и смуглая, стройная детка с тонкими длинными ручками и ножками, с угловатыми манерами, с блестящим ртом — «вечным поцелуем», хранящим полдень, она, как сочная лесная заноза, застряла в беспокойном сердце татарчонка. Он подавился ею, маленькой косточкой малины, она попала ему в дыхательное горло. И Рязанов ей нравился — не студент, а дикая привлекательная азиатчина, стриженная ежиком, скуластая и жилистая. Их взгляды на мир почти совпадали. Андрей и девочка Настя только и думали что о смерти, с этой мыслью просыпались и ложились спать. Но никакая близость — ни любовь, ни общие мысли — не могла по-настоящему сблизить их в реальности. Кроме того, Настя, капризная и своенравная, ясно понимала, что Андрей-татарчонок — это он самый, ее парень, а она — это Настя. Рязанов же, как известно, почти не умел проводить границу между собой и другими, тем более любимой им девушкой. В последнее время он и Настя начали аккуратно расставаться.

Наступила весна. Бедный Рязанов (вот уже месяц он не слышал Настеньки) шел от своего приятеля Шаргунова, который жил неподалеку от китайского посольства.

Шаргунов и Рязанов познакомились недавно через общих знакомых и сразу поняли друг друга, ведь они были *качественными* персонажами. Когда Рязанов пришел к Шаргунову, в квартире была еще девочка Алина, шаргуновская подруга, тоже качественная во всех отношениях, чуть-чуть она напоминала Рязанову Настеньку. «Бедный, бедный Рязанов», — говорила она, детская девочка с алым ротиком и глубоководными глазами смертницы. Алинина прозрачная рука погладила Рязанова по татарским стриженным ежиком волосам, а Шаргунов только ободряюще улыбался гостю. И Рязанов благодарно впитывал комнату. Он одновременно воспринимал себя и данной детской девочкой, и все понимающим Шаргуновым, делался и милой ручкой Алины с черным маникюром ногтей, становился острым осколком солнца, зависшим на стене комнаты.

Андрей Рязанов брел сейчас от Шаргунова через двор. Двор — одна массивная тень нависающего дома. Во дворе всегда холодно. Двор — это Рязанов. Бедный-бедный Рязанов.

— Клево. Я ему в рожу плюнул! — говорил пробежавший мальчишка в белой футболке, из которой торчали пухлые, запыленные руки. Он раздувал свежие щеки, будто играл на горне. Рязанов ощутил, как розовеют, как наливаются елочными шарами и его щеки, рязановские. Другой мальчик с вытянутым, как подкова, зеленушным лицом зло рассмеялся и громко спросил: «А где он сейчас?» — «Там, за гаражами», — отрывисто отбрил пухлый, остановившись и тяжело дыша. «Ты молодец, Артем! — с чувством сказал зеленушный мальчик и цыкнул плевком между зубами, как бы тоже плюя во врага, и добавил: — Этот Петька меня уже достал». Бедный Рязанов, застыв во дворе, менялся в лице — то раздувал горн, то вытягивался зеленушной подковой. А из-за угла гаража в колебании плывущего и оседающего пуха показалась фигурка подростка, который неразборчиво орал что-то обидное, а осмелев, выскочил совсем. «Эй, ты, пойдись сюда! Не бойсь, я тебя не трону!» — пронзительно закричал зеленушный. Но Петр скрылся за гаражами, вынырнул вдалеке, добежал до подъезда. С быстрым скрипом рванулась дверь и гулко хлопнула, от удара снова приоткрылась и наконец закрылась мягко и окончательно. Как свои воспринимал движения двери Рязанов. Одновременно с балкона заголосила женщина в халате: «Петя! Домой немедленно!» А Петя, уже, наверное, взлетев по лестнице, давил кнопку звонка. Рязанов вышел в арку, разрываясь увиденным. Мальчишки, болтая, тоже вышли в арку и пошли мимо китайского посольства, поглядывая на ярко вымытые окна.

Ярко вымытые окна. Ярко вымытый и стеклянный Рязанов отражал первую, но уже душную зелень, крышу соседнего дома, ослепительное, как ненависть, небо. Сквозь Рязанова смотрела на улицу из комнаты немолодая китаянка в деловом костюме, с сумочкой через костлявое плечо.

### МОЛОДОЙ ПАТРИОТ

В пятницу Иван Иванов нажрался в brutальной компании, умер, но по дороге на нажираловку он оказался свидетелем живой ситуации. Было четыре вечера без двух минут, и студент Иванов стоял на платформе в метро. Он с нежностью смотрел на приближавшийся поезд, хотел протянуть руку и погладить железное существо по волнообразной голубой гриве. Поезд проплывал перед юношескими очами, пошатываясь и тормозя. В одном из вагонов Иванов заметил странных пляшущих человечков и немедленно устремился в открывавшиеся двери — именно туда, где плясали.

Там его торопливому взору открылась фантазмагорическая картина. В самом центре вагона бодро и закидонисто отплясывал низенький мужичок лет шестидесяти, потный, лысый, в сером провинциальном пиджаке. Рядом с мужичком крутилась дородная уже немолодая бабенка, плаксиво распевавшая частушки. На сиденье трясся, разрывая гармонь, кто-то худой да темный. Примечательно, что концертанты делали свое дело бесплатно, не было там никаких шляпок или ладошек для подаяния. И все же Иванов не собирался умиляться, будто иностранец. Он не мог воспринимать данную пляску в подземелье как проявление трогательной национальной самобытности. Иванов любил этих плясунов всем сердцем, но они занимали молодого героя не более, чем наглые лягушки дождливейшим летом или русский укроп и петрушка на прополотой грядке...

Иванов уселся, принудив чуть подвинуться пацана-рэйвера — тот с восторгом глядел на действие, ритмично выталкивая вверх большой «во!»-палец. Ивана, тотально русского, интересовали не пляски, а реакция на происходящее пассажиров. Угрюмо погрузившись в свою пучину, сидел народный мужик — его губастая красная морда, искаженная провокационным миганием света, походила на негритянскую. Другой, монголистого вида человек, обнажал десны и слегка пристукивал пальцем по кейсу, вертикально посаженному на колено. Волкообразная секретаршеподобная тетка с высокой прической выкатила лесные глаза. Она не двигалась и лишь дергалась как ужаленная при громком хулиганском хлопке мужичка-плясуна и истеричном «эй-ох!» заводили плясуны.

Говорила баба деду:  
«Приходи ко мне к обеду».  
А дед к обеду не пришел.  
Эй-ох! —

заорала танцовщица зловещий эзотерический текст, но студент Иванов уже выходил из вагона, думая о другом.

Он любил свой народ, но в последние дни и ночи любовь к Родине приобрела для Ивана новое содержание. Иванов был почвенником не в каких-то театральных значениях, а в том смысле, что любил просто почву. Влюбленно смотрел он на обмерзающие мглистые лужи, шамкал ботинками среди уродливых, почти могильных глин, скользил через блестящие грязи. Русскими светлыми глазками всматривался Иванов в сонную траву, деревенеющую на предзимних газонах. «Скоро стану я рожей и скуластей, и злей», — думал он стихотворно и скулил изнутри, как подзаборная собака, и даже тайком (один в комнате) звонко щелкал зубами.

У Иванова были плохие отношения в семье. Родители его, неумные журналисты-международники, сейчас занимались коммерцией. Сын их



мало интересовал. Хорошими они не были. Да разве хорошие Ивановы назовут сына Иваном!

Девочка Иванова — Светлана Бокова — была простой и кукольной, жила на другом конце города, училась в формальном вузе. Ей, как и Иванову, было двадцать лет. Периодически она гуляла с нашим молодым патриотом, но в пятницу была уже ровно неделя, как они не виделись и не слышались. Света и Иванов для порядка спали друг с другом, при этом общались натянуто и до чрезвычайности лицемерно.

Вечерком в ту проклятую пятницу Иванов нажрался в брутальной компании. Пил больше всех. Сначала сидели в забегаловке «На Кузнецком мосту», пока оттуда не выперли. Потом ребята закупились пойлом на улице. Заговорили о Родине. «А для меня именно все что ни есть конкретное земное, то и родное! — громко и резко высказывался порозовевший молодой патриот. — Мне и земля, и трава вон эта дорожке дыханья, если хотите знать». — «Ну давай, пойдя пожри ту землю, если ты ее так любишь!» — с алкогольным вызовом предложил нашему герою один коротконогий кусок сала, у которого, кроме задорной сибирской фамилии, ничего своего, личного, и в помине не было. «Искушай землицы-то!» — сиротливо подержал высказанную идею тихий, вечно мерзнувший мальчик-алкашенок. И вдруг все, как стая сук, накинулись на своего же товарища Иванова: «Иванов! Патриот! Давай пожри!» — «И пожру! И пожру!» — думал, падая на коленки, Иванов и наклонился, и зубами вцепился в мокрую траву, и впотьмах стал жевать... А брутальные собутыльники только гоготали. «Не думал я, что ты такой дурак!» — бросил Иванову изначально предсказуемый паренек с сибирской фамилией. Но Герою России было не до них, сотоварищей. «Дай хлебнуть!» — он вырвал у самого хрупкого и нервного Мишеньки початую бутылку и одним гигантским глотком запил всю свою страну, траву, землю...

«Ыван, гордис! ЫВАНГАРДИСТ!» — гудело в юношеской головушке, полной водки и почвы. Он бежал по пустынному городу, ощущая себя русским. «ОБМЕН МАЛЮТЫ» — яркие буквы электрической вывески заставили его остановиться, и горячий лохматый поток блевотины низринулся на асфальт ночного города. Стылый асфальт простирался кругом и даже белел, контрастируя с мраком полуночи. Иванов бежал по Пятницкой, падая и разбиваясь. Сзади оглушительно загудела машина, Иванов инстинктивно отскочил, но через секунду нарочито демонстративно, прыжком покатился под ослепительный кнут. Его ударило с размаху, и, отрываясь от земли, он зарыдал о своей любимой Родине. Он вспомнил, что учился в МГУ, и Ломоносов, похожий на толстую ворону, прикрыв мальчика крылами. По чудесной случайности безжизненное тело патриота Иванова откинуло на газон, в травинки.

## LOVE STORY

Когда умер Ленин, Сергею было двадцать один. Сергей Ермаков — рослый, скуластый рабочий, безотцовщина, жил с матерью и братом.

Он лежит с тяжелой простудой. Плывут перед глазами сине-оранжевые круги. В комнате темнеет, и круги делаются зелено-желтыми. Вот к кровати подбирается младший брат Кирилл. Маленький уродец воспользовался тем, что матери сейчас нету дома. Сначала он со скрипом приоткрыл дверь, пристально взгляделся, а потом уже на цыпочках шмыгнул прямо в комнату больного. Кирилл наклонился к самому уху Сергея и горячо шепчет: «А ты слыхал, Ленин-то помер». — «Чего?» — спрашивает Сережа. Язык вязко сохнет к гортани. В голове шумный бред. Тут Кирилл, слышав возвращение матери (она отряхивает на крыльце тупые валенки), быстро убегает, ловкий, как бесенок. «Погоди», — тянет к нему ватную руку

Сергей, но след Кирилла уже простыл. Только разноцветные круги зловеще плывут по комнате. И Сергей уходит в забытье. В комнату заглядывает мать, с порога смотрит на темные очертания сына и, мелко перекрестив его, спящего, закрывает дверь.

Сергей проснулся в шесть утра под волчий гудок заводов. В окне — полумрак. Серый свет расчесывает ночную тьму, как гребешок расчесывает пряди волос. На стуле стакан, мерцающий водой, налитой до краев. Полуживой парень поднялся с мятой постели. «Сереж, ты куда?» — закричала мать. «С Лениным проститься. С Лениным проститься. С Лениным проститься», — машинально отвечал он скороговоркой, одеваясь в прихожей. Отпихнув мать, крепко укутался, шагнул вон на улицу. На пороге порывом вихря схватило лицо, клеймом придавил железный воздух. Сережа шагнул еще. И, шатаясь, со слезящимися глазами, с сочащимися ноздрями, двинулся по белым улицам, мимо сугробов, наметенных за ночь. Неизвестно, почему мать не бросилась за ним вдогонку. Может быть, это выглядело бы дико и небезопасно — заграждать сыну дорогу к Ленину.

Сережа выстоял бесконечную темную очередь на затвердевшем, слепящем снежке. В мраморной зале, полной теней и всхлипов, склонился к гробу вождя, слабая, быстро поцеловал голый лоб.

«Вон Ермаков», — кто-то узнал его. Сергей беспомощно улыбнулся этому кому-то в пустоту толпы, всем своим видом говоря: и я с вами! А народ стоял и стоял. Отмерзшие синие уши. Ярко-алые носы. Лопнувшая у беспризорника нижняя губа. Бороды — словно ледышки, что свисают с карнизов и крыш.

Наш герой добрел до дому в сумерках — ни кровинки в лице, весь мокрый с ног до головы, как выловленный утопленник. Дома раздели. Натянули шерстяные носки. Уложили. Провалился во мглу. Желто-зеленые пятна плывут перед глазами. Плывут. Пятна. Заколотила дрожь. Заколотила. Заколотили гроб очень скоро. Через сутки Сергей скончался. Весело и резко убежал по песочной тропинке, ведущей в светло-светлый и прекрасно украшенный рай.

«Нина Ивановна, давайте начертим на могильной плите: „Любовь побеждает смерть”», — предложил Сережиной матери странный человек по фамилии Судейко, нервный и очкастый, из высших инстанций. Она не поняла, расплакалась и, рыдая, лишь мычала и резко крутила головой в знак отказа, похожая на рыжую корову. А Кирюша, Сережин меньшой брат, в это время тихонько смеялся в другой комнате, ведь он был еще маленький и глупенький.

## ПО ДОРОГЕ В ПЕРМЬ

Дело присходит в ста пятидесяти километрах от города Перми в конце лета, мне четырнадцать лет. Недавно прошла полоса дождя, погода — серая, земля расплзается под ботинками. Мы с дядей высадились из автомобиля и заходим за ворота храма. Храм не простой, одна из стен его ограды — кирпичная стена зоны, сверху увитая колючей проволокой. Вровень с колокольней — вышка, на ней одиноко маячит часовой. Дует холодный ветер, срывает дождевые капли с деревьев, с вышки, с храма, с козырька часового — бросает нам в лица.

Заходим в церковь. Облупившаяся роспись девятнадцатого века. В распахнутом окне сквозь незатейливый узор решетки видны мокрая зелень, кусок бесцветного неба и размытая дорожка. В этот час священника в храме нет, есть две прислужницы, тряпочками протирают медь подсвечников. Это набожные женщины лет пятидесяти, в узких платочках, сжимающих седеющие головы. Лица у женщин сухие, особенно сухи уголки глаз — возможно, от частых рыданий. Прислужницы покончили с подсвечника-

ми, одна из них принялась выметать красный коврик, другая подходит к нам, шажок ее гулко разносится по храму. Мой дядя задает уместные вопросы: во имя какого святого церковь, когда служба, нет ли батюшки?

Женщина скупой и приглушенно отвечает. Порыв ветра проникает сквозь решетку, размашисто звенит окном. «А на колокольню к вам можно сходить?» — спрашиваю я (а сам в душе лелею мысль — с колокольни заглянуть на зону). «Нет, — торопливо говорит женщина, — это невозможно. У нас даже в колокола не звонят. Проход на колокольню забили досками. Нам запрещено на колокольню подниматься, чтоб мы не смотрели, чего там у зеков происходит».

Пока дядя беседует с прислужницей, я выхожу во двор. Снова накрапывает дождик. Мальчик моего возраста работает во дворе, откуда-то из-за храма он приносит полную лопату темного жидкого дерьма, сливает ее в яму у ворот и уходит назад с опорожненной лопатой. «Все-таки странно, — думаю я, — что же это он не может набрать полное ведро дерьма, а потом уже слить? Что ли ведра у него нет?» Мальчик обращается ко мне, и тут по шутовским гримасам, искажающим его лицо, по манере речи я понимаю, что предо мной — дурачок. «Вы из Перми?» — спрашивает мальчик. «Нет, из Москвы». — «Из Москвы?» Мальчик восторженно смотрит на меня. Он стоит, держит лопату на весу, в драной телогрейке, личико запаршивлено, грязные скулы. «Послушайте, — говорит он, — пришлите мне часы из Москвы! У меня часов нету, как мне время узнавать! Только пришлите, ручные и электронные!» Я киваю. Куда я пришлю ему часы? Надо узнавать адрес, а мне неохота об этом беспокоиться.

Несмотря на дождь я запрокинул голову. Сейчас меня интересует не приходской мальчик, а вышка и мрачный человек на вышке. «Часы, а?» — просительно бросает мальчик, проходя с опорожненной лопатой. «Хорошо, хорошо. Обязательно», — говорю я, жестокий и ленивый, его сверстник. Неотрывно слежу за вышкой, за шевелением на ней. Солдат наверху, угадав мой к нему интерес, внезапно разворачивается и начинает медленно махать рукой. Я, подросток, стою на церковном дворе, гляжу на вечно готового к стрельбе человека, несущего службу среди уголовников. И тоже машу ему. Может быть, я напомнил ему сына? Между нашими взмахами — серый дождливый воздух. Две машущие руки. Два мира. Тут до уха моего долетает странный топоток с той стороны стены. («А! Это зеков выводят на прогулку», — почему-то радуется застывший рядом мальчик.) Человек на вышке стремительно отворачивается. На меня он больше не смотрит, он весь нацелен туда, на своих прогуливающих. Каждую секунду он готов стрелять. Пальцы только что махавшей мне руки теперь на спусковом крючке.

Из храма выходит дядя. Мы садимся в машину и уезжаем.



---

---

НИКОЛАЙ КОНОНОВ

\*

## ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЕОНИДА

*Рассказ*

**Я** вижу его статуарные ракурсы и немного вычурные положения...

Он всегда выделялся из облака однокурсников, когда они выходили стаей в рекреацию, не тем, что у него были почти совсем седые волосы, чуть-чуть восточное лицо, будто тронутое пороком, а какой-то особой настороженностью, будто он предполагал, что его могут вот-вот сфотографировать.

Он словно заражал зиянием пространство, окружающее его.

Оно им как бы заболело, томилось.

Будто бы он светился, но по-особенному, в себя, как-то сжимаясь.

Хотя, может быть, так казалось потому, что его внутренний мир, те невидимые мне ландшафты, которые он в себе созерцал, не позволяли ему расслабляться. Он и на нас смотрел словно через жалюзи: что там у него, по ту сторону? Бог его знает. Но теперь-то я знаю, на что это походило — на один фаюмский портрет, которым оборачивают лик усопшего. То есть он носил как бы на себе еще и свой след.

Я почему-то очень хорошо и отчетливо его помню. Может быть, смогу воссоздать каждый его день, вечер и ночь. Так как теперь, когда его уже здесь нет, я все про него узнал. Узнавать многое или немного про одинокого Леню было не так трудно. Наверное, потому, что больше никаких примет к его бытию прибавить нельзя, а все остальные имеющие к нему, закончившемуся, отношения были еще более конечными — если так бывает. То есть если я и хочу написать историю одинокого Лени — так примерно такую, какую можно высечь на надгробии, — лапидарное и точное я буду писать торжественным полужирным шрифтом «Академия», все сомнительное, измышленное мной — бледным курсивом комментатора. И если бы один всезнайка не позолотил своими маргиналиями бледнотелую прозу одного французского шпиона, то я хотел бы произвести на свет Божий что-нибудь подобное: десять — двенадцать страниц основного текста и десять тысяч нарядных ссылок и веселых сносок.

Когда я увидел его впервые? На приемных экзаменах? Да, видел, конечно, но не запомнил — ну какой-то высокий седой дядька. Я тогда плохо понимал возраст.

И все-таки он стоит у меня перед глазами как дорога, обсаженная тополями, на прекрасном пейзаже Хобемы. В том смысле, что за ним всегда читался горизонт или прозрачное осеннее свечение завершенности. Нет-нет, он был так, ничего особенного — ни модник, ни хипарь. Скромно и чисто, не очень наглажено. Выправка частного человека. Пиршество в за-

кутке отдельной кухоньки на чистой посуде. Одежда от ботинок до спортивной шапочки из универмага.

В общем, я имею перед собой длинную серию Лениных фотографий — похоже на семейный альбом про сына. Но не совсем. Так как, не имея их в наличии, я не могу со всей определенностью сказать: да, это было, так как случилось, и тем, что это произошло и имеет в себе какую-то занозу, шрам, — трогает меня.

Нет, меня трогает совсем иное — что этого и не происходило вовсе, так как нет никаких следов случившегося, кроме моей памяти. А много ли это?

Мы после первого курса были в стройотряде. Там собралась вся самая модная продвинутая молодежь, и в силу чего-то — пока мне не ясно — там оказался и скромный, вежливый Леня.

Деревня на речке Елань захлебывалась ночами в урловских песнях про мамочку. Их навез из зоны молодой местный вор, отсидевший пару лет. Это под Балашовом — пастернаковские места. Мы строили циклопические отстойники для свиного навоза. Леня говорил, что это фундамент зиккурата. Вечером балдели в спортзале школы под «Иисуса Христа суперзвезду», «Пинк фloyd».

Самое первое, что улетучилось, как запах одеколona, так это разговоры, темный флер и сор психологии.

Пленный дух, оказавшийся на свободе, позабыл все свои прошлые заморочки.

Да и все беседы, отошедшие в прошлое, там и потерялись.

Остались только беседки — те места, где мы сидели, время суток, наши позы, взгляды и ракурсы моих собеседников.

Вот у мостков для полоскания белья на вкопанной в дерн лавочке сидит Леня. За стройотряд он отпустил бороду, грива волос. В нем что-то проявилось ветхозаветное, страдальческое. Хотя он молод, и ему девятнадцать.

«О, как были выходы в степь хороши».

Но я тогда не знал этих стихов.

Мы беседуем о душе.

Мы не атеисты.

Мы агностики.

Меня и его пугает церковь — вот еще одно учреждение. Но и в баптисты, пятидесятники, молокане тоже не тянет — это партячейка. Демократический централизм.

Он сидит в иконописной позе, чуть по-женски. Вытянув и скрестив сжатые ноги, оперев о лавочку руки. Голова его склонена к груди. Иногда в ответ на реплику он поднимает взгляд — у него мутно-голубые белки глаз и сине-серая радужка с глубоким отверстием зрачка. Словно из учебника по психологии — «Задумчивость».

Он не проявляет ни к кому видимого интереса, но как-то сами собой вокруг него начинают виться спутники — люди, приятели, знакомцы.

Он по-девичьи элегантен, он нравится.

Он был бы совсем хорош собой, если бы не округлые плечи и виолончельные плавные бедра (он словно в галифе).

Но это никогда не мешало его особой рельефности и элегантности.

Многие мои сопластники так и остались для меня просто штампованными гардеробными номерками. Ничего не помню, кроме цифры на ощупь.

А Леню я помню иначе, как будто я даже трогал и осязал его, но каким-то особым образом — не найдя ни одного шрама, отверстия, выпуклости, соска и отростка.

Несколько раз я видел его голым. И черная растительность на его груди имела красивый завершенный рисунок карточной масти и была негустой, но как-то внятно очерченной, что мне, безволосому, всегда очень нравилось у других. Низкая мошонка и крупный член с длинной закрытой

головкой. Совсем не срамное место. Единственная роскошь, которую он себе позволял в стройотрядовском бардаке, — бритве подмышек специальной безопасной бритвой из розовой коробочки. Ухмылка Греции. Тоска по мрамору. Мне это непонятно. Я, наоборот, люблю растительность на теле — что Бог дал.

Он как-то странно себя носил. Немного прогнув спину, тря бедра друг о друга, может быть, как гейша. Да-да, именно так они и ходят. Обиженно-детски. Нельзя сказать, что это было обаятельно, но, совершенно очевидно, как-то мило и даже трогательно, хотя он был все-таки крупным парнем и никогда не мельтешил — ни в движениях, ни в поведении.

Его ранняя седина была загадкой. Слухи ходили различные: и раннее интегральное исчисление где-то в седьмом классе, и какая-то транспортная катастрофа (но я-то видел его тело — никаких шрамов, как деревянная скульптура первомученика, но не аскета, этакого путти килограммов на семьдесят). В общем, это так и осталось загадкой, а потом все привыкли, и вот я к сорока годам догоняю его, девятнадцатилетнего. И знаю про эту седую тайну только то, что это от переизбытка кальция в организме.

Он легко и очень хорошо учился, специализируясь на самой сложной кафедре. И, конечно, в аспирантуру без всяких тогдашних зацепок не попал. И я не уверен, было ли ему это нужно, рассчитывал ли он на университетскую карьеру, вообще рассчитывал ли на что-либо.

Он со странной и редкостной податливостью относился к жизни, с тихой улыбкой принимая ее несильные выверты и мягкие виражи. Каким-то чудесным образом он не вступил в комсомол и был правильным разрешенным процентом несоюзной молодежи. Процент, равный единице. Не больше единицы. И он не был больше. Ведь вполне можно было быть единичным во всеобщей туфте.

Вот с этого места моя память перестает быть соразмерной с каким-никаким, но видимым укладом, а превращается в смесь из слышанного, виденного, но, думаю, вполне достоверную.

Один наш факультетский остро слов, звезда размером с белый карлик, сказал однажды о нем в пивной, что Леня, мол, педераст. Я не знаю, откуда он это взял. Но хоть это и проистекало отчасти из его облика, было абсолютной неправдой. Он был просто грустный девственник. Дева. Дев. Дево. Хотя, я думаю, попадись на его пути опытные старшие компаньоны, он пошел бы, куда его поманили, в любую вечернюю даль. И вечер принес бы ему облегченье.

Но на его пути не было ни мужчин, ни женщин, так как он был не от мира сего и носил на себе печать.

Вот я вижу его в амфитеатре большой физической аудитории. Перерыв между лекциями — и он взошел для меня из сумерек и теней в плохоньких джинсах, в выношенном кавказском свитере с растянутой горловиной — на сером белый узор. Между полированной скамейкой и пюпитром большая неудобная пауза, и он соединяет собой их мягким стеариновым сталагмитом, он растет снизу, а не стекает.

Он так внятен, потому что сам в небытии.

И я способен убедиться в недостоверности этой галлюцинации, если бы не белая кожа запястий и лодыжек, показавшаяся из-за его напряженной позы из-под одежды. Ведь у него была несколько широковатая кость.

Меня перехлестывает волна сострадания.

Я не могу насытиться этим реальным зрелищем.

И кто поручится за то, что его уже нет вообще, если я вижу его и знаю отчетливо каждую деталь его существа без посредства медиума, просто сострадаю его завершенности.

Он улыбается чтению.

Он читает странные для нашего круга книги — Рабле, Эразм Роттердамский, Стерн, — он их берет у белого карлика, коему обязан содомической рекомендацией.

Он смеется.

Я помню его жест, сопутствующий улыбке.

Он подносит к губам ладонь.

Ладонь, свернутую в раковину, чтобы улыбка не улетела. Он трет кончик прямого носа.

Он редко улыбается полным ртом, показывая ровные голубоватые зубы. Обычно соразмерно происходящему растягивает сжатые губы в сочувственной ухмылке.

У него красивый темный рот, если бы не эта привычка все время сжимать губы и прикрываться рукой, но пару раз я слышал его низкий легкий хохот и видел замечательный оскал ровных зубов.

Если сегодня выдастся неплохая погода, я смогу проводить его до самого дома, ведь он всегда ходит один. Я буду семенить тихо. Как вечеряющий час. Отстав на четверть минуты или на полкорпуса.

Образ Лени стал возможен, когда наступило его небытие и он сам на сложившуюся сумму никак не повлияет.

Это образ его небытия.

И был ли он вообще — вот проблема.

И вот я ничего не могу сказать, ведь он никогда на меня не смотрел, так, может быть, искоса, чтобы я не перехватил его стесняющегося взгляда. Ведь когда я открыто взглядывал на него в ответ, я наталкивался на жалкость и грусть, и они вместе оказывают на меня душераздирающее впечатление. Будто я должен извлечь его из этого оптического колодца, где на дне — он сам, жалкий и ширококостный, со штриховкой черных волосков, видных в вороте растянутого свитера, похожий на первомученика.

На границе безумия.

По ту сторону смерти.

Я теперь все это понимаю.

Да, я сегодня провожу его до самого дома, может быть, зайду вместе с ним к нему.

Пока подожду у дверей туалета. Он никогда не пользовался писсуарамми, всегда норовил закрыться в кабинке, а в стройотряде отойти подальше ото всех, брызгающих на косогор петергофом с сигаретами в зубах.

Дождусь у гардероба, когда он наденет свое куцее пальто с цигейковым воротником и растянутую вязаную шапочку: эти вещи почти истаяли из моей памяти и стали признаками вещей, знаками неблагополучия или по меньшей мере безразличия.

Я помню их больше на ощупь, как аффект сдержанного порыва и непроявленного сочувствия.

Колкие, невыносимые, изжеванные химчисткой.

Не вещи, а траур по другим вещам и иным облачениям.

Хотя Леня никогда не был жалок.

Для этого в нем было слишком много грации. И пародиен он не был никогда, так как был слишком подлинен.

И если я хочу вызвать у читателя чувство, то только не сочувствия и сожаления.

Миражам не сочувствуют, а недоумевают их непоправимому исчезновению.

Я выхожу следом за ним из монументального корпуса физфака, нас легко поглощает дневное время, но чувствуется, что вот-вот заведерет, в декабре темнеет так рано.

Мы словно в аквариуме с застоявшейся водой — это такой свет в три часа.

Скрипит снег, или же он должен скрипеть.

К физфаку примыкает библиотека — цилиндрический павильон с разведенными под девяносто градусов флигелями книгохранилищ и читальных залов. Мы тут жарким летом семьдесят пятого года сдавали письменные экзамены — математику и литературу. «В чем смысл заглавия романа Н. Г. Чернышевского „Что делать?“?» Не больше двух орфографических ошибок, Лень. Прощу тебя. Всему самому лучшему во мне я обязан... И чтение меня перепало... Так, Лень?

Что мы будем читать? На студенческий абонемент нам ничего хорошего не дадут... Ну и ладно. Мы с тобой почитаем и в читальном зале. А там мы получим доступ к любым сокровищам мира. Мы узнаем о них по ссылкам и сносам в бесстыжих марксистских книжонках, из грязных вторых рук, но это знание будет не хуже того, что из первых, ведь мы так любили иллюзии. И их следы и тени. И по эфемеридам последних мы возводили замки культуры, совсем как в «Игре в бисер». Мы ведь читывали чудные книги — Пруста, Томаса Манна, Гессе, Звево, Кафку — мы производили раскопки сами. Мы знали лучшие стихи лучших поэтов — из алфавитного каталога ты выудил «Камень», «Осенние озера», даже «Аллилуйя» на голубой церковной бумаге с ижицами.

Я пойду рядом с тобой по вольной фантазмагорической дороге из одного кафе в магазин и в другое кафе и в другой магазин.

Ты покупаешь маленький двойной и знаешь, где хорошо варят, с пенкой, без дураков. Я чую посейчас колониальный дух кофе.

Ты не берешь сдачи с сорока копеек. О!

В книжных книг нет, но есть книгообмен. Все, что угодно, если есть валюта народного простодушного голого чтения. Твой папа работает в «почтовом ящике» и как общественник трудится в народном книжном магазине, где ему перепадает крохи «валюты» — мушкетеры, пикули, ВП, фантастика. Но я не буду длить эти свинцовые описи. Они выпадают в тяжелый осадок, и их фракция находится гораздо ниже твоего эфемерного непоправимого существования.

Вот ты в толчее в чудном магазине «Эфир» — это один квартал вниз по Вольской, наискосок огромного здания КГБ. Ты шел мимо нафабранных зловещих дверей, фрондируя, чуть высунув бледный фитилек языка, самый его кончик между темными губами. Я это видел. Так как шел рядом с тобой.

Вот твоя мечта, которую ты никак не обрываешь. Магнитофон «Юпитер» и проигрыватель «Эстония» с алмазной иглолочкой. Усилитель ты собрал сам, также ты сделал и колонки по тридцать ватт каждая. У тебя страсть к звукам, особенно низким и урчащим, как турбина, и проникающим стены и твое темное тело, стремящееся улететь.

Ты страдаешь плохо скрываемой от зубоскалов сокурсников бахоманией, никем не разделяемой (я видел у тебя огромный том Швейцера). Ты ввергаешь себя почти на все бесплатные концерты в консерватории, где Английские и Французские сюиты заголяются дроботом под перстами доцентов-неудачников в готическом континууме огромного зала. В полупустом партере твоя голова странно белела среди редкого цветника старушек-консерваторок, уничтожающих таким способом свои сенильные вечера. Среди их капустного полусна ты как будто подпитывал свое раннее старчество.

Еще два кофейных закутка по дороге на отшибе от главных улиц, эти места надо знать...



Мы любим тихие переулки, сползающие к Волге, копны снега, сваленные в палисадники, чистую сияющую белизну с редкими перьями помоев и собачьими желтыми бусинами. Завтра все покроет свежий снег и не останется никаких следов. Никаких, кроме духа выгребных ям и легкой полости в воздухе, сквозь которую ты прошел. Я могу видеть свою родину теперь только сквозь тебя, через полость твоего непоправимого зияния.

Ты вообще казался мне всегда — я только сейчас понимаю, что это была не кажимость, — итогом вычитания. Или нет, самим этим действием. Всегда и везде, где бы ты ни был, на тебя становилось меньше, даже если ты там и был. Твое наличие имело обратный знак. И я нисколько не удивлюсь, если не обнаружу тебя на групповых фотографиях, а потом и вообще не разыщу ни одного твоего фото. Ведь настоящие следы, в отличие от непоправимых засечек памяти, иногда оказываются изгладимы. Все. Ведь нечто подобное происходит и с городом, в котором ты обитаешь или обретаешь качество эфемериды. Он, лишаясь координат, истончается и сходит на нет.

Вот и дорога от университета до дома стала короче. Иногда ты, преодолевая крыльцо и четыре лестничных марша, не замечаешь, как оказываешься сразу у дверей квартиры. Ключ, если его не было в почтовом ящике, лежит рыбьим плавником под ковриком у самого порога. Ты с родителями живешь в кооперативном доме, и у вас двухкомнатная квартира «трамваем». Дом очень хороший — из белого силикатного кирпича, в подъезде чисто, в основном его жители — из того же «почтового ящика», что и твои тихие, словно снег, родители. У тебя своя комната, правда проходная.

Я наблюдаю тебя как череду выемок, как помпейские пустоты, так что могу заглянуть и в тебя и провести рукой изнутри по эпидерме. Это потому, что тебя нет, как и многого из того, что было.

Да-да, с какого-то момента ты начал явно иссякать, пока не исчез вовсе. Когда это произошло? Ведь это не случилось как-то вмиг.

Это началось с того, что я увидел в твоих конспектах «Методов математической физики» мишени преферансных перекрестий. Кажется, их были десятки. Разграфленные жирным красным карандашом по линейке, заполненные цифирью и еще множество чистых.

Книга мишеней.

Для меня это было открытием.

Я сказал сам себе — «охо-хо-хо».

Я не знаю, что значит этот возглас — удивление, радость за тебя, недоумение или осуждение.

Если можешь, вычеркни любое.

Я не могу достоверно описать твой вяло текущий вечерний досуг. Я в недоумении. Твои позы даются мне гораздо лучше. Например, ты в туалете, ванной, на диване, обедаешь, слушаешь музыку. Я не знаю развязки твоего дня.

Наконец, засыпая, ты тихо, немного грустно мастурбируешь в горячую ладонь. Кого ты при этом воплощаешь из эфира — строгую даму пик, теплового трефового валета?

Я не могу также представить тебя в маленькой аудитории, где вы втроем с Бобом и Гуней запираетесь отломанной ножкой стула, вставив ее в дверную ручку. Как ты располагаешься за столом, как ты тасуешь колоду, ходишь, пасуешь, заполняешь аккуратнейшим образом сегменты мишени. При твоей памяти ты мог это делать и наизусть, но вы играете на деньги. И тебе важно иметь видимый счет.

На что это похоже? За окном темнеет, вы сидите без света где-то час, пока совсем не утихнет в коридоре третьего корпуса, тихо-тихо переговариваясь.

О, о чем ты говорил с ними?

Это так ранит меня. Я не знаю почему, так как не ревную и полюбил тебя только теперь, когда ничего не имею в наличии, кроме твоего исчезновения.

Вы начинаете невероятное пиршество. Оно продлится до самого утра.

На кого вы были похожи?

На ветхозаветную троицу?

Может быть.

Значит, азарт тебя жег молчаливым белым огнем, отрицая и изнутри, так как снаружи тебя всегда было немного. И если твоя ночная жизнь в личине азартного Германна для меня труднопредставима — как проекция твоего торса на экран в темени рентгеновского кабинета, — то меня никогда не одолеет волнение при виде твоего призрачного существа в пронизывающем свечении азарта.

Да и был ли это азарт?

Тогда симптомом чего было это твое ночное занятие?

Невоплотимой жизни?

Алогичной невротической реальности?

Невменяемого чувства?

Вычеркни ненужное.

После университета, отработав какой-то невнятный срок в невыносимой конторе, где китайской пыткой «тысячи кусочков» убивают вялое, бледное время, я загремел в колхоз то ли на уборочную, то ли на посевную, что во всеобщем планетарном бардаке было одним и тем же. Мы в основном ловили раков в прудах, посылно развлекались, пили горькую. Это было чистое отвлечение по Паскалю. Видавшие виды инженеры напряженно играли в бесконечный преферанс, и я как-то краем уха услышал, что вот, да! — есть, мол, игроки, всем игрокам игроки: когда, мол, служил в «почтовом ящике» № 12345, то там трудилась семейная пара — профессионалы, и не садись, они и своего сынка с малолетства приучили. А кто это, спросил я — и в ответ услышал твою птичью фамилию. О дальнейшем я не любопытствовал.

На выигранные у Боба и Гуни ты купил и «Эстонию», и «Юпитер», и что-то еще.

Наверное...

Все остальное, что я могу дописать о тебе, что мне удалось вырвать из бессвязности, вывести из редких встреч с однокашниками (я всегда спрашивал, к их недоумению, о тебе), совершенно лишено чувственности и складывается в несложную однозначную схему: ты, как письмо, попал в тот же «почтовый ящик», где лежали заклеенными твои родители, и самый неожиданный кульбит судьбы — тебя призвали на два года офицером в какие-то там войска, где ты стал настоящим Германном, и все остальное, касающееся твоего достоверного исчезновения, покрыто тьмой и стало суфрамом.

Ты стал равен сам себе.



---

---

БОРИС ВИКТОРОВ

\*

## ПТИЦА И ЧЕЛОВЕК

### Грачиный остров

#### I

Затон пропитан керосином,  
теряешь в пекле раскаленном  
грачей, купающихся в синем  
и пропадающих в зеленом.

Закат — над вырубленной согрой,  
где хмель — дыханием тяжелым  
укрыл сливающихся с охрой,  
отогреваемых в желтом.

Скитаясь, ты искал напрасно  
в горячем мареве костерном  
птиц, забывающихся в красном,  
запоминающихся в черном...

Окрест — пустуют интернаты,  
ветвь над излучиною гнется  
и держит в воздухе пернатых  
бомжей разрушенные гнезда.

Голь островная из прибудших  
давно отравлена портвейном,  
знать не желает доли лучшей,  
и снятся пасынкам ничейным

лишь остов церкви обгорелый  
да хлопья сажи — за плечами.  
И тополь — белый, белый, белый,  
как ангел с черными очами.

#### II

Время третьей стражи,  
откровенных слов.  
Ночь — темнее сажи  
и черновиков.

---

Викторов Борис Михайлович родился в 1947 году в Уфе, жил в Сибири и Молдавии, последние двадцать лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических книг, вышедших в Молдавии и Москве. Печатался в журналах «Дружба народов», «Юность», «Арион», «Континент», альманахах поэзии и др.

Жизнь пощады ищет,  
ропщет не дыша,  
как на пепелище  
женская душа.

В это время слышен  
под горой ручей  
и тростник, а выше  
крик грачей...

### III

Грачиный остров навсегда  
покинут — гибнет на глазах  
испепеленная звезда  
в переплетенных проводах.

Песчаный берег сиротлив,  
за штабелями горбылей  
худая лодка среди ив,  
чужая колыбель.

Закат над выбитым окном,  
как полоумный керогаз,  
еще, наверно, во втором  
тысячелетии — погас...

Молчи! Я вижу отчий дом,  
и колыбель перед крыльцом,  
и сгусток света над гнездом,  
и мать с отцом!

### IV

Берег, даль и деревья хмурые  
крепко связаны арматурою  
разветвленных кривых стволов —  
узнаю незабвенный кров!

Узнаю вас, причалы людные,  
луны медленные прибудные,  
плащ-болонья в траве сырой,  
две орешни над головой.

...Пролетело сто лет, два месяца.  
Сад разросся, кора в смоле.  
И зарубки, как в небо лестница,  
еще держатся на стволе.

Еще держатся дни прекрасные  
паутинками на стекле,  
и змеиное керогазное  
пламя синее на столе...

Гаснут бакены вдоль излучины,  
 пришвартует луной к земле  
 лодку с выщербленной уключиной  
 при ушедшем в песок весле.

Кран следит, как течет созвездие,  
 одинок в предрассветной мгле,  
 словно в прошлом тысячелетии  
 черный грач — об одном крыле.

## V

В стаю сбивались наутро,  
 в небо вонзались, как скобы.  
 Вдоль побережия смутно  
 перья их брезжили, будто  
 сброшены старые робы.

Это грачиная стая,  
 не отставая,  
 с нами прощалась, держалась  
 в воздухе, смешанном с дымом.

Это потом продолжалось  
 в сердце, как боль или жалость  
 или тоска по любимым.

## VI

На рассвете брошенная в пламя  
 рукопись сроднится  
 с голосами птиц, листвой, дымами;

наших встреч последняя страница  
 вспыхнет, как береста,  
 в воздухе холодном растворится,

все ж наутро стаей обернется!

А чуть позже перья на поляне  
 снегом занесет... И оборвется  
 крик грачей над пристанью в тумане.

1998.

\* \*  
 \*

«Как ветла расшумелась!» — Суровы  
 посвист ветра и гул проводов,  
 и гремит на мосту маневровый,  
 словно кто задвигает засов.  
 День грядущий бессмертной кроной  
 погружается в небо Москвы,  
 чей сюжет крестовиной оконной  
 поделен на четыре главы.  
 В первых трех, дорогих бесконечно,  
 соловьи поселились давно.  
 А четвертой нам знать не дано.  
 Чтобы свет не слепил, ты навечно  
 затворила окно!

\* \*  
\*

Чайка парит, останемся здесь, похоже,  
на берегу, где осенью в полумгле  
листья причалят к лодке — какое ложе! —  
одновременно в море и на земле.

Веки смежив, останемся под орешней,  
пусть впереди, как огненная стезя,  
фосфоресцирует побережье,  
дальше идти нельзя.

Здесь наша родина и темница,  
гул нарастающий и ночлег,  
и ослепительная зарница —  
одновременно птица и человек!



---

---

МАРИНА ПАЛЕЙ

\*

LONG DISTANCE,  
ИЛИ  
СЛАВЯНСКИЙ АКЦЕНТ

*Сценарные имитации*

Фильм третий

LONG DISTANCE  
(с русскими субтитрами)

**CAST:**

Телефон.

Женщина с телефоном.

Женщина с любовником, или Она.

Любовник женщины с любовником, или Он.

Иммигрант монголоидного типа (Shkhinozean).

**Сцена 1**

Сначала экран кажется полностью темным. Но вот отдаленные звонки телефона обостряют наше зрение. После двух или трех сигналов, в левом верхнем углу экрана мы начинаем различать горящую букву «L». Звонок... Звонок... Неожиданно близко слышится громкое бормотанье: «Хага!.. Шамга ту... киржа рош!..»

Включение слабого света (настойной лампы). Она освещает экзотического иноплеменника: дряблость кожи, тщедушность марсианина, человечья нечистоплотность конских волос. Вынырнув из постели на полу и подпрыгивая на одной ноге, он судорожно натягивает джинсы. Это Shkhinozean. Звонки продолжают.

**Shkhinozean.** Хага! Шамга ту киржа рош! Аржанат тхажда яктасу! Мал-сумал! мал-сумал гун йомаш рош!

**Шхинозиец.** Дьявол! Даже ночью отдыха нет! Это место проклято! Ни в чем! ни в чем удачи мне нет!

Он подсказывает к букве «L» (это освещенная извне половина дверного контура), — поворачивает ключ...

**Сцена 2**

Close up: женщина с телефоном. В одной руке трубка, в другой — Paradisian Bird (Райская Птица). В доли секунды мы успеваем отме-

тить: странный цветок изыскан и закономерен на фоне профиля женщины, — она держит его за длинную ножку с маленьким золотым веером на конце.

Женщина с телефоном. Але? але? (*Взрыв счастья.*) Ой, привет!! Ты где?! где?!. (*Медленно вешает трубку.*)

Телефон висит на стене коридора — длинного, давно обшарпанного, но так и не обжитого. Один конец этой кишки упирается в дверь с цифрой «3» и смотровым глазком (это, видимо, гостиничный или общежитский номер), другой — в окно, зарешеченное жалюзи. За окном ночь. В стене, напротив телефона, два проема. У стены с телефоном, строго под ним, приткнулся инвентарно-канцелярского вида тощий железный столик. Рядом торчит стул. Возле окна, поставленное на пол, тусклеет массивное, седое от пыли зеркало. Возле него, попирая тригонометрию и здравый смысл, лежит снятая с петель, перевернутая дверь. Прислоненная к стене длинным торцом, она дополнительно крепится к ней паутиной.

Снова звонит телефон.

Женщина с телефоном (*срывает трубку вместе с аппаратом.*) Где ты, где?! да! отку... (*Ставит телефон на стол и кладет трубку.*) Спасибо...

Кладет на стол цветок, вешает на стул сумочку, быстро расстегивает пальто и бросает туда же.

Одета она очень нарядно, в восточноевропейском стиле (то есть с большой тщательностью и явным напряжением). Эту очевидную кропотливость не могут скрыть даже длинные цепи крупной (и как бы небрежно болтающейся) бижутерии.

Неотрывно глядя на телефон, она стоит под прицелом цветка. (Он горизонтален. Стебель нацелен в тело.)

Звонит телефон. Она берет трубку не сразу. Видно, обдумывает вопрос... Звонок... Звонок... Звонок...

### Сцена 3

Голубой свет делает бледными, словно потусторонними, голые тела любовников. Пара, взаимно перевитая водорослями рук, ног, волос, — а может, двуспинная рыба — плавно пульсирует на волнах льющегося в окно света.

Где-то снаружи (за стеной? за толщей воды?) слышен приглушенный звонок телефона. Человеческий голос, словно бы вскрикнув, обрывается.

Тишина. Упорные конвульсии рыб. Снова звонок. Невнятный обрывок фразы. Откуда эти звуки? Из прошлого? Из будущего (которое только в одежде прошлого и делается для нас различимым)? Рыбы, сокращая мышцы наслаждения, пытаются плыть против течения, но поток неизбежно сносит их вниз, — в океан, где царит беззвучие, где нет ни смысла, ни жалости, ни дна, где навсегда отключен счетчик времени, но, может быть, все-таки есть мириады прозрачных, как виноградины, раковин с прозрачным жемчугом воспоминаний...

Снова звонит телефон.

### Сцена 4

Коридор.

Женщина с телефоном. Статус как твой, статус?! Да, да, стат... (*Кладет трубку.*)



Женщина с телефоном смотрит на него всем существом. Мир полностью сосредоточен в телефоне и связан с ней пуповиной. Она ждет с терпением и любовью. С полным доверием к высшей силе, управляющей миром и связью миров. Склоняясь над этим аппаратом, как над гнездом, где лежит беззащитная жизнь мира.

Животной теплотой своего тела она согревает телефон. Сейчас от нее одной зависит, жить этому миру или не жить. Какова ответственность! И так будет непреложно, пока в ней сохраняется эта чудотворная способность ждать. Тысячу лет. Миллион лет. Вечность.

Звонок.

Женщина с телефоном. Да!.. (*Задохнувшись.*) Да?! да?! (*Медленно кладет трубку.*) Я тебя поздравляю... я тебя... я... поздравляю... поздравляю... (*Обхватив голову, стоит неподвижно.*)

Резко развернувшись, бросается в сторону, — видно, ей сейчас позарез нужно движение, — наталкивается на дверь с цифрой «3». Поворот, рыбок, пять шагов — окно с решеткою жалюзи.

А коридор-то не так и длинен, как это казалось.. Дверь — окно... Окно — дверь... Постоять у стены... Дверь, окно... Звонков нет. Замирает у столика с телефоном. Снова полная покорность силе, управляющей орлом, решкой, рождением, небытием, миром, войной.

Простая готовность ждать вечно. А звонков так и нет.

Может, вечность уже наступила.

## Сцена 5

Распадение двуспинной рыбы. Брезгливое отчуждение половины от половины. Женщина (женщина с любовником, или Она): длинное восковое тело, скорбная свеча. Мужчина (любовник женщины с любовником, или Он): упитанный, но какой-то очень уж голый. Может, оттого, что не у себя дома. Тот же голубоватый свет из окна. Как гробо наложенный грим, он мертвит.

He. Thank God... looks like it stopped... How can you live like this?

Он. Слава Богу... кажется, это закончилось... Как ты можешь так жить?

Молчание.

He. Is it often like that?

Он. И часто у вас так?

Гадливым движением кошки женщина перекатывается на другой бок. Теперь она надежно отгорожена от партнера своей длинной, костлявой, вхолостую блудливой спиной. Закинув за голову руки, такие же длинные, как волосы, она в мире одна.

Холодно.

Она подтягивает колени, прячет лицо в свои руки. Коль ты один, будь эмбрионом, грейся скудостью своего тепла, ври себе напропалую, что не жишься в раю материнского чрева. Река времени течет в океан, где нет причин врать. Скорее бы, что ли. А пока ври себе, снова ври, что там, как до часа рождения, тебя ожидает отдых, защита, а возможно, отрада.

Она протягивает длинную свою руку к торшеру, щелкает выключателем. Резкий — оголенный и оголяющий — свет.

She (*with the Slavic accent*). Not very much. Every other month, more or less.

Она (*со славянским акцентом*). Не очень. Примерно раз в пару месяцев.

He. So, they fight, right? And every time — it's over! *Forever*, right? And then, in the middle of the night passion suddenly comes back... I understand that, I've been through things like that!..

Он. Короче, они ссорятся, так? И каждый раз — все кончено! *Навсегда*, так? А потом, в середине ночи, страсть вдруг возвращается... Я понимаю это, я проходил через такие же вещи!..

Пауза.

Пафос, сопровождаемый жестикуляцией, имитирующий involvement и нацеленный единственно на возобновление intercourse, оказался растрочен напрасно. Точней сказать, результат получился даже обратный: многозначительность жестов оратора в сочетании с его багровыми, откровенно размякшими органами мужской самобытности, производит карикатурный эффект (не оцененный партнершей, по-прежнему отгороженной спиной).

He. No? Am I wrong? Maybe there's more than one, a dozen competitors? Is she pretty? You are poor thing, it is hard to relax with such neighbours...

Он. Нет? Я не прав? Может, там не один, а дюжина соперников? Она хорошенькая? Бедная ты, трудно расслабиться с такими соседями...

She (*ironically smiling*). He is the only one. But he costs a dozen of ones.

Она (*усмехаясь*). Он единственный. Но стоит дюжины.

He. Oh, I see.

Он. О, я понимаю.

She. It's her birthday today.

Она. Сегодня ее день рождения.

He. I see.

Он. Понимаю.

She (*talking to herself*). It's not from New York. It's from long distance.

Она (*себе*). Это не из Нью-Йорка. Это издалека.

He. I see. Well, shall we try again?

Он. Понимаю. Ну, попробуем еще раз?

## Сцена 6

Звонит телефон.

Женщина, ждавшая звонка, вылетает из проема, который ведет, наверное, в кухню. В руках у нее бутылка от шампанского, куда она почти не успела налить воды. В бутылке, золотым веером, сияет *Paradisian Bird*. Слышен шум открытого водопроводного крана. Гроыхнув по железу, женщина ставит бутылку на столик, срывает трубку.

Женщина с телефоном (*быстро*). А ты... а... а... (*Видно, перебили. Вешает трубку.*)

Секунда оцепенения. Затем: быстро переставляет цветок со стола на пол, за стул. Хищно хватает сумочку, — рывком распахнув, вытряхивает содержимое. Дребезжа, катятся по столу и летят на пол патрончики губной помады, макияжные карандаши, монеты...

Ладонь, быстро хлопая по столу, ищет какой-то предмет. Тщетно. Сумочка вытряхивается вторично. Ничего, кроме табачных крошек...

Close up: пальцы рвут бумажную коробочку, — мелькнув, — доли секунды — видна этикетка: женский глаз «BEFORE», женский глаз «AFTER». Выпадает пузырек с жидкостью для подтяжки морщин... Пальцы, схватив черный карандаш, коряво и быстро пишут на изнанке клочка:

1. *Как твой гайморит?*

2. *Что с деньгами?*

3. *Получил ли мое письмо от 21 дек.? (И т. п.)*

Звонок телефона застает кисть за составлением этого очень конкретного, но одновременно словно бы не рассчитанного на реальный ответ (и, по сути своей, бесконечного) списка...

## Сцена 7

Любовники.

He. I can't deal with this! I need to relax... Maybe some other time?

Он. Я так не могу! Мне нужно расслабиться... Может, как-нибудь в другой раз?

Неловкая пауза.

He. Why does she keep hanging up? nerves?

Он. Почему она постоянно трубку вешает? нервы?

She. She has no money. He has no money as well.

Она. У нее нет денег. У него тоже.

He. I see.

Он. Понимаю.

She. They have not at all.

Она. У них совсем денег нет.

Пауза.

Женщина, свесив ноги с постели, садится спиной к мужчине. Закуривает.

Взаимное молчание. Визг тормозов за окном... Снова тихо. Теперь заметно, что звонков нет. Довольно долго их уже нет...

Обостренное беззвучие. Жесткое. Голое.

She. We have a war on our Kavkas, did you hear?

Она. У нас война на Кавказе, ты слышал?

He. Where?

Он. Где?

She. On Kavkas...

Она. На Кавказе...

He. Kafka's? What's Kafka's?

Он. Кафка'с? Что это — Кафка'с?

She. On the Cau-casus!.. Is it clear? Black sea! Mountains! Oh, what's the difference... There is always chaos somewhere in my the so-called «motherland»: a war, a plague, starvation, revolution... What's the difference...

Она. На Кав-казе! Понятно? Черное море! Горы! Ох, какая разница... Там всегда где-нибудь хаос, на моей так называемой «родине»: война, чума, голод, революция... Какая разница...

**Сцена 8**

Ждущая звонка стоит в коридоре, лицом к стене. На первый взгляд можно решить, что она внимательно что-то разглядывает... Например, этот маленький участок, прямо перед глазами, — там, где на месте содранного клочка обоев образовался смутный, но несомненный географический рельеф. Она машинально обводит пальцем его границы... Легко касаясь, трогает там и сям это темное, сложной формы, уже замасленное пятно... По всему видно, что стоит она долго.

Одновременно мы слышим диалог любовников — отчетливо-близко, на первом плане, — как если бы они физически присутствовали в этой сцене. Скорее всего, так и есть: реальны именно их голоса... А та, которая ждет? По-видимому, она есть просто предмет разговора. (Стоящий сейчас пред их «мысленным взором».)

She. ...So he had to go to the war. It's a male thing, you know. She sent him to Israel... Where ese? He lives there in some adaptation camp...

Она. ...Так что он должен был пойти на эту войну. Ясно, мужское дело. Она отправила его в Израиль... Куда же еще? Он живет там в каком-то адаптационном лагере...

Стена. Ее участок с пятном географических очертаний. Профиль женщины. Пальцы, гладящие пятно. Ее взгляд сквозь и вонне, вмиг облетающий Землю, возвращенный вовнутрь. Извлекший запретную зоркость из линзы слезы. Снова пронзающий стену. Стена — это что? Механическая разгородка пространства? Предел возможностей? Подпорка слабому телу, чтоб было, к чему приткнуться, когда земля летит из-под ног? Защита робкому глазу, гибнущему от ужаса при всяком необжитом разворачивании пространства? А может, это просто Стена Плача. Ничего себе «просто»! Написал записочку в канцелярию Г. Бога, теперь жди ответа... Или звонка...

She. «Promised Land»! Israel is not a piece of cake, even after Russia.

Она. «Земля Обетованная»! Израиль — это не кусок торта даже после России.

He. I see. Out of the frying pan into the fire.

Он. Понимаю. С раскаленной сковородки прямо в огонь.

She. From the fire into the fire. And she herself comes here. She thinks — the first opportunity she'll get him out of there. That's her plan...

Она. Из огня в огонь. А сама приезжает сюда. Думает, при первой же возможности она его оттуда заберет. Такой у нее план...

...А пятно на стене — это, конечно, Мертвое море... Как отчетливы его очертания! Миллиарды существ безгласно, слезами, возвращают Земле ее влагу, безгласно уходят... Солнце, отданное в рабство времени, выпаривает плазмат водички, выжигает случайное... Остается лишь этот горчайший концентрат земных эпизодов, самый экстракт их сути, — голый, ярко-синий кристаллический яд, насыщающий плоть вод и небес... Химически чистые слезы, лишенные даже мельчайшей взвеси иллюзий, — вот что такое Мертвое море... Какие уж там «тектонические разломы земной коры»!

**Сцена 9**

Любовники.

Женщина все так же сидит спиной к партнеру. Смакуя, пускает колечками дым.

She (*going on*). ...She is «making a nest» for him here. Ha! without money, without job, without documents...

Она (*продолжая*). ...Она тут «вьет гнездо» для него. Ха! без денег, без работы, без документов...

Особенно изящное колечко. Изогнулось... растаяло. Партнер, лежа лицом к спине женщины, изо всех сил изображает внимание. Он со значением морщит свой лоб, а кроме того (неслыханный стоицизм), даже не протестует против табачного дыма. Напрасная жертва! Его партнерша целиком в себе... Все-таки, верный ритуалом «political correctness», партнер старается любой ценой оптимизировать ситуацию. То есть, что называется, не покладая рук своих имитирует «непринужденность». А потому кончиками пальцев он красиво поигрывает длинной ниткой ярких прозрачно-розовых, очень дешевых бус, что, сверкая, свисают с линялого абажура...

She. Even without a steady place to sleep!.. «A nest»!

Она. Даже без постоянного места, где спать!.. «Гнездо»!

Слово «гнездо» (звучит почти как кличка) уже выкрикивается, притом со злорадным взвизгом. Одновременно рукой, свободной от сигареты, ораторствующая выразительно указывает назад, адресуя финал тирады в сторону смолкших телефонных звонков.

He (*echoes*). No job?..

Он (*эхом*). Без работы?..

## Сцена 10

Пустой коридор. Свет в нем уже погашен. На полу под окном — тюремная тень от жалюзи. Изредка фары проходящих машин, скользя по стенам, выхватывают дверь с цифрой «3» в конце коридора... столик с телефоном... цветок в бутылке из-под шампанского...

А главное, они выхватывают пустоту. Отсутствие человека. Пространство, словно бы изначально созданное лишь для самого себя. Тело, погруженное в его объем, неизбежно будет вытолкнуто — силой, равной силе погружения.

## Сцена 11

Любовники.

She. He found in the garbage an expired telephone card... He took the card... and took a razor blade... and glued them together.

Она. Он нашел в мусоре использованную телефонную карточку... Взял эту карточку... и взял бритвочку... и склеил их вместе.

На словах «взял карточку» женщина берет с пола и демонстративно поднимает пачку сигарет «Marlboro»; на словах «взял бритвочку» — проделывает то же самое с зажигалкой. Произнося «и склеил их вместе», поворачивается к партнеру и выразительно соединяет друг с другом два этих наглядных пособия.

She. And it is possible to call! And talk for exactly one second and a half. Free of charge.

Она. И можно звонить! И говорить ровно одну секунду с половиной. Бесплатно.

Красивое колечко дыма. Еще одно... еще... Глубокая затяжка... Кисть с сигаретой (видны длинные фальшивые ногти), проделав путь от клубничных губ к абажуру, фасонисто замирает далеко на отлете...

S h e. Costs nothing. Jewish discovery.

О н а. Совершенно бесплатно. Еврейское изобретение.

Маленькая, но выразительная пауза.

Обратный путь сигареты, долгая затяжка, подкатывание глаз, колечки.

S h e. Free telephone card! Absolutely free of charge!.. One second. And a half.

О н а. Бесплатная телефонная карточка! Абсолютно бесплатная!.. Одна секунда. С половиной.

Некоторая пауза.

H e. Come here.

О н. Иди сюда.

## Сцена 12

Снова пустой коридор. Голубой лунный дым. На полу, черной решеткой, тень оконного жалюзи.

Снова отчетливо близкие, хотя и негромкие, голоса любовников. Это сейчас единственная «физическая реальность». А коридор? Возможно, реальность чьего-то сна.

S h e. ...Two days ago she asked me to buy an envelope and send a letter. The letter... well, I read a few lines... «...The front pages of newspapers are flooded with blood... in the country where he is now... Heads and bodies apart... Please have mercy...»

О н а. ...Два дня назад она попросила меня купить конверт и отправить письмо. Письмо... ну, я прочла пару строк... «...Первые страницы газет залиты кровью... в стране, где он сейчас... Тела и головы отдельно... Пожалуйста, пощадите...»

## Сцена 13

Комната любовников. Женщина у голого окна. Профиль с сигаретой. Дым лунный, табачный.

Скорее всего, женщина еще в предыдущей сцене предпочла своему партнеру незримый нам законный вид. Хотя ее поза, боком к ним обоим, предполагает некоторый компромисс...

S h e (*going on*). How do you like that? A letter to the legal agency! Foreign legal agency! (*Mocking*). «Heads and bodies *apart*». How can she write this?

О н а (*продолжая*). Как тебе это нравится? Письмо в легализационное агентство! В легализационное агентство для иммигрантов! (*Передразнивая*). «Головы и тела *отдельно*». Как она может писать так?

H e. So how long has she been living away from her husband?

О н. Так сколько она уже живет без мужа?

S h e (*to herself*). She has no husband at all. I think she never had.

О н а (*себе*). У нее нет мужа. Думаю, никогда и не было.

H e. Well, whoever he is, a boy-friend...

О н. Ну, не важно, кто он, бой-френд...

She (*sneering*). Which boy-friend?! Which boy-friend?! (*Now we see that she is rather attractive*) It's her son calling!

Она (*презрительно усмехаясь*). Какой еще бой-френд?! Какой еще бой-френд?! (*Теперь мы видим, что она довольно привлекательна.*) Это ее сын звонит!

He. Son?

Он. Сын?

She. Son.

Она. Сын.

Пауза.

He (*smiling tensely*). And you? Do you have kids?

Он (*напряженно улыбаясь*). А ты? У тебя есть дети?

She. And me? I don't have kids.

Она. А я? У меня нет детей.

He (*smiles*). I don't either. It's better that way, isn't it? Come here.

Он (*улыбаясь*). У меня тоже нет. Так лучше, правда ведь? Иди сюда.

#### Сцена 14

Целиком темный экран. После небольшой паузы слышны звонки телефона. Почему так темно? Видно, небо окончательно в тучах. Ни намек на свет.

Торопливые шаги, снятие трубки, встревоженный голос женщины с телефоном: «Але. Але? Але? Але!..»

Напряженная тишина. Затем слышно, как женщина дует в трубку, стучит по ней пальцем. Снова черед сиротливых «але».

Звук положенной на рычаг трубки... Шаги и щелчок... Свет.

Женщину с телефоном трудно узнать. Праздничной одежды уже нет. Вместо нее — полурасстегнутая голубая пижама. Длинные темные волосы гладко убраны со лба под широкую черную ленту. Очевидно, перед сном женщина собиралась проделать кое-какие косметические процедуры.

Звонок.

Женщина с телефоном. Але!! Да... Ка... (*Кладя трубку, себе.*) Какая новость?..

Оживленно улыбается. Видно, голос с той стороны Земли, в течение секунды с половиной, тоже был оживленный, веселый. А много ли надо?

Теперь, кстати, заметно, что она не так уж и молода. Не то чтобы она утратила привлекательность, а просто мы видим другого человека. Кроме того, сейчас вдруг становится очевидным, что человек этот совсем небольшого роста...

Звонок.

Женщина с телефоном. Какая? Да... (*Кладя трубку, повторяет услышанное.*) Хорошая?.. (*Ласковая усмешка.*)

Женщина стоит, уютно сплетя на груди руки. Маленькие кисти... Стопы, кстати, тоже совсем маленькие. При этой детскости отдельных частей, довольно округлые бедра и грудь. Что-то беличье, заячье в очертаниях тела. Мягко, поощрительно улыбаясь, смотрит сбоку на телефон. Будто это именно телефон такой молодец, и он делает большие успехи...

Звонок.

Женщина с телефоном (*все так же улыбаясь*). Какой... Какой контракт? (*Кладет трубку.*)

Странное дело: свет падает сверху, от голой коридорной лампочки в 60 ватт. А кажется, он исходит от лица женщины с телефоном... И освещает он не телефон, а... что там на столе? Господи, пусть наша сентиментальность будет страшнейшим из прегрешений наших! Мы видим младенца, солону, ясли, воловьи ноздри и святые дары, а свет от золотых волос младенца, удваивая свечение, возвращается к лицу матери... Может, именно свет этот и есть неразрывная пуповина...

Звонок.

Женщина с телефоном (*смеется*). Чего-чего-о-о? (*Кладя трубку и сохраняя улыбку, старательно выговаривает.*) Лимитед... лай-э-би-ли-тиз... эгримент!.. (*Довольная, весело трясет головой.*) Как будто я понимаю!..

Смотрит на телефон нежно и горделиво. Ну и ну! Эх и шпарит же сынок по-английски! А дети-то наши, слава Богу, поумней нас... (И т. п.)

Звонок.

Женщина с телефоном (*миг, еще миг, вдруг, согнувшись, как от удара*). Когда-а-а?! Когда-а-а?! Когда?! (*Ударом всаживает трубку в аппарат.*)

Этот звериный гибельный крик (вопл, стон, вой) киношная звукоаппаратура передает вполне адекватно. Другое дело — кинооптика. Видно, оператор поменял линзы: линия коридора, пол, потолок, спина женщины, тощий железный столик, дверь с цифрой «3», зеркало у окна, само окно, дверь, снятая с петель, — все изменило свои очертания, все странно искажено, камера гоняется за женщиной и не может поймать, камера загоняет ее в угол, швыряет в углы, гоняет из угла в угол, из конца в конец, камера преследует, камера травит, камера гонит ее, как футбольный мяч, как зайца, как палый лист, но поймать все равно не может, — и, видимо (звонок словно бы уточняет картину), это есть просто новая данность: сообразная прорыву скрытого доселе пространства.

Женщина с телефоном (*жестко*). Когда? (*Миг, вопль.*) Идиот!!! (*Вколачивает трубку.*) И-ди-от!..

Времени почти нет, стань точкой. Отсчет пошел на секунды, замри. Она и не металась — это в запале скакала камера, пытаясь обжить новое измерение. Женщина же, вмиг отколотившись, закаменела. Нельзя тратить в движении то, что должно быть отдано мысли. Мысль — стрела, мысль — мишень. Она сама стала мыслью.

Есть пара секунд. Есть мозг. И есть телефон.

Значит, есть шанс.

Звонок телефона. Звонок... Звонок... Она смотрит сквозь аппарат, словно уплотняя узкий луч своей мысли. Звонок... Берет трубку.

Женщина с телефоном (*почти бесстрастная констатация*). Идиот. (*Резко кладет трубку.*)

Кончай ты грызть пальцы! Соберись максимально... Это помогает максимально собраться. Это помогает... Помогает... Может, поможет... Это поможет... Вот что поможет. Он поможет... Вот кто поможет. Кажется, надежда есть... Какая-то надежда есть.

Звонок.



Женщина с телефоном (*ударяя на «я»*). Сейчас я скажу!.. (*Грохнув трубкой, исчезает в стенном проеме.*)

### Сцена 15

Примерно через двадцать секунд.

Она стремительно выходит из проема (ведущего, видимо, в комнату). Под мышкой у нее довольно толстая папка. Грохнув папкой о столик, начинает лихорадочно перебирать бумаги. Находит нужную, бережно вытаскивает и кладет сверху. Теперь она вполне готова к бою.

А звонков нет.

Проводит дополнительные действия (видна со спины): деловито застегивает пижаму на все пуговицы, расправляет плечи, поднимает голову, сжимает кулаки, делает глубокий вдох.

Стоять так не очень удобно.

Меняет позу: опирается кулаками о столик, вздергивает плечи, — застывает так, набычившись (в меру возможностей).

Звонок.

Видно, как она крупно, всей спиной, вздрагивает.

Женщина с телефоном (*со скоростью звука*). Пишипятьвосемь-четыре-тридцатьдевять-сорокдва!.. (*Энергично кладет трубку.*)

Отражение в пыльном зеркале: чуть облокотившись о стену, женщина машинально отбивает по ней ритм, — всеми пальцами своей маленькой кисти. В тишине коридора звуки негромки, но четки. Тра... тра... тра-та-та-та... Тра... тра... тра-та-та-та... Марш? Может быть. Зеркало... Его сумрачное дупло... Оно как-то особенно подчеркивает беличьи очертания ее тела...

Звонок.

Женщина с телефоном (*та же скорость*). Тридцатьдевять-сорок-два-записал? (*Продолжает держать трубку.*)

Пауза.

Затем голос женщины становится робким, одновременно по-детски утончаясь.

Сорри?.. Сорри?.. Ху из зис?.. (*Pause.*) Ноу... ноу... Сэнк ю! Сэнк ю вери мач фор зэ джоб, бат ай риали кан'т нау... Сорри... Риали сорри... Бат... Куд ай аск ю уан квесчен? (*Small pause.*) Мэйби ду ю ноу энибоди ин Израэль? Бай коуинседенс?..

Простите?.. Простите?.. Кто это?.. (*Пауза.*) Нет... нет... Спасибо! Большое спасибо за предложение работы, но я действительно сейчас не могу... Простите... Очень прошу простить... Но... Могу я задать вам один вопрос? (*Маленькая пауза.*) Может, вы знаете кого-нибудь в Израиле? Просто случайно?..

Устало плюхается на стул, по-бабьи оседает, продолжая между тем напряженно слушать.

Пауза.

Сорри фор эназэ квесчен... Иф ит из нот э сикрет, оф корс... Уот из хиз окьюпэйшен оувэ зза?

Простите за еще один вопрос... Если это не секрет, конечно... Чем он там занимается?

Жадно (точней, хищно) слушает.

Насинг спешал... Еврисинг из окей. Абсолютли. Джаст... май сан хэз сайнт э контракт уиз зи арми...

Ничего особенного... Все о'кей. Абсолютно. Просто... мой сын подписал контракт с армией...

Внимает очередной порции прекраснодушных благоглупостей. Явно через силу. Подавив ярость и отвращение, дрессированно изображает угодливую застенчивость.

Ай андестэнд. (*Pointing out «химселф».*) Бат хи сайнт а контракт химселф. Уич минз... (*Most likely to herself.*) Хи пробабли уонтс химселф...

Я понимаю. (*С ударением на «сам».*) Но он подписал контракт сам. Что значит... (*Главным образом себе.*) Он, скорее всего, хочет этого сам...

Пауза; взрыв.

Уот даз ит мин «э биг бой»?! Хи из зи оунли сан... Хи из зи оунли чайлд оф майн... Хи из зи оунли персон зэт ай хэв эраунд зэ уорлд... Соу... Ай дон'т андестэнд... Уот фор эврисинг хэд хэпенд зэт ай дид... уот ай дид...

Что значит «большой мальчик»?! Он единственный сын... Он мой единственный ребенок... Он единственный, кто у меня есть на всем свете... Так что... Я не понимаю... Для чего же тогда все это было, — то, что я делала... что я делала...

Резко берет со столика папку и с силой прижимает ее к груди.

Словно от силы этого прижатия зависит убедительность ее аргументов...

Стоит в профиль.

Страдальческая судорога лба, глаз, рта, тела.

Бат ай эм реалистик, сэр, ай эм! Ай хэв уан эквейнтэнс ин Джэрусэлэм... Хи rispектс ми э лот! Э лот! Хи эпришиэйтс ми! Энд иф хи мэйкс хиз инфлюэнс ту май сан... ту иксплейн... Ай мин: иф май сан колз хим... хи вуд иксплейн ту май сан...

Но я и так реалистична, сэр, я реалистична! У меня есть один знакомый в Иерусалиме... Он очень уважает меня! Очень! Он меня ценит! И если он повлияет на моего сына... чтобы объяснить... Я имею в виду: если мой сын позвонил бы ему... он бы тогда объяснил моему сыну...

Содержимое папки громко падает на пол — и разлетается по коридору — вплоть до дверей с цифрой «3» и глазком. Преобладающий звук, фиксируемый при этом киноаппаратурой, в основном грубый, грозный, обвальный. Но на самом излете этого звука слышится сирое падение осеннего листа, что, вальсируя, бессильно цепляется за пустой воздух.

Внезапно: полное выключение звука.

То есть: выключение времени.

Камера, словно одинокий ангел, медленно летит в этом беззвучии над рекой фотографий, писем, еще каких-то бумаг из состава ускользящей — а может, уже ускользнувшей — человеческой жизни. На ее берегу — опрокинутая бутылка из-под шампанского, выпавший из нее райский цветок. Последовательность отдельных видов этой реки, точнее, взаиморасположение ее эпизодов, находится полностью вне соответствия с условным земным временем.

Иначе не может и быть. Ведь в потоке этой реки повседневные события нескольких десятилетий, под напором скупых, быстротечных человеческих годов, сгущены предельно, до плотности цветных, черно-белых, снова цветных блицснимков, где уголок губ корректирует вечность так же прочно, как смерть. Эпизоды, в скупой и грубой трехмерности совсем незаметные, мгновенно приобретают плотность судьбы в любой, даже самой проходной фразе обыденного письма. Надо ли демонстрировать примеры? То есть: следует ли в деталях перечислять содержимое этой папки, ставшее рекой, над которой сейчас летит скорбный внимательный ангел?

Что это даст? Очередной список, очередной клип, очередной перечень мельканий, где от скорости исчезают даже запятые, честный и сентимен-

тальный реестр глаз, носов, фотоулыбок, фраз, что затерты в сгибах бумаги? К чему так уплотнять жизнь? То есть: к чему ее торопить? Ведь и так она дана нам не насовсем, а на поддержать. Всякому ясно: резвостью своей неумемной мы необратимо ускоряем время. Нет сомнений в том, что превосходно спланированная, идейно и экономически обоснованная, индустриально обеспеченная гибель миллионов, скошенных почти одновременно в центре Европы, недалеко от середины уходящего века, привела к тому, что оставшиеся в живых на исходе этого века не успевают регистрировать: «что нынче — вторник или зима?»

Потому что именно те, оборванные части жизнью, не дожитые до своего естественного, природой положенного конца, оказались по закону неотвратимости возмездия суммированы и вычтены из потока времени, — из общего потока, рассчитанного на все земное и сущее, — а скорее еще коварней (нет! — еще справедливей): они, в соответствующие миллионы раз, увеличили его скорость.

Взаиморасположение же этих эпизодов, подобно соотношению буквенных или иероглифических знаков, находится, скорее всего, в единственном, жестко выверенном и неукоснительном соответствии с текстом того типографского набора, что сделан однажды, раз и навсегда, — там, наверху, куда мы, глупые, то и дело указуем мысленно пальцем, — то от малодушия, то, наоборот, от фундаментальных иллюзий покоя, прочности и отрады, — в обоих случаях тщетно.

Внимательный ангел летит над рекой. Мы вслушиваемся в беззвучие. Но слух уже голоден, и вот слуховые трубы, точно стебли — сок, терпеливым своим напряжением вытягивают из пространства — каплю за каплей — за струйкой струю — голос женщины с телефоном. И всасывают его...

Аскинг?.. ю?.. Пробабли ит'с э литл бит импэлайт... Ит'с фани э литл бит... Бат иф ай хэд э чойс... Ай мин... иф ю хэд э чойс, сэр... Ай вуд лайк ту аск ю инстед оф зэт фейвэр... инстед оф э джоб фейвэр... Ай вуд префер э диферент фейвэр... Зэ хазбент оф йор нис... Зэ хазбент ин Джэрусэлэм... из хи ан инфлюент персон?.. э литл бит? Бай коуинседенс дазн'т хи уорк ин зи арми офис? Мэй би хи куд иксплейн... Иф зей оунли нью... Иф май сан ноуз... зэт хи из зи оунли чайлд оф майн... зи оунли персон оф майн... Иф хи риалайзиз... Сорри... Сорри... Бат азэуайз... уот фор... эврисинг хэд хэпенд... зэт ай дид...

Прошу?.. Вас?.. Может, это немножко невежливо... Это немножко смешно... Но если бы у меня был выбор... Я имею в виду... если бы у вас был выбор, сэр... Я бы хотела тогда попросить вас вместо той услуги... вместо услуги, касающейся работы... Я бы предпочла другую услугу... Муж вашей племянницы... Тот, что в Иерусалиме... он влиятельный человек?.. хоть немножко? Чисто случайно: не работает ли он в военном учреждении? Может, он мог бы объяснить... Если б они только знали... Если бы мой сын знал, что он мой единственный ребенок... Единственное существо, которое у меня есть... Если б он сознавал... Простите... Простите... Но иначе... для чего же тогда... все это было... что я делала...

## Сцена 16

Номер шхинозийца. Полуодетый, полусонный и полностью обозленный, он сидит за компьютером, пытаясь то ли любить, то ли убить, то ли облапошить кого-то заэкранного в виртуальной реальности. Слышно изнурительное пикиканье компьютерной игры: тйри, тйри, тата, тата, тута, тута, тититата-а-а...

Нечто похожее слышишь при отправке факса или когда, прибегнув к услугам альтернативных компаний, звонишь на дальнее расстояние... Звукосигналы дурной математической бесконечности... Квадратный ритм,

слепой, сводящий с ума, неизменный... Тири, тири, тата, тата, тута, тута, титита-а-а...

Это главный звуковой фон. А за ним, разорванный паузами, раненый, бредящий, глуховатый, звучит и звучит из-за двери голос женщины с телефоном.

Свет экрана, падая на желтое лицо шхинозийца, дает устойчиво мертвый колор, типичный для киборгов в их люминесцентно-фосфоресцирующей ноосфере... «Хага! Мал-сумалгун йомаш рош!..» Вот дьявол! Ни игра не клеится, ни спать не дают... Резко вскочив, шхинозиец оказывается у двери. Чуть привстав на цыпочки, он всматривается в дверной глазок. В какой-то момент возникает пауза: то ли женщину перебили, то ли она положила трубку... Шхинозиец делает уже было шаг к своему компьютеру, когда ясно вдруг видит под дверью какую-то фотографию. Освещенная лампочкой коридора, она на две трети торчит из дверной щели. Он присаживается на корточки и с любопытством, но никак не касаясь, разглядывает картинку.

На фотографии женщина и мальчик. Не сознающая себя красота молодости, почти юности, — тем более совсем не знающая себя шелковистость круглой детской щеки, чуть тронутой диатезом... Густые, блестящим темным каштаном, волосы матери, — свежестриженная (видимо, к даче) челочка четырехлетнего мальчика. Блеск глаз ребенка и матери одинаково ярок и чист, дистанция еще невелика. Сын покровительственно держит руку на плече мамы-девочки...

Ничего особенного. Шхинозиец встает, еще раз смотрит в глазок, а затем медленно, очень медленно и осторожно — затасканные ботинки его расшнурованны, мы видим их крупным планом — носочком, в несколько приемов, выпихивает фотографию за пределы своей территории.

Зевая, снова подсаживается — видимо, чтобы закончить игру — к своему компьютеру. На фоне светящейся буквы «L» идут титры. Тири, тири, тата, тата, тута, тута, титита-а-а...

*(Фильм четвертый в следующем номере.)*



---

---

СЕМЕН ЛИПКИН



## ОДНО МГНОВЕНЬЕ

### Поле сраженья

Убитые возле реки  
Лежат: их закапывать рано.  
А солнце войне вопреки  
Рождается в чреве тумана.

Придет и для мертвых черед,  
Земли их поглотит утроба.  
А солнце, как Лазарь из гроба,  
На поле сраженья встает.

### Школа

#### *Рассказ учительницы*

Между школой и моей деревней  
Было десять километров ровно,  
Городок великорусский, древний,  
А дома — где камень, где и бревна.

В нашей школе Молотов учился,  
И не вру, так было в самом деле,  
Алый плат над партою лучился,  
Там одни отличники сидели.

Молотов, конечно, был отличник,  
Здесь обрел он знания основу.  
У меня ж отец — единоличник,  
Мы имели лошадь и корову.

Дети, чьи родители в колхозе,  
Ежедневно, как бойцы в обозе,  
В села, лишь занятия кончались,  
На санях-телегах возвращались.

---

В третьем номере «Нового мира» за 1930 год было опубликовано стихотворение «С прогорклым, стремительным дымом...» девятнадцатилетнего одессита Семена Липкина — одна из первых столичных публикаций этого поэта, прозаика, эссеиста. Прошло семьдесят лет. Они вместили в себя и фронт, и годы опалы, и, наконец, выход к читателю и благодарное признание современников.

Семен Липкин — постоянный автор «Нового мира». Предлагаем вниманию читателей его новые стихотворения.

Но из-за моей кулацкой доли  
Лишь одна я ночевала в школе,  
Каждую неделю в бане мыли,  
Кашею три раза в день кормили.

Где отец и мать? Их жизнь пропала.  
Умерли на воле иль в неволе?  
Я росла, учительницей стала  
И учу детей в той самой школе.

\* \*  
\*

Все люди — живопись, а я чертежник,  
Меня в тетрадке вывел карандаш,  
При этом обе ручки ниже ножек,  
Кому такое зрелище продашь?

Все люди — письменна, а я описка,  
Меня легко резинкою стереть.  
Я чувствую: мое спасенье близко,  
Но чтоб спастись, я должен умереть.

### После дождя

Что-то прелестное есть в человеке, Даже когда он бесчестен и глуп. Пусть закрывают умершему веки, — Мир не душа покидает, а треп.	Грешные люди, себя не печальте, Вы не забудете даже в аду Желтые листья на мокром асфальте После дождя в предосеннем саду.
--	---

### Одно мгновение

Тот, кто увидел и услышал Бога,  
Кто нам поведал: «Он таков», —  
Был отпрыском грешившего премного  
Изготовителя божков.

Средь глиняных он вырос изваяний —  
Авраам, еще не Авраам,  
Но он познал Познание всех Познаний  
И глиняный разрушил хлам.

Узнал: «Вас будут презирать, и в гетто  
Загонят вас, загонят в печь,  
Но к вам, когда состарится планета,  
Придет Мессия, молвит речь:

„Пришел. Спасу. Но избегу жалеть я  
Лжеца, убийцу, подлеца”».

С тех пор прошли для нас тысячелетья —  
Одно мгновение для Творца.

\* \*  
\*

Ветерок колышет ветки  
Молодой оливы,  
Я сижу в полубеседке,  
Старый и счастливый.

Важных вижу я прохожих  
В шляпах и ермолках,  
Почему-то чем-то схожих  
С книгами на полках.

Звук услышан и оборван, —  
Это здесь не внове:  
За углом автобус взорван  
Братьями по крови.

### Осенний сад

Проснусь, улыбнусь наяву:  
Оказывается, живу!  
В окне ветерок так прилежно  
Качает листву.

Неспешно в осеннем саду  
Неровным асфальтом иду,  
Упавшие с дерева звезды  
Желтеют в пруду.

Настойчива дней череда.  
Придут в этот сад холода,  
А звезды взметнутся на небо,  
Блестя, как всегда.

### Поздний вечер

Свет становится частью  
Мира, данного мне.  
Зверь с разинутой пастью —  
Это тень на стене.

Лампа скоро погаснет,  
Посижу в темноте.

Мысль я понял простую,  
Как ненужный сапог:  
Жизнь я прожил впустую,  
А иначе не мог.

Ничего не достиг я,  
Ну а что я постиг?

Я предчувствую: бредням  
Наступает конец,  
Я в мгновенье последнем  
Не засну, как глупец,

Я уйду с постиженьем  
Окружающих лиц.

### Песок

Травка, что нежнее шелка,  
Кланяется ветерку,  
И старательная пчелка  
Устремляется к цветку.

В среднеазиатском мире  
Вижу: в белом далеке  
Хлопок взвешивают гири,  
Побелев, как в молоке.

Здесь в былые мчались годы  
Басмачи, большевики.  
Будет день — погубят всходы  
Новые боевики.

Топот близится отряда,  
Двигается наискосок  
Этот ненавистник сада —  
Истребительный песок.

\* \*  
\*

Истоки нашего безумия —  
Суть непредвиденность утрат.  
Ученые нам говорят:  
При извержения Везувия  
Погиб неведомый солдат;  
Стоял он у помпейских врат,  
И снять с поста его забыли.

Настанет день, настанет час,  
Низвергнется мертвящий газ,  
Громада непонятной пыли...  
Ужели Бог отвергнет нас  
И мир забудет, что мы были?





---

---

## АЛЕССАНДРО БАРИККО

\*

### 1900

*Монолог*

*Я написал этот текст для актера Эудженио Аллегри и режиссера Габриэле Вачиса. Они сделали спектакль, премьера которого состоялась на фестивале в Асти в июле нынешнего года. Не знаю, достаточно ли этого для того, чтобы утверждать, что я написал пьесу, — у меня есть некоторые сомнения. Сейчас, когда я вижу текст в виде книги, мне он представляется скорее чем-то средним между пьесой и рассказом для чтения вслух. Полагаю, что не существует четкого названия для текстов подобного рода. Во всяком случае, для меня оно не важно. Мне кажется красивой сама история, которая заслуживает быть рассказанной. И мне доставляет удовольствие думать, что кто-то ее прочтет.*

А. Б.

Сентябрь 1994.

**В**сегда случалось так: некто вдруг поднимал голову... и видел ее. Это трудно понять... Я хочу сказать, что мы преодолевали многомильный путь на этом корабле среди путешествующих толстосумов, эмигрантов и прочего странного люда и мы... Однако всегда находился некто, некто один, один, тот, кто первым... видел ее. Может быть, он ужинал в эту минуту или прогуливался от нечего делать на палубе... может, поправлял штанину... и тут поднял голову на мгновение, бросил взгляд на море... и увидел ее. И остановился, пригвожденный там, где стоял, и сердце его разорвалось на тысячу осколков, всегда, всякий проклятый раз, клянусь, всякий раз увидевший ее поворачивался к нам, к кораблю, ко всем и кричал (*сдавленным голосом и по слогам*): А-ме-ри-ка! И оставался стоять, окаменев, словно позировал для фотографии, с лицом человека, который и создал ее, Америку. Вечерами, после работы, и по воскресеньям... с помощью кузена... каменщика, славного малого... сначала он хотел немного подзаработать на этом, но потом... с его малым участием, своими руками создал Америку...

Тот, кто первым видел Америку. На любом судне всегда найдется та-кой. И не надо думать, что подобное случается спонтанно, нет... и даже не по причине диоптрий... это судьба, и только. У таких людей подобное мгновение занесено в их судьбы с рождения. Еще когда они были детьми, в их глазах ты мог увидеть, если б внимательно взгляделся, ты уже мог увидеть ее, Америку, готовую оторваться, соскользнуть по нервам и венам, до самого мозга, до языка, и излиться тем самым криком (*кричит*): А-МЕ-РИ-КА. А она уже там, в тех глазах, детских, вся она, Америка.

---

Алессандро Барикко родился в 1958 году в Турине (Италия). Дебютировал в 1988 году книгой о творчестве Россини. Автор романов «Замки ярости» (1991), «Море-океан» (1993), удостоенных крупных литературных премий Италии.

Там, в ожидании своего часа...

Эту истину мне открыл Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900, величайший пианист, который когда-либо играл на просторах Океана. В глазах людей отражается то, что они увидят, а не то, что они видели. Вот так он и сказал: то, что они увидят.

Я-то их видел, Америки... Шесть лет на этом корабле, по шесть маршрутов ежегодно, от Европы до Америки и назад, в океанской сырости, и когда ты ходил на берег, тебе не удавалось даже попасть струей в писсуар. Он оставался неподвижным, но ты, тебя продолжало мотать из стороны в сторону. Во время плавания тоже можно сойти с судна, но только в Океан... Когда я поднялся на борт корабля, мне было всего шестнадцать. И единственное, что занимало меня в моей жизни, это игра на трубе. Поэтому, как только до меня дошел слух о том, что набирают людей на пароход *Вирджинец*, там, в порту, я встал в очередь. Я и моя труба. Январь 1927. У нас полно трубочей, сказал мне тип из паромной компании. Я знаю, ответил я, и начал играть. Он стоял неподвижно и, глядя на меня, не дрогнув ни единым мускулом, не произнося ни слова, ждал, когда я закончу. Потом спросил:

— Что это было?

— Понятия не имею.

Глаза его блеснули.

— Если ты не знаешь, что это такое, тогда это джаз.

И что-то странное сделалось с его ртом, быть может, это была улыбка, один зуб у него был золотой, в самом центре, и казался выставленным в витрине на продажу.

— Они с ума сойдут там, наверху, от такой музыки.

Там, наверху, — означало на корабле. А это подобие улыбки означало, что я принят.

Мы выступали по три-четыре раза в день. Сначала для богатой публики класса люкс, затем для такой же, но из второго класса, а иногда спускались к беднякам эмигрантам и играли для них, но уже без униформы, а в чем были, и всякий раз они играли вместе с нами. Мы играли потому, что Океан был огромен и наводил ужас, играли, чтобы люди не чувствовали, как проходит время, и забыли, где находятся и кто они такие. Играли, чтобы заставить их танцевать, потому что, если ты танцуешь, ты не можешь умереть и чувствуешь себя Богом. А играли мы ретаймы, потому что это музыка, под которую танцует Бог, когда никто Его не видит.

Под которую Бог танцевал бы, если б Он был негром.

*(Актер уходит со сцены. Затихает музыка дикси, очень веселая, но, в сущности, идиотская. Актер возвращается на сцену одетым в элегантную униформу судового джазмена. С этого момента и далее он ведет себя так, будто оркестр физически присутствует на сцене.)*

Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и мсье, синьоры... приветствую вас на этом корабле, в этом плавающем городе, который во всем походит на *Титаник*, спокойно, господа, оставайтесь на местах, господин там, внизу, это касается вас, я вижу вас хорошо, добро пожаловать в Океан, кстати, а что вы делаете здесь? Держу пари, у вас кредиторы на пятках, вы отстали на тридцать лет от золотой лихорадки, хотели осмотреть корабль и даже не заметили, что он отплыл, вы вышли на минуту купить сигареты, в этот самый момент ваша жена уже в полиции и рассказывает, каким вы были хорошим мужем, замечательным, за тридцать лет ни одной ссоры... В общем, какого черта вы здесь делаете, за триста миль от этого мерзопакостнейшего мира и в двух минутах от ближайшего позыва тошноты? Пардон, мадам, я пошутил, поверьте мне, эта посуда летит вперед, скользя, словно шар по бильярдному столу Океана, ток! еще шесть дней, два часа сорок семь минут — и плоп! в лузе, Нью-Йо-о-о-о-орк!

*(Вступает оркестр.)*

Я думаю, нет нужды объяснять вам, что этот корабль во многих смыслах исключителен и даже попросту уникален. Под командованием капитана Шмита, известного клаустрофоба и большого мудреца (вы, наверное, заметили, что он живет в спасательной шлюпке), на вас работает экипаж, редкостный коллектив профессионалов, абсолютно неординарных: Пол Сежинский, рулевой, бывший польский ксендз, чувствительная натура, биотерапевт, к сожалению, слепой. Билл Янг, радиотелеграфист, великий игрок в шахматы, левша и заика. Судовой врач, доктор Клаустерманшпицвегенсдорфентаг, захотите позвать его, если приспичит, у вас прежде крыша уедет. И самое главное:

мсье Пардин,  
шеф-повар,

родом непосредственно из Парижа, куда, однако, он отбыл тотчас после того, как лично отметил одно любопытное обстоятельство — на этом корабле нет кухни, что также остроумно заметил мсье Камамбер из 12-й каюты, который сегодня пожаловался, что нашел умывальник полным майонеза, и это очень странно, потому что обычно в умывальниках мы держим тонко нарезанные продукты, по причине отсутствия кухни, — явление, из-за которого мы, между прочим, не имеем на этом корабле настоящего повара, каким, несомненно, являлся мсье Пардин, вернувшийся в Париж, откуда он родом, после отчаянных попыток найти на судне кухни, которых, будем верными фактам, на самом деле нет и в помине, благодаря остроумной забывчивости его проектировщика, выдающегося инженера Камиллери, которому чужда мировая слава и которому я прошу адресовать ваши самые громкие и продолжительные аплодисменты-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы...

*(Опять звучит оркестр.)*

Поверьте мне, вы не найдете других таких кораблей: нет, конечно, если будете искать много лет, может быть, вы отыщете и капитана-клаустрофоба, и слепого рулевого, и заику радиста, и доктора с непроизносимой фамилией, всех разом на одном судне без кухни. Не исключено. Но даже тогда с вами не случится, могу поклясться, то, что происходит сейчас и здесь, когда вы сидите задницами на десяти сантиметрах кресла, в сотне метров над водой, в самом сердце Океана, с чудом перед глазами и изумлением в ушах, с ногами, отбивающими ритм, и непревзойденной, неповторимой, бесконечной музыкой в сердце, исполняемой АТЛАНТИК ДЖАЗ-БА-А-А-АНДОМ!!!

*(Вступает оркестр. Актер представляет музыкантов одного за другим. За каждым именем следует короткое соло.)*

Кларнет: Сэм «Соня» Вашингтон!

Банджо: Оскар Делагуера!

Труба: Тим Туней!

Тромбон: Джим Джим «Вздых» Гелап!

Гитара: Самуэль Хочкинс!

И наконец, за роялем... Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900.

Самый великий!

*(Музыка резко прерывается. Актер оставляет тон конференсье и продолжает монолог, снимая униформу музыканта.)*

Он действительно был им, величайшим музыкантом. Мы играли музыку — он творил нечто иное. Он играл... нечто, чего не существовало: пока

он это не играл, понятно, оно не существовало нигде. И когда он вставал из-за рояля, этого вновь не существовало больше... и больше не будет никогда... Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900. Последний раз, когда я его видел, он сидел на бомбе. Я не шучу. Он сидел на ящике с динамитом вот таких размеров... Это длинная история... Он говорил мне: «Тебе действительно на все наплевать до тех пор, пока не займешь хотя бы одну хорошую историю и кого-то, кому можешь ее рассказать».

У него была одна хорошая история. *Он сам был* своей хорошей историей. Безумной, если как следует подумать, но красивой... И в ту ночь, сидя на куче динамита, он мне ее подарил. Потому что я был его самым большим другом... Я берег ее все это время, и потом, если мне что-либо попадает в голову, это никогда не высыпается из моих карманов, я даже трубу свою продал, все продал, но эту историю, нет... эту я не потерял, она до сих пор со мной, чистая и необъяснимая, какой была музыка, когда ее, посреди Океана, играл маг-пианист Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900.

*(Актер скрывается за кулисой. Играет оркестр. С последним аккордом актер возвращается на сцену.)*

Матроса, который нашел его, звали Дэнни Будмэн. Он обнаружил его утром, когда все сошли с корабля в Бостоне, лежащим в картонной коробке. Было ему дней десять, не больше. Он даже не плакал, лежал тихонько с открытыми глазами в этой коробке. Его оставили в танцзале первого класса. На рояле. Однако не похоже, что это был новорожденный того же класса. Такое делали обычно эмигранты. Рожали где-нибудь в укромном уголке, а затем там и оставляли. И не потому, что негодяи. Причиной была нищета, безнадежная нищета. Что-то напоминающее историю с одеждой... они поднимались на борт в одном-единственном, собранном с миру по нитке костюме, с заплатанными задницами. Но позже, учитывая, что Америка — всегда Америка, вы видели их покидающими корабль в конце пути одетыми совершенно прилично, даже в галстуках, мужчин и детей в белых рубашках, в общем, они знали свое дело и все двадцать дней плавания кроили и шили, и в конце на судне невозможно было отыскать ни одной занавески и ни одной простыни, ничего: все превратилось в пристойную одежду для Америки...

Время от времени на корабле оставался брошенный ребенок — лишний голодный рот для эмигранта и головная боль для иммиграционного ведомства. В некотором смысле он оставался в обмен на занавеси и простыни. И с этим дитем дело, по всей вероятности, обстояло именно так. Ход рассуждения, видимо, был таким: если мы его положим на концертный рояль в танцзале первого класса, может быть, его подберет какой-нибудь богатый и обеспечит ему счастливую жизнь. Это был неплохой план. Но реализованный лишь наполовину. Богатым он не стал, а вот пианистом стал. И, клянусь, лучшим из всех.

Итак. Старина Будмэн нашел его там, искал что-нибудь, что объяснило бы, кто он такой. Но увидел только надпись на коробке, сделанную синими чернилами: С. Д. Лемон. А рядом — нечто вроде рисунка лимона. Тоже синего цвета. Дэнни был негр из Филадельфии, диковинный гигант. Он сжал ребенка в ладонях и сказал ему: «Привет, Лемон!» И что-то сработало у него внутри вроде чувства, что он стал отцом. И в течение всей своей жизни он постоянно утверждал, что буквы С. Д. означали: «Спасибо, Дэнни». Это конечно же была нелепость, но он в это верил искренне. И он оставил этого ребенка себе. Он был убежден: С. Д. — это Спасибо, Дэнни. Однажды ему принесли газету, в которой была напечатана реклама, изображавшая лимон с лицом идиота и тонкими-тонкими усиками, как у латинского любовника, а рядом был нарисован еще один огромный лимон, и надпись гласила: «Сано Дамато, королевские лимоны» и какой-

то сертификат или награда, в общем, что-то в этом роде... Сано Дамато... Старина Будмэн был конкретен: «Кто этот педераст?» И забрал газету себе, так как рядом с рекламой были напечатаны результаты скачек. Не то чтоб он делал ставки на них, нет, ему просто нравились имена лошадей, вот и все. Это было его настоящей страстью, он тебе всегда говорил: «Послушай это, вот это вот, она бежала вчера в Кливленде, слушай сюда, они называли ее *Красные круги*, понимаешь, ну можно ли так, а это, смотри, *Первая лучше*, ну не умора!» Короче, ему нравились имена лошадей, и это была страсть. Кто выигрывал, для него не имело никакого значения. Были имена, и они приводили его в восторг.

Ребенку он сначала дал свое имя: Дэнни Будмэн. Единственное проявление тщеславия в его жизни. Затем добавил С. Д. Лемон, именно так было написано на коробке, и к тому же, как он говорил, это солидно — иметь буквы посреди имени. «У всех адвокатов они есть», — подтвердил Берти Бум, механик, который получил несколько лет тюрьмы благодаря адвокату, которого звали Джон П. Т. К. Уандер. «Если он станет адвокатом, я его убью», — заключил старина Будмэн, однако обе прописных буквы оставил, в результате получилось Дэнни Будмэн С. Д. Лемон. Это было красивое имя. Его пробовали на вкус, повторяя чуть слышно, старина Дэнни и другие внизу, в машинном зале, с заглушенными машинами во время стоянки у причала в порту Бостон. «Красивое имя, — сказал наконец старина Будмэн, — однако чего-то не хватает. Ему не хватает громкого окончания». Он был прав. Не хватало громкого конца. «Добавим слово среда, — сказал Сэм Стулл, официант. — Ты нашел его в среду, назови его Среда». Дэнни подумал немного. Потом засмеялся: «Есть идея получше, Сэм. Я нашел его в первый год этого долбаного века, не так ли? И я назову его 1900». — «1900?» — «1900». — «Но это же число!» — «*Было* число, а стало имя». Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900. Замечательно. Великолепно. Великое имя, Боже, действительно великое имя. Он далеко пойдет с таким именем. Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900 смотрел на них и улыбался, они же остолбенели: никто не ожидал, что такой маленький ребенок может наложить такую большую кучу.

Дэнни Будмэн прослужил на судне еще восемь лет, два месяца и одиннадцать дней. Во время шторма в Океане он получил удар сорвавшимся блоком прямо по спине. Три дня он боролся со смертью. У него было все отбито внутри, и ничто уже не могло его спасти. В те дни 1900 был еще ребенком. Он уселся рядом с кроватью Дэнни и ни разу не сдвинулся с места. Перед ним лежала стопка старых газет, и все три дня, делая невероятные усилия, он читал умирающему старине Дэнни все результаты бегов, которые только мог найти в газетах. Он складывал буквы в слова, как учил его Дэнни, и при этом помогал себе пальцем, двигая им по строчкам. Он читал медленно, но читал. Так старина Дэнни и умер на шестом заезде в Чикаго, где *Питьевая вода* выиграла два корпуса у *Сулчика* и пять у *Синей крем-пудры*. Он не мог не засмеяться, услышав эти имена, и, смеясь, дорвал все у себя внутри. Его завернули в парусину и вернули Океану. На парусине красной краской капитан написал: «Спасибо, Дэнни».

Вот так неожиданно 1900 стал сиротой во второй раз. Ему было восемь лет, и он совершил уже около пятидесяти переходов между Европой и Америкой. Океан стал его домом. А что касается земли, он на нее так ни разу и не ступил. Он ее, разумеется, видел. С борта, во время стоянок в портах. Но чтобы сойти на берег — нет, ни разу. Дело в том, что Дэнни боялся, что ребенка у него отнимут из-за какой-нибудь истории с документами и визами или чего-то в том же роде. Так 1900 оставался всегда на борту — а в какой-то момент корабль опять уходил в плавание. Если уж быть точным, то 1900 как бы даже и не существовал для этого мира: не было города, церковного прихода, больницы, тюрьмы, бейсбольной

команды, где было бы записано его имя. У него не было родины, у него не было даты рождения, у него не было семьи. У него были его восемь лет, но официально он никогда не родился.

«Эта история не может длиться долго, — говорили иногда Дэнни. — Кроме всего прочего, это противозаконно». Но Дэнни имел на это четкий ответ. «В задницу закон», — говорил он. И нечего было возразить на его аргумент.

Когда они прибыли в Саутхэмптон, в конце плавания, во время которого умер Дэнни, капитан решил, что наступил час поставить точку в спектакле. Он вызвал портовые власти и приказал своему заму привести 1900. Однако тот его так и не нашел. Его искали по всему судну в течение двух дней. И никакого результата. Он исчез. Никому не нравилась эта история, потому что, в конце концов, здесь, на *Вирджинце*, все привыкли к мальчишке, никто не осмеливался произнести это вслух, но... много ли нужно, чтоб броситься вниз с борта... и потом, море делает что хочет... Все очень переживали, когда через двадцать два дня судно ушло на Рио-де-Жанейро без 1900 на борту и даже без какого-нибудь слуха о нем... Ракеты, сирены, фейерверк при отходе из порта как всегда, но на этот раз все было иным, все чувствовали, что теряют 1900 раз и навсегда, у всех были вымученные улыбки и у всех сжималось сердце.

На вторую ночь плавания, когда уже пропали из виду огни ирландского берега, Барри, боцман, влетел как безумный в каюту капитана, разбудил его и попросил, чтобы тот обязательно пошел и посмотрел, что происходит. Капитан выматерился, но последовал за боцманом.

В танцзале первого класса.

Полная темнота.

Люди в пижамах у входа. Вышедшие из кают пассажиры.

А еще моряки и три черных комбинезона, поднявшиеся из машинного зала, а также Трумэн, радиотелеграфист.

Все молчат, созерцая.

1900.

Он сидел за роялем на стульчике, с не достающими до пола ногами.

И

играл

как самый настоящий Бог.

*(Звучит фортепьянная музыка, очень простая, медленная и пленительная.)*

Он играл нечто никому не известное, но прекрасное. Это был не трюк, это играл именно он, это были именно его пальцы на клавишах, Бог знает как это у него получалось. И надо было слышать, что выходило в результате. У стены стояла пожилая леди в розовом капоте, с папильотками в волосах... мешок с деньгами, чтобы было понятнее, супруга американского страховщика... да, так вот, из ее глаз проливались огромные слезы, которые затем стекали по намазанной ночным кремом щеке, она смотрела, и слушала, и плакала не переставая. Когда рядом оказался капитан, кипящий от возмущения, когда он, кипящий дословно, появился рядом, богачка, шмыгнув носом, ткнула пальцем в сторону рояля и спросила:

— Как зовут?

— 1900.

— Не мелодию, а мальчика.

— 1900.

— Так же, как мелодию?!

Это была та самая манера беседовать, более четырех-пяти реплик которой морской капитан не мог вынести. Тем более, если он обнаружил, что мальчишка, которого он считал мертвым, не только жив, но и научился за

это время играть на рояле. Он оставил богачку там, где она стояла, с ее слезами и всем остальным, и, одетый в пижамные штаны и капитанский китель нараспашку, решительным шагом пересек салон. Он остановился, лишь когда подошел вплотную к роялю. Ему хотелось сказать многое в тот момент и среди прочего: «Где, черт побери, ты этому научился?» — или хотя бы: «Где ты, черт тебя дери, прятался все это время?» Однако, как у многих, кто долго живет в казенном мундире, казенными становятся и их мысли. Поэтому вот что он сказал:

— 1900, все это абсолютно противоречит правилам.

1900 прекратил играть. Он был немногословным ребенком, но с большими способностями к познанию. Он кротко посмотрел в глаза капитану и сказал:

— В задницу правила.

(Шум шторма.)

Море проснулось / море взъярилось / волны в небо швырнуло / швырнуло воды / отняло у ветра тучи и звезды / взъярилось море / кто знает надолго ль / бушует весь день / когда же конец / всему этому мама / ответила мама / баюшки-баю / тебя баюкает море / валторна дарит покой / но ярость вокруг / и пена и боль / безумное море / везде куда падает взгляд / лишь чернота / и черные стены / и черные смерчи / и немые все мы / в ожидании / конца всего этого / и кораблекрушения / но я не хочу его мама / хочу я спокойной воды / тебя отражающей / застывшей / а здесь эти / стены нелепые / воды / уж рушатся / с шумом /

хочу я вернуться к воде что в покое

хочу я вновь море

и тишину

и свет

и летающих рыбок

в полете

над ним.

Мое первое плавание, мой первый шторм. Злой рок. Я так толком и не понял, каким оно было, это плавание, меня захватил шторм, самый убийственный в жизни *Вирджинца*. Глубокой ночью на нем сорвали зло и бросили на произвол стихии. Океан. Казалось, этому не будет конца. Тот, кому на судне назначено дудеть в трубу, когда начинается шторм, мало что может сделать толком. Он, конечно, может отказаться играть. Чтобы не портить дело. И чтобы принадлежать самому себе, растянувшись на кушетке в своей каюте. Однако я не мог долго выдержать этого. Разумеется, тебе лучше других, ты лежишь себе, но можешь быть уверен, что рано или поздно у тебя прямо в мозгах вдруг начнет звучать фраза: ты плохо кончишь. Я не хотел кончить плохо, потому выкарабкался из каюты и поплелся бродить по судну. Я даже не знал, куда меня несло, шел всего лишь мой четвертый день на корабле, я радовался, если находил дорогу к сортиру. Маленькие плавучие города эти посудины. Истинная правда. В итоге картина ясна: швыряемый из стороны в сторону, чудом вписываясь в коридоры, я в конце концов заблудился. Ситуация препакоостнейшая. Именно в этот момент появился некто в элегантном темном костюме, он шагал спокойно, уж точно зная дорогу, казалось, он даже не чувствует качки, словно прогуливается по набережной Ниццы, — и это был 1900.

Тогда ему стукнуло двадцать семь, но выглядел он старше. Я был уже знаком с ним: эти четыре дня мы играли вместе в оркестре — но не более того. Я даже не знал, где его каюта. Конечно, мне порассказали кое-что о нем. Говорили странные вещи, например, что 1900 ни разу не покидал это судно. Что родился на нем и с тех пор и живет. Все время. Двадцать семь

лет, ни разу не ступив ногой на землю. Все это воспринималось как колоссальный розыгрыш... Рассказывали также, что он играет музыку, которой не может быть. Единственное, в чем я убедился воочию, это то, что каждый раз, прежде чем начать играть, там, в танцевальном салоне, Фриц Херманн, блондин, который ничего в музыке не понимал, но обладал смазливой физиономией, по причине чего и руководил оркестром, подходил к нему и просил тихим голосом:

— Будь добр, 1900, только то, что написано в нормальных нотах, о'кей?

1900 согласно кивал и играл по нормальным нотам, уставившись в какую-то точку прямо перед собой и никогда не глядя на руки, казалось, он весь где-то в другом мире. Тогда я его еще не знал, я думал, что он просто немного с приветом, и все.

Той ночью, в самый разгар шторма, он, с видом джентльмена на vacation, наткнувшись на меня, потерянно сидевшего в каком-то коридорчике с лицом покойника, улыбнулся и сказал: «Пошли».

Если некто, играющий на трубе в судовом оркестре, в разгар шторма встречает другого, кто говорит ему «пошли», тот, кто играет на трубе, может сделать только одно: пойти. И я пошагал за ним. Хотя шагал он. Я же... этому было иное название, скажем, у меня не было того достоинства, как у него, но как бы то ни было, мы добрались до танцзала, а затем, шараясь из стороны в сторону — речь, естественно, обо мне, потому что он, казалось, скользил по рельсам, — мы достигли рояля. Никого, кроме нас, в зале не было. Было почти темно, только несколько бликов света там и тут. 1900 кивнул на ножки рояля.

— Сними фиксаторы, — сказал он.

Корабль танцевал в свое удовольствие, стоило большого труда держаться на ногах, я не видел никакого смысла в том, чтобы освободить колесики инструмента.

— Если ты мне доверяешь, сними.

Он сумасшедший, подумал я, но фиксаторы снял.

— А сейчас поднимайся и садись сюда, — сказал 1900.

Я не понимал, что он задумал, не понимал, и точка. Я просто стоял и пытался удержать рояль, который заскользил, словно огромный кусок черного мыла. Ситуация была дерьмовой, клянусь, по самые уши в шторме, да еще с этим сумасшедшим, сидящим на банкетке — еще один кусок мыла, — с руками, замершими на клавишах.

— Если не сядешь сейчас, не усядешься никогда, — сказал, смеясь, этот сумасшедший.

*(Актёр усаживается на устройство, что-то между качелями и трапецией.)*

— О'кей! Посылаем все в задницу? О'кей. Есть много чего терять, согласен, ну, я сел на твой дурацкий стульчик, вот, уже сижу, и что дальше?

— А дальше — не бойся.

И начал играть.

*(Звучит соло на рояле. Что-то вроде вальса, нежного и светлого. Качели начинают раскачиваться, перемещая актёра по сцене. И по мере того, как актёр продолжает рассказ, амплитуда качания становится все больше, достигая кулис.)*

А теперь никто не обязан верить мне, я и сам бы, по правде говоря, не поверил никогда, если б мне это рассказали, но что было, то было, а случилось вот что: рояль заскользил по деревянному полу танцзала, а вместе с ним и мы, я и 1900, который играл, не поднимая глаз от клавиш, но ка-



залось, находился где-то далеко отсюда, а рояль то следовал за волнами — отлив, прилив, — то вращался вокруг себя, целясь прямо в витраж, и когда до него оставалась самая малость, замирал и мягко отправлялся обратно, я говорю вам, было такое ощущение, что море баюкает нас, и я ни черта не понимал, и 1900 играл, не прерываясь ни на мгновение, и было очевидно, что он не просто *играет*, он *управляет* им, этим роялем, вы понимаете, клавишами ли, нотами, не знаю, он вел его, куда хотел, это абсурд, но это было так. И в то время, как мы кружились между столиками, сбивая лампы и кресла, я понял, что в этот момент то, что мы делали, то, что мы *на самом деле* делали, было вальсом с Океаном, мы и он, безумные танцоры и прекрасные, слившиеся в едином волнующем танце, на золотистом паркете ночи. О йес!

*(Актер со счастливым лицом начинает кувыркаться на своих качелях, в то время как Океан закипает, корабль «танцует», и музыка, напоминающая вальс, сопровождается звуковыми эффектами, то ускоряет темп, то замедляет, то вообще останавливается, как бы «управляя» танцем. В ходе сложной эквилибристики актер ошибается маневром и внезапно летит за кулису. Музыка делает попытку «затормозить», но поздно. Актер успевает воскликнуть:*

— О Боже! —

*и выбегает на сцену из боковой кулисы, согнувшись. Слышится звук бьющегося стекла, падающих предметов, гигантского беспорядка. Дальше тишина. Актер заглядывает за кулису.)*

1900 сказал, что нужно бы еще усовершенствовать этот номер. Я сказал, что, в сущности, речь может идти только об управлении тормозами. Капитан же, как только шторм закончился, сказал *(кричит возмущенно)*: «СВИНЬИ ВОНЮЧИЕ ВЫ ОБА ВАЛИТЕ ОТСЮДА В МАШИННЫЙ ЗАЛ И НЕ ВЫСОВЫВАЙТЕСЬ ПОКА Я ВАС НЕ ПРИБИЛ ВОТ ЭТИМИ РУКАМИ И ЗАРУБИТЕ НА НОСУ ЧТО ЗАПЛАТИТЕ ЗА ВСЕ ЧТО РАЗНЕСЛИ ТУТ ВСЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЦЕНТА БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ЦЕЛЮЮ ЖИЗНЬ И ЭТО ТАК ЖЕ ВЕРНО КАК ТО ЧТО ЭТА ПОСУДИНА НАЗЫВАЕТСЯ ВИРДЖИНЕЦ А ВЫ ДВОЕ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПРИДУРКИ КОТОРЫЕ КОГДА-ЛИБО ПОЯВЛЯЛИСЬ НА ОКЕАНСКИХ ПРОСТОРАХ».

Там, внизу, в машинном зале, той ночью 1900 и я стали друзьями. Закадычными. И навсегда. Мы проводили время, подсчитывая, сколько может стоить в долларах все, что мы порушили. И чем больше возрастал счет, тем больше мы смеялись. И сейчас, когда я вспоминаю все это, мне кажется, то, что мы тогда чувствовали, было счастьем. Или чем-то в этом роде.

Именно той ночью я задал ему вопрос: правда ли, что рассказывают о нем и о корабле, что он, дескать, родился на нем и все прочее... и правда ли, что он никогда не сходил на берег. Он ответил: да.

— *Истинная правда?*

Он ответил со всей серьезностью:

— Истинная правда.

И я не знаю отчего, но в тот момент я ощутил всем своим нутром, противясь этому, мгновенный холод: и это был ледяной ужас.

Ужас.

Как-то раз я спросил 1900, о чем он постоянно думает, когда играет, что видит, уставившись в одну точку, и где витает, в то время как его пальцы бегают по клавишам. И он сказал мне: «Сегодня я был в прекрасной стране, где у женщин благоухающие волосы, повсюду свет и множество тигров».

Он, оказывается, путешествовал.

И всякий раз оказывался в разных местах: в центре Лондона, на поезде, пересекающем равнину, на горе, такой высокой, что снег доходил тебе до пояса, в церкви, самой большой в мире, где он считал колонны и вглядывался в лица распятых. Он путешествовал. Было трудно представить, что мог он знать обо всем этом: о церквях, о снеге, о тиграх... я хочу сказать, что он ведь ни разу не покидал судно, ни разу, и это не было розыгрышем, это было правдой. Он *никогда* не сходил на берег. И все же создавалось впечатление, будто он все видел своими глазами, все-все. 1900 был из тех, кто, если ты ему говорил: «Однажды я был в Париже», — спрашивал тебя, а видел ли ты такие-то сады и ел ли в таком-то ресторанчике, он знал все, он говорил тебе: «Что мне нравится там, в Париже, — ожидать захода солнца, прогуливаясь взад и вперед по Понт-Неф, и когда проплывают баржи, останавливаясь, смотреть на них сверху и махать им рукой».

— 1900, но ведь ты никогда не бывал в Париже.

— Не бывал.

— Что ж ты тогда?..

— Да.

— Что да?

— Париж!

Можно было подумать, что он безумен. Но все было не так просто. Когда кто-то тебе рассказывает с абсолютной достоверностью, чем пахнет воздух на Бертам-стрит летом, сразу же после дождя, ты же не считаешь его чокнутым только по одной дурацкой причине, что он на этой самой Бертам никогда не был. Из чьих-то глаз, из чьих-то слов он этот воздух, *этот воздух*, вдохнул на самом деле. По-своему, но на самом деле. Мира и правда он никогда не видел. Но уже двадцать семь лет мир проходил через этот корабль, и в течение двадцати семи лет на этом корабле он внимательно этот мир наблюдал. И крал себе его душу.

В этом он был гением, ничего не скажешь. Он умел слушать. И умел читать. Нет, не книги, тут мы все мастаки, — он умел читать людей. Следы жизни, которые носят на себе люди: места, звуки, запахи, их землю, их истории... Все, на них запечатленное. Он считывал это и с необычайной тщательностью систематизировал, раскладывал по полочкам и приводил в порядок... Каждый день он добавлял маленькую клеточку к той необъятной карте, которую рисовал в голове, карте цельного мира, от полюса до полюса: гигантские города и уголки баров, протяженные реки и грязные лужи, самолеты, львы — все на единой изумительной карте. И он парил над нею, словно Бог, в то время как его пальцы скользили по клавишам, ведомые поворотами регтайма.

Нужно было, чтобы прошли годы, прежде чем однажды я набрался храбрости и спросил его об этом. «1900, почему ты, Бог мой, не сойдешь на берег, хотя бы один разок, почему не отправишься взглянуть на мир своими собственными глазами, именно своими. Почему ты остаешься в этой плавучей тюрьме, ведь ты мог бы стоять на твоём Понт-Неф и смотреть на баржи и остальное, ты смог бы делать все, что пожелаешь, ты играешь на рояле как бог, от твоей игры люди сходят с ума, ты бы заработал кучу денег и позволил бы себе иметь самый красивый дом из всех возможных, построив его хоть в форме корабля, кто тебе помешает, ты можешь отправиться куда захочешь, хоть к тиграм, хоть на Бертам-стрит... святой Бог, ты же не можешь продолжать жить, словно обезьяна в клетке... ты не обезьяна, ты великий музыкант, и мир, он там, и до него только этот проклятый трап, несколько дурацких ступенек, Боже, а дальше все, за последней ступенькой весь мир. Почему же ты не прекратишь все это и не уйдешь отсюда, хотя б один разочек, всего один разочек?»

1900... Почему ты не сойдешь на берег?

Почему?

## Почему?

Это случилось летом 1931 года, когда на борт *Вирджинца* взошел Джелли Ролл Мортон. Весь в белом, в белой шляпе. И с вот таким брильянтом на пальце.

Всякий раз, когда он давал концерты, он писал на афишах: сегодня вечером Джелли Ролл Мортон, создатель джаза. Так он писал не для красного словца: он на самом деле был убежден, что джаз изобретен им. Он был пианистом. Всегда играл, сидя перед инструментом на самом краешке стула, и руки его походили на бабочек. Такими легкими они казались. Начинал он в борделях Нового Орлеана, там он и научился легкому скольжению по клавишам и нежному перебору нот: на верхнем этаже занимались любовью и не хотели шума. Они хотели музыки, которая ласково касалась бы занавесей и постелей, никого не тревожа. Он делал такую музыку. И в этом ему точно не было равных.

Кто-то однажды поведал ему о 1900. Должно быть, нечто в таком роде: лучше этого парня никто не играет. Величайший пианист в мире. Может показаться абсурдным, но такое имело место: не сыграв ни одной ноты за пределами *Вирджинца*, 1900 тем не менее стал своего рода знаменитостью, маленькой легендой. Те, кто сходил с корабля, рассказывали о странной музыке и пианисте, который, похоже, имел четыре руки, столько нот он мог взять сразу. В связи с ним ходили забавные истории, иногда даже правдивые, как, например, об американском сенаторе Вильсоне, который просидел все плавание в третьем классе, потому что именно там играл 1900, когда освобождался от «нормальных» нот, написанных кем-то, и играл свои, которые не были нормальными. Там, внизу, у него тоже был рояль, он спускался к нему в полдень или поздно ночью. Сначала слушал: он хотел, чтобы люди пели ему свои песни, которые ему нравились, и всякий раз кто-нибудь извлекал на свет гитару или гармонию и начинал играть мелодии, о которых никто не знал, где они родились... 1900 внимал. Потом начинал мягко перебирать клавиши в то время, как остальные пели или играли, он продолжал перебирать клавиши, и постепенно это становилось настоящей музыкой, рояль рождал звуки, и они уплывали к небу, и это были звуки иного мира. В них было все: все сразу, все мелодии земли. Было от чего столбенеть. Вот он и остолбенел, сенатор Вильсон, когда услышал эти звуки. Так вот, о третьем классе: он, сенатор, само изыщество, посреди зловония, а это была та еще вонища, в третьем классе, и его должны были силой стащить с корабля в конце плавания, потому что, будь его воля, он провел бы на судне, слушая 1900, все те окаянные годы, что осталось ему прожить. Честное слово. Об этом писали газеты, это случилось на самом деле. Все было именно так.

В общем, кто-то пришел к Джелли Ролл Мортону и сказал ему: на этом корабле есть некто, кто делает с роялем что хочет. И когда хочет, играет джаз, а когда не хочет, играет такое, что может сыграть только десяток джазов, собранных вместе. Джелли Ролл Мортон имел еще тот характерец, это знали все. Он сказал: «Как может играть хорошо человек, который даже ни разу на берег не сходил с этого дурацкого парохода?» И принялся хохотать как ненормальный, он, создатель джаза! Тем бы и кончилось, если б пришедший не сказал ему: «Смейся-смейся пока, потому что если он решит сойти на берег, тебе останется играть в борделях, хорошо играть, но в борделях». Джелли Ролл Мортон перестал хохотать, вынул из кармана маленький пистолет с перламутровой рукояткой, приставил его к голове типа, сказавшего ему эти слова, но не выстрелил, а только спросил: «Где этот долбаный корабль?»

То, что пришло ему в голову, было: дуэль. В те годы дуэли были в моде. Люди вызывали друг друга сразиться в мастерстве и в результате выявляли победителя. То, что надо для музыкантов. Никакой крови, немно-

го ненависти, черной ненависти в душе, ноты и алкоголь. Дуэль могла длиться целую ночь. Именно дуэль имел в виду Джелли Ролл Мортон, чтобы положить конец этой истории с океанским пианистом и прочей чужью. Чтобы покончить с этим раз и навсегда. Проблема была в том, что 1900, по правде говоря, на стоянках в портах не играл никогда, не хотел играть, и все тут. Едва показывалась земля, порт, он вставал из-за рояля. Он играл лишь там, где желал. А желал он это делать исключительно в открытом море, когда земля становилась далекими огнями, или воспоминанием, или надеждой. Так он был устроен. Джелли Ролл Мортон многократно выматерился, затем заплатил за билет туда и обратно и взошел на борт *Вирджинца*, он, ни разу не ступивший ни на один пароход, если только тот не курсировал по Миссисипи. «Это самый идиотский поступок, который я когда-либо совершал в своей жизни», — перемежая эти слова ругательствами, сказал он журналистам, пришедшим попрощаться с ним на мол номер 14 в бостонском порту. После чего заперся в каюте, ожидая, когда земля превратится в далекие огни, или воспоминание, или надежду.

Что до 1900, то он почти не интересовался этим делом. Он даже толком не мог понять, в чем оно состоит. Дуэль? А зачем? Однако любопытно ему было. Он хотел узнать, что представляет собой игра основателя джаза. Он называл его так на полном серьезе, он верил в то, что тот действительно изобрел джаз. Уверен, что он думал еще и научиться у него чему-нибудь. Чему-нибудь новенькому. Так он был устроен, 1900. Похоже на старину Дэнни: того тоже не интересовал смысл состязания, ему было абсолютно наплевать на то, кто выиграл, его изумляло все остальное. Все, что остальное.

На второй день плавания в 21.37, когда *Вирджинец* со скоростью 20 узлов несся в сторону Европы, Джелли Ролл Мортон собственной персоной появился в танцевальном зале первого класса, элегантный и весь в черном. Присутствующие прекрасно знали, что делать. Танцовщицы прекратили танец, мы, в оркестре, положили инструменты, бармен налил виски, публика умолкла. Джелли Ролл Мортон взял виски, подошел к роялю и посмотрел в лицо 1900. Ничего ему не сказал, но всем послышалась фраза: «Встань отсюда».

1900 поднялся.

— Вы тот самый, кто изобрел джаз, не так ли?

— Так. А ты тот самый, кто играет, только если Океан под задницей, не так ли?

— Так.

Так они представились друг другу. Джелли Ролл Мортон зажег сигарету, уравновесил ее на краю рояля, уселся за него и начал играть. Регтайм. Но таким образом, каким его никто никогда раньше не слышал. Мортон не играл, он едва касался клавиш, музыка струилась, словно шелковая комбинация, соскальзывающая с тела женщины и провоцирующая ее тем самым на танец. В этой музыке были все бордели Америки, но бордели первоклассные, где даже гардеробщицы прекрасны. Джелли Ролл Мортон закончил едва уловимыми нотками, все выше и выше, на самом краю клавиатуры, словно маленький водопад жемчуга осыпался на мраморный пол. Сигарета по-прежнему лежала на том же месте, на борту рояля, она сгорела наполовину, но пепел даже не упал. Я бы сказал, что он не хотел падать, чтобы не создавать шума. Джелли Ролл Мортон взял сигарету двумя пальцами, своими руками-бабочками, как я уже говорил, и пепел остался на ней, быть может, и это был трюк, не знаю, но он не падал. Создатель джаза поднялся, подошел к 1900, сунул ему под нос сигарету, всю, включая пепел, и сказал:

— Твоя очередь, морячок.

1900 засмеялся. Он развлекался. Причем на полном серьезе. Он уселся за рояль и сделал самое дурацкое из всего, что он мог сделать. Он сыграл

*Вернись назад, папуля*, абсолютно идиотскую песенку, детскую вещицу, он услышал ее от одного эмигранта несколько лет назад и с тех пор не мог от нее избавиться, она ему нравилась, честное слово, не знаю, что он уж в ней нашел, но она ему нравилась, он считал ее безумно трогательной. Но, конечно, она никак не годилась быть аргументом в этом споре. Захоти, даже я мог бы сыграть ее. Он исполнил ее, слегка хулиганя басами, что-то сдваивая, добавив два-три своих фирменных вольта, но в целом как она была идиотской вещью, так и осталась. У Джелли Ролл Мортон было лицо человека, у которого украли новогодние подарки. Он испепелил 1900 яростным взглядом и вновь уселся за рояль. И заиграл блюз, который выбил бы слезу даже у немецкого машиниста, сдавалось, что весь хлопок всех негров мира был в этой музыке, он собирал этот хлопок своими нотами. Это была вещь, за которую можно отдать душу. Все присутствующие вскочили на ноги и аплодировали. Джелли Ролл Мортон не отреагировал даже намеком на поклон, никак, всем своим видом показывая, что он ни на минуту не сомневался в таком конце этой истории.

Теперь ждали ответ 1900. Начало не предвещало ничего хорошего, потому что он сел за рояль с глазами, полными слез, — реакция на блюз, он был потрясен, и его можно было понять. И самым настоящим абсурдом было то, что он, хранящий в своей голове и пальцах столько музыки, принялся играть: блюз, который он только что прослушал. «Он был так прекрасен», — сказал он мне на следующий день, чтобы, вы только подумайте, оправдаться. Он на самом деле понятия не имел, что такое дуэль, просто никакого представления. И так, он заиграл тот же блюз. Но в его голове он трансформировался в серию аккордов весьма тягучих, следующих друг за другом длинной очередью, а в них вселенская тоска. Он играл, нависая над клавиатурой, наслаждаясь каждым из своих аккордов, необычайных, диссонансирующих друг с другом, отдаваясь наслаждению целиком. В отличие от других — потому что, когда он закончил, несколько человек засвистели.

В эту минуту Джелли Ролл Мортон окончательно потерял терпение. Он не просто подошел к роялю, он подскочил к нему. Может быть, ему показалось, что он лишь прошептал слова, обращенные к 1900, но все четко слышали их:

— Ну, сейчас я поставлю тебя раком, мудака.

И заиграл. Нет, заиграл — не то слово. Это было жонглерство. Акробатика. Все, что возможно сделать с клавиатурой в 88 черно-белых клавиш, он сделал. На противоестественной скорости. Не запнувшись ни на единой ноте, не дрогнув ни одним мускулом лица. Это даже не было музыкой — это был иллюзион, колдовство, прекрасное и совершенное. Это было чудо, клянусь всеми святыми, чудо. Люди сошли с ума. Они визжали и хлопали, они никогда прежде такого не слышали. Все происходящее напоминало празднование Нового года. Сквозь этот бедлам я протолкался к 1900 и увидел его сидящим с лицом, на котором было написано глубочайшее разочарование. Перемешанное с изумлением. Он посмотрел на меня и сказал:

— Но он же совершенное убожество...

Я не отвечал. Мне нечего было ответить. Он нагнулся ко мне и сказал:

— Дай мне сигарету. Давай, давай...

Это было так неожиданно, что я протянул ему сигарету. Дело в том, что он никогда не курил. Он взял сигарету, повернулся и пошел к роялю. В зале сначала притихли, поняв, что он собирается играть, затем послышались ядовитые реплики, смешки и даже свист, так уж устроены люди: всегда ведут себя по-свински по отношению к тем, кто проигрывает. 1900 терпеливо переждал, пока в зале установится тишина. Потом бросил взгляд на Джелли Ролл Мортон, который стоял у стойки бара, с бокалом шампанского в руке, и произнес:

— Ты сам напросился, пианист дерьмовый.  
 Положил сигарету на край рояля.  
 Незажженную.  
 И начал играть.

*(Звучит фортепьянная пьеска сумасшедшей виртуозности, словно играют в четыре руки. Длится она не более полминуты и завершается взрывом мощнейших аккордов. Актер ждет, когда музыка замолкнет, затем продолжает.)*

Вот так.

Публика внимала не дыша. Как под гипнозом. Все сидели, вперившись взором в рояль, с отвисшими челюстями, словно классические прикурки. Такими и оставались, сидя в тишине и боясь шевельнуться, даже после того убийственного финального гейзера аккордов, когда, казалось, играют сто рук, когда, казалось, рояль должен вот-вот взорваться. И в этой сумасшедшей тишине 1900 поднялся, взял мою сигарету, наклонился над клавиатурой и приложил сигарету к струне.

Легкое потрескивание.

Он поднял сигарету над роялем, она была зажжена.

Клянусь.

Как же красиво она горела.

1900 держал сигарету в руке словно маленькую свечу. Он не курил и даже не знал, как ее держат в пальцах. Он сделал несколько шагов по направлению к Джелли Ролл Мортону. Протянул ему сигарету:

— Кури ты. Я в этом не мастак.

И тут публика очнулась от колдовства. Это был апофеоз крика и оваций, бедлам, не знаю, как еще назвать, но я никогда не видел ничего подобного, все орало, все хотели дотронуться до 1900, ничего нельзя было понять. А я смотрел на него, на Джелли Ролл Мортон, он одиноко стоял среди всей этой кутерьмы, нервно курил проклятую сигарету, пытаюсь найти, какое надо бы сделать лицо, но не находил, он даже не знал толком, куда спрятать глаза, в какой-то момент рука его задрожала, задрожала точно, и я это увидел и не забуду этого никогда, она дрожала так сильно, что пепел сорвался с сигареты и осыпался, сначала на его шикарный черный костюм и затем, соскользнув, на правый ботинок, черный лакированный ботинок, он посмотрел на него, я это помню хорошо, посмотрел на ботинок, на пепел и понял, понял все, что нужно было понять, он понял, повернулся кругом и, тихо ступая, шаг за шагом, так аккуратно, что даже не потревожил пепла на ботинке, пересек огромный зал и скрылся из глаз. Со своими ботинками черного лака, с кучкой пепла на одном из них, он уносил его, и было абсолютно ясно, что если кто и выиграл дуэль, то не он.

Джелли Ролл Мортон провел остаток плавания закрывшись у себя в каюте. На первой же стоянке в Саутхемптоне он покинул *Вирджинец*. На следующий день он отплыл в Америку. Другим судном. Он больше не хотел ничего слышать ни о *Вирджинце*, ни о 1900, ни о чем прочем. Он хотел вернуться домой, и баста.

С палубы третьего класса, опершись о планшир, 1900 наблюдал, как тот сходил на берег в своем шикарном белом костюме и с кучей красивых чемоданов светлой кожи. И я помню, что он произнес всего одну фразу:

— И джаз тоже в задницу.

Ливерпуль — Нью-Йорк — Ливерпуль — Рио-де-Жанейро — Бостон — Корк-Лиссабон — Сантьяго-ди-Чили — Рио-де-Жанейро — Антильские острова — Нью-Йорк — Гамбург — Нью-Йорк — Генуя — Флорида — Рио-де-Жанейро — Флорида — Нью-Йорк — Генуя — Лиссабон — Рио-де-Жанейро — Ливерпуль — Рио-де-Жанейро — Ливерпуль — Нью-

Йорк — Корк — Шербург — Ванкувер — Шербург — Корк — Бостон — Ливерпуль — Рио-де-Жанейро — Нью-Йорк — Ливерпуль — Сантьяго-ди-Чили — Нью-Йорк — Ливерпуль, Океан — и мы посредине. И там, в этой точке, упала картина.

Меня всегда занимали такие случаи с картинами. Висят-висят годами, потом вдруг ничего вроде и не происходит, повторяю, ничего, бац — и падают вниз. То есть висят на гвоздях, никто до них даже не дотрагивается, но в какую-то конкретную секунду бац — валятся как камни. Абсолютная тишина, вокруг ни движения, даже муха не пролетает, а они — бац. И ни одной объяснимой причины. Почему именно в это мгновение? Неизвестно. Бац! Что случается с гвоздем, что заставляет его решить: ну не могу больше? Неужели и у него, бедолага, есть душа? И она принимает решение. И они обсуждают это долго с картиной, они не уверены, как лучше поступить, они спорят об этом все вечера, многие годы, потом назначают дату, время, и вот — бац! Они уже знали дату, в самом начале знали, оба, гвоздь и картина, уже было все договорено, смотри, я держу тебя в течение семи лет, для меня достаточно, о'кей, тогда решено, 13 мая, о'кей, в шесть, нет, лучше без четверти шесть, согласен, тогда спокойной ночи. Шесть лет спустя, 13 мая, без четверти шесть — бац! Непонятно. Правда, есть вещи, о которых чем меньше думаешь, тем лучше, иначе уедет крыша. Когда вдруг падает картина. Когда ты просыпаешься утром рядом с женщиной и понимаешь, что больше не любишь ее. Когда открываешь газету и читаешь, что началась война. Когда видишь поезд и думаешь: пора убираться отсюда. Когда смотришь в зеркало и замечаешь, как постарел. Когда посреди Океана 1900 поднимает взгляд от тарелки и говорит тебе: «В Нью-Йорке через семь дней я сойду с корабля».

И я столбенею.

Бац!

Это картине не задашь вопрос. А 1900 можно. Я оставил его в покое на короткое время, а затем начал изводить, я хотел понять, почему он так решил, что за причина должна быть, если человек проводит тридцать два года на одном и том же судне и вдруг однажды внезапно собирается сойти с него как ни в чем не бывало, даже не удосужась объяснить, почему, своему лучшему другу.

— Я должен увидеть одну вещь там, внизу, — сказал он.

— Какую вещь?

Он не хотел называть ее — почему, стало понятно после того, как наконец я выудил из него:

— Море.

— Море?!

— Море.

Ничего себе. Я ожидал чего угодно, только не этого. Я не хотел в это верить, я и не верил, что мне можно так пудрить мозги. Это была самая большая херня века.

— Уже тридцать два года ты его видишь, море, 1900!

— Отсюда. Я хочу увидеть его оттуда. Это не одно и то же.

Боже правый. Мне казалось, я разговариваю с ребенком.

— Ну хорошо. Дождись прихода в порт, сойди на берег и смотри себе на здоровье. Но это то же самое.

— Нет, не то же.

— Кто тебе это сказал?

А сказал ему об этом один тип по имени Бастер, Линн Бастер. Крестьянин. Из тех, что живут сорок лет, работая как мулы, и все, что они видят, это работа в поле и один или два раза, в день ярмарки, большой город, в нескольких километрах от их лачуги. Только однажды засуха все отняла у него, жена сбежала с проповедником неизвестно чего, а детей унесла лихорадка, сразу обоих. В общем, повезло как утопленнику. Он собрал по-

житки и потопал пешком через всю Англию, чтобы добраться до Лондона. Ну а поскольку о дороге туда он не имел ни малейшего представления, то вместо того, чтобы прийти в Лондон, он оказался в полузаброшенном селении, от которого дорога, делая два поворота и обогнув холм, неожиданно открывает взору море. Он никогда прежде моря не видел и был поражен им словно молнией. Оно и спасло его, если поверить его словам. Он говорил: «Это как крик исполина, который кричит и кричит, а кричит он вот что: банда рогоносцев, жизнь такая необъятная, вы можете это понять или нет? Необъятная». Он, Линн Бастер, прежде никогда об этом не задумывался. Ему и в голову прийти не могло подумать о подобном. Словно революция произошла в его черепушке.

Быть может, то же самое случилось и с 1900... ему также никогда не приходила в голову похожая мысль, что жизнь необъятна. Может быть, он подозревал это, но никто не крикнул ему таким образом. И он заставлял этого Бастера рассказывать сотни раз историю о кричащем море и наконец решил, что и сам должен испытать подобное. Когда он принялся описывать мне это, у него был вид человека, который объясняет тебе, как работает двигатель внутреннего сгорания, настолько это было научно.

— Я могу остаться и здесь, здесь, на судне, но море мне никогда ничего не скажет. А если я сойду, я буду жить на земле и земля на многие годы станет для меня обыкновенным домом, и я сделаюсь обыкновенным, пока однажды я не уеду из дома, не приду на какой-нибудь берег, не подниму глаза и не увижу море: вот оно, и я услышу то, что оно кричит мне.

Научно? Все это показалось мне наукообразной херней.

Я бы мог ему так и сказать, но не сказал. Все не так просто. Дело в том, что я его любил, 1900, и желал, чтобы он когда-нибудь покинул корабль и играл для людей там, на суше, и женился на симпатичной женщине, и завел детей и все остальное, нужное для жизни, которая, быть может, и не столь необъятна, однако прекрасна, если только у тебя есть немного удачи и желания жить. Словом, эта история с морем воспринималась мною как самая настоящая мура, однако если с ее помощью удавалось увести 1900 отсюда, то она устраивала меня. Так что в конце концов я решил, что все к лучшему. Я сказал ему, что его решение правильно и что я в самом деле доволен им. И что я дарю ему свое верблюжье пальто, чтобы он выглядел преуспевающим человеком, сходя по трапу на берег в пальто из верблюжьей шерсти. Он был этим растроган:

— Ты будешь иногда проведывать меня там, на суше?..

Боже, у меня камень стоял вот тут, в горле, он мог заставить меня умереть, если б захотел. Я ненавидел прощания, я принялся смеяться громче, чем был способен, ситуация была мучительной, я ответил ему, что, разумеется, обязательно буду навещать его, и мы будем вместе гонять его собаку по полям, и его жена приготовит нам индейку, и не помню, какие еще глупости я говорил, а он смеялся, и я смеялся, но про себя мы оба знали, что правда заключается в другом: она состояла в том, что прежней жизни наступал конец, и этому ничто не могло помешать, это должно было случиться, к этому все шло: Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900 должен был покинуть *Вирджинец* февральским днем в порту Нью-Йорк. После тридцати двух лет, прожитых в море, он должен был ступить на сушу для того, чтобы увидеть море.

*(Звучит мелодия, напоминающая старинные баллады. Актер уходит в темноту, чтобы появиться в одежде 1900 на верхней ступеньке трапа. Верблюжье пальто, синяя шляпа, в руке большой чемодан. Он стоит некоторое время на ветру неподвижно, глядя на что-то прямо перед собой. Он глядит на Нью-Йорк. Затем медленно спускается на первую ступеньку, вторую, третью. И здесь музыка резко прерывается, а 1900 замирает. Актер снимает шляпу и поворачивается к публике.)*



На третьей ступеньке он остановился. Неожиданно.

— Что случилось? Наступил на дерьмо? — спросил Нил О’Коннор, ирландец, который никогда ни в чем ни хрена не понимал, однако всегда пребывал в превосходном настроении.

— Что-нибудь забыл, — предположил я.

— Что?

— Кто знает, что-то...

— Может, он забыл, зачем спускается.

— Не городи ерунды.

Но почему-то же он остановился, одной ногой на второй ступеньке, другой — на третьей. И стоял так целую вечность. Он смотрел прямо перед собой, казалось, ища что-то. И вдруг сделал непонятную вещь: снял шляпу, перенес ее за поручень и разжал руку. Шляпа, похожая на странную птицу или синий блин с крыльями, пару раз кувырнулась в воздухе и упала в море. И закачалась на волнах. Нет, конечно, это была птица, а никакой не блин. Когда мы подняли глаза к трапу, то увидели, как 1900 в своем верблюжьем пальто, в моем верблюжьем пальто, *поднимается* по этим двум ступеням, повернувшись спиной ко всему миру, со странной улыбкой на лице. Два шага — и он скрылся в глубине судна.

— Ты видел? Прибыл новый пианист, — сказал Нил О’Коннори.

— Говорят, что самый великий из всех, — сказал я. И я не знал, был ли я расстроен или безумно счастлив в эту минуту.

Что он увидел с этой треклятой третьей ступеньки, он не хотел мне рассказывать. Все это плавание и еще два, что мы проделали после этого, 1900 оставался немного не в себе, говорил меньше, чем обычно, и казался погруженным во что-то глубоко личное. Мы не задавали ему вопросов. Не приставали. Он же делал вид, что ничего не произошло. Было очевидно, что-то с ним не так, но никто не решился подойти к нему, чтобы спросить, в чем дело. Так продолжалось несколько месяцев. Но однажды 1900 вошел в мою каюту и медленно, на одном дыхании, произнес следующую фразу: «Спасибо за пальто, мне оно очень шло, это была ошибка, я бы в нем произвел фурор, но сейчас все идет на поправку, это прошло, ты не должен думать, что я несчастлив, я им больше никогда не буду».

Что до меня, я никогда и не уверял себя, что он может быть несчастлив. Он был не из тех, о ком ты задаешься вопросом, счастлив ли он. Он был 1900, и все тут. Тебе и в голову не приходило, что он может быть счастливым или страдать. Он казался вне всего этого, было похоже, что его ничего не трогало. Есть, есть его музыка, остальное не в счет.

«Ты не должен думать, что я несчастлив, я никогда больше им не буду». Меня поразила эта фраза. Он произнес ее на полном серьезе, с лицом человека, который прекрасно знает, куда идти и куда он должен прийти. Это как когда он садился за рояль и принимался играть, его руки не ведали сомнений и клавиши словно ждали от них *его* нот, и ноты казались предназначенными для них, и только для них. Создавалось впечатление, что он творит эти ноты здесь же, за роялем, — на самом деле я понимаю, что именно в тот день 1900 принял решение сесть перед черными и белыми клавишами своей жизни, чтобы сыграть на них музыку бессмысленную и гениальную, сложную и прекрасную, самую великую из всех. И чтобы под эту музыку танцевало все то, что ему осталось прожить. Чтобы никогда больше не чувствовать себя несчастным.

Я сошел с *Вирджинца* 21 августа 1933 года. А поднялся на его борт шестью годами раньше. Мне же казалось: прошла целая жизнь. И сходил я не на день, не на неделю, я покидал судно навсегда. С необходимыми документами, с зарплатой задним числом за проработанные годы и со всем прочим. Как полагается. Я поставил крест на Океане.

Нельзя сказать, что мне не нравилась та жизнь. Это был несколько причудливый способ заставить ее платить по счетам, но он действовал. Мне только не удалось убедить себя в том, что это надолго. Конечно, если ты по профессии моряк, тогда другое дело, море — твое место работы, можешь оставаться на нем, пока не надорвешься, и чувствовать себя в своей тарелке. Но тот, кто играет на трубе... Если ты играешь на трубе, морю ты чужак, им и останешься. Раньше или позже, но ты поступишь верно, решив вернуться домой. Лучше раньше, сказал я себе.

«Лучше раньше», — сказал я 1900. И он понял. Было ясно, что ему не хочется видеть меня сходящим по трапу, покидающим судно навсегда, но сказать мне это... он бы не сказал мне это никогда. И так-то оно было лучше. В последний мой вечер мы играли вместе для обычных придурков из первого класса, пришел мой черед солировать, я вступил и через несколько нот услышал рояль, который сопровождал меня чуть слышно, с нежностью. И дальше мы шли вместе, и я играл лучше, чем умел, о Боже, я не был Луисом Армстронгом, но в этот вечер я играл, честное слово, не хуже его, с 1900 за плечами, и он подыгрывал моему соло, как мог это делать только он. Другие музыканты дали нам сыграть довольно большой кусок отдельно, моей трубе и его роялю, чтобы мы могли в последний раз здесь рассказать обо всем том, что никогда не выскажешь словами. Люди вокруг нас продолжали танцевать, они ничего не замечали и не могли заметить, что они могли знать, они продолжали танцевать, как если б ничего не произошло. Быть может, кто-то и сказал соседу: «Глянь-ка на того с трубой, смех, да и только, он пьяный или чокнутый. Посмотри внимательно на типа с трубой: он играет и плачет».

Как развивались события дальше, после того как я сошел на берег, это уже другая история. Может быть, мне бы удалось затеять что-нибудь стоящее, не встрянь я в эту проклятую войну. Война так усложнила всю мою жизнь, что я в ней окончательно запутался. Нужно было обладать другими мозгами, чтобы разобраться, что к чему. Нужно было иметь качества, которых у меня не было. Я умел играть на трубе, и все. Поразительно, насколько бесполезно это умение — играть на трубе, когда кругом идет война. А ты в ней по уши, и она тебя не отпускает.

Как бы то ни было, ни о *Вирджинце*, ни о 1900 я многие годы ничего не слышал. Не то чтобы я про них забыл, я продолжал помнить о них всегда, мне даже случалось спрашивать себя: «Интересно, что сейчас сделал бы 1900, будь он здесь, что бы сказал? Наверняка сказал бы: в задницу войну». Когда я произносил эти слова, это было совсем не то же самое. А когда мне становилось совсем уж худо, я закрывал глаза и мысленно возвращался туда, на судно, в третий класс, и слушал эмигрантов, которые напевали оперные арии, и 1900, который играл какую-то свою музыку, я видел его руки, его лицо и Океан вокруг. Я отдавался фантазии и воспоминаниям — порой единственное, что оставалось делать, чтобы спастись, другого способа не было. Фокус для бедных, но он срабатывал.

В общем, эта история закончилась. Или представлялась законченной. Но как-то однажды пришло письмо, его написал Нил О'Коннор, тот самый ирландец, который беспрерывно шутил. Его письмо, однако, было серьезным. Он писал, что *Вирджинец* вконец износился на этой войне, его использовали как плавучий госпиталь, и к концу войны он был в таком состоянии, что от него решили избавиться. Оставшийся экипаж ссадил в Плимуте, судно нашиповали динамитом, через какое-то время оттащат его в открытое море и прикончат: бум! И привет. Ниже следовала приписка: «У тебя найдется сто долларов? Клянусь, я тебе их верну». Ниже еще одна: «1900 и не подумал сойти на берег».

Только одна эта фраза: «1900 и не подумал сойти на берег».

Я вертел письмо в руках несколько дней. Затем добрался на поезде до Плимута, поехал в порт искать *Вирджинец*, нашел, сунул охраннику немного денег, поднялся на судно, обошел его от макушки до дна, спустился в машинное отделение, уселся на один из ящиков, судя по всему, набитых динамитом, снял шляпу, положил ее на пол и остался сидеть там, не зная, что сказать/

...Я замер, сидя там и глядя вокруг, глядя на себя/  
Динамит, динамит под его задницей, динамит повсюду/  
Дэнни Будмэн С. Д. Лемон 1900

Ты бы сказал, что знал, что я приду, как всегда знал ноты, которые играл/

Твое лицо, постаревшее, но еще более красивое от этого и без всяких следов усталости/

Никакого света на судне, только тот, что проникал извне/  
Кто бы знал, какой была та ночь/  
Белые руки, тщательно застегнутый пиджак, начищенные туфли/  
Сойти на берег, неужели такое могло прийти ему в голову/  
В полумраке он казался принцем/

Разве бы ему пришло в голову сойти на берег, ну нет, он предпочел бы взлететь на воздух вместе с тем, что осталось от судна, в открытом море/

Великий финал, если смотреть на это вместе со всеми с мола, с берега, гигантский искусственный огонь, адью, падает занавес, дым и пламя, высоченная волна напоследок/

Дэнни Будмэн С. Д. Лемон  
1900

На том судне, утонувшем во мраке, последняя память о нем — голос, чуть слышный, адажио, произносит/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(Актёр трансформируется в 1900.)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Весь этот город... он не видел этого финала.../  
Финал, пожалуйста, вы не могли бы показать финал?/  
И грохот/

На той проклятушей лестнице... все было очень красиво... и я был велик в том пальто, я шел навстречу моей удаче, я в этом не сомневался, и я сошел бы, это не была для меня проблема/

В моей синей шляпе/  
Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька/  
Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька/  
Первая ступенька, вторая ступенька/  
Я увидел не то, что меня остановило/  
Остановило то, чего я не увидел/

Ты можешь понять это, брат, *остановило то, чего я не увидел...* я искал это, но этого не было, в бескрайнем городе было все, за исключением этого/

Было все/

Но не было *финала*. То, чего я не увидел, находится там, где все оканчивается. Конец мира/

А сейчас представь рояль. Клавиши начинают. Клавиши заканчивают. Ты знаешь, их 88, и в этом никто не сможет тебя надуть. То есть они не бесконечны. Ты, ты бесконечен. В этих клавишах бесконечная музыка, которую ты можешь создать. 88, их предел. У тебя предела нет... Это мне нравится. Со всем этим можно жить. Но если ты/

Но если я поднимаюсь по этой лестнице и передо мной/

Но если я поднимаюсь по этой лестнице и передо мной разворачивается клавиатура в миллионы клавиш, в миллионы и миллиарды/

Миллионы и миллиарды клавиш, им нет конца, и это истинная правда, что им нет конца, что эта клавиатура бесконечна/

Если эта клавиатура бесконечна, тогда/

Но в этой клавиатуре нет музыки, которую ты можешь сыграть. Ты ошибся местом, оно за роялем, на котором играет Бог/

Иисусе, ты видел пути?

Только пути, их же огромное множество, как вы там, на суше, выбираете один из них, *свой*/

Выбираете *свою* женщину/

*Свой* дом, *свою* землю, *свой* пейзаж для обзора, *свой* способ умереть/

Весь этот мир/

Тот мир вокруг тебя, который ты даже не знаешь, где кончается/

И как он велик/

Вы никогда не боитесь разлететься на тысячи осколков только от мысли об этом, об этой огромности, лишь только думая о ней? Живя в ней/

Я родился на этом судне. Мир проходил через него, по две тысячи человек за раз. Их желания тоже были здесь, но их было не больше, чем могло бы поместиться между носом и кормой. Я играл свое счастье на клавиатуре, которая не была бесконечной.

Так я постигал мир. Земля — тот же корабль, просто он слишком огромен для меня. Это очень длинное плавание. Это слишком красивая женщина. Это слишком сильный запах. Это музыка, которую я не умею играть. Извините меня. Но я не сойду. Позвольте мне вернуться назад.

Пожалуйста/

/

/

/

/

/

А сейчас постарайся понять меня, брат. Постарайся понять, если сможешь/

Весь этот мир отражается в моих глазах/

Ужасный, но прекрасный/

Чересчур красивый/

И страх, который вернул меня обратно/

Корабль, вновь и навсегда/

Кораблик/

Этот мир в глазах, все ночи, вновь/

Призраки/

Я готов умереть, если мне будет позволено/

Желание сойти на берег/

Страх сделать это/

Вот так сходишь с ума/

С ума/

Что-то же я должен был сделать, и я это сделал/

Сначала я вообразил себе это/

Потом я это сделал/

Каждый день на протяжении многих лет/

Двенадцать лет/

Миллиарды мгновений/  
Жест невидимый и очень медленный./

Я, который был не способен покинуть это судно, чтобы спастись, я покинул свою жизнь. Ступенька за ступенькой. И каждая ступенька была отдельным желанием. На каждый шаг — свое желание, которому я говорил «прощай».

Я не сумасшедший, брат. Мы не сумасшедшие, когда находим способ спастись. Мы хитры, аки звери алчущие. Сумасшествие здесь ни при чем. Гениальность — вот что это такое. Это — геометрия. Совершенство. Желания рвали мне душу. Я пытался прожить с ними, но мне это не удалось.

Тогда я их заколдовал.

Одно за другим я оставил их за спиной. Геометрия. Совершенная работа. Все женщины мира, я их заколдовал, играя всю ночь напролет для одной женщины, одной, прозрачная кожа, руки без украшений, стройные ноги, она качала головой в такт моей музыке, не улыбаясь, не отводя глаз ни разу, целую ночь, и когда встала и ушла, из моей жизни ушла не она, ушли все женщины мира. Я заколдовал отца, каким я никогда не стану, я заколдовал его, глядя на умирающего ребенка, сидя несколько дней рядом, не упуская ничего из этого спектакля, кошмарного и прекрасного, я хотел быть последним, что он увидел бы в этом мире, прежде чем покинет его, и ушел не он, ушли все дети, которых я никогда не буду иметь. Земля, которая была моей землей, в какой-то крошечной части мира, ее я заколдовал, слушая пение человека, который шел с севера, и я слушал его песню и видел, видел долины, горы вокруг, медленно текущие реки, зимний снег, ночных волков, а когда этот человек закончил петь, закончилась моя земля, навсегда, где бы она ни находилась. Друзья, которых я желал, их я заколдовал, играя для тебя и с тобой в тот вечер, я видел их всех, моих любимых друзей, в твоём лице, в твоих глазах, и когда ты ушел, они все ушли с тобой. Я сказал «прощай» изумлению, когда увидел чудовищные айсберги в северных морях, побеждаемые теплом. Я сказал «прощай» чудесам, когда увидел смеющихся людей в ту секунду, как война разрывала их в клочья. Я сказал «прощай» ярости, когда увидел это судно, нашпигованное динамитом. Я сказал «прощай» моей музыке в тот день, когда мне удалось сыграть ее всю за одну ночь, в одно мгновение, и я сказал «прощай» радости, заколдовав ее, когда увидел тебя, сюда входящим. Это не сумасшествие, брат. Это геометрия. Это работа гравера. Я разоружил несчастье. Я развел их в стороны: мою жизнь и мои желания. Если б ты смог пройти моим путем, ты бы нашел их все, одно за другим, заколдованные, недвижимые, застывшие навсегда, словно вехи этого странного путешествия, о котором я никогда никому не рассказал, только тебе/

*(1900 удаляется в сторону кулисы.)*

/

*(Останавливается, поворачивается к зрителям.)*

А сейчас я вижу сцену: сюда поднялся некто, кто ищет мое имя в списке и не находит его.

— Как, вы говорите, вас зовут?

— 1900.

— Тосийский, Тотарбартоло, Торвалис, Тоцца...

— Я тот, кто родился на этом судне.

— Простите?

— Я родился на этом судне и умер здесь, не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь...

- Кораблекрушение?
- Нет. Взрыв. Шесть с половиной центнеров динамита. Бум!
- А-а. А сейчас все в порядке?
- Да-да, все превосходно... то есть... только проблема с рукой... потерялась рука... но меня заверили...
- Не хватает одной руки?
- Да. Знаете ли, взрыв...
- Где-то здесь должна быть парочка... какой, говорите, не хватает?
- левой.
- А, черт!
- О чем вы?
- Знаете, боюсь, здесь только две правых.
- Две правых руки?
- К сожалению, да. А вы случаем не могли бы, скажем...
- Что?
- Я хочу сказать, если вы возьмете правую руку...
- Правую руку вместо левой?
- Именно.
- Но... Хотя, в принципе, лучше уж правая, чем ничего...
- Я тоже так думаю. Подождите минутку, я схожу за ней.
- А если я зайду через несколько дней, быть может, появится левая?
- Послушайте, у меня тут одна белая, а другая от негра...
- Нет, нет, одного цвета, пожалуйста... я ничего не имею против негров, это просто вопрос...

Невезение. Целая вечность в Раю, с двумя правыми руками. *(Гнусавым голосом.)* А сейчас сложим красивый крест!

*(Порывается сделать это, но останавливается. Смотрит на руки.)*

Не знаешь, какие использовать.

*(Мгновение колеблется, потом быстро кладет крест обеими руками.)*

Целая вечность, миллионы лет, производя впечатление юридивого.

*(Повторяет знак креста двумя руками.)*

Ад. Рай. Ничего смешного.

*(Оборачивается, идет к кулисе, но не уходит, а вновь поворачивается к публике: его глаза блестят.)*

Хотя... знаешь, музыку тем не менее... этими руками, двумя правыми... если только есть рояль... *(Вновь становится серьезным.)* То, что у тебя, брат, под задницей, — динамит. Встань и уходи отсюда. Все кончено. На этот раз действительно все кончено.

*(Уходит.)*

Перевел с итальянского Валерий Николаев.



---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

\*

## ЛЮДСКАЯ МОЛВЬ И КОНСКИЙ ТОП

*Из записных книжек 1950 — 1990-х годов*

1971

*(Продолжение)*

**Э**ти маленькие белые цветочки, которые посажены по всей моей стране — у каждого райкома и каждого гипсового или окрашенного грубой металлической краской памятника. Облако медового запаха, плывущее от этих цветов, навсегда отравлено для меня тяжелым шинельным запахом государственности.

«Захоронить» — так говорят теперь почти все. «У вас там захоронен кто-нибудь?» Нет, это не каприз языка! Слово «похоронен» слишком духовно, оно связывает с умершими какой-то нитью. Понадобилось именно такое словцо, переводящее покойников в разряд отбросов.

...Наше *мирное время!*. Тут-то и появилось словцо «отдыхаем» вместо «спим» — мерзкий эвфемизм. Все работали и отдыхали. Благо четверти века мирной жизни осталось неиспользованным. Не мир как расцвет, возможность развития всего человеческого, а мир как мирное гниение.

Гнусная целеустремленность, искусственно сообщенная недвижимой жизни, ревет из репродукторов, льет с длинных красных полотнищ, развешанных поперек всех дорог как «Ни шагу дальше», воеет со страниц всех газет.

Цветной кинофильм [«XXIV съезд КПСС»] — *сборище* на экране. Скошенный рот лидера. Он дергается, обезьянничает. «Г» фрикативное. Никто, кроме одного (К.), не может выговорить прилагательное «соц.». В зале хлопают — силе. Пустоте, возымевшей силу. Месту на трибуне. Это очевидно. Как плотно ощерились все при виде войск! Долгая овация, похожая на вздох облегчения; единственная их надежда.

Да, еще 40 лет назад были совсем другие люди — покалеченные тюрьмами, увечные, с невротичным, фанатическим блеском в глазах. Теперь в зале все одинаково сыты, довольны, уравновешенны (мелькают, правда, очень приличные физиономии работающих и порядочных мужчин) и мечтают только о статусе, о нем одном.

...Как забавно, наверно, дикарски весело этим невежественным, необразованным людям, не думающим о философии, истории, о душе нации и прочем, встречаться то и дело с людьми из разных стран — обниматься с арабами, пожимать руки вежливо скалящимся европейцам.

1972

7 марта. «На Украине — дожди!..» — восклицает наш приятель, маниакально ненавидящий радио, растрavляющий себя смакованием всех оттенков интима, принятого сейчас в дикторском слоге.

10 марта. На картине Льва Бруни была еще одна Москва жаркого лета 1932 года — красная, раскаленно-кирпичная, душная, тесная, без влаги, без тени, без воздуха.

13 марта. Реальный случай с весьма импозантным мужчиной. «Вхожу я в общественный туалет, сажусь.

Вдруг входит кто-то, снимает с меня пыжиковую шапку, надевает кепку — со словами:

— И в кепке по...!

И исчезает».

Русскому человеку реальной выгоды мало — ему литература нужна, жест!

16 марта. Свели под корень всех этих с бородками, с мутноватым к тридцати уже годам взглядом, с перхотью на поблескивающих плечах их черных костюмов, с тягучей, наполненной междометиями и паузами речью.

18 марта. Детские поликлиники — неисчерпаемый источник наблюдения за современными людьми. Как иные отцы чуть ли не внимательней, чем женщины, возятся с косыночками, кофточками — напряженно прислушиваясь к температуре воздуха, сквознякам, обдумывая, когда что снять, когда что надеть... Каждому, каждому пришлось приобрести профессию бонны. Не спрашивая полной отдачи в своем деле — и даже противодействуя этой отдаче, — всем навязали *одни и те же* профессии. «Каждый должен уметь стать кухаркой...»

19 марта.

А что нам осталось?  
А что нам осталось?  
Одна лишь усталость.  
Усталость, усталость.

А что мы читали?  
Ах, что мы читали!..  
Над чем мы ночами  
С тобой размышляли!

23 марта. В те годы — 30-е — дела решались по ночам. Ночью человеку звонили, что пьеса его разрешена.

В 70-е жизнь прекращалась в 5 часов вечера — до следующего дня. Времени на решения было чрезвычайно мало каждый день. Решать было *некому* — потому пользовались правом *оттяжки*: все переносилось день за днем на следующий день.

30 марта. «Я недавно впервые побывал в Японии» — характерная фраза современного оратора.

Апрель. Ленинград. Ленинградские шептуны. Тихие ядовитые голоса — перешептывания последних, вымирающих, то и дело засыпающих в белом, большом, пустынном (что только не повидавшем!) зале тыняновских слушательниц и учениц — старух с длинными зубами, с помутившимися от старости, от арестов мужей, от смерти учителей и вытравления их учений глазами.



25 апреля. «И шумной черни лай свободный» (сегодня Эйдельман подарил мне эту пушкинскую строку).

26 апреля.

— Ну, добре!

— Лады!

Ненавистные слова.

25 мая. Кто не убивал — тот уже герой (похороны Ф. М. Левина).

Вот она, заветная дверка без таблички, позор моей страны (спецхран).

...Поехал, привез себе арапчонка — и дал ход литературе целого века, и на века вперед. Какая фантастика может с этим состязаться?

27 мая. Вальтер Ульбрихт и Альтер Эго.

28 мая. Человек, который уверен, что все погибли *вовремя* — и Лермонтов вовремя, и Пушкин. Новейшее живодерство.

4 июня. Вспомнила декабрьский рассказ брянского поэта об ихнем комсомольском деятеле, которому в Чехословакии на встрече в райкоме подарили (как каждому члену делегации) «Доктора Живаго», а он приехал в Брянск и со страху сунул его на улице в урну.

2 июля. Все время по радио из соседнего дома несся хриплый бабий хор, вот уже три десятилетия знаменующий советскую жизнь.

7 июля. Сегодня в «Новом мире» — Калерия, бредущая по ступенькам «Известий» в бухгалтерию за деньгами («Еще неизвестно, выписаны ли»), Ася, принесящая Инке отзывы на рукописи, сидящая устало на стуле перед ее столом, Инка — оголенная (жара — 36°), все так же прямо, гордо и молодо восседающая за столом. Видимость жизни. И тут явился Домбровский, косолапая, неся свой круглый странный живот арбузом на сухощавом теле. «Я теперь ни каши, ни хлеба есть не могу — ничего, что я *долго* ел, чем нас кормили *там* ежедневно». Асе, целуя руку: «Никому, наверно, я так не желаю счастья, как вам...» Она: «А я — вам». — «Я сейчас озабочен Сталиным». Ася: «Кем?» — «Сталиным». Ася, хохоча: «Я думала, что ослышалась!»

## 1973

4 апреля. Вечер памяти М. Семенко.

Председательствует Лев Озеров. Вступительное слово Е. Адельгейма.

Выступление Л. Я. Гинзбург. «Искусство есть процесс искания и переживания без осуществления».

Пинский, Вяч. Вс. Иванов, незнакомые.

Вышел розовый хорошо одетый мальчик с пухлыми губами, в больших темных очках и затараторил, плавно поводя руками и с трудом подбирая русские слова. Это был киевский литературовед, но напоминал он американского молоканина. «Ну, это такое стихотворение, у меня руки дрожали, когда я его переписывал».

Потом Озеров стал читать Семенко в подлиннике, и киевляне дружно сморщились, как от лимона.

3 мая. «Думается, что...» — официальное словцо, вошедшее в обиход после того, как «развязана была инициатива масс», исчез «культ»... Теперь не «навязывали» уже решения — лишь указывали: «думается, что так будет лучше...»

5 мая. Из окон вагона грозным напоминанием смотрело со всех сторон «вечно ж...й». («Вэжэ», как сокращает имя Наталья Ильина.)

Но нет, уже не было это имя живым, и даже не чувствовалась, как-то забылась личная его вина.

Побеги отошли от корня, хотя и жили его соками. Не было личной вины ничьей. И хотелось, подобно Аркадию Райкину, сказать этой сотне — не меньше — добрых молодцев:

— Привет, ребята! Я к вам претензий не имею. Вы хорошо устроились. Ибо нельзя было претендовать и апеллировать к безличностям.

...Это были годы, когда женщины получили себе занятие — складочку за складочкой расправлять складные японские зонтики, укладывая их в чехольчики.

13 мая. [Коржавин — мысли об отъезде.]

— Поэзия кончилась. *Процесса* нет ни в поэзии, ни в прозе. Мне один способный писатель говорил — «не могу писать, не чувствуя потенциала» — *не заряжает*.

15 мая. ...И во всех личных архивах — филологов, искусствоведов, историков — были конспекты работ Сталина и следы натужного их осмысления, на которое уходили драгоценные соки мозга.

29 мая. Из неопубликованного дневника Фурманова:

«Спещы — *полезный народ*, но в то же время народ опасный и препотешный. Это какое-то особое племя — совершенно особое, ни на кого не похожее. Это могикане. Больше таких Россия не наживет: их растила нагайка, безделье и паркет».

Его «потешает», что они величают друг друга по имени-отчеству. «Прений, как мы их привыкли понимать: жаркого отстаивания своих взглядов — у спещов, собственно, нет...» (21 авг. 21 г.; ГБЛ, ф. 320, VII. 4).

5 июня, в дневном поезде на Ленинград.

— Я десять лет работал, и я знаю свою экспрессивность. Для меня имеет смысл направленная работа.

Я не йог Йога можно закопать и через неделю выкопать — и он будет живой. А меня закопать, а потом выкопать — хер я буду живой. Это большая разница — йог и я.

Инженеры — что-то в связи с Байкалом.

10 — 11 июня. Шамкающая старуха в ватнике в магазине на Охте:

— Я тут в блокаду жила. Все померли, одна я не сдохла. Ты, я вижу, баба-то богатая, вон в сумке-то картошку молодую ташшишь! — И немолодая женщина вдруг с улыбкой повернулась на забытую деревенскую речь.

13 июня, в дневном поезде Ленинград — Москва.

Ах, сколько-сколько смотришь на тебя, страна рабов (и даже уже не господ, потому что давно уже и эти и те господа — сами рабы), а не насмотришься. И в пасмурность хороша, но уж когда солнце заиграет на стволах сосен...

22 июня. Какая же вера была в незыблемость сегодняшнего момента, этой минуты — вера, заставившая *отлить в металл* — девушку с ружьем, двумя пальцами оттягивающую на груди блузку и демонстрирующую значок ГТО!

Скульптура уравнена была с плакатом, приклепленным на стене и относящимся к кампании этого месяца.

3 июля. Одно из многочисленных замечаний редактора (либерального) на полях рукописи моего обзора архива М. А. Булгакова — там, где описываются

генеральные репетиции «Дней Турбиных» и заседания Главреперткома: «Конечно, историю нужно воспроизводить правдиво, и все это, видимо, правда, но здесь советская действительность предстает в очень невыгодном свете, что и заставляет сомневаться в надобности восстановления всех этих перипетий здесь и других аналогичных».

*13 июля.* Сидя за накрытым столом с бывшими одноклассниками, дипломат Сашка Бородий разъяснял международное положение привычными словами, приноровленными к детскому восприятию:

— Сейчас *они* как-то ближе стали к *нам*, уже стали интересоваться нашей жизнью... Уже не пишут о *нас* плохо... У них, знаете, демонстрации на улицах — *никто их не заставляет*, сами выходят, выносят плакаты...

И возбужденная улыбка идиота не сходила с его уст во время всего рассказа. Это и был нужный человек — не только не способный к оценке, производимой силой разума, но и не представляющий себе, что это такое.

*4 сентября.* За столом, за бумагами, от неожиданно удобной позы, когда свежее веянье из окна достигало лица и не дуло в спину и ноги, охватывал вдруг подъем чувств, возбуждение мысли, и на миг разрывалась пелена будущего — царство духа, свободно парящего разума сверкало там, впереди.

*17 сентября.* Прошел навстречу по бывшей Моховой мимо Пашкова дома высокий старик с бородой, в длинном, до пят, пальто, с непокрытой головой. Боже, как редки теперь такие встречи! Помню еще того, кто громко кричал на эскалаторе про Грядущего хама. Всех, всех извели дотла. А ведь они могли еще часто встречаться на улицах.

*9 октября.* ...Открылась вдруг кладовая исторического опыта — уже, оказывается, накопившегося. Явились вдруг наружу завершившиеся человеческие судьбы, и не две-три, а десятки и сотни, с неопровержимостью засвидетельствовав гибельность всех начинаний. Возникло ясное ощущение прецедента, властно понуждавшее к решительным выводам.

*24 октября.* Дом ученых. Лекция Лотмана «Семиотика культуры».

— ...Организуя мир по своему образу и подобию, механизм культуры все время что-то *активно вычеркивает* («неизвестный Жуковский»).

*Сама для себя* культура не является столь многоязычной, какой представляется описывающему.

...Каждый тип социальной организации предполагает не только систему запрещений, но и возможность резкой смены поведения.

(Люблю эти негромкие хлопки небольшой научной аудитории, одобряющей своего коллегу. ...Современники, идущие одной толпой — от юности, когда они стали различать друг друга, до смерти.)

[За словами и фразами туманно вставали иные их значения, далекие от науки и прямо погружавшие слушателя в социум. Вставал туманный идеал организации общества, очень далекий от того, что их всех окружало. Лектор был жрец или прорицатель. Из слов ткался мираж царства свободы духа.]

*Конец октября.* ...Юра Попов развивал любопытную, как всегда, мысль о современной печатно-издательской жизни: «Сейчас можно иметь дело только с бандитами. Бандит уже завоевал свое бандитское положение, он не боится сделать либеральный жест. А либерал ничего не завоевал и потому всего боится».

*7 ноября* Е. Б. и Алена Пастернаки, в день именин Алены, собрали людей — человек тридцать — слушать Галича. <...> Левизна кипела и плескалась в большой комнате. Все сидели как бы на чемоданах, готовые сняться в любой момент. Думаю, там не было ни одного *остающегося* <...> В перерыве Галич жаловался, что та речь, на которой он строил ранние свои песни, исчезла буд-

то бы из курилок и пивных — и там теперь тоже говорят на стертом газетном языке, который трудно ввести в песню (N потом — как и NN — сильно сомневался в этом: «Это он просто исчерпал ресурсы этой речи»).

Галич ожидает разрешения к январю — хотя и не уверен. «Хочу ехать в Норвегию. Я там был в командировке — и писал. Меня туда зовут, и мне нравится эта страна, народ... Хочу скорее оказаться в номере гостиницы, смотреть на чужую реку, которая ни о чем не напоминает».

10 ноября. ...Ненавижу звук и запах машин, не могу без содроганья вспомнить скрежет и звяк старых трамваев, но люблю, все еще люблю страшный гул пролетающего самолета — иллюзия свободного полета — к морю, к покою, к работе.

12 ноября. Макогоненко будто бы спас Жирмунского, когда во время войны арестовали Нейгауза и других — немцев и тех, кто занимается Германией. Он будто бы дежурил, и у него в списке на столе первым был телефон дежурного по НКВД — для звонков в экстренных случаях. Он позвонил и сказал, что арестован специалист, необходимый для экстренных нужд пропаганды. Сказали, что проверят; позвонили снова и сказали, что выпускают. Тут же его отправили в Ташкент — уже в дистрофии, и Иванов видел его в очереди за одним пирожком, полагавшимся по академическому пайку.

...В столовой научных залов в Ленинке стоя, как лошади в стойлах, жуют «читатели» эту еду, не имеющую ни вкуса, ни запаха пищи, — продукт, старательно превращенный в субпродукт. У людей, которых так кормят, и мозг превращается в субпродукт, и сами они становятся — субпродукт.

13 ноября. По телефону со Шкловским.  
— Во-первых, здравствуйте.

Надо найти большую статью Юрия о пародии. Он не согласился с гонораром. Рукопись потеряна.

[Его память оказалась точной. В июле 1974 года рукопись неизвестной статьи Тынянова была найдена.]

#### Разговоры

— И что интересно — сожрала его их замзав отделом пропаганды обкома. Всё! Уезжает из Ленинграда в Ярославль.

...Мы говорили — зрителей-то миллионы! А она уперлась — и все.

...Я обоснование-то написал хорошее.

...Этот вопрос будет на пленуме поставлен.

21 ноября. Грязный снег у решеток в асфальте, блеклое ноябрьское солнце в мглистом небе — и опять верится в возможность творчества.

Живем как поденщики.

29 ноября. [Об отъездах.]

...Была стена со всех сторон — и был упор, и что-то надо было делать, строить внутри этой стены. А теперь пропал упор — рука проваливается, и все растеклось как кисель, и пропало желание жизнестроительства.

Надо понять, что конвергенции не будет. Все стабильно. Одни будут там, другие здесь, и это до конца дней.

1974

16 января. Коридор Комитета по печати. Двери, двери — под дерево, стены, крашенные серо-зеленой масляной краской. Плохой паркет, линолеумная

дорожка через весь длиннющий — метров семьдесят — коридор. Табличка: «Такой-то, главный редактор главной редакции общественно-политической литературы». Каждый день, входя сюда, он бросает косой взгляд на эту табличку и видит: сбылась мальчишеская мечта, он — из главных главный.

Огромный, седой, полноватый Туркин — человек формации 50-х. Маленький клеркообразный Иванько. Как он старательно устраивал на головенке свою шапочку, идя к выходу, — и посмотрел на себя в дверное стекло.

Ходят выросшие мальчишки-троечники, не вышедшие росточком, навсегда в амбиции и в обиде и на рослых, и на умных.

«Общественно-политический» редактор Молдаван — тоже низкий, коренастый, с промятым внутрь лицом. А раньше пробежал его двойник — такой же, и тоже с одним глазом. Козыряют растопыренной пятерней проходящим коллегам — как в детстве и в уличной шараге.

Белокурые, все больше белокурые, а темные — или молдаване какие-нибудь, или украинцы.

В комнатах — светлые канцелярские с зеленым сукном столы, светлые полочки, асимметрично повешенные, — с черными пластмассовыми котами, с керамическими какими-то вазочками. За что-то висит на стеночке маленький красненький вымпел.

Редакция экономической и юридической литературы...

Главный редактор главной редакции художественной литературы. Редакции, которые ничего не редактируют.

А. Э. тоже уверен, что моему обзору помешал выход однотомника М. Б. «Казалось бы, должно быть наоборот, но вот...»

— Добрый вечер, тетя Настя!

— Добрый вечер, Володя!

— Что, пора домой?

У него широкая улыбка — до ушей, улыбка мальчика, уважающего взрослых.

*11 февраля.* Понедельничный рыжий снег.

*27 февраля.* Сын Розанова Вася погиб от испанки в 1918 г. в Курске.

Вера покончила с собой, вернувшись из монастыря больная туберкулезом, летом 1919, в Сергиеве Посаде.

В 1920 умерла падчерица — А. М. Бутягина. Могила Леонтьева была рядом с В. В. — в Черниговском скиту. Сейчас кладбище уничтожено.

*3 марта.* Молодая пара с болезненными и уставшими лицами, с большими сумками — утром в воскресенье едут куда-то отдыхать.

Он, шепелявя, говорит ей: «Вот все-таки войну во Вьетнаме окончили». Ее глаза, с красноватыми веками, смотрят мимо него, терпеливо и устало. Вытертое пальто (теперь это уже редкость); у него — шарф, под которым видна старая клетчатая рубашка.

*12 апреля.* В Музее Рублева.

В июле — августе каждую неделю поет хор Свешникова для очень богатых туристов в Андрониковом монастыре — 100 человек еле умещаются в маленьком алтаре. Вредно для сводов! А нельзя, чтоб пело 16, — остальным ведь тоже надо получать.

Афишу «Древнерусская живопись в частных собраниях» не позволили повесить в городе.

*29 мая.* Появились слова, ранее не употреблявшиеся в печати: «Эти профессии не всегда вызывают удовлетворение у рабочих».

17 июня. Французский флаг у Музея изящных искусств — широкие полосы, чистые цвета красного, синего, белого. Вдруг до слез показался он трогателен, близок.

Усталые и близкие сердцу лица русских рабов. Они ведь не сознавали своего рабства — и все же их любили, жалели великие.

29 июня. — Эти пакостные русские фамилии — Прокудин, Проскурин! Что за гнусность в звучании! (Эмфатическая реплика N.)

30 июня. Необычайно успокаивающе действовала странная работа, уже четвертый день шедшая за моим окном. В 8 утра раздавался лязг. На школьный стадион въезжал самосвал. Человек восемь мужчин и одна толстая женщина быстро разгружали, разравнивали дымящийся асфальт, и каток с грохотом наезжал на него. Через 15 минут все стихало. Женщина куда-то исчезала. Мужчины усаживались на траву у низенького школьного заборчика играть в карты. До обеда, поглядывая иногда в окно, я видела их шоколадные спины и непокрытые головы. Солнце, видимо, не утомляло их, как меня, а только радовало. Они играли, я писала. В три или четыре часа снова подъезжала машина, и опять двадцать минут кипела работа. В 5 часов все затихало до утра.

11 июля. Казанский вокзал был тот же в структуре своей, что и в 50-е годы. У стены спали на полу на газетке две женщины, поджав босые ноги. У другой сидели в ряд, прислонясь к ней спиной, молодые подозрительно коротко постриженные ребята. На платформах свободно пройти было также нельзя уже задолго — люди выходили сюда с узлами и чемоданами, ожидая поезда. И голосом тех давних лет спрашивал в меру пузатый человек: «Товарищ проводник, это какой вагон?»

20 июля. Около двух часов слышались во дворе пушечные удары. Полуголый человек ходуном ходил возле своего ковра, и при всяком его ударе взлетали клубы пыли. Наконец он свернул его и понес на плече, а впереди него побежала маленькая коротконогая собачка.

Тогда ожил второй человек, два часа просидевший неподвижно на бетонной трубе. На свободной теперь перекладине он развесил свой ковер, много меньший, но повел себя иначе, чем первый: провел по коврику пять-шесть раз не то щеткой, не то палкой, вернулся на свою трубу и вновь застыл на солнце, не снимая своей плотной, с длинными рукавами куртки. Нет, нельзя было постигнуть ни того, ни другого.

28 — 29 ноября. Кисловодск.

— Так сказать, предали земле и все такое прочее.

Новое кладбище — в котловине. Вокруг горы-холмы, над ними яркое небо. Чистый, сладкий воздух.

Но как он в последние годы ходил вниз-вверх по этому городу?

Эти хлопоты о теле, о дыхании...

...Черноглазые, горбоносые, темноволосые в аэропорту Минвод, с диковатым и ошалелым взглядом горячих глаз. Странные побеги недоубитых, полуживых этносов...

Сетки, сетки, сетки. Единственная в мире страна, где раздутые авоськи составляют главную часть багажа, где весь скарб — обнажен.

В сетке-авоське тринадцатилетнего парня (который давно бы уже в прежние времена скакал на коне) — «Зоолокија».

О, этот темный мир горкомовских работников! Их широкоскулые мужчины, их грудастые женщины! Их шуточки:

- Помнишь, как мы с тобой с курсов сбежали?
- Да он, наверно, там пьянствовал в гостинице!
- Нет — я, наоборот, все ждала — когда угостит!
- А я все хотел выпить, да боялся: приеду, а она на горкоме *вопрос поставит!*

«Вопрос» — домашняя семантика. Всеобщий сыто-одобрительный смех, всеобщее понимание. Они — дома, за поминальным столом. Наскоро выпив за упокой, они пьют во здравие друг друга.

3 декабря. Кремль, Ивановская площадь.

- Ты что, хулиганить сюда пришел?
- Нет.
- Тогда слезай с пушки!

- Кто им это разрешил?
- Я разрешил.
- Ну и что тут хорошего?
- А что тут плохого?

4 декабря.

- ...Так все же — вам «воздух» нужен или *работа*?

— Работа. Воздух — нет, я к этому равнодушен, в общем. И печатанье — не важно. Я *не мог работать*, у меня не было времени. С утра на службе в библиотеке. Я не могу и не хочу работать, как вы, по ночам, в свободное от службы время. Хочу работать. Я с детства был совершенно уверен, что буду путешествовать, для меня не существовало границ. Так и сейчас я твердо верю, что буду приезжать в Москву, и хотел бы застать здесь знакомые дома. В Риге-то я знаю, что все изменится.

5 декабря. «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» (Бенкендорф — Пушкину).

8 декабря. Отдел рукописей Библиотеки Ленина.

Информация парторга отдела Л. В. Т. о своей поездке в Америку:

— Уезжала я со слезами... нас пугали и штатские, и те, кому положено пугать. ...Я очень довольна, что увидела не только богатые виллы, но одноэтажную Америку, бедные запыленные домики. (Чем, собственно, довольна?)

Нью-Йорк — сверху зрелище величественное, но вместе с тем шемящее. Нет скверов. Там нет места ни романтике, ни человеческим чувствам.

17 декабря. «Бессмысленный гумор, который ни в чем не знает различия, мешаает делу с безделием, ум с глупостью, грех со спасением» (Н. Надеждин).

20 декабря. Дом Кино на Васильевской.

По фойе двигались двойники уехавших. Прошел высокий Пятигорский, изрядно пополневший, в углу стоял и, широко улыбаясь, разговаривал с кем-то Эткинд с хорошо заросшей лысиной.

25 декабря. Свадьба в лабиринте «Арбата».

Невеста в фате, громко зовущая кого-то через весь стол.

Пьяный Ваня рассказывает про пятнадцатилетнего Кленова, 15 лет отрубившего (после Бреста) в урановых рудниках Чукотки. «Сталин был сильный, авторитетный — а за *его спиной* делали».

Все бегут; все рассказывают на бегу, как ничего не успевают. Там, видимо, иначе — даже позорно объявлять другим, что живешь в загоне: значит, не умеешь жить. Там хвалятся благополучием, у нас — *неблагополучием*.

27 декабря. Из разговора:

— Важно, какая константа в основе. Я не уверен, что *она* [подразумевалась советская власть] была не нужна.

— А я — что *она* была нужна.

## 1975

Январь.

Эти песни о том, как «тесен нам шар земной»...

Рассказ Антонины Петровны Оксман.

В 1935 году в Сестрорецке жили на одной даче, за рекой, Каверин и Оксман, напротив недалеко Тынянов. Тынянов приходил и читал им Зоценко.

В конце 1935 — начале 1936-го арестовали Жирмунского. Татьяна Николаевна Жирмунская рассказывала: следователь сказал, что дело его серьезно — грозит расстрел (немецкие диалекты!). Приехала в Москву. Крупская — подруга ее матери, поселилась у нее. Крупская передала Поскребышеву письмо. Сталин вызвал Вышинского и спросил. Вышинский прямо сказал, что он большой ученый. Выпустили.

Во главе ленинградского ГПУ (добавила А. П.) «стоял действительно шпион — и он был потом по справедливости расстрелян»...

## 1976

...В те уже удалявшиеся годы почему-то было в большом ходу от Никиты, кажется, пошедшее выражение — «молочно-восковой спелости». Чем-то оно нравилось всем, что-то в нем видели эротическое.

Вот такими словами определили бы мы, наверно, в те годы рыжую, белокожую девицу, стоявшую в метро, вернее, почти не стоявшую, а все время бессильно валившуюся от хохота к своей блеклой подруге.

Плотный человек в черной шапке, с черной щеткой усов, почему-то с пачкой книг под мышкой неотрывно смотрел на рыжую и хохочущую. Чувственное волнение кавказца едва заметной тенью бежало по его лицу.

7 сентября. Молодые люди в блузах цвета хаки, на которых пряничной вязью выведено «Ярославль».

27 октября. Невозможно уже, кажется, видеть этих узбечек на снимках с сессии Верховного Совета. А ведь придется видеть всю жизнь.

## 1977

...Шла программа «Время», человек с лживым и подвижным лицом комментировал американские оценки усиления нашей гражданской обороны, а соседка толстуха Алла комментировала излагаемое им:

— Ну надо же, а американцы — раздули, а? Раздули черт-те чего!

Господи, что можно было вместить в эти полчаса! Сколько событий — катастроф и веселых вещей — произошло за день в мире, а вся страна сидела и тупо глядела на эти жмыхи, отжатые сильной рукой.

3 марта. ...Околорелигиозные рассуждения хлопотливо стремились *протацить* те прогрессивные редакторы, которые вряд ли раздумывали — ну разве что пять — десять минут подряд! — над существованием Божьим. Это была



просто одна из запретных тем, продвинуть которую в печать — да нет, не продвинуть, но хоть удержаться на краю антирелигиозной пропаганды, не рухнуть в эту зловонную яму — было сверхзадачей наравне с несколькими другими.

Что же сделали с нами? Прежние люди — пушкинского времени, да и позднейшего — успевали до сорока лет замучиться и надломиться под бременем мыслей о Промысле. Наше время уходит на мысли о Промысле — главе Моссовета, на быт, на невольное политиканство. К сорока годам мы едва подступаем к основным размышлениям.

*9 марта.* Просмотр «Мастера и Маргариты» на Таганке.

...*Ф. Кузнецов.* Если вдуматься в ситуацию, то нельзя не отдать должное движению времени. Мы доросли в нашем общественном развитии до такого момента, когда вечные проблемы... Это обстоятельство делает спектакль возможным и необходимым. Но нет философского звучания... Убрать случайные аллюзии — я бы их пометил галочками. Эти дразнилки будут мешать...

*Н. Эйдельман.* Я позволю себе не согласиться. Как это нет философского звучания? Есть!..

*Апрель.* Когда собрали сборник «Строка, оборванная пулей», составителю А. Когану редакция предъявила упрек: «Слишком много евреев — 50 с лишком из 83-х». А ведь если *живых* можно выкинуть, то *этих* уже нельзя вынуть из русской земли!

*17 мая. Сообщение Г. И. Довгалло в Отделе рукописей об архиве Петра Ивановича Севастьянова.*

...Родился в 1811 г., пятый сын купца 1-й гильдии, откупщика, одного из самых богатых людей в России. 11 детей; очень много занимались их воспитанием...

(Воспитание в семьях — всегда многодетных — было важным видом деятельности, важной сферой жизни: целью этой деятельности было непрерывное пополнение общества достойными людьми *этого* рода.)

Когда сократилось число детей, а сами они были отданы на воспитание государству — детсады и школы, — люди сосредоточились на *себе*, на своих личных взаимоотношениях с государством. Работа о детях и их будущем обьявлялась лишь в момент окончания школы.)

...С 1859-го до смерти в 1867-м служил в Министерстве просвещения и, путешествуя, собирал христианские древности.

...Один брат писал другому: «Верни мне мои 8 тысяч, я открою фотографию и стану известным человеком».

(Слова, действия героев из *сказки*. Все выведено из употребления. А ведь как мало времени прошло.)

«В Афоне химикалии быстро портились, а ехать за ними надо было в Константинополь или Париж». Тусклый смех слушателей. И это тоже — из сказки, из мифа: в древние времена люди ездили через море, из страны в страну.

А вот и что-то родное послышалось: «Хотели устроить экспедиции на Афон, но ни у духовного ведомства, ни у Министерства просвещения не было на это денег».

Когда собрали все-таки экспедицию, члены Археографического общества писали ему наказы! Гильфердинг, еще кто-то.

Наказы! Люди, которым приходило на ум писать их, не были, видно, заняты отчетами и докладными.

Живых и деятельных и тогда было не много — но сегодняшние не имеют каналов для личного *самовыявления*.

*В тот же день. Впечатления А. П. К-вой* [молодой советской бюрократки, сменившей в 1976 году С. В. Ж-скую на посту зав. Отделом рукописей ГБЛ и умело разрушившей его] *от поездки в Ленинград (в Рукописный отдел Пушкинского дома и Отдел рукописей Публичной библиотеки).*

— ...Удалось переговорить как с руководством, так и с большей частью коллектива. Для меня все это было новым (pourquoi? Ты филолог, ай нет?)... Очень детально, очень подробно ответили на все многочисленные вопросы... Прекрасные высокие комнаты выделены для хранения...

ГПБ — коллектив, в котором сложились свои *добрые традиции*...

...Выяснилось, что их *волнуют и тревожат* те же самые *заботы*, что и нас...

(Наташа Зейфман: «В ее произношении „Курбатова — Муратова” звучат как имена булгаковских персонажей!»)

...Я услышала, что они стремятся проводить гибкую политику.

...Комплектование требует строгости отбора и в то же время учета всех факторов. ...Что я хочу сказать? Такой обмен впечатлениями, такое знакомство с деятельностью других учреждений — оно очень полезно.

Речь ее шла мерно, с небольшими покачиваниями голоса. Она возвышала интонацию на словах, казавшихся ей возвышенными или эмоциональными, — хотя они целиком были стерты всеобщим — и ее собственным — употреблением: «Их *волнуют и тревожат*...»

19 мая. Звонила Алла Л. Кривицкий снимает из рецензии Антокольского на том Тынянова в «Литературке» упоминания и Лунца, и Серапионов (Кузмина Антокольский, оказывается, давно снял сам). Позвонила я Каверину. Ему, говорит, неудобно емешиваться — будто он устраивает рецензию на собственный том. Звоню снова Алле — решаем пытаться отстоять Лунца, Алла бежит к Кривицкому — и вроде бы удаётся.

4 июня. В дневном поезде Москва — Ленинград.

— Одного полковника перед отъездом заставили вернуть боевые ордена. Жаль, что он не попросил в обмен вернуть ему его кровь: «У меня, знаете ли, как раз сохранились точные справки из госпиталей о потере крови на поле боя...»

Хроника Дзиги Бертова. Смотрела — и только одно вертелось на уме — слова Чуковского: «Революция не стала разбирать, кто из них символист, а кто — акмеист...» И еще: «Хорошо, что я живу не *тогда!*»

На днях письмо Эмки к Зиминной. Опять ругает Якобсона и Кóму. Начал изучать язык.

Ася Берзер о вечере памяти Гудзия и выступлениях Л. и П.: «Один мой знакомый сказал, что, слушая их, можно подумать, что Гудзий был предводителем шайки бандитов».

7 июня. Дневной поезд Ленинград — Москва.

Духота. Работать трудно.

— Товарищи пассажиры! Курить в вагоне запрещается! Выходите в нерабочий тамбур, там — *ведро!*

И на ведре-то он сделал главный подъем голоса. Ведро-то и было средоточием обслуги в экспрессе «Ленинград — Москва».

...И никогда, никогда той «мальчишеской свежести, ребячливости», которую замечает Гессе у американцев.

9 мая. Разговоры.

— Он читал у нас лекции — по взаимоотношениям между государствами. Их там каждый месяц информируют. Он меня предупреждал: «У меня трехмесячной давности!» Я говорю: «Ничего! Чего там особенного произошло?..»

Нашим женщинам так понравилось, говорят — вот бы нам заказать эту лекцию! Я говорю — попробуйте через секретаря парткома.

...У меня сегодня итоговое занятие — и все!  
Сам крепко сбитый, в меру подстриженный, с галстуком. Имя им легион.

## 1982

2 октября. На берегу Волги в Дубне старик с палкой — седые клоки из-под помятой шляпы, старая, но чистая рубашка с надписями «Спорт», «Спорт»; в очень старом, но тоже чистом пальто — что-то среднее между старым мастеровым и «полуинтеллигентом».

— Похоронил я свою жену, свою голубушку, Соню!.. 57 лет прожили! Сколько она, голубушка, со мной вместе земли истоптала!.. Как же мне ее жалко! — (Плачет.)

Я спросила его про холмики вдоль полотна на пути в Дубну. Он работал на канале.

Рассказ Алексея Федоровича Черепанина,

1898 года, уроженца деревни Цыганово, Савеловского уезда, недалеко от Кимр

— Да, каналцев тогда тут много было... Ох и мерли же они здесь! Я обходчиком был, иду по своему пути и считаю палкой: раз, два, три — шесть могилоч насчитал. Идет наш лесник: «Ты что, — говорит, — считаешь?» — «Да вот, — говорю, — с прошлого раза-то — шесть могилоч!» (— А часто ли вы обходили? — Да раз в 2 — 3 недели.) А он говорит: «Тебе бы на „28-й трактор” к нам — так там бы ты их и двести насчитал!» А это у них там участки так назывались, там лес пилили те же каналцы.

...Где умер — там его и зарывали. Высокие холмики были — вот так с метр. Но все равно сравнивались потом — никто же больше их не касался, не убирал... А дорога-то наша шла совсем близко от канала — вот так, — (показывает метров 15 — 20). — Тут их могилки и были.

Да я еще когда только приехал, у нас склад был инвентаря, я вышел из него — смотрю, вокруг склада прямо холмики. «Что это?» — «Что? Могилы — вот что».

— А вот когда едешь к вам на поезде — между станциями вдоль полотна холмики?..

— Да-да, правильно — это все они и строили — «Запрудь», «Соревнование» и «Темпы». А больше тут вокруг и нет ничего — это все их руками.

(...И все это — на фоне прекрасной, холодной, продуваемой ветром с Волги золотой осени. На эту картину, так сказать, так солнце светило.)

## 1983

10 ноября. Дубна (после моей лекции у физиков)

Дубнинские истории

Когда еще перед войной на левом берегу Волги (напротив Дубны) стали строить авиазавод, — его спроектировали непосредственно на месте кладбища зеков (на самом деле не *кладбище*, наверно, а просто — место *захоронения*). И рабочие будто бы отказались рыть фундамент по костям. И тогда пригнали на эту работу тех же зеков.

Берия присутствовал на испытании первой нашей бомбы. Когда она благополучно взорвалась, он повернулся к стоящему рядом Курчатову...

Я: — И сказал: «Что мои лагеря!..»

Физики добродушно посмеялись. Рассказчик, ученик Д. Д. Блохинцева, продолжал:

— Нет, он сказал, что, мол, молодцы, пообещал Героя. А потом, уже после XX съезда, Хрущев сказал Курчатову, что видел уже заготовленные перед

испытаниями документы — на случай неудачи, — где были уже обозначены срока посадки для каждого...

Когда заработала первая атомная электростанция, рассказывают непосредственно со слов Блохинцева, тут же на испытаниях спросили: кому давать Героя? Замешкались; не сразу сообразишь — кому. Тогда спросили:

— Ну, в случае неудачи — кого бы расстреляли?

— А-а! Так ясно кого — вот этого, этого и того.

Тогда дело сразу пошло споро: по длине срока, который получил бы тот или иной участник работы (срок, видимо, выводился быстро, дружно и однозначно), быстро «разбросали» ордена...

Когда в 1954, кажется, году организовался в Дубне Международный институт, пришли к начальнику в некой инстанции и сказали:

— Нужно нам получить юридическое обоснование правового статуса такого института.

А тот ответил:

— Да не надо никакого статуса! Все равно вас через два-три года всех пересажаяют — какой тут статус!

И, махнув рукой, не стал этим заниматься. Так до сих пор институт работает без всякого статуса.

Когда недавно приехал к ним выступать Натан Эйдельман и поинтересовался у устроителя, насколько свободно он все-таки может публично говорить, тот ответил гордо:

— Говорите вполне свободно — здесь у всех *очень* хорошая зарплата!

*(Редакция планирует продолжить публикацию записей М. Чудаковой в одном из номеров текущего года.)*



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

КИРИЛЛ ГРАДУСОВ

\*

## ЗАВОЛЖЬЕ

*Записки посадского жителя*

**Ч**еловек, как известно, должен исполнить за свою жизнь четыре дела: построить дом, посадить дерево, воспитать сына. А еще — написать книгу. Книга суть нравственный отчет — необходимое условие, при котором от отца к сыну, от деда к внукам передается сознание фамильной чести и обязанность хранить эту честь незапятнанной. А мне еще хочется воссоздать отдельные эпизоды, картины, сцены семейного, заволжского быта, малой моей родины.

Только берегись, сказано в Библии, и тщательней храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. И еще: про отцов помнить от века завещано.

Где родился, там и пригодился. Я не только «гожусь», но и горжусь *Рыбной*, как любовно называли в старину Рыбинск — обычную российскую глубинку с необычной исторической судьбой «бурлацкой столицы».

Есть за Волгой перекресток улиц Индустриальной и Старо-Ершовской, а на нем домишко-присядыш под драночной крышей — гнездо мое родное. Там в детстве я чуть не потерял маму.

Сорок третий год, март, разгар войны, похоронки с фронта. И еще беда — с «Контролером»: парходик такой ходит через Волгу, узкий, кувырчатый, с крышей позади рубки. И в тихую-то погоду — стóбит народу побольше наместь — переваливается, как утка, с боку на бок. Время военное, дисциплина сталинская. Люди боятся опоздать: первое опоздание — 6 по 25, то есть полгода высчитывают из заработка по 25 процентов. Второе — судят от года до двух. За прогул — с ходу паяют пятеру: пять лет заключения. А в то утро, серое, холодное, ветреное, мама нервничает. Ей к восьми. Запаздывает, уходит. Примерно через час возвращается. Бледная, с трясущимися губами. Не раздеваясь, садится в кухоньке на табурет, прислоняется к печке. Закрывает глаза, причитает: «Господи, Господи», молчит. Наконец, отдышавшись, рассказывает:

«„Контролер“ ведь перевернулся! На моих глазах. А я-то, дура, расстраиваюсь на пристани: вот не успела, перед самым носом шлагбаум закрыли. Опять неприятность будет на службе. И вдруг на моих глазах.

...На парходе черно от народа, а люди бегут и бегут по мосткам, скользят, матерятся, просят: „Подожди!“, перелезают через перила, втискиваются. Чальщик кричит капитану: „Давай, Сережа, отваливай!“ Сережа, видно, с похмелья, замешкался. Свисток. Только дал задний ход, а тут сильный порыв ветра под крышу. Гляжу, „Контролер“ медленно так зарывается носом в воду. Паника. Давка. Из трюма напирают, верхние не пускают. Прыгают за борт, цепляются друг за друга. Крик, визг. А ветер пронизывающий».

Я с мальчишками бегу к перевозу. От «Контролера» только одна труба над водою рядом у пристани. На берегу милиция, нас шугают.

Утопленников вытаскивали целую неделю. Кладут вдоль берега — от перевоза до магазина, все взрослые. И среди них девочка лет шести, красные варежки на веревочке из рукавов. По берегу ходят родственники, своих ищут. Найдя, бросаются на трупы, целуют, обнимают, крестят, кричат-плачут. Над Заволжьем стон.

Тише, ветры, не шумите,  
 Наших дочек не будите.  
 Под тяжелым крестом  
 Спят крепким сном  
 Нина Коровина,  
 Нина Попова,  
 Маруся Сухова.  
 Погибли в волнах.

11 марта 1943 года.

Бесхитростные строки на одном из памятников Кипячевского кладбища за Волгой посейчас напоминают о жуткой драме в то промозглое военное утро, а среди заволжан еще долго гуляла песня на мотив «Раскинулось море широко»:

Когда водолазы в каюты спустились,  
 То новость они принесли,  
 Что люди в них в жуткую кучу столпились,  
 Друг к другу они приросли.  
 Крики и вопли повисли над Волгой —  
 Ведь каждый спешил по делам.  
 Не чуяли люди, что жить уж недолго,  
 Что смерть поджидает их там.

...Старо-Ершовская. Здесь когда-то была деревня Старый Ерш. А имя свое она получила от ручья Ерш, ныне почти пересохшего. Самый что ни на есть центр дачной местности: песчаные почвы. Целебный воздух. И названия соответствующие: Заречная улица, Песочный переулок, Сосновый переулок.

На взгорке Соснового переулка — наискосок от двухэтажного особняка купцов Калошиных — у отца была дача. Сохранилась купчая на нее: «Продажа личным почетным гражданином Леонтием Лукичом Попёновым дантисту Павлу Михайловичу Битюцкому двух участков земли при деревне Ерш по плану, составленному землемером Архаровым 20 апреля 1904 года, № 37,58, 674,5 квадратных сажени за 100 рублей».

После 1917 года дачу реквизировали.

Вверх по Волге — село Петровское, вниз — село Александровское, а между ними — напротив Спасо-Преображенского собора — Старый Ерш. Исходное Заволжье.

Уж так на Руси ведется: переезжающие в город должны в драках заявить о себе, «заработать» авторитет. В каждой местности по-своему. Москва, значит, бьет с носка. А у нас в Рыбне — поддых. Схлестнутся, бывало, ершовские с городскими. В Крещение — на льду, в Троицу — на лодках посередь Волги. Но завсегда по правилам: тяжелого в руку не брать, до смерти не бить. Не то что нынче.

Вот и мологжане — переселенцы с затопленной Мологи — шебутные ребята: тоже кулачатся, утверждают себя на улицах, перевозе, танцах в Петровском парке. «Разгулялася Молога, и в кармане молоток». Но верх держат ершовские — в родном доме, наверно, стены помогают.

...Уличные песни. Сколько слышим их от больших и, подражая, распеваем. При всей нецензурщине, уголовно-тюремной «романтике» им не откажешь в известной образности, пусть и грубо-вульгарной: «Вот мчится пара по рубахе, по грязной, ситцевой, худой. Блоха тихонько напевала, а вошь качала го-

ловой». В моей мальчишеской голове какая-то чудная мешанина из полублатных слов, выражений, куплетов и языка сказок, художественной литературы.

Родимая Старо-Ершовская! Сколько воды утекло, но живешь ты в душе моей. Отчетливо вижу тебя: деревянную, с разноцветными резными наличниками, нестройными рядками крыш и дворов, с гладиолусами и астрами в палисадах. Не забыть наши нехитрые забавы: весной — ловлю майских жуков, игру на припеке в «стукана» и «пристанок», лапту-вышибаловку; летом — первые дождевые желтопенистые лужи, по которым мы, закатав штанины, а кто и в трусах, сляндаем, сверкая пятками. Слышу коровье мычанье, звон подошников, разудалые гармонные переливы в шумные праздники. Помню хулиганистых ребят, бойких и горделивых девчат, языкастых востроглазых старух, щедрых на подзатыльники внукам-неслухам.

Улица — школа. Просто так, незаметно, украдкой по ней не пройдешь. Все равно люди увидят тебя, окинут взглядом с ног до головы и сразу определят: хорошо идешь или что-то непутевое у тебя за душой. По глазам узнает улица, какой у тебя настрой. Ты перед ней, как перед родной матерью, — весь на виду. Если честен, улица порадует за тебя. Если подрастерял честь и совесть — строго осудит, окатит недоверием, а то и совсем отвернется — не в радость жизнь станет.

...Я родился в семье врачей. Их судьбы — капелька в народном океане слез, горя и мытарств, отражающая исковерканные, изничтоженные жизни миллионов провинциальных интеллигентов ленинско-сталинским молохом коммунистического эксперимента.

Отец, Павел Михайлович Битюцкий, был дантистом — зубным врачом, очень известным в Рыбинске. Старше мамы на двадцать лет, он, сорокалетний специалист, воспринял Октябрьский переворот с устоявшимися монархическими взглядами, хотя и не без кадетства. С 1915 года действительный член Рыбинского научного общества, где активно работает под началом А. А. Золотарева; возглавляя Евгеническую комиссию, выступает с разнообразными докладами: «Чашотка легких в связи с запушенностью полости рта» (1920), «О семейных вечерах — Рыбинском рукописном журнале 60-х гг.» (1922), «О рыбинских силачах» (1928), резюмирует статью Лурье «Рак как социально-биологическая проблема» (1928).

Практическая деятельность Евгенической комиссии сосредоточивалась тогда главным образом на собирании сведений о местных долгожителях и фотографиях. Были завязаны сношения с Международной федерацией евгенических организаций по вопросу о скрещивающихся расах; предприняты некоторые шаги к изучению наследственных раковых заболеваний.

Мой дед, Михаил Алексеевич, незаконнорожденный сын графа Битюцкого, воспитывался в приюте. Окончил фельдшерскую школу и был единственным медиком на всю *Пошехонию*.

Отец родился в 1876 году. Был дважды женат. От первого брака, с Агнией Митрофановной, урожденной Солонцевой, родились: Михаил (погиб в Великую Отечественную войну), Татьяна (1904), Владислав (1908), София (1909, умерла в младенчестве), Евгений (1913). Фамилия Солонцевых в Рыбинске известная: отцов тесть, Митрофан Солонцев, служил дьяконом в Спасо-Преображенском соборе. В 1879 году издал книгу «Рыбинские соборные храмы и святыни их». Брак был недолгим. В 1913 году Агния Митрофановна умирает. После двадцатилетнего вдовства отец женится вторично — на маме. Она работает в Рыбинске невропатологом. Родителей в городе знают многие. Поэтому они решают ехать на пароходе венчаться в Нижний Новгород: береженого Бог бережет — тяжелый антицерковный маховик набирает в Эссэсэсэрии обороты.

Жизнь в семье — это для отца праздник, один из счастливых и кратких межссылных периодов.

В Рыбинске он начал практиковать еще до 1917 года. В городе около десятка первоклассных дантистов. Каждый держит свою марку, работает на со-

весть. Иначе нельзя — конкуренция. Вот «объявления» отца в «Рыбинской газете» 1913 года: «Зубоврачебный кабинет П. М. Битюцкого, Крестовая, дом Е. Е. Эльтековой. Лечение. Пломбирование, удаление зубов и вставление искусственных. Прием: с 10 ч. утра до 2 часов и с 3 — 6 дня. По праздникам с 10 ч. до 2 ч.».

Прирожденный балагур и юморист, он вешает на стену приемной шутиливое изречение «Береги челюсть смолоду»; первым в городе открывает бесплатный зубоврачебный кабинет. Работает только специально заказанным в Германии инструментом. У меня до сих пор перед глазами педальная бормашина и зеленый кованный сундучок, а там круглые зеркальца на длинной ручке, крючки, блестящие тяжелые щипцы с шершавой насечкой на ручках, «козьи ножки», шприцы, ампулы, толстые брусочки из зеркального стекла. Отец любил свое дело, работал виртуозно, азартно, умел «заговорить зубы»: не успеет пациент опомниться, а зуб уже вытаснен.

Отец... Я смутно помню его, больше — по фотографиям да рассказам мамы и знакомых. А их у отца было великое множество. Все сходились в одном: Павел Михайлович — великий труженик, образцовый семьянин, правдолюб.

Помню пышные усы, сильные руки. Помню, как сажал к себе на колени, потряхивая и приговаривая: «Поехали с орехами! По гладенькой дорожке, по гладенькой дорожке, по камешкам, по камешкам, по кочкам, по кочкам в ямку — бух!» Я визжу, папа смеется, мама просит нас уняться. Помню: «милый мальчик» — ко мне, «моя голубка» — к маме. Помню любимую его песню: «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет, ты постой, постой, красавица моя, дозвожь наглядеться, радость, на тебя». Под красавицей и радостью я, слушая, разумел маму, а наглядеться на нее отцу и впрямь было некогда: его все время не было дома.

Это уж потом, когда я подросток, мама под большим секретом поведала мне, что отец «враг народа». «Только заклиная тебя, ради Бога, никому ни слова». На мой вопрос: «А что он сделал?» — мама отвечает: «В том-то и дело, что ничего. За язык свой болтливый и прямодушие. Сколько просила придержать его. Нет! Как только едем на перевозе, возмущается, собирает вокруг. Я с ним и ездить-то уж перестала — боюсь!» — «И в последний раз за язык?» — «Опять за него». — «А как?» — не унимаюсь я. «Ташил зуб в поликлинике. Щипцы сорвались и обломились. Вгорячах швырк их на пол: а, черт, советский инструмент! А пациент-то оказался сексотом».

Соседка-учительница Кошелева несет про отца всякое. Мне хочется выкрикнуть: «Лгунья! Я знаю про отца правду». Но молчу, помню наказ мамы.

Ратоборец за справедливость, отец все время томится в ссылках: сначала на Севере, потом в Сибири. А в мае 1940 года его, шестидесятичетырехлетнего, осуждают на 10 лет. Статья все та же — 58/10-11, антисоветская агитация. Власти «гуманны»: определяют неподалеку, в Переборы — *Волголаг*.

Мама вспоминала: «Приехали ночью. Трое. Молодые. В серых габардиновых костюмах. „Гражданин Битюцкий, в доме золото, оружие есть?“ — „Золота нет, а оружие вон там висит, забирайте“, — и показывает на мою игрушечную саблю и ружье. „Вы нас не морочьте! За такие штучки!..“»

А по Заволжью арестовывают все новых и новых «врагов». Люди молчат и шушукуются, шушукуются и молчат.

В конце нашей Индустриальной улицы детский дом имени 1-го Мая. Зимой 1938 года сюда привозят спецгруппу из тринадцати детей — их родители «враги народа». Среди ребят будущий детский писатель Иосиф Дик. Через много-много лет на встрече детдомовцев он прочитает леденящие сердце строки об этих жутких годах:

Нас сплотило несчастье.  
Много лет пронеслось.  
Но нам время не застит  
То, что в детстве стряслось:



Обыск, ночью аресты —  
 Дважды в каждой семье.  
 Где отец — неизвестно,  
 Мать — в Бутырской тюрьме.  
 Детприемник, охрана.  
 Фото в профиль и в фас.  
 Оттиск пальцев... Ну прямо  
 Как преступников нас,  
 Еще тепленьких, взяли,  
 Под конвоем везли.  
 В город Рыбинск сослали,  
 А и дальше б могли...

Весточки отца из неволи. (Письма — по А. И. Герцену — больше чем воспоминания: на них запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.) Вот каким предстает в них отец.

*Маме из КПЗ (камеры предварительного заключения) — за месяц до моего рождения.*

«14.8.35.

...Заботься о себе, мне здесь очень хорошо. Последнее твое посещение произвело на меня чарующее впечатление. Ты была весело настроена, и не было заметно грусти, я ожил и безусловно верю в нормальные роды.

Моя жизнь течет уже не так монотонно, как вы все думаете, здесь свои интересы, радости и печали, радость одного — радость всех, печаль одного — печаль всех. Итак, жизнь течет более или менее разнообразно и интересно и со своими новостями».

*Дочери и внучке (за неделю до смерти).*

«3.3.43.

Дорогие мои Татуся и Ритуся!

Обо мне не заботьтесь, у меня все в прошлом. Изредка с кем-нибудь чего-нибудь пришлете, и спасибо! Я, оказывается, очень вынослив и крепок, мои товарищи давно уже у праотцев, но слабею, все время идет Великий пост, с режимом. Нужно жить и жить, но жить честно, свято, без угрызений совести и не причинять никому вреда и неприятностей.

Ритуся! У меня к тебе большая просьба. Читай больше, но с толком. Сделай тетрадь с большими полями, когда будешь что читать, сверху напиши автора, название книги и более замечательные фразы выписывай с указанием страницы. Со временем составятся прекрасные записи, которые тебе в жизни весьма пригодятся, а на полях — свой взгляд, мнение и прочее. Я приеду, прочитаем их, разберемся.

Письма идут долго, но не пропадают.

Пиши! Будьте здоровы! Любящий вас

ваш Папа и Дед».

*Из письма заключенного С. Колпикова папиной дочери от первого брака Татьяне.*

«15.3.43.

Я в течение почти двух лет находился и жил вместе с Вашим отцом, а в последнее время даже в одной комнате. Мы с ним многое делили, в том числе и наше горе, и редкую, правда, но иногда встречающуюся и в нашем положении радость. Были откровенны во многом, взаимно доверяли получаемую корреспонденцию от близких, он зачастую помогал мне своими житейскими советами и т. п.

В последнее время, примерно с января, на почве, во-первых, плохого питания (которое резко ухудшилось у нас в указанный период), а во-вторых, на почве несбывшихся его надежд на возможное возвращение его к семье, а в-третьих, и возраст сказал свое веское слово, у него сильно пошатнулось здоровье, он

стал быстро утомляться, сильно похудел, ослаб и 10 марта в 13 час. 45 мин., к глубокому сожалению, внезапно скончался от разрыва сердца.

Утром еще был сравнительно бодрым, пошел на работу, а у меня был день отдыха, и, уходя, он велел прийти к нему в кабинет посидеть около часа дня, но в двенадцать сам возвратился с работы, прилег в постель, на ничего не жаловался, только ему было душно, и выступил пот. Полежав минут 20 — 30, он попросил проводить его на улицу, ибо сам, один, идти не решался, говоря, что ощущает сильное головокружение.

Я вместе с одним еще знакомым-рыбинцем Пугачевым П. В. пошли проводить его. Но там его стошнило, после чего он сразу затих как-то. Пугачев побежал за доктором. Прибывший немедленно врач Лях М. И. установил факт смерти.

...Мне до боли жалко, что Павлу Михайловичу пришлось умереть вдали от близких, в такой тяжелой обстановке. Он так любил свою семью, так тяжело морально переживал то, что в наше трудное время он лишен возможности чем-либо материально помочь своей семье.

*Рыбинск 7, п/я 229/19».*

...Мне семь лет. Хорошо помню похороны. Владя (Владислав Павлович Битюцкий) оформляет бумаги. Тело выдают. За могилу заламывают литр водки и две буханки хлеба — целое состояние по тем военным временам. Мама мечется по всем знакомым, празднами-неправдами наскребает требуемое. Отпевают в церкви у Егория. На лбу отца плотная бумажка. Надо целовать в нее. День солнечный, а в церкви сумрачно и прохладно. Священник позванивает кадиллом, ходит с пением вокруг гроба, пахнет ладаном. Погребают отца на Ново-Георгиевском кладбище за рекой Коровкой.

А. А. Золотарев, друг отца по научному обществу и архангельской ссылке, утирает платком нос, сутулится. У него рыжие моржовые усы, копна вьющихся волос, зачесанных назад, очки с толстыми стеклами. Держит прощальное слово:

«...Ведь когда умирают хорошие люди, вместе с горем в сердце вмещается и радость. Эта радость в том, что он сложил свои кости на нашей рыбинской земле, и у нас всех, кто любил его живым, осталась его могилка, куда мы будем ходить посидеть и подумать над величием, красотой и глубиной Божьего мира.

...Спи же спокойно, милый мой Павел Михайлович, до общего Воскресения, в которое ты бесхитростно верил. Вечная тебе память!»

Через десятилетия мне попадают в руки обвинительные материалы по делу А. А. Золотарева, П. М. Битюцкого и других членов Рыбинского научного общества, разогнанного в самом конце 20-х годов<sup>1</sup>. Вот как высвечивают они «преступления» отца, до конца дней своих оставшегося несломленным россиянином-интеллигентом, не побоявшимся говорить правду.

Битюцкий П. М.:

«У власти сидят варвары, враги науки и культуры, головоотяпы, не умеющие управлять страной, политика которых приведет соввласть к неизбежному краху, а не к социализму».

«Последняя политика Совправительства — это сознание своего собственного бессилия. Большевики не знают, на ком выместить свою злобу от постигших неудач на хозяйственном и политическом фронтах. Вымещают ее на ни в чем не повинных людях, лишая их избирательных прав, сажая в тюрьмы и подвергая ссылкам. Этой системой бессмысленного террора ими ничего не достигнуто, а лишь вызвана ненависть населения».

«Виновным я себя ни в чем признать не могу. Правда, я болтлив и откровенен не как другие, а поэтому иногда мои разговоры, вероятно, понимают

<sup>1</sup> Об этом см. также: Кублановский Ю. Поверх разборок. — «Новый мир», 1998, № 2. Битюцкий был арестован по доносам своей кухарки, чьи малограмотные каракули хранятся в его «Деле» в архиве ФСБ Ярославской области. (Примеч. ред.)

неверно. Знакомство с Золотаревым, Егоровым, Виноградовым я не отрицаю и о их соответствующей деятельности и настроениях показания давал, кои и подтверждаю. Больше показать ничего не могу. Показания мне прочитаны и с моих слов записаны верно».

А вот «свидетели» (из этических соображений фамилии не называю):

«Битюцкого П. М. знаю как человека с явными антисоветскими взглядами, которые он высказывает при всяком удобном случае».

«Так называемый, по мнению Битюцкого, социализм нельзя строить на горбах рабочих, как сейчас... Я сам, дескать, старый земец и за свободу, но не такую, как существует при настоящей власти».

«Зубврача Битюцкого знаю как яркого монархиста и черносотенца. Он везде ведет антисоветскую агитацию. Социалистическое строительство при таких трудностях, по мнению Битюцкого, невозможно. Единственный выход — предоставить широкое поле деятельности частному капиталу, отменить монополию».

«Битюцкий — доктор — явно контрреволюционный тип. Проповедует пациентам, приезжающим из деревень, не идти в колхозы, т. к. там управляют коммунисты — воры и плуты. Лучше, мол, сжечь имущество, чем отдать этой сволочи».

«Враги народа» Битюцкий, Золотарев, Альбицкий... Это они в самый разгар тоталитарного шабаша поднимают голос в защиту русского человека, его права на достойную жизнь. Это они, скромные провинциалы, своим искренним протестом и сердечной болью за Россию служат справедливости, переключаясь с предупреждениями «одного из святых столетия», мятежного князя П. А. Кропоткина о пагубности диктатуры партии, о социализме, который «обратится в проклятие».

Расту без отца, но он с нами: в письмах, вещах, фотографиях, в его знакомых, в маминых рассказах. Расту под влиянием улицы; мама беспокоится за меня.

Когда я родился, отец отбывает ссылку в Казачинске на Енисее. Мама решает, что я буду не Битюцкий-последний, а Градусов-первый и единственный — из опасения за мою будущую судьбу.

У всех мальчишек клички, как у большевиков-подпольщиков. А когда на уроке узнаем, что у Ленина — ух ты! — были десятки партийных кличек, наша фантазия разыгрывается. Прозвища самые невероятные, невзначайные, но прилипчивые и меткие. В них зоркость пацанов-заречан, приметливость, подковырка.

Володя Тройничков — наш сосед. Живет напротив, с бабушкой, сирота. Старший брат Григорий — сгинул в тюрьме. Потому старшие уважают Володю, доверяют и допускают до себя, когда с матерщиной режутся на лужайке в карты, хвастаясь своими приключениями, он — их «кореш». Сызмала слышит площадную ругань, пытается подражать. Попервоначалу получается «күли». Это веселит тех, кто постарше, — вот они и прозывают его Вова-куля.

Мы тоже перекидываемся в карточки, самодельные. Не менее азартно, на шелбаны. Играем на тройничковском крыльце, чтобы не увидели родители. Сначала в «пьяницу», «подкидного», потом в «козла», «буру», «двадцать одно». Когда Володя бьет масть, приговаривает: «Ваши не пляшут!» — и смачно шлепает карту. Тюрьма у ершовских — понятие почтительное: «Кто там не был, будет, а кто был, не забудет». Или: «Лепеху серую, колесики со скрипом я на тюремные олады променял». Ведь напророчил сам себе: угодил на восемь лет в Воркуту.

А пока Вова-куля прибаутничает за картами: «Ночь-матка, все — гладко», «Острог — мой дом, Сибирь — родина».

Гоняем «козла». Попарно: я с Вовой-кулей против Лехи и Вовки-немца. Еще «пару написать» — и победа наша. Куля тасует карты. «Ну, Леха, запрашивай. На порчине сера вошь — выбирай, котору хошь». — «Давай верх и

низ». Вова-куля ликует, потому что смухлевал и все козыри у нас: «Наши вам подштанники всем на утиральники!» Смеемся.

Так и жили.

...Родословная Градусовых обрывается на прадеде Иване, священнике одного из ярославских приходов. Со слов мамы знаю, что в этой семье детей косила чахотка. Старший из них, мой дед Евгений Иванович, уцелел чудом, возможно потому, что рано уехал из дома — учиться.

Зима, вечер, мороз на дворе крепчает. Мама затапливает печку. Садится подле, прикрывает дверцу. Огонь гудит, принимаясь за бересту, лижет поленья. Они сухо потрескивают, стреляют искрами. Я притуливаюсь рядышком, прошу почитать — уж в который раз! — любимого «Кавказского пленника». Я знаю его почти наизусть, но всякий раз переживаю за Жилина и Костылина, восторгаюсь смелой помощью татарской девочки Дины.

Мамина колыбельная...

Когда болею и мечусь в кровати от жара, мама определяет температуру, касаясь губами лба, расхаживает по комнате и напевает. Идет к окну:

Спи, дитя мое, усни!  
Сладкий сон к себе мани:  
В няньки я тебе взяла  
Ветер, солнце и орла.

Возвращается к печке:

Улетел орел домой,  
Солнце скрылось под водой.  
Ветер после трех ночей  
Мчится к матери своей.

К окну:

Ветер спрашивает мать:  
Где изволил пропадать?  
Али звезды воевал?  
Али волны все гонял?

Опять к печке:

Не гонял я волн морских,  
Звезд не трогал золотых.  
Я дитя оберегал,  
Колыбелочку качал.

Бессонные святые материнские ночи, чудесные стихи Майкова...

\* \* \*

В отце потукивал творческий живчик.

Вот как вспоминал об этом А. А. Золотарев:

«Как чудесно рассказывал Павел Михайлович о своем детстве! Я, бывало, заслушаюсь, да и все мы в тюрьме, в этапе и в ссылке жили его причудливо составленными — вроде Лескова — рассказами. И конечно, в нем билась литературная жилка. Да и все навыки его были литераторские. Так он имел свой архив, берег всякую писульку, имел записную книжку.

...Как я жалею теперь, что только часть, и самую малую часть, этих рассказов я успел записать. А сколько они принесли мне безгрешной радости!»

...Мама закончила гимназию с золотой медалью и поступила на Бестужевские курсы в Петрограде. Любовь ее к словесности не случайна: в семье зачитывались Тургеневым, Бальмонтом, Белым и Мережковским. А в 1919 году поступает на медфак Ярославского университета. Время страшное: по всей России студенческие «чистки».

«Собрали нас, — рассказывала мама, — в актовом зале. Зачитывают списки исключенных. Десятки фамилий: поповны, дети дворян, купцов, служащих. Вдруг слышу: Градусова Евгения. За академическую неуспеваемость и как социально чуждый элемент. Успеваю только крикнуть: „Первое — ложь, а со вторым — поспорим”. И — хлопаюсь в обморок. Еду к Луначарскому в Москву. В Наркомпросе принимает его заместитель Покровский. Восстанавливают. А между тем Ярославский университет закрывают. Пока добивалась, наших всех распределили по разным городам, поближе которые — Смоленск, Казань, Нижний... А мне уж Астрахань досталась. Вот где лиха хлебнула! Жили коммуной, все „социально чуждые” — из Ростова-на-Дону, Петрограда, Москвы. Ходили в веревочных туфлях, разгружали баржи с дровами, чтобы с голоду не умереть. Бывало, придешь в анатомичку голодная, руки-ноги ноют после разгрузки, а там запах трупный, тошнит. Чтобы хоть как-то перебить его, закуливаешь. В минуту жизни трудную, когда нет папирос, махорочку за нудную протянешь через нос. Вот и втянулась с тех пор».

Имена Надсона, Апухтина, Аверченко, Андреева, Ахматовой, Цветаевой я впервые слышу от мамы. Многие из них знала она наизусть.

У нас в доме тоже книги. Почетное место среди них занимает семейная хрестоматия, на титульном листе напечатано: «Дорогой памяти Князя Вячеслава Николаевича Тенишева, основателя Тенишевского училища, в знак общественной признательности посвящает свой труд составитель». И рукой мамы: «Книга семейства Градусовых». Самая любимая книга — домашняя, уютная. Между страницами кленовый лист, ландыш, поблекший ирис, вложенные мамой. Чего здесь только нет! Рассказы В. Одоевского, графа Л. Толстого, Ушинского, Кайгородского, Гусева-Оренбургского. Басни Измайлова, Хемницера, Крылова. Стихи Мятлева, Модзалевского, Никитина, Бальмонта, Фета, Майкова, Тютчева, Плещеева. И конечно же Пушкина, Лермонтова.

В сталинской пустыне идеологической закомплексованности, врагомании эта хрестоматия — оазис добра, человечности, сострадания к ближнему, любви к родной природе, животным, птицам. мудро и ненавязчиво книга вводит в жизнь, а репродукции с картин Васнецова, Левитана, Васильева, Перова, заботливо подобранные к содержанию по временам года, усиливают эмоциональное воздействие. Это многоопытный друг семьи, ее реликвия, общение с которой дарит тихую радость, просветляет душу и ум. От нее моя любовь к книгам.

...Помню день начала войны, когда мама и бабушка припали к черной тарелке радио. Говорит Молотов. Через несколько дней Сталин: «Братья и сестры!» Наливает воду, рука дрожит, графин звенькает о стакан. Бабушка крестится: «Боже правый, защити и сохрани! За богохульство это».

Распоряжение уличкома: оконные стекла оклеить крест-накрест бумажными полосками — от взрывной волны. С наступлением темноты строящаяся светомаскировка. У каждого дома оборудовать бомбоубежище. В нашем огорошке — окопчик. Каждый вечер строгие уличкомовцы дотошно проверяют светомаскировку. Часто отключают электричество. Люди изловчились и освещаются самоделками — коптилками на лампадном масле — «мигасами», как называет их мой друг с Ленинградской улицы Лева Савров.

Помню конец августа, небо в тучах, темень. Света опять нет. Сидим на терраске. Занавески задернуты, но не очень. Мама собирается почитать мне из домашней хрестоматии. Не получается: слабо освещение. Вдруг грубый женский голос: «Градусова, а Градусова, идет война или не идет? Почему как следует не задернуты занавески? На первый раз предупреждаем. Потом штрафовать будем».

В октябре первая бомбежка. Днем. Заводскую столовую на Слипе летчик принимает за госпиталь. Повара в белых колпаках, обслуга в белых куртках при шуме моторов высыпают на крыльцо, глазают, задрав голову. Бомба падает рядом, никого не убивает, только раненые.

Начинаются регулярные налеты, днем и ночью. Метят в плотину и шлюзы. А ведь только-только запущена первая турбина, дает ток в Москву. А через шлюзы — сквозной речной путь от Астрахани до столицы. Целят в Павловский авиазавод<sup>2</sup>, в нефтебазу. И попадают, полыхает целую неделю. На перевозе, заводах, улицах, в кино, магазинах плакаты «Родина-мать зовет!», «Болтун — находка для врага», «Помни: враг хитер и коварен!». Разные слухи. Будто дворец культуры построен немцами (до войны их много работало на заводе) в виде коленного вала как указатель для фашистских летчиков. Будто арестован старик часовщик Мейер, одиноко живший в избушке на ручье, — подавал световые сигналы. Будто на железной дороге схвачены несколько лезвотчиков. Слухи гнетущие, тревожащие...

Ноябрь. Лунные морозные ночи. Ровно в 11 воздушная тревога. Спим не раздеваясь.

...Мама расталкивает меня, за руку тащит в окопчик. Я, напуганный, разомлевший, упираюсь, хнычу. Студеный воздух обжигает лицо. Смотрю на луну, звезды, чистое небо, а по нему низко-низко, чуть не задевая трубы, ползет, как паук, самолет. Даже кресты видно. К заводу. Бухают зенитки. Шарят прожектора. Однажды мама решает: «Будь что будет! Если угодят в дом, то и убежище не спасет». Теперь мы больше не прячемся в окопчике. А самолеты все чаще, чаще, даже днем.

Один раз переезжаем с мамой на пароме. Воздушная тревога. А мы посреди реки. Глядим — самолет. Прямо над нами. Высоко-высоко. Ну, думаем, как ахнет сейчас... Сирены воют на обоих берегах, лупят зенитки. Вокруг самолета белые облачка от снарядных разрывов. А попасть не могут. Вдруг два наших «ястребка». Атакуют: один сзади, другой сверху заходит. Погнали от Волги. Глядим, фашист задымил и все ниже, ниже... «Ура! Подбили гада!» — кричат на пароме, шапки подбрасывают. Фашист грохается где-то за Акининским полем. Потом этого «юнкерса» с желтым бронированным «брюхом» выставляют на площади перед сквером. Весь город ходит туда, рассматривают, щупают, дивятся. Какой-то сухонький и прозрачный, как комарик, старик с палкой в руке стучит по броне, сокрушается: «Махина! Супротив не попрешь. Не то что пуля — снаряд не возьмет». — «А ведь, ешь твою клеш, взяли, дед! Покажем им кузькину мать!» — грозит парень в клетчатой кепке. Окружающие не осуждают старика, понимают: силен фашист.

Особенно мучаются заволжане в ледостав. Чтобы расчистить фарватер, ГЭС сбрасывает воду из новорожденного Рыбинского моря. В сильные морозы не помогает — затягивает тут же. Застрянет во льду местный «титаник», набитый людьми, как бочка сельдью, обледенелый, мохнатый от инея. Жалобно тутукает, а сам — ни взад ни вперед. Час проходит, другой, а то и полдня, пока вызволят бедолагу. Люди нервничают, студятся, заболевают. А то еще так: спустят воду, а пароходы все равно не ходят — не причалить из-за льда. Тогда отправляются заволжане вкругаля пешком — через стрелку у маслозавода. Снова воду сбросят. Лед взломают. Теперь домой не попадешь — вот и мечтаются, бедные. Маета, окаянщина.

...Декабрьская предникольская рань. Мороз забирает. Со всех концов, как в воронку, заволжане стекаются к перевозу. Черный людской поток в студеной темени. Мостки скудно освещены, за ночь промерзли, опушились инеем, сухо скрипят-пружинят под тысяченой молчаливой массой. Кому повезло, спасаются от ветра в паромной каюте, тоже замороженной и темной, молчат, покряхтывают, досыпают, досматривают сны. Спичка вспыхнет, высветит на миг лицо закуривающего. И опять молчание. Смолят самосад, махорку, от них дерет в носу и горле. Порой пахнет, правда, и кокетливой папиросой. Кашляют. Сморкаются, плюют на пол, сигарки рдеют в темноте. За бортом шуршит лед.

---

<sup>2</sup> Ныне АО «Рыбинские моторы».

В 1943 году иду в школу № 4, что на улице Коллективизации, напротив Петровского парка. Обучение раздельное; время военное. В Рыбинск наезжает много ленинградских блокадников, беженцев из оккупированной Калининской области, из других мест, много учится мологжан<sup>3</sup>. Классы переполнены, много переростков. Ребята стекаются со всего Заволжья, нравы бурсацкие. Директор нашего «храма науки» Константин Анисимович Брезкун — «провэру», как мы его зовем. Белорус родом, он говорит с акцентом. Когда вызывает нашкодившего или целый класс (случалось и такое!) к себе в кабинет и распекает, а тот упирается, Константин Анисимович в сердцах, как предел возможного, угрожает: «Я сам, я сам все проверю!» Еще его зовут «тысяча загогулин» — за размашистую, закорючистую подпись.

Война и учеба — они для меня нераздельны...

1947 год. В стране засуха. Перед каникулами нам, четвероклассникам, выдают завтракный хлеб за все лето. Целое богатство — две буханки.

Через год отменяют карточки; длиннющие хвосты за хлебом, занимают очередь с ночи и даже с вечера.

Мы теперь живем на Большой Вольской. Это немного вглубь *Заволги*. Здесь два квартала волгостроевских домов — деревянные, одинаковые, под дранкой, на четыре семьи, с небольшим огородом. Дома для вольнонаемных Волголага строили заключенные.

Летними вечерами в Петровском парке танцы. Играет духовой оркестр: «Амурские волны», «Молдаванеска», «На сопках Маньчжурии», «Дунайские волны» — далеко слышно. Еще крутят пластинки.

Ночь коротка.  
Спят облака.  
И лежит у меня  
На погоне  
Незнакомая  
Ваша рука.

Разносится утесовский с хрипотцой голос. Это мамин любимый «Офицерский вальс».

В том же году прошла денежная реформа. В магазинах разлитое море: водка, коньяк, «спотыкач», «облепиховая», кагор, ликеры. В поллитровках, чекушках, шкаликах-«мерзавчиках», пей не хочю. Народ предпочитает палатки. По проспекту Ленина они на каждом углу: забегаловки, чепки, «американки». А на улице Гоголя коньячная — в рбзлив из дубовых бочонков. Как и в рыббинскую старину, когда «гостеприимные двери бесчисленных трактиров широко открыты день и ночь, и раздаются либо звуки арфы, либо визг жидовских скрипок, либо надоевшее всем цыганское пение». Теперь, правда, без арф, скрипок и цыган — так сказать, по-социалистически. Однако наповал пьяных нет. Заходит работяга с получки: «Дуся, соточку с прицепом и закусить!» «Соточка с прицепом» — сто граммов водки и кружка пива. Пиво свое, рыббинское, бывшего завода Дурдина, бочковое, пенистое, небалованное, тоже, как и пеклеванник, известное по всей Волге. И закусить есть чем: бутерброды с килькой, селедкой, сыром, икрой кетовой. Дерябнет работяга — и дальше. Мало — заходи, пожалуйста, в следующую палатку, снова стограммься, ни тебе очереди, ни толкотни, чинно-благородно, меру знаем. Почти по-европейски: насмотрелись солдатики, побывав в Европе, как на Западе пьют. Опроки-

<sup>3</sup> О жизни в мологской пойме и мологжанах, депортированных коммунистами перед ее варварским затоплением, см., в частности: Зайцев Павел. Записки пойменного жителя. — «Новый мир», 1994, № 11; Горюнова З. П. После Мологи. — «Новый мир», 1997, № 3. (Примеч. ред.)

нут — и домой подшофе, зарплату несут детишкам на молочишко. За Волгой, на самом выходе с перевоза, павильон, тесом обшит, синей краской выкрашен — «Голубой Дунай». Повыветрится хмель на вольном речном воздухе — заходят еще принять, но головы не теряют.

Но вот кто-то где-то решает: страна-победительница строит счастливую жизнь, негоже спаивать сограждан, строителей коммунизма. Будем внедрять трезвость! Торговлю в розлив прихлопнули, палатки исчезли. Закусь — тоже. Пива нет. И это при живом-то заводе! Одна «продажная дурь» в магазинах. По-бутылочно: «Столичная», «Кубанская», «Сибирская», «сучок». Хочешь выпить — бери целую или на троих «соображай». А закусить? Занюхаешь рукавом.

Теперь «соображают» в подворотнях, дворах, на лестничных площадках, за углом, в кустах, на глазах детей. Висит мат, пьют женщины, мужчины, подростки. Пьют и бьют вусмерть. «Голубой Дунай» перекрещивают в «Женины слезы», а вскоре и совсем прикрывают. Цены больше не снижают. Фронтвикам не платят за ордена-медали. В уличной заволжской пыли внуки-несмысленыши играют наградами.

Принуждают подписываться на заем восстановления разрушенного хозяйства. Каждый месяц из маминой и без того скудной зарплаты вычтут на «стройки коммунизма». Работяги шутят: жить стало лучше, жить стало веселей, шея стала тоньше, но зато длинней.

Расту в безотцовстве, но жизнь то и дело сводит с «дядьями», маминими пациентами, простыми русскими мужиками. В нашей семье они — свои люди. Я многому учусь у них. Каждый в уваженье — благодарность за лечение — старается чем-нибудь пособить маме от чистого сердца. Верно сказано: человек начинается с горя. И наш, российский, вдосыть хвативший лиха, остался живым в душе.

Пасха! Мамина подруга тетя Паша отваривает в луковой шелухе яйца. Получаются смугло-красные. Несколько белых варит отдельно. Я раскрашиваю их акварельными красками: зеленые листочки, веточки, пестрые кружочки, полоски, крапинки — простор для фантазии! На столе остывают-отдыхают темно-золотые кулички с глазурью. Удались. Мама — мастерица на них. Еще пасха здорово получается: розовая, из топленого молока. А закупать-запасать начинают загодя до праздника: муку, масло, яйца, изюм, дрожжи, ванилин, молоко. Сначала мама квасит его. Выливает ряженку в узелок из марли, сложенной в два или три слоя, подвешивает над тазом. Сыворожка сцеживается несколько дней. Когда перестает капать, мама развязывает марлю, тщательно перемешивает нежно-розовую массу с сахарным песком, изюмом, ванилином. Я выскребываю кастрюлю ложкой, а потом пальцем. Какое приятное занятие в радостном предчувствии праздника! Душистое лакомство перекладывается в пасочницу, деревянную, расширяющуюся книзу форму с вырезанными на боковых дощечках буквами «ХВ». Теперь пасочницу можно ставить на холодильник — в большой старинный сундук, обитый жестяными полосами-узорочком. Сундук в коридоре — «на мосту», как говорит тетя Паша, с музыкальным внутренним замком. Мама вставляет массивный ключ с ажурной бородкой, поворачивает вправо — дзинь! динь! бом! Поворачивает влево — бом! динь! дзинь!

...Мальчишки собираются в церковь на всенощную, хоть мы и советские, а все равно интересно. Упрашиваю маму отпустить. И вот мы у Егория за вокзалом. Служба уже идет, народу — пропасть. Старухи со свечками, куличами, яйцами. Нищие от ворот до самой паперти. Дежурные милиционеры. На дворе темень, а церковь светится, как китайский фонарик. Поет хор. Точимся внутрь. На нас шикают, шпыняют, ворчат. Огни, блеск икон, благовоние, духота. Крестный ход, хоругви, песнопение, свечи. На мгновение все замирает. Вдруг полуночную тишину взрывает торжествующее «Христос воскрес!». В ответ радостно-благодарное «Воистину воскрес!». И колокола. Сначала большие: степенно, размеренно, глуховато. За ними средние: почаще, позвонче. Наконец малые, залихватые. Благовест.



Корешимся с Сережей Поташинским, известным в Рыбинске голубятником. У Поташинского десятки голубей, все отборные. Орловские белые, чернокрылые с повязками или ленточные — они ходят на кругах. Трубачи — у них хвост колесом-опахалом. Николаевские краснобокие взлетают вертикально, часами держатся на одном месте. Бывает, ночь напролет зависнут на высоте и места не изменят, если не налетит ветер. Через Поташинского постигаем разные тонкости, приохочиваемся к чтению о голубях. Особая гордость Поташинского — панцирные кружастые и турманы, о них может рассказывать часами. Мы узнаем, что на Руси домашние голуби появились еще больше четырех веков назад, а родина кружастых — Ярославщина. Любо смотреть на их игру: взмывают в небо и ходят малыми кругами, каждый по-своему, забирая вправо, влево, не повторяя полета другого. А турманы? Их у Поташинского несколько пар: красно-пегие с лентой в хвосте, черно-пегие и даже черные. Дорогушие! Перо на грудке с фиолетовым переливом, головка кубичком, серые глазки, клювчик аккуратненький. Турманов называют еще вертунами. На лету кубарятся то через хвост, то через крыло. Увлекутся иногда так, что о землю разбиваются. Один раз Поташинский продал турмана в хорошие руки. Хозяин, чтобы голубь не улетел, вырвал маховые перья. А через месяц-два, глядим, наш турманок снова возле дома. По земле, значит, шел. Уж они такие: или дом найдут, или погибнут. К чужой стае не прильются.

За Волгой многие держат голубей. Часто играют на «сел-пропал». Не только между собою, но и с городскими, зачеремушными, запахомовскими, копаевскими. Правила такие. Собираются по очереди то у одного, то у другого. Заранее договариваются, на каких играть. Хозяин, у кого собираются, первым выпускает своих. Голуби забирают над крышами, ходят кругами все выше, выше. Первый во взгоне — летовод. Хозяин на крыше. Размахивает гонялкой-шестом с тряпкой, свистит. Теперь гости запускают. Если чей-либо сядет с хозяйскими, все: пропал, переходит к новому хозяину. Самый сезон таких игр — от Благовещенья до Покрова.

Девятый класс, мечтаю об авиации. Александр Покрышкин, Иван Кожедуб — мои кумиры. Уважаю и Алексея Маресьева, его железную волю. Выписываю в тетрадь слова Чкалова: «Большое счастье быть советским летчиком». Хочу тоже служить Родине и быть счастливым — учиться в военном училище, носить форму с голубыми петлицами и золотыми крылышками, стать сталинским соколом.

По вечерам ходим в аэроклуб. Летом в Ярославль — прыжки с парашютом, а потом заветное училище. Но... не прохожу мандатную комиссию. Сын «врага народа». Я обескуражен, больно и стыдно. А как же сталинское «сын за отца не отвечает»? Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе...

Мама дважды запрашивает ярославскую прокуратуру. Оба раза казенно-сухой ответ в сером конверте: «Ваш муж осужден законно».

...Лишь в 1988 году после запроса на имя Генпрокурора СССР получаю бумагу о полной реабилитации отца «за отсутствием состава преступления». Решение от тринадцатого февраля 1963 года. Четверть века назад! За восемь (!) лет до кончины мамы. Иду к нашему городскому прокурору Королеву. На вопрос: «Почему не сообщили раньше?» — законник лишь беспомощно разводит руками.

Рыбинск.

ЕЛЕНА КНЯЗЕВА, АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ



## ЕДИНАЯ НАУКА О ЕДИНОЙ ПРИРОДЕ

Синергия значит «совместное действие»

**В**озникновение синергетики как самостоятельного направления научных исследований можно датировать 1969 годом. Именно тогда немецкий физик Герман Хакен стал использовать термин «синергетика» в своем курсе по теории лазерного излучения, который он читал в университете города Штутгарт. Новый термин был образован им от греческого выражения  $\sigma\nu\text{-}\epsilon\rho\upsilon\sigma\alpha$ , что означает сотрудничество, согласованное действие, соучастие.

Какое отношение имеет эффект согласованного действия к поведению излучающих атомов в процессе формирования лазерного светового пучка? Вот что об этом пишет сам Хакен:

«В лазере большое число атомов погружены в активную среду, например, в такой кристалл, как рубин. После накачки извне атомы возбуждаются и могут испускать отдельные цуги световых волн. Таким образом, каждый атом испускает сигнал, то есть создает информацию, переносимую световым полем. В полости лазера испущенные цуги волн могут столкнуться с другим возбужденным атомом, что приведет к усилению испускаемой им волны... Так как отдельные атомы могут испускать световые волны независимо друг от друга и так как эти волны могут затем усиливаться другими возбужденными атомами, возникает суперпозиция некоррелированных, хотя и усиленных цугов волн, и мы наблюдаем совершенно нерегулярную картину.

Но когда амплитуда сигнала становится достаточно большой, начинается совершенно новый процесс. Атомы начинают когерентно осциллировать, и само поле становится когерентным, то есть оно не состоит более из отдельных некоррелированных цугов волн, а превращается в одну практически бесконечно длинную синусоиду.

Перед нами типичный пример самоорганизации: временная структура когерентной волны возникает без вмешательства извне. На смену хаосу приходит порядок. Подробная математическая теория показывает, что возникающая когерентная световая волна служит своего рода параметром порядка, вынуждающим атомы осциллировать когерентно, или, иначе говоря, подчиняет себе атомы»<sup>1</sup>.

В приведенном отрывке мы выделим поначалу одно понятие — *самоорганизация*. Именно оно является ключевым для понимания сущности синергетики. Синергетику и определяют как науку о самоорганизации или, более развернуто, о самопроизвольном возникновении и самоподдержании упорядоченных временных и пространственных структур в открытых нелинейных системах различной природы.

---

Князева Елена Николаевна (род. в 1959) — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, живет Москве. В «Новом мире» публикуется впервые.

Туробов Алексей Львович (род. в 1957) — кандидат философских наук, живет в Москве. В «Новом мире» публикуется впервые.

Авторы выражают глубокую признательность С. П. Курдюмову, чьи зажигательные лекции в Политехническом музее в 1983 году, в пору учебы авторов в аспирантуре, положили начало их собственному увлечению синергетикой.

<sup>1</sup> Хакен Г. Информация и самоорганизация. М., «Мир», 1991, стр. 46 — 48.

В описании процесса образования когерентной световой волны Хакен использует целый ряд других основополагающих понятий синергетики. Накачка энергии означает, что рассматриваемая система является *открытой*, то есть имеет интенсивный приток энергии извне, а также оттоки энергии. Возникающая временная или пространственная структура формируется в *активной* среде и представляет собой выявление одного из потенциально присущих ей *дискретных состояний*. Система реагирует *нелинейно*, то есть переход от неорганизованного поведения атомов к слиянию их излучения в когерентную световую волну происходит не плавным путем, в линейной пропорции к увеличению энергии, а скачкообразно — в момент, когда приток энергии превысит определенный барьер. Разрозненное и неупорядоченное поведение отдельных атомов соответствует хаотическому состоянию системы, макроскопическому хаосу, из которого путем *фазового перехода* рождается порядок. Для всякой системы можно определить *параметры порядка*, позволяющие описать ее сложное поведение достаточно простым образом, а также выбрать определенные *контролирующие параметры*, при изменении которых существенно меняется макроскопическое поведение системы. Параметры порядка *подчиняют* поведение отдельных элементов системы — в чем выражается введенный Хакеном *принцип подчинения*.

Хакену принадлежит бесспорный приоритет в создании нового термина — «синергетика» — и в разработке системы понятий и теоретических моделей, описывающих механизмы самоорганизации, но не абсолютное первенство в исследовании самих явлений самоорганизации.

В физике эффекты образования устойчивых структур в условиях интенсивного внешнего притока энергии известны весьма давно. Взять классический пример — образование так называемых ячеек Бенара, вызванных конвективными течениями в подогреваемой снизу вязкой жидкости. Этот опыт каждый может воспроизвести у себя дома. Достаточно налить в сковороду толстый слой растительного масла и поставить ее на сильный огонь. Через некоторое время можно будет наблюдать, как нижний, очень горячий слой масла и верхний, не столь горячий, начинают постоянно сменять друг друга в вертикальном течении — но не беспорядочном или распространяющемся сразу на всю емкость, а структурированном в форме правильных шестигранных ячеек, напоминающих пчелиные соты. Пространственные структуры самоорганизации возникают тогда, когда разница температур нижнего и верхнего слоев жидкости достигает определенного порогового значения. Потоки жидкости спонтанно, то есть без всякого организующего воздействия извне, переходят в упорядоченное состояние, соответствующее относительно устойчивым и геометрически правильным формам. Стоит убавить огонь под сковородой, и ячейки снова превратятся в беспорядочные завихрения масла (что не помешает по итогам опыта поджарить в нем колбасу). При более интенсивном нагревании жидкости в ней могут возникнуть более сложные пространственно-временные структуры, например, осцилляции вихрей.

В России на протяжении нескольких десятилетий продуктивно развивается оригинальное направление синергетики, изучающее локализованные структуры горения и тепла, возникающие в сверхбыстрых, лавинообразных эволюционных процессах, в так называемых режимах с обострением. Это направление представлено научной школой академика РАН А. А. Самарского и члена-корреспондента РАН С. П. Курдюмова. Исследуются механизмы формирования локализованных структур (самоорганизации), их трансформации, синтеза (коэволюции) и распада.

Первоначально изучение локализованных структур горения и тепла было связано с практической задачей удержания клубка плазмы в заданных границах с целью получения температуры, необходимой для начала управляемой термоядерной реакции. Корень технической проблемы заключался в том, чтобы уменьшить контакт раскаленной плазмы со стенками реактора и уменьшить энергетические затраты на удерживающие ее магнитные поля.

Вычислительные эксперименты, проведенные в 60-х годах, показали неожиданную вещь: существует такой режим сверхбыстрого сжатия и разогрева плазмы, при котором показатель ее температуры на графике взлетает вверх почти вертикально, стремясь к бесконечности, а вот пространственный объем клубка, то есть островка тепла в окружающем холодном мире, не расплзается, оставаясь в первоначальных границах. Получается, что плазма создает границы вокруг себя из самой себя. Этот нелинейный эффект позволяет в десятки тысяч раз снизить энергию, которая требуется для инициирования реакции термоядерного синтеза.

Необычность такого состояния плазменной среды заключается в том, что в любых нормальных условиях потенциал «тепло — холод» стремится к выравниванию, подобно тому как порция холодного молока, влитого в горячий кофе, делает его теплым. А вот синергетика — чем она и привлекательна для пытливых умов, тяготеющих к необычному в окружающем нас мире, — доказывает возможность движения в противоположном направлении: от расплзания к локализации тепла, от равновесия к возрастающему неравновесию и созданию структур в состояниях, далеких от равновесия.

Известное нам второе начало термодинамики, говорящее о росте беспорядка (энтропии) в замкнутых системах, теряет свою силу для открытых нелинейных систем, изучаемых синергетикой. Локализованные, быстро развивающиеся структуры существуют за счет возрастающей хаотизации среды, на основе производства в ней энтропии. Структуры горения как бы интенсивно «выжигают» среду вокруг себя. И организация (порядок), и дезорганизация (энтропия) увеличиваются одновременно. Но на пике обострения процесса разогрева и «подбирания» границ тепла структура становится чрезвычайно шаткой, чувствительной к малейшим флуктуациям, случайным изменениям хода процесса. Они способны инициировать распад сложной структуры или же вывести на иной, противоположный режим — режим спада температуры и расплзания тепла.

### Преджизнь

Важные результаты, касающиеся спонтанного возникновения упорядоченных структур, были получены к началу 70-х годов и в химии. Они связаны в первую очередь с исследованиями, проводимыми в Свободном университете Брюсселя под руководством Ильи Пригожина — бельгийского ученого русского происхождения (в 1927 году в десятилетнем возрасте он был увезен родителями из России), получившего в 1977 году за свои работы в области неравновесной термодинамики Нобелевскую премию.

«В различных экспериментальных условиях, — пишут Илья Пригожин и его соавтор Изабелла Стенгерс, — у одной и той же системы могут наблюдаться различные формы самоорганизации — химические часы, устойчивая пространственная дифференциация или образование волн химической активности на макроскопических расстояниях»<sup>2</sup>.

Химические часы — пожалуй, самый яркий феномен самоорганизации химических процессов, открытый в начале 50-х годов российскими учеными Б. П. Белоусовым и А. М. Жаботинским. Структура, которая здесь образуется, представляет собой не пространственную, а временную структуру — колебание с регулярной периодичностью.

Для теоретического описания реакции Белоусова — Жаботинского Пригожин со своими сотрудниками разработал специальную модель, названную брюсселятором. Она выглядит так. Имеются вещества, вступающие между собой в химическую реакцию. Концентрацию только одного из них — «управляющего» вещества — плавно увеличивают. Как только концентрация переходит

<sup>2</sup> Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., «Прогресс», 1986, стр. 208.

критический порог (при прочих равных параметрах), прежнее стационарное состояние химической системы становится неустойчивым и концентрации двух других реагирующих веществ начинают колебаться с отчетливо выраженной периодичностью. Колебания происходят вокруг некоторого нестабильного фокуса и выходят на предельный цикл, то есть устанавливается устойчивое периодическое движение.

Конечную область неминуемого схождения фазовых траекторий движения сложной системы называют в синергетике *аттрактором*. В качестве аттрактора может выступать или точка (устойчивый фокус), или иное более сложное образование. Существуют *странные аттракторы*, когда траектории системы совершают произвольные и не поддающиеся регулярному описанию блуждания внутри определенной области. Следуя Пригожину, странный аттрактор можно назвать «привлекающим хаосом».

Чтобы представить себе нагляднее картину химических часов, а ее необычность выразить более впечатляющим образом, Пригожин и Стенгерс предлагают условно считать, что в реакции участвуют молекулы двух сортов — «красные» и «синие». До перехода критического порога концентрации «управляющего» вещества они находятся в хаотической смеси, и мы имеем в пробирке какую-то фиолетовую жидкость с легкими беспорядочными отклонениями в один из двух первоначальных цветов. «Иную картину мы увидим, разглядывая химические часы: вся реакционная смесь будет иметь синий цвет, затем ее цвет резко изменится на красный, потом снова на синий и т. д. Поскольку смена окраски происходит через *правильные* интервалы времени, мы имеем дело с когерентным процессом. Столь высокая упорядоченность, основанная на согласованном поведении миллиардов молекул, кажется неправдоподобной, и если бы химические часы нельзя было бы наблюдать „во плоти“, вряд ли кто-нибудь поверил, что такой процесс возможен. Для того чтобы одновременно изменить свой цвет, молекулы должны „каким-то образом“ поддерживать связь между собой. Система должна вести себя как единое целое»<sup>3</sup>. Налицо эффект когерентного, кооперативного поведения элементов в химических системах.

В теории самоорганизации проводится четкое различие между стационарными, «застывшими» структурами, такими, как решетки кристаллов, и относительно устойчивыми структурами, вызываемыми к жизни из первоначально хаотического состояния путем интенсивного изменения по некоторому ведущему параметру — будь то накачкой энергии в физическом эффекте лазерного излучения, увеличением концентрации вещества в описанном выше химическом эффекте или, с самой общей точки зрения, притоком информации в среду, что также охватывается синергетическими моделями. Первый тип структур — это, можно сказать, тупики эволюции. Для равновесных стационарных структур малое возмущение «сваливается» на ту же самую структуру. Второй тип — это структуры, способные самопроизвольно возникнуть и развиваться в активных, рассеивающих (диссипативных) средах в состояниях, далеких от термодинамического равновесия. Для обозначения такого типа структур Пригожин предложил использовать понятие *диссипативной структуры*. Именно они в фокусе внимания синергетики.

Диссипативные структуры проявляют характерное свойство: в состояниях неустойчивости они могут оказаться чувствительными к малейшим случайным отклонениям в среде. Краткий момент неустойчивости, балансирования системы на острие выбора между будущими состояниями, когда судьба всей системы может зависеть от вторжения одной случайной флуктуации, называется в синергетике *бифуркацией*.

Исследования явлений самоорганизации в химических процессах привели Пригожину к созданию собственной обобщенной теории самоорганизации, далеко выходящей за пределы химии. Он называет ее по-разному: нелинейной

<sup>3</sup> Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса..., стр. 202 — 203.

неравновесной термодинамикой, наукой о сложном, теорией перехода от хаоса к порядку, но чаще всего теорией диссипативных структур. Пригожин предпочитает не пользоваться термином «синергетика», хотя по своему внутреннему содержанию его исследования, бесспорно, относятся к синергетической теории эволюции и самоорганизации сложных систем.

Но создание теории самоорганизации для Пригожина — еще не самоцель. Его сверхзадача — использовать данную теорию для раскрытия глубинных механизмов происхождения живого. Он стремится преодолеть качественный разрыв между описанием живой и неживой природы или по меньшей мере — что лежит в пределах возможностей современной науки — добавить еще несколько пролетов к тому мосту, который ученые издавна пытаются навести над пропастью, лежащей между ними.

«Жизнь, заведомо укладываемая в рамки естественного порядка, предстает перед нами как высшее проявление происходящих в природе процессов самоорганизации. Мы... утверждаем, что, коль скоро условия для самоорганизации выполнены, жизнь становится столь же предсказуемой, как неустойчивость Бенара или падение свободно брошенного камня»<sup>4</sup>, — пишут Пригожин и Стенгерс.

В поисках связующих звеньев между живым и неживым Пригожин опирается на данные молекулярной биологии, находящейся как бы посередине реки, разделяющей два берега. Он высоко оценивает модель предбиологической эволюции, разработанную немецким ученым Манфредом Эйгеном. Согласно исследованиям Эйгена, системы полимерных молекул — молекул, которые, взятые сами по себе, лишены в традиционном представлении и «капли» жизни, — способны поддерживать собственное существование через цикл самовоспроизводства и противодействия возмущающим влияниям извне. Механизм их самосохранения и адаптации к окружающей среде является прообразом механизма воспроизводства живых организмов через цепи ДНК.

Пригожин говорит о спонтанных островках самоорганизации при переходе к живому: «По-видимому, разумно предположить, что некоторые из первых стадий эволюции к жизни были связаны с возникновением механизмов, способных поглощать и трансформировать химическую энергию, как бы выталкивая систему в сильно неравновесные условия. На этой стадии жизнь, или „преджизнь“, была редким событием и дарвиновский отбор не играл такой существенной роли, как на более поздних стадиях»<sup>5</sup>.

Взгляд на природу как на единое целое, где деление на живое и неживое не является абсолютным, но связано с ограниченностью нашего понимания вещей, можно проследить далеко вглубь истории человеческой мысли. Более характерен он для восточной философии, но имел влияние и на Западе. В числе приверженцев такого взгляда и, в сущности, отдаленных предшественников синергетического мировоззрения стоит упомянуть Шеллинга, который строил свою философию исходя из представления о природе как о едином живом организме. «Неорганическая и органическая природа связаны одним и тем же началом»<sup>6</sup>, — писал он, сматривая такое начало в феноменах «организации» и спонтанного творческого акта.

Что же нового вносит тогда синергетика? Ее новшество и ее шаг вперед по отношению к предшествующим представлениям о единых началах живого и неживого заключаются в междисциплинарном научном и обобщенно-теоретическом изучении тех закономерностей, которые составляют универсальную основу процессов самоорганизации и эволюции сложного, и в постоянном подкреплении своих теоретических представлений многочисленными опытными данными базовых научных дисциплин.

<sup>4</sup> Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса..., стр. 234.

<sup>5</sup> Там же, стр. 252 — 253.

<sup>6</sup> Шеллинг Ф.-В.-Й. О мировой душе (1797 г.). Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М., «Мысль», 1987, стр. 92.

### Тоска по целостности

В античные времена наука, искусство и философия находились в неразрывном единстве и гармонии, а в самой науке дисциплинарные деления были едва намечены. Но в Новое время наука распалась на автаркические владения, каждое из которых вырезало из тела природы собственный фрагмент, скрупулезно разбирало его по клеточкам и пыталось понять принцип его деятельности исходя только из него самого.

Неудивительно, что в последующую эпоху, особенно со второй половины XX века, усилилось встречное стремление: понять мир в его целостности, усмотреть в искусственно рассеченных сферах нечто существенно общее и как к естественному итогу прийти к объединению наук, созданию единой науки о единой природе. Объединение наук при этом, конечно, понималось не как непродуктивное механическое слияние, а как вычленение в них некоторого общего содержательного ядра и стыковка наук в качестве лишь условно поделенных участков единого исследовательского поля.

Синергетика в наиболее последовательной форме отвечает на этот вызов времени. Она говорит о возможных способах объединения естественных и ряда гуманитарных наук — с сохранением, разумеется, их собственной идентичности и предметной специфики, а также о перспективах кросс-дисциплинарной коммуникации, творческого диалога специалистов в различных областях. Объединение возможно вокруг изучения основополагающего феномена — феномена самоорганизации. Вероятно, объединение наук осуществимо не во всей их целостности, а лишь в определенном аспекте — изучении сложных образований (систем) на различных уровнях реальности, механизмов их эволюции и самоорганизации.

Оппозиция «живое — неживое» мыслится при этом как главный, но не единственный камень преткновения из числа тех, что лежит на пути объединения. Столь же важной представляется задача объединить в едином исследовательском фокусе микро- и макромиры, мир индивидуальной психологии и поведения и мир массовых общественных процессов, наконец, мир науки с тем, что можно назвать жизненным миром человека, миром человеческой экзистенции. Синергетика призвана не только вернуть науке целостного человека, но и науку вернуть человеку, поставить ее лицом к его реальным проблемам и заботам.

К сущности синергетики относится универсальный характер раскрываемых ею закономерностей, а значит, по необходимости междисциплинарный характер проводимых в ее рамках исследований. На первое место она ставит общность процессов эволюции и самоорганизации, имеющих место в физических, химических, биологических, социальных и иных системах. Указание же на специфику, несхожесть этих систем рассматривается скорее в качестве уточняющей, корректирующей поправки, выносится за скобки. При этом задача синергетики — не просто уловить внешние аналогии, а установить внутренние *изоморфизмы* поведения таких систем.

Синергетика равным образом предполагает как восхождение от конкретных экспериментальных данных к теоретическим и междисциплинарным обобщениям, так и обратный процесс — прикладное использование теоретических представлений и разработанных моделей в различных дисциплинах и сферах практической деятельности.

Соответственно в синергетике можно выделить два направления — синергетику теоретическую и прикладную, хотя такое членение весьма условно. Ученые, работающие над какими-либо конкретными задачами в своей области, часто предлагают синергетическому сообществу свежие идеи и гипотезы общего порядка, родившиеся в ходе решения таких задач. А предложенные идеи и гипотезы часто дают неожиданный импульс для исследований в совершенно иной дисциплинарной области, в результате чего в научном сообществе происходит постоянный конструктивный обмен идеями.

Сила и эффективность синергетики — в постоянной взаимной подпитке дисциплин, в том, что, выражаясь компьютерным языком, специалист в одной области знаний имеет возможность находиться в режиме прямой связи с базами данных других специальных наук.

В этом заключается существенное преимущество синергетики перед двумя ее предшественниками, с которыми ее часто сравнивают, — кибернетикой, датируемой 50-х годов, и так называемым системным подходом (созданием общей теории систем), получившим развитие в 60-х годах.

И кибернетика, и системный подход функционировали следующим образом: они вытягивали, абстрагировали нечто общее из различных конкретных дисциплин и затем работали преимущественно с этой абстрагированной эссенцией. Задающими категориальными схемами были в кибернетике «вход — выход» и «сигнал — отклик», а в системном подходе «элемент — система», «обратная связь — гомеостазис». Ученые получали тубик такой эссенции и добавляли ее в котел своей дисциплины, считая, что тем самым применяют кибернетические идеи или реализуют системный подход. Не было прямой стыковки, непосредственного взаимодействия дисциплин, давших материал для получения абстрагированной выжимки — того, что как раз является животворным для синергетического сообщества.

Здесь физик охотно читает книгу нейрофизиолога о странных аттракторах в деятельности мозга, метеоролог находит много интересного в работах по гидродинамике и даже галактической астрономии (что неудивительно, поскольку и тут и там речь идет о вихревых формообразованиях и тонкой структуре хаоса в турбулентных течениях), психиатр черпает ценные подсказки по лечению своих пациентов, изучая сценарии эволюции детерминированного хаоса, и все они прекрасно общаются на универсальном языке «аттракторов», «флуктуаций» и «бифуркаций».

Одной из связующих точек в создании международного синергетического сообщества стал Институт теоретической физики и синергетики при Университете Штутгарта, основанный и долгие годы бессменно возглавлявшийся Германом Хакеном. В 1997 году Хакен отметил свой семидесятилетний юбилей и ушел с должности директора, возглавив Центр синергетики в этом институте. Объединение ученых вокруг института способствовало налаживанию регулярных личных контактов и широкому распространению идей синергетики в научном мире.

Наглядным воплощением авторитета и высокой продуктивности синергетики стала серия индивидуальных и коллективных монографий под общим названием «Синергетика», выпускаемая ведущим немецким научным издательством «Springer» в тесном сотрудничестве с Институтом Хакена. С середины 70-х годов вышло уже более 70 томов. Перечисление специальных научных областей, представители которых печатались в серии, вышло бы, наверное, за пределы двух десятков.

Вместе с тем и тридцать лет спустя «синергетики» так и не стали называть себя «синергетиками». Физик скромно скажет: «Я использую синергетические модели», как скажет и увлеченный синергетикой химик, биолог или географ-урбанист. Трудно найти подходящее место для синергетики в научной табели о рангах. Что это: теория? парадигма? дисциплина? наука? Все эти слова кажутся не очень подходящими. Правильно было бы назвать синергетику научным направлением, а еще точнее — *научным движением*, по аналогии с движением политическим. Здесь нет ни строгого членства, ни четкой организационной иерархии, ни институционального отнесения к одной из научных рубрик, созданных для удобства университетского преподавания и продвижения по диссертационным ступеням. Есть деятельное устремление ученых-единомышленников, состоящее в том, чтобы познать — каждое с данного ему в силу его научной специализации угла зрения — один из удивительных феноменов бытия: феномен самоорганизации.



### Открытость. Нелинейность. Аттракторы

Итак, мы имеем систему, *открытую* для потока энергии или иного достаточно интенсивного воздействия извне. Система понимается как сложная, то есть содержащая очень большое, иногда с трудом исчислимое множество элементов — атомов в кристалле лазера, молекул в химическом растворе, людей в обществе, нейронов в мозге, находящихся в сложном взаимодействии друг с другом, — и поэтому процессы в системе строятся как массовые кооперативные процессы.

Вместе с тем сложность или простота системы — понятия относительные. Прибегать к ним как к определяющим показателям кажется нам не очень продуктивным. Синергетика способна рассматривать всякую систему одновременно и на макроуровне — как целостность, описываемую достаточно просто немногими параметрами порядка, и на микроуровне — как сложное взаимодействие множества элементов.

Например, пламя, будучи видимым выражением структуры горения, может изображаться и как самостоятельное образование, как собственно пламя, с его формой, цветом, температурой, иными объективными показателями, и как сочетание, взаимодействие множества не до конца сгоревших частиц, которые и образуют видимый язычок. Наконец, пламя может быть разобрано и на более мелкие составляющие и представлено в виде турбулентного потока разогретых, быстро движущихся молекул.

На разных уровнях можно описать и какое-либо психологическое явление, скажем, пережитое человеком глубокое потрясение. На одном уровне, описываемом собственно психологической наукой, оно будет выглядеть как перегруппировка, переконстелляция элементов духовного мира человека — небольшого множества описываемых в психологических и моральных терминах показателей («У меня заново открылись глаза», «Я стал другим человеком»). Но тот же личностный сдвиг может быть представлен на уровне перестройки нейронных сетей, обеспечивающих течение психологических процессов. А тут мы снова, как и в случае с пламенем, имеем дело уже с практически необозримым множеством.

То же самое может быть сказано и о соотношении понятий «хаос» и «порядок», которым в синергетике иногда неправомерно придается сущностный, самодостаточный смысл. Нет абсолютного хаоса и абсолютного порядка. Корректнее было бы говорить, что возрастает мера упорядоченности (или хаотичности) по какому-либо показателю за счет или в противоположность снижению меры упорядоченности (или хаотичности) по иному показателю. Сам хаос имеет тонкую, иногда невидимую для внешнего наблюдателя структуру, например, в турбулентном течении. А порядок — это организованный хаос.

Открытость — необходимое, но не достаточное условие для самоорганизации системы. Система должна быть еще и *нелинейной*.

С математической точки зрения нелинейность означает особый тип математических уравнений, описывающих не плавный, а существенно неравномерный рост функции и имеющих несколько качественно различных решений. Отсюда ясен и физический смысл нелинейности: определенному набору решений нелинейного уравнения соответствует множество путей эволюции системы, описываемой этим уравнением, а переход в то или иное относительно устойчивое состояние системы или русло эволюции происходит скачкообразно, соответственно особым точкам графической кривой.

Для тех, кто любит образные разъяснения, можно предложить такое: вы берете свисток или дудку и начинаете туда дуть, сначала слабо, потом все сильнее и сильнее (открытость системы и проток энергии). В какой-то момент при усилении потока воздуха неясное шипение вдруг скачком (нелинейность) переходит в свист — который, в сущности, представляет собой резонансную звуковую волну единого тона, то есть упорядоченную волновую структуру. Но если вы переусердствуете и станете дуть изо всей имеющейся у вас мочи, то

радующий душу чистый звук перейдет в прерывистый хрип со слюнями на выходе (незнание синергетики).

Вернемся к сравнению синергетики с кибернетикой. Кибернетика и различные варианты теории систем исследовали главным образом процессы гомеостаза, поддержания равновесия в технических, биологических и социальных системах. Кибернетика пыталась свести сложные нелинейные эволюционные процессы к линейным, по крайней мере на определенных стадиях, где это возможно. Она рассматривала только те случаи, когда нелинейная система могла исследоваться, как если бы это была линейная система с медленно изменяющимися параметрами. Кибернетика разрабатывала алгоритмы и методы внешнего контроля над системами. Синергетика же изучает процессы самоорганизации систем, их своего рода самоконтролирование, основу для чего создают нелинейные свойства систем.

Итак, если нелинейная система открыта и ее внутренние флуктуации или внешние воздействия превысят некое пороговое значение, то она может скачком перейти в новое макроскопическое состояние. Но что это за состояние? И какие состояния вообще возможны?

Мы подходим здесь к одному из центральных тезисов синергетики. Это — дискретность возможных состояний, в которые может переходить система в процессе эволюции, а также заданность, ограниченность их числа. Иначе говоря, спектр возможных структур-аттракторов эволюции, то есть структур, на которые выходят эволюционные процессы в этой системе, не является сплошным. В процессе эволюции система может перейти или в то, или в это состояние, но не во что-то среднее между ними.

Только определенный набор эволюционных путей разрешен, ибо только этот набор соответствует внутренним свойствам рассматриваемой системы. В принципе, по крайней мере в задачах математической физики, которые связаны, например, с выявлением относительно устойчивых структур самоорганизации плазмы, этот набор математически вычисляем.

Проиллюстрировать представление о дискретности и ограниченности набора потенциальных состояний можно многими примерами. В физической и химической областях мы сталкиваемся с основополагающими феноменами — дискретностью энергетических уровней в атоме, соответствующих заданным орбитам электронов, и качественной определенностью химических элементов, представляющих собой набор возможных в природе типов атомов.

Дискретность проявляется и в движениях живых существ. Давным-давно человек заметил, что лошадям свойственны определенные аллюры: шаг, рысь, иноходь, галоп. В каждом аллюре движение членов лошади согласовано строго определенным образом, причем переход от одного типа движения к другому совершается скачком. Бесчисленные лошадиные поколения на Земле производят один и тот же набор аллюров.

Можно наблюдать характерные положения хобота слона, хвоста кошки и собаки, соответствующие вполне определенным эмоциональным состояниям или реакциям жироных. Они не меняются от особи к особи и не имеют промежуточных, полувывраженных ступеней.

Обратимся теперь к понятию *аттрактора*. Под аттрактором понимается состояние системы, к которому она эволюционирует. Наличие спектра потенциально возможных устойчивых структур-аттракторов системы есть просто иное, переформулированное отображение идеи дискретности. Набор аттракторов можно образно представить как набор лунок на поле настольной игры, в одну из которых обязательно скатится пущенный пружиной металлический шарик.

На графике аттрактор выглядит как схождение траекторий к одной точке или замкнутой петле, в пределах которой регулярно колеблется состояние системы. Точка схождения не зависит от того, из какого места графика тянется траектория, то есть от начальных условий движения. В синергетике говорят о конусе притяжения аттрактора, который как бы затягивает в себя множество

возможных траекторий системы, определяемых разными начальными условиями. Воронка притяжения стягивает разрозненные исходные линии траекторий в общий, все более узкий пучок.

Парадоксальность действия аттрактора заключается в том, что он осуществляет как бы детерминацию будущим, точнее, предстоящим состоянием системы. Состояние еще не достигнуто, его не существует, но оно каким-то загадочным образом протягивает щупальца из будущего в настоящее. Здесь и встает философская проблема возможности целепологания в неорганической природе. Можно ли аттрактор рассматривать как своего рода цель движения системы? В синергетике отвечают: в онтологическом смысле — вряд ли. Но в методологическом смысле взгляд на аттрактор по аналогии с целью, как если бы это была избранная системой цель, часто оказывается действенным.

Не надо думать, что «траектории», «воронки притяжения», «аттракторы» — это что-то очень далекое от обычной жизни. «Коготок увяз — всей птичке пропасть», — народ давным-давно сформулировал идею, которую синергетика облекает в строгие математизированные одежды.

А вот как осмысливал события своей жизни А. И. Герцен. «Всякий человек, много испытавший, — писал он, — припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых тянет ветер с другой стороны; эти знамения или предостережения вовсе не случайны, они — последствия, начальные воплощения готового вступить в жизнь обличения, тайно бродящего и уже существующего»<sup>7</sup>.

Читателя, впервые знакомящегося с мировоззренческим и методологическим содержанием синергетики, может преследовать смутное чувство, что он где-то об этом уже слышал. И потом до него доходит: да ведь это же диалектический материализм! Взять хотя бы одну из ключевых синергетических идей — плавное количественное нарастание по какому-либо ведущему параметру и внезапный (хотя и, в принципе, математически описываемый) переход системы в качественно новое состояние. Возможно, для западного ученого, чье мировоззрение формировалось, скажем, в духе кантианства, логического позитивизма или критического рационализма К. Поппера, здесь содержатся элементы открытия, что отчасти объясняет репутацию синергетики как пионерской дисциплины. Но советскому читателю, которого со школы воспитывали в духе марксизма-ленинизма, памятен закон перехода количественных изменений в качественные: им в марксизме объясняется и возникновение жизни на определенной стадии развития материи, и возникновение сознания, и возникновение человеческого общества, и смена одной общественно-экономической формации другой.

Вместе с тем имеются существенные различия между синергетикой и диалектическим материализмом. В частности, марксизм предлагает безальтернативную картину развития общества. Капиталистическая стадия с необходимостью сменяет феодальную стадию, и с такой же необходимостью на смену капитализму должен прийти коммунизм. Синергетике же чужда идея предзаданности исторического хода развития. Она утверждает, что, хотя набор возможных эволюционных путей ограничен, из них в силу воздействия случайных факторов может быть выбран тот или иной.

### Флуктуации. Бифуркации

Флуктуации, или незначительные, случайные возмущения в системе, играют, согласно моделям синергетики, тройственную роль.

Во-первых, они могут выступать как нейтральный фон, ровное взаимно уравновешенное мерцание всей массы внешних помех и внутренних шумов системы, не вносящее в систему заметных отклонений. Даже крупная флукту-

<sup>7</sup> Герцен А. И. Сочинения. В 4-х томах. Т. 2. Былое и думы. Ч. 4 — 5. М., «Правда», 1988, стр. 438 — 439.

ация, если она не превысила некоторого порогового значения, гасится всей остальной массой «спокойных» атомов или молекул.

Во-вторых, флуктуации могут играть роль зародыша нового состояния: при благоприятных условиях отдельная флуктуация способна вызвать разрастание островка неоднородности и нарастающее, кумулятивное усиление возмущения, последствием чего может быть закрепление такого возмущения внутри системы и готовность к изменению состояния всей системы. Если превышен порог чувствительности системы, воздействие отдельной флуктуации делается ощутимым и способным при благоприятных обстоятельствах раскачать систему и «свергнуть» ее наличное состояние.

В-третьих, флуктуация может играть роль спускового крючка или «последней капли», когда в системе, уже достигшей высокой степени неравновесности и нестабильности, потенциально готовой к скачку, он мгновенно инициируется возникшим возмущением. Это явление называют феноменом самоорганизованной критичности.

Попробуем проиллюстрировать сказанное на примерах.

Первым будет пример из области психологии. Возьмем «Исповедь» Аврелия Августина и вчитаемся в строки, где он рассказывает о своем опыте религиозного преображения. Напомним читателю, что Августин многие годы злоупотреблял вином, развратничал с женщинами и убивал время в словоблудии на собраниях влиятельных в IV веке еретиков-манихеев. Распутная и бесцельная жизнь терзала его, но он долго не мог себя перебороть. Однако со временем все же приблизился к важнейшему решению — стать аскетом.

«Я говорил сам себе: „Пусть это будет вот сейчас, вот сейчас“, — и с этими словами я уже принимал решение, собирался его осуществить и не осуществлял, но и не скатывался в прежнее: я останавливался, не доходя до конца, и переводил дыхание».

На пике мучительных колебаний Августин вдруг услышал непонятно откуда доносящийся детский голос, как подсказку: «Возьми, читай! Возьми, читай!»

«Подавив рыдания, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется».

Августин рассказывает, что он схватил апостольские Послания, «открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза: „Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти“. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было: после этого текста сердце мое залило свет и покой; исчез мрак моих сомнений»<sup>8</sup>.

Думаем, нет нужды перелагать проникновенные слова Августина на сухой синергетический язык — внимательный читатель при необходимости способен это сделать сам.

Обратимся теперь к экономике. Катастрофические падения курсов акций на нью-йоркской фондовой бирже, происходящие нечасто, но систематически (наиболее известным был крах 1929 года, его ослабленные повторения произошли, в частности, в 1987 и 1998 годах), очень хорошо описываются синергетической моделью разрастающихся флуктуаций.

Приток нежелательной информации ведет к резкому сбросу и, соответственно, падению цен акций всего нескольких крупных компаний, однако такой сброс вызывает возрастающую панику среди брокеров, которые всегда болезненно чувствительно воспринимают любые колебания рынка, высказывания ответственных государственных финансовых чиновников и даже непроверенные слухи о делах фирм, — и к концу торгового дня лавинообразно катятся вниз цены акций многих тысяч иных, вполне благополучных компаний, а с ними и показатели всей биржи.

<sup>8</sup> Аврелий Августин. Исповедь. Абельер Пьер. История моих бедствий. М., «Республика», 1992, стр. 110, 112.

Немаловажно здесь и само ожидание катастрофы, фактор самосбывающегося пророчества. В октябре 1998 года нью-йоркские брокеры с каким-то странным и упорным суеверием стали ожидать повторения катастрофического падения курсов акций 1987 года, которое тогда случилось тоже в октябре. (Не забудем, летом 1998 года сильно зашатались азиатские фондовые рынки и успела произойти банковская катастрофа в России.) И что же? Падение на нью-йоркской фондовой бирже произошло! Цены в среднем упали на крайне ощутимые для привыкших к стабильности американцев 20 процентов. Правда, американская экономика оказалась столь устойчивой, что через полгода показатели снова взмыли вверх.

Особое значение в синергетике имеет момент выбора между различными аттракторами, развилка дорог эволюции. Для обозначения этого решающего момента используется термин *бифуркация*. Путь эволюции становится жестко предзадан только после попадания в воронку аттрактора и прохождения точки бифуркации. Но до этого момента при приближении к точке бифуркации и обострении неустойчивости роль флуктуаций многократно усиливается. На сцену выходит фактор случайности.

Жизненный путь каждого человека содержит множество моментов решающего выбора, цепь бифуркаций. По сути дела, синергетическую картину жизни рисует В. В. Набоков: «Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если бы... заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Таинственная эта ветвистость жизни, в каждом былом мгновении чувствуется распутие, — было так, а могло бы быть иначе, — и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого»<sup>9</sup>.

Чем более неустойчива система, чем ближе она к моменту обострения или к точке бифуркации, тем более чувствительной она делается ко всей массе влияний, вносимых как с нижележащих, так и вышележащих уровней бытия. Эффект разрастания, усиления флуктуаций означает, что в нелинейном мире малые причины могут порождать большие следствия. Микрофлуктуации могут прорываться на макроскопический уровень и определять макрокартину процесса. Аналогичное имеет силу и для обратного влияния вышележащих уровней иерархической организации мира на нижележащие.

Нет ничего мистического в том, что в состояниях неустойчивости в функционировании подсистем человеческого организма могут вторгаться и факторы космического уровня — такие, как уровень радиации, геомагнитные возмущения, даже мельчайшие изменения в гравитации, вызванные соответствующим расположением планет как тяготеющих масс.

В нормальном состоянии среды различные уровни бытия взаимно почти недосыгаемы. Атомы, из которых строятся молекулы, составляющие, в свою очередь, клетки, являющиеся элементарными ячейками всех тканей человеческого организма, не имеют практически никакого отношения к функционированию последнего. Атомы даже не заметят, жив человек или умер. Можно управлять собственной рукой, можно, при специальной подготовке, управлять собственным дыханием или сердцебиением, но управлять хоть одним малюсеньким атомом в собственном теле никак нельзя.

А вот синергетика допускает возможность — в особых состояниях неустойчивости открытой нелинейной среды — сквозного прободения уровней, «зеленой волны» воздействия от низшего этажа организации до высшего. Флуктуация на атомарном уровне при сверхблагоприятном стечении обстоятельств может разрастись и закрепиться в качестве особого состояния на макроуровне (на том этаже бытия, где все мы обитаем), а это макросостояние, в

<sup>9</sup> Набоков В. В. Собр. соч. Т. 3. Michigan, «Ardis Publishers», 1991, стр. 17.

свою очередь, может влиться в качестве решающей флуктуации в течение процессов на космическом уровне, мегауровне. «Взбесившийся» атом перевернул Вселенную — чем не сюжет для фантастического романа...

Неравновесность и нестабильность системы, наличие в ней множества точек бифуркаций далеко не всегда ведут к ее разрушению. Очень часто, особенно на высоком уровне организации, ветвление путей эволюции и возможность спонтанной смены режимов функционирования играет для системы конструктивную роль. Чем больше у системы степеней свободы, тем более она способна к «самоподтягиванию» и самоусложнению, повышению уровня упорядоченности. В этом и выражается значение формулы «порядок через хаос». Здесь природа уподоблена поэту (и — добавим — джазовому музыканту), который, пропуская первичный материал через горнило спонтанных, хаотических ассоциаций, скачков смысла, рискованных провокационных сбивок ритма и рифмы, достигает в итоге высшей художественной связности произведения.

Как установили нейрофизиологи, мозг способен эффективно функционировать как раз на острие нестабильности обеспечивающих его функции волновых структур. Он как бы намеренно поддерживает себя в состоянии «рыскающего ожидания», предпусковой готовности к каскаду бифуркаций, подобно боксеру, который не стоит на месте, а находится в постоянных прыжках, чтобы быть готовым мгновенно из любого положения среагировать на удары противника.

Зачатки самоорганизации и самодоограивания на предбиологическом уровне связаны с появлением способности у цепей макромолекул поддерживать себя в состоянии критической нестабильности, пробуждающем в них способность «чувствовать» отклоняющие влияния враждебной среды и реагировать на них. И что еще интереснее, в случае отхода от критического состояния в сторону большей равновесности намеренно возобновлять состояние критической нестабильности. Сложные адаптивные системы постоянно эволюционируют к «краю хаоса», балансируют как на лезвии бритвы.

Эти идеи активно развиваются сейчас в рамках теории катастроф и теории самоорганизованной критичности. Последняя была разработана П. Баком и С. Кауфманом, сотрудниками Института исследования сложных адаптивных систем в Санта-Фе, штат Нью-Мехико, США. В качестве показательного примера для выражения идеи катастрофизма они берут модель поведения песчинок в куче песка. «Метафора кучи песка выходит далеко за пределы физического мышления о сложных явлениях; она содержит все: кооперативное поведение многих частиц, точечное равновесие, случайность, непредсказуемость, судьбу. Это — новый способ видения мира»<sup>10</sup>.

Упомянем еще об одном удивительном открытии. Оно также свидетельствует о том, что природа способна намеренно вызывать флуктуирующие отклонения, получающие в итоге конструктивное значение. Это открытие было сделано специалистом в области генетики растений Барбарой Мак-Клинтон, и за него она получила в 1983 году Нобелевскую премию.

Оказывается, в хромосомах существуют так называемые мобильные гены, функция которых заключается в том, чтобы перескакивать из одного места цепочки ДНК в другое и специально вносить мутации в генетический код. По всей видимости, смысл такой намеренной «порчи» собственных хромосом состоит в том, чтобы за счет увеличения числа мутаций увеличить число первичных вариаций особей, из которых затем происходит естественный отбор, — то есть ускорить, подстегнуть его, не дожидаясь медленного естественного течения. «Эволюция — это случай, пойманный на крыльях». Эта фраза французского ученого Ж. Моно лучше всего передает смысл случайных мутаций, разгадать который стремился еще Ч. Дарвин.

<sup>10</sup> Bak P. How Nature Works. The Science of Self-organized Criticality. Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 62.

Описанные явления заставляют снова и снова поднимать вопрос о наличии в природе объективной целесообразности, которая не просто пробивает себе дорогу сквозь череду случайностей; чтобы эволюционировать, природа как будто специально будоражит, подстегивает себя случайностями.

### Темпомиры. Касание неограниченно отдаленного будущего

Синергетика открывает принципы сборки эволюционного целого из частей, формирования сложных структур из относительно простых, устойчивого совместного развития, коэволюции систем<sup>11</sup>. Это одно из наиболее существенных достижений научной школы Самарского — Курдюмова.

Независимые, еще не объединенные структуры существуют, «не чувствуя друг друга». Они живут в разных «темпомирах», то есть каждая из них развивается в своем темпе. Сложная структура представляет собой объединение структур «разных возрастов» — структур, находящихся на разных стадиях развития. Например, научная школа объединяет разные поколения ученых: учителей учителей, самих учителей, активно работающих учеников и включающихся в работу новичков.

Принцип интеграции структур «разного возраста» в единое эволюционирующее целое, устанавливаемый синергетикой, таков. Интеграция относительно простых структур в одну более сложную происходит посредством установления общего темпа развития во всех объединяемых частях, простых структурах, становящихся фрагментами целого. Структуры «разного возраста» попадают в один темпомир, начинают развиваться с одной скоростью. Именно общий темп развития является индикатором того, что мы имеем дело не с конгломератом разрозненных структур, а с фрагментами одной и той же целостной структуры.

При правильной топологии, то есть пространственной конфигурации, объединяемых структур образующаяся сложная структура ускоряет темп своего развития. Устанавливаемый темп развития целого выше, чем тот темп развития, который был у самой быстро развивающейся структуры, вошедшей в целое. Выгоднее развиваться вместе, так как это ведет к экономии материальных и духовных затрат. Поэтому путь к единению фактически предопределен. При восхождении по иерархической лестнице эволюционных форм сложные структуры постепенно выстраиваются как «мозаичные камни» некоего великого и совершенного целого. Как сказали бы древние индусы, они «реализуют тело бога».

Синергетика раскрывает еще одну особенность сложных организаций, возникающих в ходе эволюции. Пространственная конфигурация сложной эволюционной структуры информативна. В одних пространственных фрагментах этой структуры процессы сегодня протекают еще так, как они шли во всей структуре в прошлом, а в других фрагментах процессы идут уже сегодня так, как они будут идти во всей структуре в будущем. Все это возможно потому, что установившиеся процессы, структуры-аттракторы описываются инвариантными решениями, в которых пространство и время не свободны, а тесно увязаны друг на друга. Синергетика как будто дает нам ключ к машине времени, к попаданию сегодня в живое прошлое и в реальное, а не гипотетическое будущее. Этот ключ, однако, действителен лишь в руках умелых. Только те, кто приобрел «синергетические очки», могут стать провидцами.

И вот наиболее парадоксальное следствие синергетического миропонимания. Если структура развивается в режиме спада активности и неограниченно разбегающейся волны, как бы в режиме «отдыха» или «сна» сложной органи-

<sup>11</sup> См. об этом: Курдюмов С. П., Князева Е. Н. Квантовые правила нелинейного синтеза коэволюционирующих структур. *Философия, наука, цивилизация*. М., «Эдиториал Урсс», 1999, стр. 222 — 230; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М., «Наука», 1994, стр. 90 — 105, 58 — 65.

зации, то процессы в центре этой структуры сегодня являются индикатором того, как они будут протекать во всей структуре в неограниченно отдаленном от нас будущем. Это — следствие анализа математических моделей сложного эволюционного поведения.

Такой режим, судя по всему, наиболее соответствует сну без сновидений, который индусы считали величайшей тайной. «Когда человек, уснув, не видит никакого сновидения, то он достигает единства в этом дыхании. В него входит речь со всеми именами, входит глаз со всеми образами, входит ухо со всеми звуками, входит разум со всеми мыслями. Когда он пробуждается, то подобно тому, как из пылающего огня разлетаются во все стороны искры, так из этого Атмана разлетаются по своим местам жизненные силы, из жизненных сил — боги, из богов — миры» — так изображается это состояние в Каушитаки Упанишаде<sup>12</sup>. Максимальной выраженности жизненных сил в состоянии бодрствования должна соответствовать на другом полюсе стадия наиболее глубокого сна, когда все силы не проявлены, собраны в одно нерасчлененное и покоящееся целое. Пребывая в этом состоянии, человек, возможно, входит в контакт с вселенским целым, начинает регулироваться универсальными связями. Происходит некая гармонизация, сверка наличных процессов с целью, с будущим порядком.

### Мыслить синергетически — действовать синергетически

Главное наставление, которое способна дать человеку синергетика с высоты своих научных позиций, может звучать так. Все в мире взаимосвязано; ты не марионетка, но и не господин, ты активный узелок в сплетении эволюционных нитей универсума, тянущихся из бесконечной дали и уходящих в бесконечную даль.

Такое высказывание созвучно традиционному мировоззрению Востока. Существо многих идей синергетики: связанность всего со всем, наличие в мире и обществе иерархии, которой хочешь не хочешь, а надо придерживаться, выражение малого в большом и большого в малом (фрактальность мира), диалектическая смена темпов и ритмов движения, подобная известному древнекитайскому символу — чередованию инь и ян, возникновение всего из пустоты и уход туда же, — сближает синергетику с воззрениями даосизма, индуизма, буддизма, конфуцианства.

Элементы синергетического мировоззрения доступны переформулировке в более или менее отчетливые практические правила поведения в окружающем нас мире. Они почти в равной степени приложимы и к действиям ученого, колдующего над неизвестным составом в своей пробирке, и к политикам, слящимся утвердить в обществе некие собственные представления о благе людей, да и к обыкновенному человеку.

Мы рискнем предложить читателю собственные формулировки таких правил.

Правило первое: «Неизвестно как откликнется». Илья Пригожин передает эту идею кратко, но весьма исчерпывающе: «В детерминистическом мире природа поддается полному контролю со стороны человека, представляя собой инертный объект его желаний. Если же природе в качестве сущностной характеристики присуща нестабильность, то человек просто обязан более осторожно и деликатно относиться к окружающему его миру, — хотя бы из-за неспособности однозначно предсказывать то, что произойдет в будущем»<sup>13</sup>. Мир, в котором мы живем, нелинеен и открыт. А в нелинейном мире возрастает вероятность свершения даже маловероятных событий.

Правило второе: «Действуй в нужном месте и в нужное время». Вслушаемся в слова конфуцианского мудреца, донесенные до нас «Го Юй» — памятником китайской политической философии V века до нашей эры. Мудрец увещевает

<sup>12</sup> Упанишады. М., 1967, стр. 59.

<sup>13</sup> Пригожин И. Философия нестабильности. — «Вопросы философии», 1991, № 6, стр. 47.



властителя одного из царств: «Сейчас оно [Небо] наблюдает за вами, поэтому не торопитесь с разработкой планов... Необходимо дожидаться наступления благоприятного времени, ибо того, кто силой стремится к успеху, ждут несчастья... При благоприятном моменте нельзя проявлять нерадивость, ибо благоприятный момент не приходит дважды. Если благоприятное время приходит, но его не используют для достижения цели, Небо отворачивает свое лицо»<sup>14</sup>.

В образе Неба, безличного божественного начала, предстает всеобщая активная среда. Она содержит в себе множество потенциальных состояний, актуализирующихся не без влияния действий людей в Поднебесной. Отклик среды на внешнее воздействие определяется соответствием или несоответствием воздействия потенциям среды. Следуй естественному пути (Дао) — и исход будет благоприятным, если же будешь противиться природе вещей — попадешь впросак.

Правило третье: «Не получится того, чего и не может получиться». В качестве характерной иллюстрации упомянем о попытке построить социализм в геополитическом пространстве бывшего Советского Союза. То социальное состояние, которое в качестве идеального прообраза замысливалось основоположниками марксизма и первыми фанатиками революции, как оказалось, не соответствовало внутренним свойствам и потенциям преобразуемой социальной среды. Не было такого состояния в числе возможных, а потому общество соскользнуло в конус аттрактора совершенно иного, потенциально ждавшего социального состояния — воссоздавшего многие существенные черты древневосточных деспотий. «Шел в комнату — попал в другую»...

Если мы выбираем некий произвольный путь развития, мы должны осознавать, что этот путь, может быть, и неосуществим, что его попросту не существует на карте возможных состояний. В таких случаях следует либо искать способы для изменения внутренних свойств системы, перестройки спектра возможных состояний, либо вовсе отказаться от попыток навязывания реальности того, что ей несвойственно. Следование данному правилу особенно необходимо в современной прогностической деятельности, в построении сценариев будущего развития человечества.

Правило четвертое: «Малым вызовешь большое, но большим не всегда добьешься и малого». В этом правиле наиболее ярко выражается принцип нелинейности. Большие затраты энергии в нелинейных системах не гарантируют получения пропорционального им результата. С другой же стороны, малое или даже порой случайно осуществленное правильное воздействие способно резонансно раскачать систему, пробудить дремлющие в среде потенции. Оно оказывается действенным, если в нужную точку «укалывает» среду.

### Немного саморефлексии

К какому главному выводу о путях современной науки приводит опыт развития синергетики? Какое будущее ожидает синергетику?

Особенность синергетики заключается в том, что она внесла с собой новый тип научного познания — познание через сопоставление с дисциплинарно иным и даже противоположным. Ведь в чем состояла и состоит главная установка западной науки? В выработке строгой системы предпосылок и доказательств *внутри* научной дисциплины, в намеренном отграничении от иного, с тем чтобы не размыть, не замутнить собственное содержание. Синергетика идет по противоположному пути — специально выйти на иное, найти изоморфизмы в самых отдаленных областях реальности. Но делает и последующий шаг — приходит к взаимообогащающему синтезу данных разных наук.

Междисциплинарные узлы, в которые периодически завязываются ответвления базовых научных дисциплин, играют роль некоего катализатора, который не заменяет сами дисциплины и не способен это сделать, но который

<sup>14</sup> «Го Юй» («Речи царств»). М., «Наука», 1987, стр. 299, 301 — 302.

стимулирует, ускоряет их собственное движение, обогащает, встряхивает устоявшийся «генофонд» их идей.

Фокус междисциплинарных исследований с течением времени неизбежно сместится, другие проблемы и средства их решения окажутся в центре внимания. Заглядывая, скажем, на четверть века вперед, можно сказать, что такое, вполне вероятно, может произойти и с синергетикой — в свой срок и она отступит в тень. Но сам междисциплинарный подход, базирующийся на исследовании сложных систем разной природы, останется столь же эвристичным.

По прочтении статьи у читателя могло сложиться впечатление, будто тридцатилетний опыт развития синергетики был каким-то триумфальным шествием всемогущей «науки наук», которая собирала и продолжает собирать под свои знамена все больше и больше преданных сторонников. Ибо мы старались до читателя прежде всего позитивное содержание синергетики и ярко продемонстрировать ее новизну. Вместе с тем критически-отстраненный взгляд, пробуя синергетику на прочность, остался не представлен. Но, как всегда бывает, когда мы имеем дело с ярким, привлекающим повышенное внимание явлением, у него возникают не только союзники, но и противники.

Разделим сначала моменты научного соперничества и содержательную критику синергетики.

Ученым не чужды человеческие слабости. Более того, как людям творческим им даже в большей степени могут быть присущи такие черты, как азарт соревнования, профессиональное самолюбие, — все это постоянно проявляется внутри международного научного сообщества. Тут дело даже не в психологических тонкостях, а в вещах куда более прозаических — по сути, это борьба за деньги и лучшие рабочие места. Наблюдая современную науку изнутри, невольно сравниваешь ее (даже если в глубине души еще остаешься идеалистом) с одним из видов индустрии или бизнеса. Наука все более американизируется, подчиняясь законам конкуренции и выживания. Кто смог завоевать внимание аудитории и вырвался вперед, тот легко получает гранты, того приглашают в лучшие университеты, того ждут, наконец, популярность и слава. Хотя соперник отстал от него всего на миллиметр или вовсе не отстал, прожектора любят выбирать один фокус. Бывая в западных книжных магазинах, в отделах науки, можно видеть, что обложки научных книг столь же яркие, а названия их столь же броски, как и обложки бестселлеров. Ученым в современном мире, чтобы обрести массовую известность, приходится «продавать себя» почти так же, как идолам рок-музыки.

Конкуренция идет и по линии «мэтр — мэтр», и «мэтры — молодые», и «молодые — молодые». Мы уже упоминали, что И. Пригожин избегает употреблять термин «синергетика». Собственно, почему? В очень большой степени по соображениям научного первенства и престижа. Высшее достижение — основать новое направление с собственным названием, которое приняли бы другие. Для той научной области, о которой идет речь в данной статье, найдется по меньшей мере семь-восемь наименований — и ни одного общепризнанного. Как в жеманных названиях известного сорта руководств «1001 вопрос про это» — все говорят «про это», но никто не хочет отдать себя под флаг чужого термина. Среди наименований: наука о сложном, неравновесная термодинамика, теория детерминированного хаоса, теория самоорганизации, нелинейная динамика, теория сложных адаптивных систем, фрактальная геометрия, теория самоорганизованной критичности... Конечно, в каждом из направлений есть своя специфика и особое внимание к тем или иным явлениям, но объединяет их нечто существенно общее. А тут получается как бы ромашка, у которой вокруг лепестки с именами, а центр так и остается неназванным. Весьма часто работы коллег из другого терминологического лагеря не цитируются и даже не упоминаются, как будто их и не существует.

На фактор личного и группового игнорирования накладывается фактор географической дискриминации. Выражается он в наличии, так сказать, поляризованной шапки-невидимки: с Востока видят все, что делается далее к Запа-

ду, но не наоборот. В таких странах, как Китай и Индия, стараются учитывать все основное, что делается в российской науке и, само собой, в науке Европы и США. В Москве мало внимания обращают на российскую провинцию. Редко какой немецкий ученый следит за работами коллег из России, Китая и даже индустриально сверхразвитой Японии, в чем сказывается, конечно, и языковой барьер. Немецкий ученый с намного большей вероятностью заметит работу соотечественника, если она издана в США. Но и в США наиболее престижными считаются университеты и научные центры Западного побережья. Причем американцы вполне уверены, что те идеи, которые мы для ясности будем продолжать именовать синергетическими, родились именно в их стране, хотя в действительности приоритет здесь принадлежит ученым Западной Европы и России.

Справедливости ради надо упомянуть, что сам основатель синергетики Г. Хакен в 50-е годы учился в Москве, владеет русским языком и хорошо знаком с работами российских ученых, в том числе С. П. Курдюмова и физикатеоретика Ю. Л. Климонтовича. Помимо руководства своим Научным центром в Штутгарте он ведет регулярную научную работу в Центре сложных систем в Атлантическом университете Флориды. Хорошо видя картину мировой науки в целом, Хакен весьма критически в одном из своих интервью отзывался об общем «равнении на Запад».

Если отвлечься теперь от личностных отношений и игры амбиций внутри рассматриваемого направления, то в чем заключаются претензии к нему по существу? Их можно кратко сформулировать в следующих тезисах.

Во-первых, синергетика хочет объять необъятное, а чем шире замах, тем беднее конкретные результаты. Междисциплинарность — утверждают ее противники: не означает ли это желание сесть сразу на несколько стульев с известным вытекающим отсюда следствием?

Во-вторых, синергетика пытается соединить несоединимое. Она упускает из виду качественные различия микро- и макромиров, явлений физического и биологического, психического и социального порядка.

В-третьих, синергетика в большинстве случаев просто навешивает новые ярлыки на старые, давно известные вещи. Отсеки ее новомодную терминологию, и обнажится остов традиционных дисциплин, в которых если и происходит прирост нового знания, то отнюдь не благодаря синергетике.

В-четвертых, не близки ли к магии некоторые практические рекомендации синергетики? Взять хотя бы тезис о больших следствиях малых действий или о «сквозном прободении» уровней реальности — чем не магические умения, претендующие на силу творить с миром что угодно? Синергетику же при желании вполне можно понять и так: найди особый финт, и на тебя как из игрового автомата вдруг выплывет гора монет. Чем-то залихватски русским, а не терпеливо немецким это отдает... «Не было ни гроша — да вдруг алтын».

Обсуждение всех аргументов потребовало бы написания еще не одной статьи. Здесь подчеркнем единственно: синергетика действительно содержит тенденцию ко все развивающейся экспансии, что не всегда идет ей на пользу и может выглядеть как болезнь роста. Синергетике необходимы самоограничение, саморефлексия относительно того, на что она способна в силу самого ее существа — и на какие области и вопросы распространение ее было бы неправомерно. В целом же оставляем выдвинутые дискуссионные тезисы на суд читателя. В споре рождается истина, и если спор о будущем синергетики, да и современной науки в целом, на страницах «Нового мира» продолжится, авторы будут только рады.



---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ

\*

## ЛОЖЬ С ИСТИНОЙ СЛИЧИТЬ

*Кинематографические мечтания*

**К**азалось бы, азбучная вещь: нельзя понять настоящее, не разобравшись с прошлым. Чем более настоящее выглядит хаотичным, «идущим вразлет», тем важнее уловить его внутреннюю логику (поскольку таковая вообще доступна человеческому уразумению), связывающую его с предшествующей историей.

Я не буду сейчас говорить о разброде, царящем среди историков в освещении многих вопросов советского прошлого, — эта тема требует отдельного продолжительного разговора. Равно как и положение с образовательным проектом. Но вот область, вызывающая, пожалуй, особую тревогу, — художественного осмысления данного периода истории. Его нет как нет. Основной вопрос «Откуда пришли и куда идем», судя по всему, перестал раздражать воображение «мастеров культуры». К каким-то частностям они обращаются, а на целое посягать не рискуют.

В литературе, констатирует Наталья Иванова в «Знамени», «произошел отказ от поисков смысла». На историю стали смотреть как на какое-то хаотическое движение теней, в котором ничего нельзя понять и которое способно только вызвать нервный смех. Образцом в этом отношении может служить «Чапаев и Пустота» В. Пелевина, где легендарный начдив и другие персонажи знаменитого фильма вырваны из исторического контекста и помещены в призрачный мир снов, «вынимающий» из них реальные содержания, допускающий любые подмены и оборотничества. На взгляд автора, то, что называют историческим процессом, есть кружение вокруг пустоты, иной реакции, кроме иронической гримасы, не заслуживающее.

Признаём, что такое отношение к истории возникло не без весомого повода: советская эпоха оставила после себя гомерические накопления глупостей, которыми еще долго смогут кормиться иронисты. Тут для них в некотором роде лукулловы пиры со своими уже, кажется, успешными сложиться застольными обрядами. Что ж, пусть на здоровье пируют, пока не пропал аппетит, но ведь и другой «жанр» требует внимания, паче того, грубо одергивает невнимательных, поворачивая их лицом к себе, — именно «жанр» серьезного отношения к действительности, «какою она была» (цитирую известное выражение Л. Ранке). И какою она до сих пор остается невыявленной в некоторых существенных аспектах.

Кстати говоря, какою бы она ни была, она, по-моему, интереснее, чем самые «яркие» сны.

Увы, литература стала почему-то «бояться» ее. То же самое можно сказать и о кино, что вызывает еще большее сожаление, если учесть, что охват аудитории здесь намного шире. Уже нет книг, которые «все читают», но еще появляются фильмы, которые «все смотрят» (по телевизору).

Возьмите два самых заметных фильма за минувший год — «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова и «Ворошиловский стрелок» С. Говорухина. В «Утомленных солнцем» Н. Михалков еще как-то пытался справиться с осмыслением советской эпохи, а в «Сибирском цирюльнике» обратился сразу к «бу-

душему» (режиссер не раз говорил, что стремился показать, какую станет Россия в будущем). Точнее, попытался связать прошлое (время Александра III) с будущим через голову советской эпохи.

Совсем миновать ее, правда, не удалось: тенью она проходит в фильме. В частности, финальное опрощение героя (для тех, кто не посмотрел фильм, поясню: юнкер Толстой, отбыв каторгу, поселяется в Сибири, где окрестянивается и женится на своей бывшей служанке), хотя и вызвано, в общем-то, случайными причинами, несет в себе некоторую символическую нагрузку, как бы намекая на близящуюся «интермедию» — между обаятельным прошлым и призванным походить на него будущим. Но «интермедия» эта настолько продолжительна и настолько сама по себе содержательна, пусть в негативном смысле, что после нее возрождение всего того, что хотел бы видеть возрожденным Михалков, — отнесем сюда широту русской природы и ее непосредственность, благородство чувств, восприимчивость к изящному, аристократическую куртуазность и офицерскую корректность — становится в высшей степени проблематичным.

То, что фильм по-своему разрушает советский миф о «проклятом прошлом», — это, конечно, поставим ему в заслугу (хотя не слишком удачно выбрано царствование Александра III, чья односторонне консервативная политика как раз приближала революцию). Но от Михалкова с его способностью нашупывать связь времен и его даром пластического мышления позволительно ждать чего-то большего.

Говорухин в «перестроечных» фильмах (я имею в виду документальные ленты «Россия, которую мы потеряли» и «Так жить нельзя»), казалось бы, кое-что прозревал в том историческом времени, которое завершалось на глазах. И вот «Ворошиловский стрелок» — полный назад от достигнутого. Имеем то, что имеем, не задумываясь над тем, где мы его «купили». Есть подонки, в которых действительно хочется вогнать пулю. И есть дед Иван Федорович (возможно, лучшая роль М. Ульянова за последние годы), мстящий за поруганную внучку сообразно с древним, ныне, кажется, всем близко-понятным, принципом «око за око».

«Откуда они берутся?» — этот недоуменный вопрос, звучащий в фильме дважды или трижды и относящийся к подонкам всех сортов, простителен Ивану Федоровичу, в чьи уста он вложен. Но почему режиссер не помог ему с ответом? В прежние времена на театре в подобных ситуациях находился иногда эмоциональный простака, который выскакивал во время действия из зала на сцену, чтобы показать актерам, за какой дверью прячутся злодеи. Глядя на то, как в «Ворошиловском стрелке» складывается «параллелограмм сил», испытываешь до некоторой степени схожий импульс.

В фильме четко разделены чисть и нечисть. Подонкам противостоят те, кого недавно называли простыми советскими людьми. Они не столько сегодняшние, сколько вчерашние, даже позавчерашние, взятые из конца 50-х — начала 60-х, из тогдашних «улиц Заречных»: в те уже далекие годы кинематографисты облюбовали дворовые ландшафты, освещаемые пробившимися из-за туч солнышком и согреваемые изнутри теплом человеческих отношений. Что-то от этих маленьких климатических радостей было в самой жизни, но были в ней и полчища затаившихся демонов, которых даже тогда можно было разглядеть при желании. А уж сейчас...

Нравы принадлежат тому пласту истории, который называют «медленнотекущим»: они не меняются так круто, как меняются идеологии и политические институты. Революция семнадцатого года, вызвавшая грандиозную ломку всего и вся, не могла одним духом покончить с привычками, складывавшимися веками. На время оглушенная, душевно-бытовая старина вышла из прежних укрытий и попыталась приспособиться к новым формам существования, чтобы смягчить страшные удары, которые претерпело человеческое общество; отчасти ей это удалось. Но удары не могли пройти бесследно, просто их действие было естественным образом задержано инерционной средой. В полной

мере их результаты сказались только в послеперестроечный период, когда окончательно погас искусственный свет кремлевских звезд. Та чернота, в которой мы сейчас плаваем, течет «из-под» десятилетий, последовавших за семнадцатым годом, и — не стоит обманываться на сей счет — долго еще будет течь.

Неужели кто-то допускает, что могла остаться без последствий слепая вера, из поколения в поколение наследуемая, в «химеру, жужжащую в пустоте» (воспользуюсь выражением одного средневекового схоласта), потребовавшую столько жертв? И в «нового человека», «узнавшего» о своем происхождении от обезьяны и призванного по всем статьям затмить «наивных» предков, имевших иные представления о своей генеалогии? Неужели не понятно, что один только факт методического уничтожения десятков миллионов ни в чем не повинных, а в значительной своей части лучших по тем или иным признакам, людей — коль скоро он становился общеизвестным — должен был произвести в человеческих душах (особенно подрастающих поколений) разрушительную работу, плоды которой мы расхлебываем сегодня?

«На другой день» после революции Максимилиан Волошин нашел точный образ того, что совершалось на его глазах и еще долго будет совершаться, когда его не станет, — «геологические оползни душ»; геологические — значит, неспешные, но зато основательные.

А если кто считает, что нынешние «нестроения» упали с неба, то такой, с позволения сказать, уровень понимания истории сам по себе есть дополнительное свидетельство постигшей нас катастрофы.

Конечно, и мировые ветры принесли кое-какие злые семена; но не проросли бы они у нас, если бы не была так примчиво подготовлена для них почва.

Досадно: знание о том, как развивалась отечественная история в уходящем столетии, в муках добытое поколениями русских людей, по-настоящему «не затребовано» художественной сферой. Не замечено фактов плодотворного «сотрудничества» художника с историком, предполагающего некоторую зависимость первого от второго (классические примеры: Пушкин — Карамзин, Вальтер Скотт — средневековые хронисты). Речь идет именно о «сотрудничестве», потому что художник в подобных случаях не просто иллюстрирует чье-то историческое повествование, но в определенном смысле «идет дальше».

Во-первых, он углубляет имеющееся в его распоряжении знание. Историк, по крайней мере добросовестный историк, стремится к возможно более точному знанию о прошедшем («каким оно было»), но точное знание, как теперь выясняется, невозможно даже в естественных науках; чего уж тут говорить об истории, которая полна неистребимых «приблизительностей». Здесь совершенно необходима какая-никакая интуиция. Но интуиция — это такой инструмент, которым свободнее владеет как раз художник. Она дает ему возможность «доработать» знание в направлении придания ему большей символической емкости; парадоксальным образом некоторые недоговоренности, характерные для символического видения вещей, не удаляют от истины, а, наоборот, приближают к ней.

Во-вторых, он «пропускает» знание через себя, через свой опыт, выстраивая личный взгляд на ход событий. Н. Иванова цитирует Л. Аннинского (цитата взята из статьи десятилетней давности): «Как удержать лицо в безликом потоке сменяющих друг друга, сминающих друг друга масс?» Хорошо поставлен вопрос. Именно с лицом дело обстоит хуже всего: оно разбито на части — как на некоторых портретах 10 — 20-х годов. Это следствие болезненных разрывов в ходе истории, отозвавшихся разрывами в сознании людей. Надо заново собрать лицо, контрапунктически соединить разъединенное, так, чтобы городу и миру была явлена правда, доселе заключенная в корешках учебных книг.

Нужны «новые песни о главном», в которых художественными средствами была бы переосмыслена и по-новому прочувствована связь времен. Чтобы можно было уйти от односторонне-синхронного восприятия всего того, что происходит сегодня. Чтобы переживаемые невзгоды не выглядели сотворенными неведомо откуда взявшимися злоумышленниками, но заняли подобающее им место в цепи причин и следствий начиная с семнадцатого года.

И надо сразу «брать быка за рога» — обращаться к теме Гражданской войны. В «Утомленных солнцем» Михалков (между прочим, почитатель идеолога Белого направления Ивана Ильина) остановился на дальних подступах к большому месту.

Краеугольным камнем в сознании советских людей служил миф о революции и Гражданской войне: в свое время его формовали «мастера культуры», давшие провести себя на мякине коммунистической идеи (лучшие из них потом долго и мучительно в ней разуверялись). Трудно представить, чтобы гремящая сухими мослами идеология могла бы на длительное время овладеть воображением подсоветского населения. Голой кости и собака не гложет. Но легковверные художники поспешили облечь идеологию плотью образов, тем самым подставив советскому режиму льстивое зеркало, безбожно искажавшее реальность. Более всего вдохновения и более всего таланта было вложено ими в произведения о Гражданской войне. Даже в предперестроечное десятилетие, когда ощущение «жизни во лжи» стало всепроникающим, данная художественная традиция еще сохраняла некоторую силу. Можно было откровенно фальшивить по поводу тех или иных сторон советской действительности или, наоборот, слегка иронизировать по тому же поводу, но только не на тему гражданки. Это было «святое»: вера, что изначально «народ сделал правильный выбор».

Вот этот фундаментальный миф и сегодня остается недостаточно потревоженным. Иначе не имели бы мы того, что имеем сегодня, когда почти половина граждан (46 процентов, по данным на ноябрь 1999-го) формулирует свое отношение к «Великой Октябрьской» как «очень положительное» и «скорее положительное»; и не выходило бы на улицу такое множество людей с красными флагами и портретами Ленина и Сталина. Да что улица — включите телевизор, и если показывают что-то о Гражданской войне, вы скорее всего увидите знакомые родные лица в краснозвездных шлемах и будете привычно сопереживать им до победного конца. Новые фильмы на данную тему, с иной трактовкой событий, крайне редки и, что самое главное, не способны составить конкуренцию старым. Напротив, старые фильмы, в частности и не в последнюю очередь фильмы о Гражданской войне, до сих пор увлекают аудиторию, и не только старшие поколения; по данным социологов, многие школьники, особенно в провинции, даже предпочитают их голливудским фильмам. Наверное, кое-кто из них пронесет свою любовь к «красным дьяволятам» до седых волос; это значит, что «старые песни о главном» сохраняют аудиторию аж во второй половине XXI века.

Сколько же можно дышать прежним спертым воздухом! Сами кинематографисты жалуются: задыхаемся без свежих дуновений, без нового мифа. Но, как говорят в подобных случаях итальянцы, а *chi tocca — tocca*, «пусть касается (в смысле: начинает, приступает к делу) тот, кого это касается». Или, по-русски: кто в деле, тот и в ответе. Еще жалуются, что не имеют за ка за, откуда-либо исходящего. В минувшие времена, когда над работниками искусств «комиссар с приказанием нависал», этого как раз было в избытке. И вот теперь, выходит, не хватает? А и вправду, заказ тоже нужная вещь; другой вопрос, откуда он исходит и кто конкретно его артикулирует. В Америке, например, в роли заказчика выступает продюсер, но фактически он озвучивает пожелания аудитории; то есть реально заказ идет «снизу», от зрительской массы. У нас «внизу» царит растерянность, идейная и вкусовая, а что касается «верхов», у которых с идеями и вкусами дело тоже обстоит не лучшим образом, но

у которых есть *интересы*, им сейчас, похоже, не до того. И может быть, слава Богу, что не до того.

Нынешнее межеумочное состояние как раз по-своему удобно: в роли «заказчика» может выступить сама правда, в том объеме, в каком она сегодня доступна. И раз уж советская традиция (в освещении революции и пореволюционной истории) проявляет такую живучесть, стоило бы, наверное, вступить с нею в спор — средствами, доступными кино. Оно сейчас, как правило, вторично, в том отношении, что отталкивается от канонизированных в советское время образов; так почему бы не сделать вторичность — содержательной, дающей новое и напугывающее знание об уже известном?

Тот же Чапаев, знаковая фигура (в «Ворошиловском стрелке» Иван Федорович зафиксирован «на фоне Чапаева», именно знаменитого кадра с протянутой рукой, заключенного в рамку и повешенного на стену), мог бы быть еще раз «мобилизован и призван». Только, конечно, не для разговора с Пустотой (пустотой) и оккультной эквилибристики, как в романе Пелевина. Чапаева стоит вызвать на разговор в том ключе, какой ему близок и понятен, — здравого смысла, народной памяти. Помню, С. Васильев (один из «братьев», создавших фильм) говорил, что, работая над фильмом, его авторы двигались от романа Фурманова, в направлении показа Чапаева как «вечного», былинного героя с его добродушием, хитростью, русской сметкой и приступами русской же тоски. Вот этого дважды виртуализованного Чапаева, далеко отошедшего от реального, еще стоило бы вызвать для полного разведения его с комиссаром, с красными вообще. Раздвинуть перед ним горизонт, вернуть к фактам истории, показать, над кем или, вернее, над чем кружил черный ворон, что на самом деле утонуло в быстрой речке, чтобы никогда больше не всплыть; «ложь с истиной сличить, поверить быль с молвой», — он поймет, что не в ту сторону протягивал руку, в какую следовало.

Пора развести Россию с революцией (я перефразирую Герцена, у которого речь идет о Франции) и привыкать называть своим именем эпилептический припадок, за который весь следующий век еще придется расплачиваться.

Кино могло бы сыграть выдающуюся роль в переосмыслении советской истории, особенно на уровне массового сознания. Один-единственный сильный фильм (при условии, что он не остался бы изолированным художественным событием, но сумел бы «погнать волну», дать начало традиции) мог бы совершить прорыв в этом отношении.

Что, естественно, эффективнейшим образом повлияло бы также и на ход политических процессов.

Ошибается тот, кто считает, что с историей «кончили разбираться»; напротив, только начали. Не может народ долго пребывать в растрепанных чувствах относительно своего прошлого. В каких его будто нарочно стремятся удержать некоторые «мастера культуры» и люди, делающие погоду на СМИ. Возьмите целый ряд передач на телевидении: события минувших лет там просто рядоположены, а с позволения сказать «урок» извлекается только один: «что было, то было». Так мы далеко не уедем. Пройденный путь должен быть доведен до ума, и все неоспоримое, что можно о нем сказать, должно быть принято подавляющим большинством народа. Чтобы он вновь мог ощутить себя народом, а не просто населением. Чтобы не было чудовищного, неслыханного разрыва между «страной детей» и «страной отцов». Чтобы людям старших поколений, таким, как говорухинский Иван Федорович, не приходила в голову горькая мысль: «Зря жили».

Слишком поспешное умозаключение. Не зря жили. Ортега-и-Гасет писал: «Подлинное богатство человека — это богатство человеческие ошибки», — имея в виду не только отдельного человека, но и человеческие сообщества. В таком случае, наш народ (прошу не искать в этом заключении даже тени иронии) — едва ли не самый богатый на свете. Но, конечно, при условии, что ошибки будут осознаны, паче того, прочувствованы как ошибки.



Порванные концы должны быть найдены и соединены. «Разорванное» сознание должно быть сшито. Весь пореволюционный хронотоп должен быть наполнен по возможности плотной вязью смыслов. Пока этого не произойдет, мы будем топтаться в том роковом кругу неудач, в каком топчемся уже почти целое десятилетие.

Среди других причин, объясняющих, почему художественная сфера охладела к поискам смысла в истории, есть, очевидно, и такая: будущее в мировом плане пугает своей неопределенностью, которую иногда хочется назвать злоеющей. Только мы вышли из долгого советского плена, как оказались на юру и на ветру, не имея сколько-нибудь ясного представления о том, куда двигаться дальше. Впереди раскидывается тысяча пересекающихся путей-дорог, одним фактом своей множественности способных отбить охоту глядеть вперед; не говоря уже о том, что нет среди них ни одной, которая была бы свободна от всякого рода грозных предупреждений. Так стоит ли обдумывать пройденный путь, если никакое знание, как сейчас кажется, не прибавит зречести в выборе дальнейшего пути?

Но так кажется как раз потому, что пройденный путь не обдуман в должной мере. Если нащупать в прошедшем сквозную нить, она подскажет, куда двигаться дальше; ретроспективное, таким образом, найдет продолжение в проспективном. И не станет нынешнего разрыва между мировыми новостями и отечественными древностями. И не будем мы пугливо спрашивать: «Что нас ждет?», но — «Чего мы хотим?»<sup>1</sup> Не история (как бы «сама собою» совершающаяся) человеку, но человек — истории задает задачи, которые сам же и решает.

---

<sup>1</sup> Требовательное отношение к будущему сейчас основательно дискредитировано полной или частичной неудачей различных проектов общественно-культурного развития, которыми богата европейская история со времен Просвещения. Только внеисторическая ориентация (обращенность к Благой Вести) по-прежнему позволяет повелительный тон в адрес действительности — разумеется, без надежд на какое-то ее окончательно-успешное устройство и с соблюдением должного такта в отношении протекания естественных процессов.



# О П Ы Т Ы

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА



## ИСКУССТВО НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ

*Веселые заметки о грустных обстоятельствах*

**Ч**то надо сделать для того, чтобы жители Екатеринбурга стали в массовом порядке прыгать с Царского моста в реку Исеть? Надо, как в известном анекдоте, поместить на перилах табличку: «Прыгать в воду категорически воспрещается». Поскольку уральские горцы очень не любят, чтобы кто-то что-то им запрещал, то к табличке выстроится очередь купальщиков с мороженым, а старые, похожие на печные своды Царского моста огласятся уханьем и плеском металлизированной исетской водицы. Что касается самой таблички, то на ней обязательно что-нибудь напишут и нарисуют. К ней привяжут подвядшие воздушные шарики, кто-нибудь повесит и забудет на ней растоптанные носки, под нее поставят мыльные бутылки из-под свежего пива. Потом ее украдет — если его не опередит расторопный Музей молодежи — какой-нибудь частный коллекционер. Вот эта табличка со всем, что к ней окажется приложено, и будет произведением современного народного искусства.

Когда-то — этого времени мое писательское поколение почти не застало — благословенные таблички с запретами были развешаны на каждом шагу. В сущности, литераторы, не собиравшиеся служить режиму, писали на этих табличках. Белого места на них было предостаточно. Анекдот присутствовал в подтексте и был чем-то вроде модели вечного двигателя, как минимум — электрической батареейкой. По большому счету на полях запрета могло быть помещено произведение, не имеющее к запрету — как текст к тексту — ни малейшего касательства. Так и происходило с настоящей литературой, особенно с поэзией: она, не желая того и даже не зная о том, паразитировала на текстах, относившихся, в сравнении с нею, к разряду простейших. Симбиоз творца и таблички — тем более неизбежный, чем менее он субъективно предусматривался, — остается и сегодня плодотворной темой для художественного исследования. Например, Фазиль Искандер в повести «Поэт» показал поэта, который был неправдоподобно чужд социальности и не распознавался ни как «советский», ни как «антисоветский». В результате герой настолько впал в несуществование, что его физическое присутствие воспринималось как явление призрака. Именно потому его богатырские габариты и гремящий голос пугали людей литературы и окололитературы: поэт был большой и страшный. Он обрелся нигде и везде: мог писать стихи о средиземноморских островах, на которые не ступала его по-советски обутая нога. «Я работаю над стихами до упора, пока не почувствую, что вес строки равняется весу моего тела», — говорил герой о себе, и, видимо, автор заключил в высказывание о творческом процессе тонкий парадокс. Могушая работа по уравниванию своего материаль-

---

Славникова Ольга Александровна — прозаик, критик, эссеист. Родилась в Свердловске (Екатеринбурге); окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Главный редактор екатеринбургской газеты «Книжный клуб». Печаталась в журналах «Урал», «Знамя»; в «Новом мире» выступает как прозаик (роман «Один в зеркале», 1999, № 12) и автор литературно-критических статей об А. Битове, В. Распутине, В. Белове, Ю. Малецком, «позднем» С. Залыгине и других.

ного и духовного «я» на самом деле происходила в невесомости, табличка с запретом прыгать выше головы, прикрепленная к корпусу реальности, едва ли соединялась с поэтом какой-нибудь плавающей пуповиной. Надо ли говорить, что, изданный и награжденный Государственной премией, поэт-привидение грузно осел в действительность и порадовался, что успел написать про острова прежде, чем воочию увидел их грубый материальный эквивалент.

Забавно, что во времена табличек с надписью «Воспрещено» искусство — за исключением особо «призрачных» случаев — принадлежало народу. Потому что народ эти таблички — воровал! Незаконное присвоение «Архипелага ГУЛАГ» в четвертой землистой машинописной копии или «Других берегов» Набокова в виде коробки склеившихся фотокарточек психологически ощущалось как кража. Соответственно деньги в процессе как бы не участвовали. То есть в действительности они тихонько струились где-то глубоко внизу: я, например, знавала двух почему-то очень похожих между собою молодых людей — изящных, примерно в семь восьмых натуральной человеческой величины, ловко упакованных в ярко-синюю джинсу, — чей бизнес на подобных копиях и на брошюрах Института философии с грифом «ДСП» был фантастически рентабельным. Однако же передача им денег воспринималась не как плата продавцам за такой-то товар, а как содействие сообщникам, *добровольный* взнос в альтернативную партийную кассу. Соучастие в общенародном преступлении (хотя за это давным-давно не сажали) так же перекликалось с коммунистической партийностью, как простодушная синева тайваньских «Вранглеров» — с красным цветом наивных, будто вещи из «Детского мира», единиц наглядной агитации. Это простое уличное «ля-ля» служило, однако, фоном некой духовной работы. Если уж вещь присвоена, если она твоя, стало быть, твое все то, что в ней имеется в наличии. И люди, хотевшие всего лишь оскверненную табличку с запретом (чтобы дополнительно ее осквернить фактом своего единоличного обладания), читали и то, что получали в нагрузку. И смотрели фильмы! И ходили на выставки! Случались, правда, и курьезы. Некий приобретаемый мужчина очень долго подозревал меня, тогда первокурсницу журфака, в том, что я сама «слепила» на своей портативной хрюмьской «Москве» не что-нибудь, а «Гадких лебедей» («Эту пошлую болтовню!») и приписала авторство братьям Стругацким, чтобы смутить нездоровыми образами и чужим авторитетом его регулярный интеллект. По этому поводу целую зиму выяснялись отношения на тесных, как баньки, дискуссионных кухнях и на смертельных, сожженных до белого тлена и углей трамвайных остановках (почему-то зимы в годы моего студенчества стояли огромные, как пепелища, сорокаградусные, как водка, теперь таких и нет — не потому ли, что и духовный климат стал демисезонным?). Теперь этот бывший товарищ, а ныне господин (непринужденнее многих сменивший то, что Виктор Пелевин остроумно назвал «социальными артиклями») книг не читает в принципе; кто в действительности был автором содержимого той замурзанной журфаковской папочки (с лицемерной и пижонской надписью «В номер»), ему по барабану. Хоть Леонид Ильич Брежнев. Сын его, очень похожий на папу и почему-то немного на Брежнева, честно уверен, что книгу «Гадкие лебеди» написал Пол Андерсон.

Когда драгоценные таблички стали стремительно исчезать из нашей жизни, первым, кто в Екатеринбурге почувствовал движение стихий, был критик Слава Курицын. Он объявил великий почин: всем народом собирать, *пока не поздно*, снимки и описания памятников Ленину Владимиру Ильичу. Появляясь в редакции журнала «Урал», Слава предьявлял желающим свежие пополнения своей народной коллекции. Был там, помнится, лирический снимок, где гипсовый бюст Ленина, будто белый кот, *сидел* на подоконнике, этаже примерно на восьмом, и глядел на сероватый, в реальности столь же неизменный, как в изображении, урбанистический пейзаж — в свою очередь из-за грязных стекол очень похожий на фотографию. На другом фотоснимке практически тот же бюст, но уже *стоящий* на полу, был почему-то страшный, будто голова про-

фессора Доуэля при галстукe. Эти комнатные экземпляры сильно отличались от экземпляров уличных, точнее, от площадных. Первые были белые, вторые неизменно темные, на фоне папиросных облаков. Снизу, в размахе, энергичный шаг вождя с обрывистого постамента воспринимался как попытка суицида, что драматически подчеркивалось затаившимися в облаках темнотами безумия и образующими небесные воронки стаями птиц. Имелись, кажется, и парковые варианты, на фоне пухлой сирени. Самым впечатляющим эффектом коллекции было какое-то глубинное сходство образцов, не объясняемое отсылком к общему историческому оригиналу, то есть собственно к Ленину Владимиру Ильичу: очевидно, что в основе тиражей был не реальный, но ментальный прообраз — идея вещи, которую можно *сделать* из того либо из другого материала. Между прочим, в коллекцию, насколько мне известно, так и не вошел главный Ленин города Свердловска — памятник на площади им. 1905 года, одетый в пальто. Возможно, он был настолько очевиден и достижим, что собиратели оставили его на потом; возможно также, что иерархия ленинских памятников, во многом совпадающая с чиновничьей иерархией (что связано с ответственностью за те или иные учреждения и территории), требовала начинать работу с низов — с гипсовых директоров НПО и НИИ, — так что добраться до директора центрального свердловского огорода коллекционеры не успели, выдохлись. Может быть, как раз ленивый Курицын виноват, что упомянутый гендиректор продолжает жить на площади активной политической и литературной жизнью. Сейчас его подсобное трибунное хозяйство почти ежедневно используется под коммунистический митинг, состоящий из пары-тройки казаков с виляющими шашками, невеселых, по сравнению с тем, что было, красных знамен (некоторые из них почему-то оранжевые), из разреженной группы сочувствующих зевак и одного мегафона. По этому мегафону часто выкрикивают стихи — совершенно чудовищные, с рифмами как вставные челюсти, со словами на «ить»; слышала сама, как автора этих текстов (фамилию, по счастью, заглушил трезвон застрявшего в толпе и в барабанных перепонках красного трамвая) оратор называл «народным поэтом». Еще на митингах иногда маячит такой специальный ящик — явно для денег, но очень похожий на избирательную урну. Можно ожидать, что часть пожертвований пойдет на издание стихов.

Сегодня деньги участвуют в литературном процессе явно и недвусмысленно. Производство табличек-носителей прекращено, все, что оставалось от прежнего режима, по второму и по третьему разу употреблено соцартом. Соответственно о краже искусства не может быть и речи. Романтика сменилась такой приземленной вещью, как законная сделка: плати за книгу и бери ее. И делай с ней что хошь. Можешь читать, можешь ставить на нее сковородку с жареной картошкой. Бумага есть по-прежнему носитель сверхрациональных смыслов — но только не та, что в книжном переплете, а та, что в банковской упаковке. О мистической роли денежных знаков, научившихся в последнее время из безобидного житейского количества переходить в опасное качество, уже написан очень хороший, веселый роман — «День денег» Алексея Слаповского. Там трое друзей, обнаружив за ящиком у магазинного крыльца пакет с большими рублями и долларами, стремятся правильно «прочесть» попавшую им в руки книгу судеб, своих и чужих. В результате читают запоем — то есть, попросту говоря, пропивают. У Слаповского выпивка со всей сопутствующей ей душевностью есть мягкая форма рока, оставляющая все и всех более или менее на своих местах: в этом качестве она нейтрализует роковой потенциал находки, грозившей увести друзей то на край света — во Владивосток, то на какой-то безымянный, полный бандитов полустанок, то попросту убить по бытовухе. Однако с литературой у денег другой характер конфликта, что выражается даже и в конфликте материальных носителей. Приведу пример из жизни. Одна интеллигентная дама, все собиравшаяся на досуге перечитать Маканина, хранила двести долларов сбережений в сборнике его повестей «Долог наш путь», выпущенном издательством «Вагриус». Плотный, богато позоло-

ченный томик как хранитель двух бумажек по сто был выбран, как я полагаю, из уважения к писателю, из смутных соображений долговременности его искусства — чего не скажешь ни об одном из действующих российских банков. Однажды, желая проверить деньги и убедившись в их исправном наличии, дама (будучи одна в квартире) вдруг увлеклась, опустилась на диван, поставила себе под спину плюшевую подушку и углубилась в чтение. Первое время одна из сотенных служила ей закладкой: когда читательница выходила на кухню поставить чайник, зеленый долларовый краешек явственно топорщился из белого среза маканинских страниц. Однако, вернувшись и схватившись за книгу, женщина не отыскала места, где читала; деньги исчезли тоже. Короткошерстный цветистый диванчик был не только осмотрен, но и обшарен ладонями; из-под него, словно домовые, были выгнаны веником легкие пыльные комья; подушка, будучи распорота, вывалила безобразную кучу старого поролон, похожего на пшенную кашу. Все оказалось тщетно: доллары словно утонули в толще маканинской прозы. Видимо, если бы дама не читала то, что было в данный момент не совсем книгой, она бы избежала загадочных потерь.

Тем не менее в борьбе между деньгами и литературой почти всегда побеждают деньги. Искусство принадлежит народу постольку, поскольку народ его покупает. Или не покупает. По мнению многих, вернее второе. На пресс-конференции в связи с объявлением последнего букеровского «шорт-листа» один известный критик (что характерно, представитель газеты «Коммерсантъ») задал вопрос: как получается, что букеровское жюри выбирает совсем не те тексты, которые выбирает читатель? То есть почему финалисты русского Букера всегда коммерческие неудачники, в то время как финалисты британского Букера расходятся чуть ли не стотысячными тиражами? В подтексте вопроса, как мне показалось, прозвучало подозрение: а нет ли тут скрытого намерения, полусознательного заговора двоечников и троечников хиреющей словесности против настоящих лидеров русской литературы? Я, как член жюри, отвечала на этот вопрос и после узнала свои слова в «Коммерсанте» как бы отцеженными через тряпочку. Та жидкость, что слилась в газетный текст, — она ни о чем, поэтому есть смысл вернуться к проблеме в спокойной обстановке.

Поведение писателя — лишено опоры на цензуру и желающего, допустим, просто выразить свое ощущение жизни в адекватной художественной форме — есть поведение всего лишь одного из участников книжного рынка. Есть и другие персонажи. Их поведение надо также учитывать и понимать (при этом иметь в виду, что рынок российский отличается от рынка столичного, причем граница между этими территориями так же физически реальна, как граница между суверенными государствами). Ни для кого не секрет, что как бы ни были хороши дела у качественных британских писателей, их тиражи все равно не сравняются с тиражами тех же дамских романов. Это общекультурная ситуация, обязательная и для России, и для Запада модель. Но у нас особенность та, что разница между тиражами коммерческой и некоммерческой литературы (как минимум на порядок) оказывается роковой. Дело в том, что книги поэзии и неразвлекательной прозы очень плохо проходят через капилляры мелкооптовой и розничной торговли. Всем понятно, что место на книжном прилавке стоит торговцу денег (аренда, зарплата сотрудникам, налоги — плюс такие, например, интересные вещи, как приведение крыльца и вывески в соответствие с эстетическими запросами городского чиновника). Допустим, справа у торговца лежит очередной Меченый, слева что-нибудь элитарное от «Вагриуса». Справа в день уходит половина книжной пачки, слева — один экземпляр. Понятно, что правое место работает лучше левого. И торговец убирает элегантный вагриусовский томик, чтобы положить рядом с Меченым очередного Отмороженного. И не потому, что он тупой или питает по отношению к серьезной литературе недобрые чувства. Просто налоги таковы, что иначе ему не выжить. Вообще после кризиса возможность маневра сузилась у всех: многие буквально живут в щелях. При этом лучшие читатели, каких я только знаю, — это как раз мелкие книжные торговцы: из старых, еще совет-

ских книжников, что когда-то дежурили возле букинистических, крутились в московском Измайловском парке и на свердловской Яме (это был, насколько помню, глубокий кювет между двух грязнощих, с корытами слякоти, окраинных дорог — безумный пикник на обочине, подвал под открытым небом, где книжки лежали чистые, будто сахар или хлеб). Эти читатели относились к статье, которая над ними висела всегда, примерно так, как люди относятся к гастриту; библиотеки, которые они собирали и умещали в своих малогабаритках, поражали одной своей визуальной мощью, как поражает воображение филармонический орган. Теперь не они, а другие люди, мыслящие не текстами, а сообщающимися объемами поставок, товарных кредитов, оптовых скидок и складских площадей, что называется, поднялись; зато постаревшие книжники, это особое человеческое племя, вырастили детей, подобных себе, и удержали их при себе. Так и оставшись «сумочниками», эти семейные артели таскают из столиц на горбу книжки от «Ивана Лимбаха», от «Ad marginem», от «Симпозиума», от «НЛЮ-Соло», даже от небольшого, не особо озабоченного маркетингом издательства «Грантъ». Зарабатывают главным образом тоже на книжки.

Исключения из правил конечно же не делают рыночной погоды. А погода нынче такова, что рукопись, не имеющую целью развлечь читателя и даже просто не вписывающуюся ни в одну из раскрученных издательских серий, продать в нормальном рыночном смысле — невозможно. В екатеринбургской газете «Книжный клуб», которую я возглавляю и которую пытаюсь вести как симбиоз обзоров книжного рынка и местной «Литературки», несколько месяцев шла дискуссия об экономических аспектах отношения писателя и общества. В ходе дискуссии известный критик, экс-главный редактор журнала «Урал» Валентин Лукьянин симптоматично определил труд писателя как «общественно полезный». Симпатично — потому что в этом определении непреднамеренно прозвучал коммунистический субботник. Когда я прихожу с рукописью в тот же «Вагриус», я не могу сказать: «Купите это у меня, потому что вам это выгодно». Я фактически говорю: «Мной проделана большая, экономически абсурдная работа, теперь настала ваша очередь — издайте это и потеряйте на этом деньги». И «Вагриус» выпускает книгу, направляя реальные средства в псевдооборот и недополучая норму прибыли.

Держу в руках собственный роман, взятый с книжного прилавка (это совсем не то, что взять его же из пачки авторских экземпляров: напоминает нечаянную уличную встречу с собственным прошлым, например, с однокурсником — каким он стал за годы, пока мы не виделись?). Эта книга — вроде бы моя! — на самом деле очень странный предмет. Она продается. Товаром в ней является бумага, обложка, то, что сделала с тем и другим типография. Но — не содержание, не текст, который *изображен* на страницах, но временами кажется куда-то осыпавшимся. Получился пирог без начинки, материальная форма, самодостаточность которой изобретательно передана в романе Юрия Полякова «Козленок в молоке». Там некий литератор на спор, при помощи, как бы мы сказали сейчас, PR-технологий, сделал из полуграмотного работяги всемирно известного писателя. При этом «гений» Виктор Акашин не написал ни строчки, «шедевр» его представлял собой пару папок чистой бумаги. Впоследствии «шедевр» так и был издан: дорогая обложка, в ней — солидный блок абсолютно чистых страниц. И покупали — это. Покупали хорошо. А было ли слово?

Вообще попытки превратить серьезную литературу в товар предпринимались — и среди них бывали совершенно замечательные случаи. Критик Евгений Харитонов рассказывал, как на заре книжного рынка, когда среди издателей была большая мода на Бориса Вальехо, ему на ярмарке в «Олимпийском» попался уникальный артефакт. На обложке книги были изображены две «вальеховские» женщины, летящие на драконе, — и только когда критик взгляделся, он прочел: «Федор Достоевский. Идиот». Теперь жалеет, что не купил. Я, в свою очередь, упустила случай добыть прекрасно изданный сборник одной

пермской поэтессы, снабженный руководством: такое-то стихотворение, в силу заложенной в сочетании слов экстрасенсорики, помогает от давления, такое-то (насколько помню) является заговором от дурного глаза, такое-то повышает умственные способности... Будучи упущены, подобные монстры и кентавры ныряют в небытие. А жаль: за одно десятилетие своего существования российский книжный рынок насоздал такого, что можно организовать Книжную Кунсткамеру — гораздо большую, чем любой оптовый книжный склад.

Писатель, таким образом, объективно является экономическим вредителем. Поскольку реальный платежеспособный спрос на его продукт в нынешних экономических условиях отсутствует, его усилия должен оплачивать не тот, кто читает литературу, а тот, кто полагает, что литературу надо читать. Издатель, спонсор, государственный чиновник, какой-нибудь фонд, митинговый ящик для пожертвований. Логично предположить, что искусство принадлежит спонсору. Однако очень часто у дающего деньги понятие о литературе столь же общо, сколь и понятие о народе: контактировать с конкретным текстом для него по жизни так же непродуктивно, как разговаривать с отдельными прохожими о проблемах власти и электората. Как правило, в его представлении целокупные «писатели» обращаются к целокупным «читателям». Первых количественно меньше, чем вторых, зато каждой персоне из первой группы математически соответствует много персон из второй. Чем выше (именно в количественном отношении) валентность писателя, тем он, соответственно, народнее, то есть нужнее народу. Тут налицо противоречие: на деньги спонсоров очень часто издаются книги тиражом 500 экз. Видимо, все зависит от способности автора внушить спонсору благую мысль о высочайшей валентности каждого экземпляра. По моим наблюдениям, удачнее всего это получается тогда, когда предъявленный к изданию текст говорит наиболее бытовым языком. В этом случае между автором и текстом возникает какое-то особенно убедительное для спонсора *портретное* сходство: если каждая из пятисот получаемых на выходе книжек тоже Собакевич, значит, множительный процесс, с точки зрения спонсора, пошел хорошо. Еще я заметила, что весьма охотно — видимо, из каких-то подсознательных количественных устремлений — выделяют деньги на издание книжек те персоны, которые в обозримом будущем надеются выиграть какие-нибудь выборы (но не во время избирательной кампании!). Все это тонкости процесса, которые надо знать. В результате выбивает деньги на свое издание не тот, кто лучше пишет, а тот, кто лучше выбивает. Лично мне известны специалисты, выпускающие в год по три-четыре наименования своей поэзии: книжные пачечки складываются печечкой в дальнем углу семейного жилья.

Мне могут возразить: условия кризиса, к которым мы, подлецы, уже начинаем привыкать, не есть нормальные условия жизни человека и литературы, по которым можно было бы делать корректные обобщения. Хорошо: допустим, мы все-таки вышли из кризиса. Большинство населения страны составляет средний класс, у каждого представителя среднего класса есть по дому, по два автомобиля и по три места работы. Что в этом контексте представляет собой писатель? Писатель встает поперек магистрали экономического развития. Плодя читателя, он заражает общество опасной каверной. Потому что настоящий читатель не станет искать еще и четвертую работу, чтобы приобрести новейшую марку компьютеризированного холодильника. Он, скорее всего, плюнет и на третью, и на вторую, чтобы, придя домой и *не включив* старый выпученный телевизор, завалиться с книжкой на удобно продавленный диванчик. В результате товары не продаются, денежный оборот замедляется, не создаются новые рабочие места для тех, кто все-таки хотел бы холодильник: а) произвести, б) приобрести. Таким образом, труд писателя оказывается опять же не общественно полезным, но общественно вредным. Писатели — это темноты экономики, враги народа.

Сегодня писатель, чувствуя свою неуместность в пейзаже, нередко выглядит как человек, возвращающийся с маскарада и не поймавший такси. Это он

так маскируется. «Русский писатель идет по улице, на поводке у него дрессированная мышь, за пазухой у него комплект перьев страуса...» — писал уже упомянутый Слава Курицын, наверняка имея в виду и своих екатеринбургских друзей (мне даже интересно, не те ли это перья, что были выщипаны из моего наследственного веера в одну особо тупиковую новогоднюю ночь, — в этом смысле весьма подозрительно слово «комплект»). Однако как бы писатель ни рядился, как бы ни попирал и ни пожирал созданное до него другими писателями, все равно он на протяжении всей человеческой истории остается, по сути, неизменным. Писатель — это темная константа всех общественных формаций: от него никуда не денешься. А поскольку литература, как и все искусство, существует обособленно и развивается по своим законам, в автономном режиме, то она не разбирает, полезна она или вредна. Преследуя внутренние цели и стремясь единственно к максимальной реализации своего потенциала, литература приносит обществу весь вред, какой только может принести. И экономический, и всякий другой. Сергей Юрский в интервью «Книжному клубу» так определил деятельность ряда продвинутых литераторов: «Они не только отражают разрушение как внешний процесс — они сами это творят». Поскольку, как это выразил Курицын, происходит «слипание автора художественного произведения с самим произведением, совмещение времени жизни с временем творчества» — то есть в актуальных художественных практиках, будь то создание текстов или чего-то другого, идет возвращение идеального в материнскую реальную среду, — выразить что-то можно, только действительно «это сотворив». Сегодня Достоевскому пришлось бы самому, не перекладывая дело на героя, убивать старушку. Вспоминается гениальная карикатура: лодка посреди условной реки, с лодки бородатый мужик швыряет в воду растопыренную собачонку, на берегу пирамида клеток с такими же несчастными двортерьерами. Подпись: «„Муму“, дубль семнадцатый». Что ж, видимо, таков этап. Остается только надеяться, что он — не эпоха.

Мы не выясним, принадлежит ли искусство народу, если не поймем, что представляет собой читатель. Это на самом деле всего трудней. Если писатель, будь он Иванов, Петров, Сорокин, — это всегда конкретная персона и конкретное имя, то читатель — Великий Аноним. Самый лучший читатель всегда молчит. О самом его существовании можно судить лишь косвенно: по таинственному исчезновению тиража. Иногда ловлю себя на мысли, что когда неизвестные мне люди покупают мою книгу, я действительно не знаю, что они с ней делают.

Мне кажется, что по отношению «писатель — читатель» некоммерческая литература принципиальным образом отличается от коммерческой. В первом случае автор обращается не к читателям, сколько бы их ни было, но к читателю. Каждый раз — к одному. Общение с хорошей прозой и тем более с поэзией есть процесс интимный. Он разрушает ту читательскую целокупность, без которой спонсор (да не оскудеет рука дающего!) не видит у книги серьезного адреса (вот кстати: не связано ли представление об учительской миссии литературы с чисто зрительным представлением об организованной аудитории, сидящей в аудитории?). Коммерческая литература, напротив, эту целокупность укрепляет. Савелий Бешеный, как и Конан-варвар, как и супербоевой пловец Кирилл Мазур, — один на всех. Коммерческий текст состоит из блоков, для которых в каждой читательской голове уже имеется типовая схема сборки. Побочный эффект может быть, к примеру, такой: когда я вспоминаю сюжет какого-нибудь боевика, то часто не могу сказать, читала я это в книге или видела в кино.

Соответственно коммерческий и некоммерческий писатель обитают совершенно в разных физических континуумах. Последний, пребывая в нормальном человеческом измерении, не ощущает ничего особенного и — будь он хоть живой классик вроде Маканина или Битова — может оставаться частным физическим лицом. Первый неизбежно ощущает притяжение меньшей массы



к гораздо большей: совокупное тело его аудитории невидимо присутствует в литературном подпространстве и потягивает, посасывает писателя, меняет его представление о верхе и низе и в пределе может вызвать полное писательское затмение. Более того: в этом теле идут индуцированные самим писателем небезопасные процессы. Читатели, осознав себя аудиторией одного и того же популярного автора, начинают сперва искать друг друга по тусовкам, по сети Интернет, а затем они начинают искать друг друга физически, чтобы осознать себя уже коллективом. И вот когда это наконец происходит, подпространственное читательское тело с шумом выходит в реальное пространство. И требует себе писателя тоже физически и живьем. Так, прошлым летом в рамках фестиваля «Неофициальная Москва» состоялся слет фанатов Виктора Пелевина. Сам Пелевин к народу не вышел.

Тут следует вспомнить о представителе газеты «Коммерсантъ» и вернуться к его вопросу и его подтексту. Понятно, что под коммерчески успешными литературными лидерами, которым из тайной зависти никак не дается должный букеровский ход, критик подразумевал Владимира Сорокина и Виктора Пелевина. Сегодня Пелевин и Сорокин — это как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Успешность их как будто опровергает все, что было сказано выше в данных заметках. Тиражи романов Пелевина, по сведениям из «Вагриуса», уже приближаются к тиражам самых раскрученных боевиков. Критики говорят, что Пелевин работает на стыке коммерческой и «настоящей» литературы. Очень трудно представить, что это за стык: по-моему, в пропасть между ветвями российской словесности можно уместить несколько национальных европейских литератур. Мне представляется, что феномен Пелевина можно понять, только если понять феномен его аудитории. В уникальной российской ситуации, когда чтение книжек еще воспринимается по старой памяти с положительным знаком, а жизнь уже не оставляет времени для полноценного контакта с литературой, у нас сложился особый тип нечитающего читателя. Это примерно тридцатилетний индивид с высшим образованием, с реальным либо латентным стремлением зарабатывать деньги, с неплохими амбициями и мозгами, — но литература не входит в круг его ближайших приоритетов. Тем не менее он хотел бы — по разным причинам — быть причастным к самым продвинутым ее образцам. Такому читателю нужен только один, но зато Самый Главный писатель. Необходимый и достаточный для того, чтобы судить о литературном процессе и кого-то к месту цитировать. Фактически ему требуется человек-дайджест. Нужно трезво понимать, что Общепризнанный Гений — это ниша на книжном рынке. Она принципиально одноместная. Эту нишу, вероятно, мог бы занять кто-нибудь другой из талантливых фантастов: например, Сергей Лукьяненко или Андрей Столяров. Из фантастов — постому что нечитающему читателю требуется игровая литературная форма: с одной стороны, создающая у него лестную иллюзию работы его ума, с другой стороны, достаточно безразмерная, чтобы внутри нее можно было свободно оперировать цитатами из его же обиходного контекста. Нечитающий читатель хотел Пелевина — он Пелевина получил. При этом мало кому заметно, что Пелевин-писатель реально больше направленных на него ожиданий народных масс. Он как бы принимает условия игры — но контрабандой протаскивает в *правильно* сработанный бестселлер много хорошей литературы. Читатель Пелевина потребляет — Пелевин «делает» читателя втемную. Последняя его вещь, уже *пресловутый* «Generation 'П'», — очень сердитый роман. Он действительно составлен из стандартных компонентов и отрабатывает уже бывшие у Пелевина приемы: на нем разборчиво красуется знакомая потребителю торговая марка. Однако читающий читатель не может не заметить, что история криэйтора Татарского, ищущего стену, на которой нарисована стена, жестоко испаривает ту культурную ситуацию, которая и держит на весу популярность Виктора Пелевина. В «Generation 'П'» встречаются совершенно гениальные высказывания, например: «Прямо перед его лицом на стене был плакат с надписью „Путь к себе”

и зовущая за угол желтая стрелка. Душа Татарского на секунду оторопела, а потом ее заполнила мрачная догадка, что „Путь к себе” — это магазин».

Что касается Владимира Сорокина, то он, с одной стороны, альтернативен Пелевину, с другой — счастливо его дополняет. Сорокин как бы более элитарен, более, как его определяют критики, «бескомпромиссен». Аудитория у Пелевина и у Сорокина, видимо, разная, и очень может быть, что эти две группы читателей, подобно картам в карточном домике, совпадают только верхними краями: там, где критики и слависты. (Очень может быть и то, что благодаря такому совпадению сооружение и стоит.) Тому, кто ни разу не читал Сорокина, *должно* хотеться его прочесть. Ситуация напоминает анекдот: человек в некотором подпитии идет мимо столба, видит на нем высоко прибитую табличку, но не может разобрать, что на ней написано. Любопытство и кураж заставляют человека лезть на столб. Движения его неверны, он несколько раз срывается, съезжает пузом по столбу, но продолжает стараться. Наконец он достигает цели и читает надпись: «Осторожно: окрашено». Примерно таков фирменный эффект Сорокина: когда мы понимаем, что это такое, мы это уже прочли. Однако последний его роман «Голубое сало» почему-то отсвечивает эффектами Пелевина. То есть он построен совершенно иначе, нежели пелевинские бестселлеры. По художественной конструкции «Голубое сало» — это имперская иерархия, деспотия эпизода над эпизодом, смысла над смыслом: может быть, поэтому роман, при любом его неприятии, создает ощущение грубой мышечной мощи. И вместе с тем он уснащен вполне носибельными фенечками вроде того китайского лепета, который услышишь теперь в любой гуманитарной студенческой курилке. Вот будет занятно, если следующий роман Пелевина окажется «окрашен» Сорокиным!

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать: искусство не принадлежит народу, потому что народ его не покупает — либо потому, что покупает, и это тоже по-своему чревато. Поработав за деньги и выложив эти деньги за книгу, читатель считает, что на этом его труды закончены: он не готов признать, что от него реально требуется что-то еще. Серьезная литература все больше окукливается: молодые поэты уже довольствуются тем, что просто дарят друг другу свои малотиражные книжки. Что касается литературы в Интернете, то она, насколько могу судить, по большей части непрофессиональна: там никто особо не добивается, чтобы вес строки был равен весу собственного тела. Писательство как полноценная профессия, видимо, уходит в прошлое. А вот теперь, сказав все эти банальности, я себя опровергну — потому что бывают исключения, которые начисто отменяют правила. В одном из районов сирой свердловской глубинки живет легендарная бабушка-книгоноша. Из транспорта у бабушки — только шаткая сумка на колесиках. С нею неправдоподобная старушка пешком обходит окрестные деревни, развозит на себе «под заказ» обветшалые книжки из районной библиотеки. Кажется, что-то ей в библиотеке платят, а может, и не платят. Бабье плаксивое пение этой тележки, ковыляющей игрушечными колесиками по разбитым, как окопы, колеям грузовиков, — вот звук, который мне хотелось бы физически услышать, когда у меня не идет глава.

Екатеринбург.

---

---

---

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО



## СИНДРОМ КУРИЛОВА

**И**стория эта много лет медленно и буднично накапливалась в виде случайных разрозненных впечатлений и сведений где-то на периферии памяти, в собственно историю (для меня — актуальную и жутковатую) она сложилась вдруг и именно сейчас.

Лет тридцать назад был такой писатель Семен Курилов. Юкагир. В те времена на территории Якутии еще существовала эта народность. Я успел их застать. Даже видел одного настоящего юкагира (остальные, встреченные потом, не в счет — юкагирами они оставались только по крови). Я встретил этого юкагира в крохотном якутском селе, где в качестве только что приехавшего по распределению учителя знакомился со своими учениками на сельхозработках. Поле наше было примерно в километре от села. Не дальше. Мы копали картошку, и я время от времени поглядывал на дорогу, по которой от села к нам в течение уже сорока минут, если не часа, ковылял старик. Я поглядывал, сначала поражаясь обессиленной осторожности и ломкости его движений, а потом восхищаясь упорству человека, преодолевающего уже непомерное для него пространство. Ученики мои, чуть притихнув, тоже оглядывались в его сторону. Старик все-таки дошел до нас. Вблизи — невероятный старый якут с морщинистым, как будто обугленным старостью лицом. В руке у него была матерчатая грязная торбочка. С трудом (колени не гнулись) он наклонился к земле и мотал рукой, пытаясь ухватить скрюченными пальцами откатившуюся от нас картофелину. Какого хрена, подумал я, не обеднеет государство. «Девочки, возьмите у дедушки сумку и накопайте ему картошки!» Но на школьниц моих как будто столбняк напал. Они стояли опустив головы и не трогались с места. «Они боятся, — сказал мне восьмиклассник Кеша. — Они боятся старика, потому что он шаман». — «А ты не боишься?» Кеша опустил голову. Я взял у старика мешок (тот послушно, как ребенок, разжал пальцы), высыпал полведра картошки — больше не вошло, да и не дотащил бы он больше — и протянул старику. Он безучастно взял мешок, развернулся и так же медленно потащился по бесконечной для него дороге к селу. За все время своего присутствия на поле старик не сказал ни слова, он как бы даже и не посмотрел на нас ни разу, то есть смотрел, конечно, но непонятно, видел ли он нас, слышал ли, а если видел и слышал, то — что.

«Да никакой он не шаман, — сказали мне вечером коллеги в учительской. — Просто очень старый юкагир. Живет один. Никого из своих не осталось. А для детей он, конечно, страшный. У юкагиров все другое: язык, культура, привычки — все. Они чужие и непонятные. К тому ж считается, что умные очень, что какое-то особое знание у них есть. Потому дети считают юкагира шаманом и боятся... Может, и не только дети».

Года через два я прочитал роман Семена Курилова «Новые люди», изданный «Советской Россией». Роман поразительный: Сибирь начала века как другой континент. Жизнь юкагирского селения, написанная изнутри неведомой нам национальной культуры. То есть роман абсолютно современного, но говорящего чуть ли не на языке эпоса писателя. И никаких элементов литератур-

ной игры, никаких борхесовских, как сказали бы сегодня, никаких постмодернистских заморочек. Писатель изображал космос юкагирской культуры в ее взаимоотношениях с жизнью, временем, пространством, с небом, снегом, тайгой, с рождением и умиранием человека — изображал, оставаясь сам (и сознавая это) частью этого космоса. (Это был второй роман Курилова, первый — «Ханидо и Халерха».)

Под текстом стояло словосочетание «авторизованный перевод». То есть роман писался на юкагирском языке. Возможно, куриловская диалогия была вообще первым художественным произведением на этом языке, попытавшимся воплотить в слово итоги многовековой культуры перед самым ее закатом. Первым и последним. Позже, перелистывая по выходе «Советский энциклопедический словарь» (1980), я наткнулся на справку «Юкагирский язык»; там значилось: «Палеоазиатский», то есть язык, не относящийся ни к одной из известных языковых групп. И там же: «Бесписьменный». В 1975 году, когда вышли «Новые люди», юкагиры (по переписи 1970 года) было шестьсот человек.

Юкагиры как реально существующего народа уже нет. Языка юкагирского тоже нет. Умер язык. И Курилов, писавший свою диалогия, не мог не понимать, что пишет на умирающем языке для несуществующего уже народа.

Сам Курилов умер в восьмидесятом году, сорока пяти лет от роду...

Историю про Курилова я рассказываю друзьям-коллегам уже года два.

«Наверно, только так и нужно писать романы», — с хладнокровием теоретика литературы отозвалась Татьяна Касаткина.

«Это про нас», — почти с содроганием сказала Вера Павлова, практик, не представляющий себя без продолжения в слове.

«Не заходишь, — сказал Немзер. — Вспомни, какие были прижизненные тиражи у Блока. Ну и что? Сегодня русская литература немислима без Блока. Или скажешь, что и русская литература кончается?»

За слова Немзера и за интонацию, с которой они были произнесены, держусь, как за спасательный буй.

А может, пользуюсь ими как местной анестезией, собирая разные впечатления, связанные у меня с куриловским сюжетом.

Типа:

Молодая — и до тридцати, похоже, еще далеко, — общительная, обаятельно-непосредственная, как бы даже простодушная американка из американского посольства в Москве рассказывала в частной компании, что да, действительно, в их американских колледжах ученики чуть ли не до пятнадцати — шестнадцати лет читают тексты Фолкнера или Меллвила для того, чтобы уметь найти границы предложения, определить его тип, указать сказуемое, подлежащее, перечислить глаголы и прилагательные, объяснить правописание и т. д. Читают для того, чтобы закрепить сам навык чтения текста. А вот уж про то, что такое Белый Кит, или кто такой Сноупс, и какое отношение они имеют к каждому из нас, говорить начинают только в выпускных классах, да и то преподаватели не настаивают на таком уж сверхглубоком бурении текстов.

Или:

Я оказался в курортной Хургаде, в Египте — стране, которую мы считаем в некотором роде колыбелью нашей цивилизации, и, гуляя две недели по городку, исключительно для проведения свободного времени приспособленному, я не увидел ни одного книжного магазина. Нет, вывески «Букшоп» я видел. Две или даже три. Но в магазинах этих продается все, что угодно, от открыток и батареек до детских игрушек, только не книги. Зато все без обмана в видеошопах: полки забиты видеокассетами. Видеокассета в руках у проходящего араба не останавливает внимания. Я наблюдал, как стремительно пустеет рынок в Дахаре перед началом очередной серии ихнего «мыла»: мужики, оставив женщин у мандариновых, апельсиновых, помидорных и прочих гор,

рассаживаются на террасах рыночной чайной под свисающими с потолка телевизорами, а на экранах уже заламывает руки рыхлая пятидесятилетняя актриса с лицом, на котором гримеры безуспешно пытались нарисовать поруганную невинность восемнадцатилетней девушки.

...И никаких газетных киосков с книгами за стеклом, никаких книжных лотков наподобие наших ялтинских или сочинских. Оснащая городок как международный курорт — с учетом всех возможных потребностей и запросов пользователей, устроители опустили как несуществующую для них потребность в чтении. На пляжах Хургады, расположившись в тени и накинув на плечи шерстяные свитера (стоял январь, воздух остыл аж до +25 градусов, а вода — вообще до +20), сидят респектабельные, интеллигентного вида арабы (каирцы, александрийцы...), перебирают четки, смотрят на море, неспешно беседуют. Или прогуливаются по берегу. Или фотографируются. Или ловят рыбу. Ни разу я не видел ни одного из них с книгой или хотя бы с газетой. Раскрытая книга здесь — отличительный признак европейца... Ну и где эти легендарные александрийские книжники? Где они, хранители восточной книжной мудрости? В Хургаде я видел в продаже только одну книгу — Коран, выставленный напротив почтамта в киоске.

По вечерам в своем номере я не отрываясь смотрел телевизор. Исключительно арабские программы. Интерес был не естествоиспытательский, а обычный, зрительский. Кино, как и балет, понятно и без синхронного перевода.

В Хургаде — из Каира, Александрии, из Арабских Эмиратов — показывали: новости, причем новости свои — африканские и ближневосточные, Европа и Америка (про Россию уж и не говорю) присутствовали «факультативно»;

фильмы, снятые на их киностудиях, где наличествовали профессионально сделанный сценарий, вполне приличная актерская и операторская работа, умелый монтаж. Разумеется, в фильмах этих достаточно плотно использовались общекиношные — взятые, пожалуй, больше из европейского, чем американского кино — штампы. Но штампы эти использовались вполне профессионально, то есть в максимально приспособленном для местного материала виде, — это отнюдь не были механические, ученические кальки. И потому это уже смотрелось как их национальное кино;

в музыкальных программах, как правило, — только своя музыка, вслушавшись в которую невольно ловишь себя на том, что европейская эстрада начинает восприниматься варварским дребезжанием и лязганьем, а певцы наши на фоне восточной изощренной культуры пения — дворовыми умельцами.

Иными словами, с экрана предстает образ вполне самодостаточного мира (полнокровного, жизнеспособного, динамичного) со своим ничем вроде не уступающим среднеевропейскому уровнем массовой культуры. Ну а для жизни духа — мечеть. При необыкновенной для Востока молодости этого городка (семнадцать лет) количество мечетей впечатляюще. Как и истоность верующих, поражающая человека (меня), впервые попавшего в исламскую страну.

Возникает — никуда не денешься — ощущение, что для самоидентификации этого мира оказались вообще не нужны некоторые формы культуры, выработанные нашей цивилизацией.

В частности, художественная литература.

Вот только два впечатления, связанных для меня с «куруловским» сюжетом, но, думаю, их достаточно, чтобы обозначить некое явление.

Точнее сказать, некую тенденцию, развитие которой определяет будущее художественной литературы как культуры катакомбой.

Я не особенно боюсь того, что стоит за словосочетанием «катакомбная литература». Может быть, даже — напротив. Кроме того, что это нормальное прибежище, а не приемный покой перед отправкой в никуда, мне чудится в

будущем положении (если, разумеется, оно действительно — будущее) окончательное освобождение литературы от всего «прикладного» и «вынужденного».

Я думаю об этом, наблюдая за современной «бурнокипящей» литературной жизнью, за развитием, скажем, премиальных сюжетов со всем клокотанием их страстей, многолюдными сборищами, газетными и прочими скандалами, и часто не могу отделаться от чувства, что передо мной не действо, оформляющее реально существующие взаимоотношения литературы и широкого читателя, а некое самодостаточное шоу с закрепленным кругом участников (в известной степени это неизбежно) и закрепленным составом читательской аудитории, постепенно редющей. Церемония первого вручения в России Букеровской премии транслировалась по телевизору — как транслируется теперь, скажем, церемония Ники или Оскара; сегодня же в трехминутном букеровском телесюжете в новостях я вижу только беспомощность телерепортеров перед сборищем представителей неведомой им литературы, бросающихся с микрофоном к Вознесенскому или Боровому.

Похоже, все мы, занятые литературной работой, постепенно становимся «Куриловыми». Людьми, которые годами, десятилетиями овладевали древним изощренным языком художественной литературы именно в тот момент, когда язык этот начал умирать. Кому, кроме нашего, с годами все более и более узкого, круга, нужна приобретаемая нами способность ощущать оттенки выраженного в слове чувства, способность увидеть смысловое содержание словесного и интонационного жеста, способность улавливать лессировки вечных идей в как бы небрежных набросках-проговорах современного романиста или эссеиста? Кому в наступающем на нас мире понадобится способность разбираться в сложнейшей архитектуре «Улисса» или Голдингова «Шпиля»?

Ситуации, когда в американском порту собирались толпы — встречать парход из Англии, везущий очередную, только что написанную, порцию нового романа Диккенса, невозможны сегодня ни в Америке, ни у нас. Читатели, способные еще пятнадцать лет назад буквально за несколько часов расхватать тридцатитысячный тираж суперэлитного Бахтина или Кортасара в «Мастерах», куда-то сгнули. Не вымерли, нет, они даже состариться не успели. Просто испарились.

Уже несколько лет ведя библиографическую рубрику в журнале и ежемесячно обходя книжные магазины «некоммерческой литературы», я никак не могу привыкнуть к ее нынешнему положению. С одной стороны, издательский бум — когда еще в России издавалось такое количество литературы высококлассной, элитной? С другой стороны, книги, издание которых еще лет десять — пятнадцать назад стало бы событием, годами стоят на полках почти невостребованными. При тиражах в 1, 2, 3 тысячи экземпляров. Тот же «Александровский квартет» Лоренса Даррелла, появившись он где-нибудь в конце семидесятых, был бы обречен стать культовым по меньшей мере на десятилетие. Кто его сегодня, кроме Бутова и Кобриня, прочитал?

Не знаю, почему это происходит. Я только констатирую.

И могу осторожно предположить. Ну, скажем, очевидное: литературу вытесняет телевидение. Именно теле-, а не кино. Кино раньше не мешало. У кино была своя ниша. Но вполне самостоятельным искусством кино воспринималось только до тех пор, пока оно не стало частью телевидения и не обрело тем самым всех свойств на редкость агрессивной телесреды.

И дело здесь не только в проблеме свободного времени, которое отнимает видеожизнь. Процесс идет глубже. В быт вошел новый способ эстетического проживания жизни — с экрана. И соответственно начали атрофироваться некие деликатные душевные и интеллектуальные органы, некая как бы душевная мускулатура, необходимая для сотворчества с писателем. Искусство чтения всегда было «искусством соавторства». Читая художественный текст, мы подключаем собственное воображение, память, жизненный опыт — вслед за пи-

сателем мы воссоздаем его замысел. Воплощаем в себе. В конечном счете — воплощаем себя.

Сейчас за нас читает кинорежиссер.

Говорить о кино и телевидении как способе продолжения жизни литературного произведения (экранизации), по-моему, глупо. Чем дальше кино держится от литературы, тем больше оно — кино. Экранизации только подчеркивают его внутреннюю несовместимость с литературой. Сама идея перевести художественный образ (Онегина, доктора Живаго и т. д.) в движущуюся и говорящую фотографию актера, живущего по соседству, пошла до рвоты. После просмотра на экране «Капитанской дочки» или чеховской «Дуэли» всегда испытываешь потребность медленно и сосредоточенно перечитать оригинал, чтобы восстановить их содержание. Правда, не всегда получается. Истерическая взвинченность и мелодраматический напруг, на которых выстраивают свой эмоциональный сюжет создатели фильма «Братья Карамазовы», не смывается до конца и чтением самого романа. Похоже, фильм точно обозначил их присутствие в самом тексте.

Иными словами, кино губит литературу изнутри, используя как сырье.

Как в свою очередь телевидение губит кино: и Феллини, и Иоселиани в контексте женских прокладок, жевательной резинки, думских истерик и Якубовича из «Поля чудес» — уже не вполне Феллини и не вполне Иоселиани, — появление последнего на телеэкране становится чем-то вроде бытового подстрочника к его горьким и мудрым «Фаворитам луны».

О вакханалии, устроенной ТВ вокруг пушкинского юбилея, писали много. Лично для меня самым убойным было чтение «Евгения Онегина» на разные голоса. Сменяя друг друга, на экране появлялись все новые и новые лица, произносившие по нескольку строк из романа. Кроме эстетической бессмысленности действия мучило ощущение чего-то еще и жутко непотребного. Я не сразу вспомнил чего. А вспомнив, похолодел от омерзения и унижения. Примерно за полгода до этого закончился многомесячный показ рекламного ролика, в котором сменяли на экране друг друга молодые люди, произносившие на разные голоса текст про то, что уважение и бережное отношение к партнеру (возлюбленному) предполагает обязательное использование презерватива. От подобного сопоставления уйти невозможно — происходило-то все в одном пространстве. Повторное использование нового (для нас) приема обязательно отсылает к первому опыту. Не буду доказывать здесь очевидное: форма подачи материала всегда часть его содержания. Иными словами, почувствовать разницу между «Евгением Онегиным» и рекламой презервативов телевидение не в состоянии.

Есть надежда, что на несколько лет пропагандистом и распространителем литературы будет Интернет, хотя бы из-за своего технического несовершенства. Интернет — это пока только библио-, а не видеотека. И в русском Интернете есть живая журналистика, есть формы корректного обслуживания литературы. Но боюсь, эта музыка ненадолго. Только до того момента, когда технические возможности Интернета позволят ему поглотить телевидение. И пользователь будет открывать сайты, чтобы щелкнуть мышью на файле с фильмом, новостями или музыкальным клипом. Технологии уже отрабатываются, диски с соответствующими объемами памяти начинают появляться.

Возможно, страхи мои нелепы. Скорее всего, прав Немзер. Ничего с литературой не может сделаться. Я и сам так думаю.

Или думать так заставляет инстинкт самосохранения?

Но все равно у меня (у нас у всех), как писал Бёльль, просто нет другого выхода.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



## «ПОЛНЫЙ ВДОХ СВОБОДЫ»

**С**луцкий стал поэтом войны. Его поэзия и эстетика, оксюморонные, парадоксальные, кажутся одновременно и опровержением, и подтверждением всеми заученного афоризма Теодора Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи», — остается добавить: или эти стихи будут подобны стихам Слуцкого.

«Записки о войне» — записки победителя, человека, убежденного в том, что он — субъект истории, тот, кто историю делает, а не ее объект — тот, кого история делает. Пройдет сколько-то лет, и Слуцкий почувствует себя объектом истории, а еще через несколько лет точно зафиксирует это: «...осенью 1952 года... До первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяц-два... Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной». В 1944 — 1945-м, когда писались и на машинке печатались «Записки о войне», до этой «перемены судьбы» было далеко. О времени победы Слуцкий написал в одном из своих стихотворений: «Я делаю свободы полный вдох. Еще не скоро делать полный выдох».

Полный вдох свободы — еще несвободного, еще скованного догмами человека. В 70-е годы Слуцкий сформулирует: «Я был либералом. При этом — гнилым. Я был совершенно гнилым либералом». В 1944-м, 1945-м такая характеристика показалась бы ему оскорблением. Тогда он ощущал себя «якобинцем XX века», «харьковским робеспьеристом». Его Робеспьером был Сталин.

Автор «Записок...» еще не уверен, будет ли он поэтом. Сможет ли он увиденное «заковать в ямбы». Он понимает себя действующим политиком, равновеликим Черчиллю, Тито... Сталину. (В позднем, «послекультурном», стихотворении Слуцкий напишет об этом самоощущении: «И я верил, что Сталин похож на меня, только лучше, умнее и больше...») Вот это-то ощущение равновеликости политиков и рядовых участников политики делало «Записки о войне» при всей их «ортодоксальности» — абсолютно непечатабельными.

Странное они производят впечатление. Написанные по горячим следам, они — «литературны». В них ощущается замах на нечто большее, чем дневник или репортаж. Литературность «Записок...» угадывается в их парадоксальной традиционности. Угадываются литературные предшественники: «Фронт» Ларисы Рейснер, «Конармия» Бабеля. «Орнаментальная» проза 20-х годов, из которой выброшены все «орнаментализмы». Оставлена только ритмическая организация текста и интонация — спокойным, деловым тоном о жестоких и страшных вещах. Слуцкий, разумеется, не мог знать, как «работал» с бабелев-

---

Елисеев Никита Львович (род. в 1959) — литературный критик, выпускник исторического факультета Ленинградского педагогического института им. Герцена, сотрудник Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге; лауреат премии нашего журнала за 1998 год (см. также его обширные статьи в № 1 и 12 «Нового мира» за 1999 год).

Настоящая публикация предваряет (фактически совпадая с этим событием по времени) выход в свет книги Бориса Слуцкого «Записки о войне» с предисловием Даниила Гранина. Издание осуществлено петербургским издательством «Логос».



ским текстом Варлам Шаламов («Я вычеркивал все его „пожары, веселые как воскресенье», — рассказы оставались живыми»), но его принцип работы в этой традиции, в традиции этой прозы, был точно таким же. «Отжать» всю пышную роскошь эпитетов и метафор. Слуцкий пишет, что до войны раз пятнадцать прочел сборник рассказов Бабеля. Следы этого чтения в «Записках о войне» полемичны. Бабелевский Лютов, alter ego Бабеля, лирический, если можно так выразиться, герой «Конармии», — очкарик, интеллигент, прикнувшийся к революции; его несет стихия народного бунта. Лирический герой «Записок о войне» Слуцкого и его ранних баллад — интеллигент, руководящий народным бунтом, организованным в регулярную армию. Это был не момент истины — момент заблуждения. Но энергия этого заблуждения позволила разгромить тоталитаризм «справа» — фашизм — и впоследствии не позволила прикнуться к тоталитаризму «слева» в самом бесчеловечном его «изводе» — к сталинизму.

О том, как себе представлял дальнейшее развитие событий Слуцкий, пишет его друг, Давид Самойлов: «Он воротился в Москву в сентябре 1946-го... Он тогда замечательно рассказывал о войне, и часть его рассказов, остроумных, забавных, сюжетных, он записал и давал читать друзьям машинописные брошюры: „Женщины Европы“, „Попы“, „Евреи“ и т. д. Памятуя о военных записках, сказал ему: „Будешь писать воспоминания? У тебя получается“. — „Не буду. Хочу написать историю нескольких своих стихов. Все, что надо, решил вложить в стихи“. ...На другой день после приезда Слуцкого пришел Наровчатов. ...Наша тройственная беседа происходила в духе откровенного марксизма. ...Соглашение с Западом окончилось. Европа стала провинцией. ...Отсюда резкое размежевание идеологий. ...Тактикой, как видно, мы считали начало великодержавной и шовинистической политики. Ждали восстановления коминтерновских лозунгов».

Слуцкому кажется: то, что не удалось анархической конармии в 1920-м, удастся советской армии в 1945-м. Российская революция перерастет в революцию всеевропейскую. Тогда на причитающиеся им по праву места будут возвращены те уничтоженные люди 20-х, кого он не без оснований считал своими учителями. Люди революционных «бури и натиска», они не подошли дисциплинированному военному лагерю 30-х, но теперь, когда в Европе поднимается своя «буря», — теперь-то они понадобятся вновь. Вот откуда в тексте Бориса Слуцкого имена репрессированных, тогда еще не реабилитированных поэтов и писателей — Пильняка, Клычкова, Мандельштама. Вот почему Слуцкий пишет о знаменитом Юрии Саблине — участнике левозсеровского мятежа 6 июля 1918 года в Москве; вот почему называет публицистику Ильи Эренбурга «моральной левой оппозицией по отношению к официальной линии». Слово сочетание «левая оппозиция» взрывоопасно, бризантно — так называлась оппозиция Троцкого и его сторонников, ориентированных на мировую революцию. В 30-е годы не было ничего страшнее, чем оказаться «троцкистом». Слуцкому кажется, что нынче (в 1944 — 1945-м) все изменилось. *Тактика* (погоны, «темные доски обрусительских икон», патриотизм, приближающийся к шовинизму, к великодержавью) должна смениться *стратегией* (возрождение «коминтерновских лозунгов»). Поэтому Слуцкий с таким воодушевлением описывает Сербию 1944 — 1945-го — он вдохнул воздух крестьянской революции, во главе которой — направляющая и организующая сила: городские образованные люди, интеллигенты и рабочие, — коммунисты.

Перед современными читателями «Записок о войне» — один из самых интересных психологических типов, когда-либо создававшихся историей, — бунтарь-государственник, патриот-космополит, догматик-диалектик. Но уже тогда, в 1945 — 1946-м, была попытка уловить противоречия. Главное противоречие Борис Слуцкий попытался вогнать в изложницу гегелевской диалектической схемы: «Распространение получили две формы приверженности к существу: одна — попроще — встречалась у инородцев и других людей чисто советской выделки. Она заключалась в том, что сущее было слишком раз-

умным, чтобы стерли его немцы в четыре месяца — от июня до ноября. Эта приверженность не колебалась от поражения, ибо знала она, что государственный корабль наш щелист, но знала также, что слишком надежными плотничьими гвоздями заколачивали его тесины. Вторую форму приверженности назовем традиционной. Она исходила из страниц исторических учебников, из недоверия к крепости нашествователей, из веры в пружинные качества своего народа. Имена Донского, Минина, Пожарского, для инородцев западно чуждые, сошедшие с темных досок обрусительских икон, здесь наливались красками и кровью. Две эти любви, механически сшитые армейскими газетами, еще долго жили порознь, смешливо и враждебно поглядывая друг на друга.

Как много смыслов заталкивает тут двадцатипятилетний вершитель истории в ее истолкование. Почему «сущее слишком разумно, чтобы быть уничтоженным» (перетолкованный афоризм Гегеля)? И почему эта форма приверженности встречается у «людей чисто советской выделки»? Потому что «сущее» — советская власть, социализм — не выросли органично, естественно, но выстроено, построено в согласии с человеческим разумом, в согласии с чертежами революционеров, отвергших другое сущее, другую действительность — неразумную и недействительную. «Вторая форма приверженности к сущему» тоже словно бы выводится из гегелевского тезиса, но по-другому. Разумное — разумно, поскольку действительно. Здесь главное — не революционный интернационалистский разум, но консервативное, патристическое чувство, вера в «пружинные качества своего народа».

Уже в пору написания «Записок...» Слуцкий, как видно, считал одной из своих поэтических и идеологических задач — синтез двух этих форм «приверженности к сущему». Позднее он дал этот поэтический синтез «революционного разума» и «консервативного чувства» в своей балладе «Кульчицкие — отец и сын». Баллада посвящена другу Слуцкого, молодому поэту Михаилу Кульчицкому и его отцу, Валентину Кульчицкому, старому офицеру, литератору, автору истории Сумского драгунского полка, оды на рождение царевича Алексея, книг по офицерской этике, после революции — харьковскому адвокату, сосланному в 1935-м на строительство Беломорканала, потом вернувшегося в Харьков. Название отсылает к роману Тургенева «Отцы и дети», то есть намекает на конфликт поколений — консервативного и революционного. Так что кажется, что речь в балладе пойдет именно об этом — о разрыве семейных связей. Тема чрезвычайно распространенная в ранней советской беллетристике, идеологии, пропаганде. Но Слуцкий наполнял штампы пропаганды жизнью: взрывал изнутри. Итак: «Кульчицкий-сын по праздникам шагал / В колоннах пионеров. Присягал / На верность существующему строю (человек «чисто советской выделки». — Н. Е.). / Отец Кульчицкого — наоборот: сидел / В тюрьме, и угрюмел, и седел, / Супец — на первое, похлебка — на второе. ...Кавалериста, ротмистра, гвардейца, / Защитника дуэлей, шпор певца / Не мог я разглядеть в чертах отца, / Как ни пытался вдуматься, взглядеться». Слуцкий ведет предполагаемого советского читателя по линии клишированного сюжета, чтобы завершить внезапным неожиданным финалом — слиянием «двух любовей» — революционной и консервативной: любви к будущей Земшарной республике Советов и любви к родному пепелищу, к отеческим гробам. «Наверно, яма велика войны! / Ведь уместились в ней отцы, сыны, / Осталось также место внукам, дедам, / Способствуя отечества победам, / Отец — в гестапо и на фронте — сын / Погибли. Больше не было мужчин / В семье Кульчицких...» Баллада, начавшаяся как поэтический рассказ о конфликте поколений, кончается их едва ли не космическим примирением: «Да, каждому, покуда он живой, / Хватает русских звезд над головой, / И места мертвому в земле российской хватит».

Оппозиция «русское небо» (русская революция, русская литература) и «русская земля» (традиция, быт, исторические корни) занимала Слуцкого всегда; но первый набросок развития этой темы он дал в своих «Записках...». То, что было сформулировано в первой их части как сочетание несочетаемого —

интернациональной революционности (чисто советской выделки) и русской патриотической традиции, — парадоксально и органично сочетается в главке «Белогвардейцы», посвященной русским эмигрантам в Сербии, с которыми встретился майор Слуцкий. (Недаром в этой главке Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, поэт, медиевист, участник сербского Сопротивления, своей «офицерской стародворянской обходительностью» заставляет Слуцкого вспомнить о друге и едва ли не учителе — Михаиле Кульчицком.) Здесь советский майор, интернационалист, «инородец» (еврей) с уважением (почти с восхищением) смотрит на осколки, обломки дворянской офицерской России — причем не только на большевизанки из белградского ССП (Союза советских патриотов), но и на врагов, заслуживших партизанскую революционную ненависть: «...здесь сформировался Русский охранный корпус... с офицерской уважительностью в обхождении, корпус, из которого (сербские. — *Н. Е.*) партизаны не брали пленных — расстреливали поголовно. ...Не случайно именно здешние юнцы из кадетского корпуса лезли на наши пулеметы на дунайских переправах». И в Союзе советских патриотов Слуцкого привлекает староофицерское, дворянское: «Эти люди не напоминали мне ни один из вариантов интеллигентских сборищ в Советском Союзе. Сдержанность, ощущение старой культуры заставляли отвергнуть и сопоставление со сходками народовольцев. Скорее всего это были декабристы, декабристы XX века». Самое любопытное в этой главке, что «интерференция» происходит с двух сторон. На советское, революционное, победившее немецкую агрессию с уважением, едва ли не с восхищением смотрят дворяне — стараются пережить что-то сильное, без интеллигентских «мерихлюндий» и «особой уважительности в обхождении», — то, что обеспечивает победу. «Нас всё пугали: НКВД, НКВД, а теперь я бы сам пошел работать в НКВД», — так говорил граф И. Н. Голенищев-Кутузов. Арестованный в 1948 году югославским НКВД, он уже вряд ли согласился бы с этими своими словами (как постаревший Слуцкий вряд ли согласился бы со многими страницами своих «Записок о войне») — но то был момент «энергии заблуждения».

Такое соединение, такой синтез — условно говоря Деникина и Троцкого — могли бы показаться дюжинным национал-большевизмом, «сменовеховством» навыворот, если бы помимо идеологических схем, поверх них, а иногда и против них в Слуцком бы не работал удивительный поэтический инстинкт, мудрость наблюдателя, «с удовольствием катящегося к объективизму». Он старается запомнить детали. Детали «прокалывают» идилличность идеологической схемы. Что-то оказывается не так в слиянии «русского неба» и «русской земли». Слуцкий описывает подготовку к первому легальному собранию ССП, которое должно состояться в бывшем Русском доме, принадлежавшем русской эмигрантской колонии Белграда: «В зале шел поспешный пересмотр портретов. Без прений выбросили Николая Александровича, его отца и прадеда. Помешкали над Александром Вторым Освободителем и Александром Первым Благословенным. В конце концов уцелели Петр, Суворов, Ермолов. На стенах остались огромные прямоугольные пролежни, странно напоминавшие 1937 год». В социальное сознание советского человека 1937 год еще не вошел четко проартикулированным символом беды, ужаса. 1937 год еще остается в подкорке, в подсознании — как символ чего-то зловеще связанного с болезнью, с обездвиженностью. «...огромные прямоугольные пролежни». Этот образ и это уподобление свидетельствуют о том «мировом неуют», который начинал чувствовать Слуцкий. Собственно говоря, уже в 1945 — 1946 годах он не мог не видеть, что та, «первая», «форма приверженности к существу», в которой выделял он рационалистические, «разумные» черты, как раз и оказалась наиболее донкихотской, идеалистической, более всего оторванной от действительности. Недаром в своих «Записках о войне», рассуждая об оккупации, Слуцкий пишет об «изменах председателей горсоветов» (практиков, прагматиков) и о верности «прекраснодушных идеалистов» вроде сельских учителей

или «старого рабочего, рядового участника 1905, 1917 годов». «Сущее слишком разумно, чтобы стерли его немцы в четыре месяца». Но немцы стирали это сущее. Слуцкий в прозе оставляет «знаки» этого «стирания»: «под корень вырубались целые народы», «публичное прощение пассивизировавших себя коммунистов», «газеты, где печаталась Зинаида Гиппиус», «перевод всех советских железнодорожных рельс на европейскую колею». В поэзии Слуцкий дает потрясающий образ «человека чисто советской выделки», уверенного в незыблемой разумности сущего и потрясенного тем, как происходит «стирание в четыре месяца» этого сущего.

Я имею в виду «Балладу о догматике». Она важна не только констатацией гибели «прекраснодушного советского довоенного идеализма», но и констатацией его удивительной — вопреки всему — живучести: «Когда с него снимали сапоги, не спрашивая сощпроисхождения, когда без спешки и без снисхождения ему прикладом вышибли мозги, в сознании угаснувшем его, несчастного догматика Петрова, не отразилось ровно ничего. И если бы воскрес он — начал снова». Горькая насмешливая автобиографичность «Баллады о догматике» для меня очевидна. Слуцкий, написавший накануне полной своей немоты, молчания, «вырубленности» из изменившегося мира: «Словно сторож возле снесенного монумента „Свободный труд“, я с поста своего полусонного не уйду, пока не попрут», — не мог не понимать, что такого рода несмотря-ни-на-что-верность и называется — догматизмом.

Конечно, различий между майором Петровым и майором Слуцким хватает. Скажем, простодушный простонародный выкрик майора Петрова, «немецким войском битого»: «Немецкий пролетарий не должен!» — не вырвался бы у интеллигента Слуцкого, который к тому же мог иронически прокомментировать поведение немецкого пролетария: «Но рурский пролетарий сало жрал, а также яйца, млеко, масло, и что-то в нем, видать, давно погасло. Он знать не знал про классы и Урал». Все так, но дистанция между майором Слуцким и майором Петровым — это дистанция между Сервантесом и Дон Кихотом. Слуцкий описывал собственную ситуацию, гиперболизируя, шаржируя ее. Это он, «двадцатидвухлетний и совсем некрасивый собой», был «сбит с толку, огорошен, возмущен неправильным развитием событий» летом 1941 года. Потому что Слуцкий хоть и знал (в отличие от майора Петрова) немецкий язык, но очень долго (как и Петров) был уверен в том, что «слово „Маркс“, оно понятно всем, и слово „класс“, и слово „пролетарий“». Потому что Слуцкий хоть и читал (в отличие от Петрова) книжки других писателей, кроме книжек Ленина, но очень долго (как и у Петрова) основой основ его мировоззрения оставались тридцать томов собрания сочинений вождя.

И, наконец, самое главное «потому что»: оказавшись в 1944 году в Европе, Слуцкий (как и майор Петров) решил: «Теперь война пойдет по Ленину и по майору!» Теперь произойдет превращение отечественной войны в войну революционную. Стратегией станет не великая Россия, но Союз Советских Социалистических Республик Европы и Азии, «только советская нация будет и только советской расы люди!». Майора Петрова прикладом по голове огрели пролетарии-немцы; по сознанию, по мировоззрению майора Слуцкого, словно прикладом по голове, жажнула шовинистическая, антисемитская послевоенная кампания советского пролетарского государства. Тогда он понял, что готовят ему — победителю фашизма, майору, интернационалисту, еврею — политики, для которых тактика оказалась стратегией, — погром, высылку, безымянную гибель. Но (как и майор Петров) остался верен интернационалистской, революционной программе своей юности, иначе бы не написал в те годы: «Я строю на песке». Это ведь тоже вариант: «И если бы воскрес он — начал снова...» — «Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцам дать корявым. Я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву... Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске, я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке».

Автор «Записок о войне» ошибался. Его политические прогнозы оказались неверными. Он не умел предвидеть. Зато он умел смотреть. Он был не политиком, а поэтом. Поэтом XX века, услышавшим в неблагозвучии, корявости, дисгармоничности, противоречивости — «музыку далеких сфер».

Корявы, дисгармоничны, противоречивы и его прозаические «Записки о войне». Для чего он их писал? Для себя? Подыскивал точные слова для нового жизненного опыта? Искал интонацию, которая была бы не фальшива для этого жизненного опыта? Он пробовал найти эту интонацию еще до войны — в стихотворении об инвалидах Первой мировой, собранных в богадельне на Монмартре. И, услышав насмешливое: «Похоже на раннего Супервелья», — с той поры никогда не позволял себе в стихах «экзотики» вроде «Монмартра», «генерала Миахи» или «мсье Ахуда» — писал только о том, что видел, или о том, что мог себе точно представить.

Надобно помнить, что «Записки о войне» — проза поэта, который на время перестал быть поэтом. Замолчал в ожидании нового языка для новых тем. Все то, что он пережил и видел, куда укладывалось в прозу — недалеко ушедшую от поэзии, в особенности от его поэзии, но прозу. Что-то мешало ему пока зарифмовать войну — ученик левовца Осипа Брика и конструктивиста Ильи Сельвинского, он так оценивал положение дел в послевоенной советской поэзии: «Война кончилась, отменив скидки на военное положение. Надо было писать о ней всю правду, и, вернувшись с войны, я обнаружил, что у Исаковского во „Враги сожгли родную хату” и у Твардовского в новой поэме эта правда наличествует, а у моих учителей, у Сельвинского в частности, отсутствует». Слуцкий пытался заполнить лауну, соединить то, чему научили его учителя, с тем, чему научила его жизнь. В конце концов ему это удалось, но в последний год войны, в первый предвоенный год ему это еще не удавалось. Дело не в жестокости. Очень жестокие сюжеты Слуцкий в прозе как раз и не пересказал. Сохранил для стихов. В «Записках о войне» ни слова о его военно-следовательской службе. «Какие случаи случались, а вот стихи не получались». Да нет, стихи-то получились, но это были не гумилевско-тихоновско-сельвинские баллады, а надрывно-достоевские lamentации или почти галичевское ёрничанье. «Пристальность пытлиую не пряча...», «Расстреливали Ваньку-взводного...», «За три факта, за три анекдота...», «Я судил людей и знаю точно...» — это вошло в поэзию зрелого, позднего Слуцкого; в прозу юноши, опьяненного победой, не вошло, да и не могло войти. Юноша, опьяненный победой, искал верную интонацию, в которой соединились бы патетика и ирония, жалостливость и жестокость, честность и идеологичность. В тексте «Записок о войне» есть ключ к найденной Слуцким в конце концов интонации, совпавшей с его мировоззрением, жизненным опытом и поэтической выучкой: «Они (изнасилованные женщины австрийского села Зихауер. — Н. Е.) были слишком измучены, чтобы осмыслять происшедшее, но эстетическая формула была уже найдена. И какая точная — нас гоняют, как зайцев». Стоит сравнить эти слова с тем, что писал о поэзии Слуцкого Иосиф Бродский: «Его интонация — жесткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил». Это — точка зрения, естественная для поэта, понимающего, что эстетическая формула и должна идти раньше осмысления происшедшего и что не всегда осмысление происшедшего может оказаться таким же точным, как эстетическая формула.

Непосредственно из «Записок о войне» выросла одна только баллада «Кёльнская яма». Слуцкий завершает ею главку «Гнев». Баллада оказывается как бы «противовесом» рассказам о *нашей* жестокости. Здесь очень важная функция поэзии Бориса Слуцкого. То, что его «друг и соперник» Давид Самойлов называл «гипс на ране». Терапевтическая или скорее — психотерапевтическая. Расправы с немецкими военнопленными, описанные Слуцким в этой главке, ужасны. И тогда выкрикивается, выкликается — «Кёльнская яма». Рядом с этой балладой в этой же главке оказывается прозаический вариант,

прозаический набросок будущей баллады «Бесплатная снежная баба». Не ясно, считал ли Слуцкий, что «проза» имеет дело с единичными фактами, тогда как поэзия — с эпико-лирическими обобщениями, но соотношение его «Записок о войне» и его баллад производит именно такое впечатление: жесткая «правда» (*Wahrheit*) преобразуется в менее жесткую «поэзию» (*Dichtung*). Сочетание «Записок о войне» Слуцкого с его балладами можно было бы, как и мемуары Гёте, назвать «Поэзия и правда...».

«Бесплатная снежная баба» написана в поздние 60-е, и Слуцкий полемизирует в ней сразу с тремя стихотворениями: во-первых, с плакатно-четким «Итальянцем» Михаила Светлова («Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето!.. Я стреляю — и нет справедливости справедливее пули моей!»); во-вторых, с сентиментальным «Итальянцем» Давида Самойлова («На — бери! Заправляйся, Италия!») и, в-третьих, с собственным «Итальянцем» («Пускай запомнят итальянцы и чтоб французы не забыли, как умирали новобранцы, как ветеранов хоронили, пока по танковому следу они пришли в свою победу»). «Я заслужил признательность Италии» не потому, что благодаря «мне» они победили свой фашизм и немецкий нацизм, но потому, что «снегу дал. Бесплатно. Целый ком». Здесь уже не итальянцы должны помнить о том, по чьему следу они пришли в свою победу, но сам поэт не может избавиться от воспоминания, от «римлян взоров черных, тоску с признательностью пополам мешавших».

Трупы военнопленных, валяющиеся влодь насыпи, трупы изможденных, выголоженных, «непоеных, некормленных военных» из прозаического эпизода в текст стихотворения не перешли. Получилось бы слишком похоже на «Кёльнскую яму». «Начальник эшелона, гад ползучий», который «давал за пару золотых колец ведро воды теплушке невезучей», призван заменить собой жителей Мичуринска, продающих снег умирающим от жажды военнопленным. («Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, ридикиули, кольца, легко снимающиеся с истощенных пальцев».) Четкая балладная и идеологическая структура — фронтовик, жалеющий военнопленных («а я был в форме... и захал в тыл... и в качестве решения простого — в теплушку бабу снежную вкатил»), и тыловая крыса, энкаведэшник, начальник эшелона, наживающийся на военнопленных, — оказалась бы разрушена.

И наконец, самые важные отличия *Wahrheit* Бориса Слуцкого от его *Dichtung*. «Маленькая девочка с испуганными глазами», раздающая куски снега *бесплатно*, и офицер, который присоединяется к бесплатной «снегораздаче», а потом приказывает напоить теплушку, — эти два персонажа прозы претерпели в поэзии самые значительные изменения. Офицер вкатывает в вагон снежную бабу (вместо кусков смерзшегося, с угольной пылью пристанционного снега — огромная снежная белая баба из детства). Девочки — нет в балладе. Не потому ли, что в «затексте» баллады остается невысказанный упрек? невысказанная боль? — девочке бы лепить веселых снеговиков, а не осуществлять благотворительную акцию среди разбросанных влодь насыпи трупов.

Из сравнения текстов становится понятно, как глупы должны были казаться Слуцкому обвинения в «очернительстве». Он-то даже в самой «черной» своей балладе ощущал себя едва ли не «лакировщиком», во всяком случае, «очеловечивателем» бесчеловечной действительности. Он и без того сколько мог сглаживал углы «угловатой планеты», своей родины, а его упрекали в чрезмерной «угловатости».

Итак: прежде чем быть сформулированными в поэзии, мысль, наблюдение «обкатывались», «обговаривались» в прозе.

Иногда длинное и очень важное «прозаическое» рассуждение Слуцкого сжимается до четырех рифмованных строчек, даже до одной строчки. В «Записках о войне» Слуцкий рассуждает о причинах «любовой» девушек к оккупантам. Среди прочего он пишет: «20 лет наглядная пропаганда наша внушала девушкам идеал мужчины — голубоглазого, статного, с белесыми северными

волосами. Эсэсовские блондины были предвосхищены наивными плакатами». Для Слуцкого это важно. Он — в оппозиции к этой эстетике «наглядной пропаганды». В поэзии Слуцкий так описывает пленного, сдавшегося на милость победителей, готового сплясать и спеть, если его об этом «попросят»: «Веселый, белобрысый, добродушный, голубоглаз, и строен, и высок, *похожий на плакат про флот воздушный*, стоял он от меня наискосок» (курсив мой. — Н. Е.). Победителями оказываются вовсе не те, кто похож на плакат.

Иногда большое стихотворение, не баллада даже, а ода, становилось опровержением короткой, между делом брошенной фразы в «Записках...»: «Писаря оглуляли геройства ежедневной нормированной „героикой“ политдонесений». И целое стихотворение в ответ, в возражение самому себе: «Писаря». «Дело, что было Вначале, — сделано рядовым, но Слово, что было Вначале, — его писаря писали... Они обо всем написали слогом простым и живым, они нас всех прославили, а мы писарей не славим. Исправим же этот промах, ошибку эту исправим и низким, земным поклоном писаря поблагодарим!»

Иногда, наоборот, короткое деловое жестокое замечание «Записок о войне» кажется саркастическим комментарием, опровержением патетики стихотворных строчек, написанных позже. В стихах: «Мы говорили не о самом главном, мечтали о деталях, мелочах, — нет, не о том, за что сгорают танки и движутся вперед, пока сгорят...» В прозе словно бы пояснение: «...многие танкисты горели в танках, потому что знали, что потерявших материальную часть отправляют в нелюбимые и опасные пехотные роты».

Образ, мимоходом использованный Слуцким в «Записках о войне», часто переосмыслился, наполнялся иной тональностью в поздней лирике. Мы уже цитировали из «Записок...»: «...государственный корабль наш щелест, но... слишком надежными плотничьими гвоздями сколачивали его тесины...» Слуцкий помнил, разумеется, тихоновские строчки: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Вот эти люди и были — надежные плотничьи гвозди. В поздней лирике уже не корабль, а «гроб», и не плотничий «гвоздь», без страха и сомнений, без жалости и сантиментов, — а ржавый, слабый, тронутый сомнениями, либерализмом, скепсисом, словом, человеческий «гвоздь». «Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба, я сгожусь судьбине, а не судьбе. Покуда обильны твои хлеба, зачем я — тебе?»

Дважды пересказывалось, формулировалось Слуцким в прозе «Записок...» едва ли не одно из самых знаменитых его стихотворений, вызвавшее в свое время целый град упреков, вплоть до политически опасного упрека в проповеди «пораженчества», — «Предсмертную усталостью устав...». В стихотворении Слуцкий перечисляет слагаемые армейской «средней дисциплины», составные части «идеологии фронтовика»: «Ему военкомат повестки слал, с ним рядом офицеры шли, шагали. В тылу стучал машинкой трибунал. А если б не стучал, он мог? Едва ли. Он без повесток, он бы сам пошел. И не за страх — за совесть и за почесть...» В прозе, в подступах к стихам, Слуцкий это же перечисление выполняет так, предваряя объяснением: «Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам они держались вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает один кирпич об другие... Так, самосохранение жестоко состыкивалось с долгом. Страх перед смертью — со страхом перед дисциплиной. Честолюбие — с партийным презрением к побрякушкам всякого рода». Слуцкий в другом месте «Записок...» по другому поводу еще раз повторит то же рассуждение, которое много позже станет стихами: «Я уже сталкивался со многими вариантами дисциплины... с армейской „средней“ дисциплиной — удивительной смесью из патриотизма и заградотрядов, страха перед штрафной ротой и страха перед народным презрением, синтезом политграмоты и высокого патриотизма». Слуцкий — мастер антитезы. Подразумеваемое прилагательное перед словом «политграмота» пропущено, но тем оно подразумеваемей, тем оно удивительней в устах политработника. «Синте-

зом (низкой. — *Н. Е.*) политграмоты и высокого патриотизма» — вот чем представлялась Слуцкому армейская «средняя» дисциплина, о которой он много позже написал стихотворение «Предсмертную усталостью устав...».

Нетрудно заметить, что «синтез политграмоты и патриотизма» — еще один вариант все тех же «двух любовей», механически сшиваемых армейскими газетками, о которых Слуцкий писал в начале своих «Записок...». Тот парадокс, который стареющий Слуцкий выразит стихами «Античность нашей истории...», «Ассирийский колдовской знак у Осоавиахима...», дается молодым Слуцким в «Записках о войне» намеком, одним словом, прилагательным, потому что молодой Слуцкий сам только приступает к пониманию этого парадокса: «Так наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам». Парадоксальность позиции Слуцкого — в этом словосочетании «наш *древний* интернационализм». Так же парадоксально звучит для современного читателя: «темные доски обрусительских икон», «западно чуждые». Для Слуцкого это был один из основополагающих парадоксов. Он чувствовал себя поэтом цивилизации, которая погибла, победив; исчезла, не успев состояться.

Что означает «наш древний интернационализм»? Советская цивилизация — младенчески молода, но интернационализм — традиционно соприсроден ей, то есть — древен, тогда как патриотизм, исторические корни, ксенофобия, ненависть к чужакам, «темные доски обрусительских икон» — все это ново и чуждо для этой цивилизации, все это вторглось в нее извне — с Запада? Да, и с Запада — оттуда, куда ушли священники и офицеры, люди в рясах и люди в погонах. «Восток» для Слуцкого (человека «чисто советской выделки») — Советская Россия, Октябрьская революция, а «Запад» — консервант российской контрреволюции, хранитель спасшейся старой дореволюционной России. Постарев, Слуцкий еще раз использует антитезу «Запад — Восток», уточнит ее: «Солнце ушло на запад, я остаюсь с востоком, медленным и жестоким... огненным и кровавым, все-таки — трижды правым». «Медленность и кровавость Востока» еще не стали аксиомами для Слуцкого в пору писания «Записок о войне». Саму жестокость «Востока» он пытался понять и объяснить как некий странный вариант не то лени, не то особой «разбойной доброты».

«Мне известны правительственные уставки об обращении с пленными. Их выполнение срывает не жестокость, не мстительность, а — лень. Мы — народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека». Среди попыток Слуцкого победить лень доброго народа, пробудить «чувства добрые» к одной-единственной человеческой жизни был «рассказ в стихах» (по сути дела — баллада) «Немецкие потери» — стихотворение, выросшее из нескольких эпизодов «Записок о войне». В «Немецких потерях» пленный враг увиден не как представитель безличной силы («...я радовался цифрам их потерь: нулям, раздувшимся немецкой кровью»), но как просто-человек, веселый, белобрысый, добродушный, голубоглазый, стройный, высокий. С ним говорили, беседовали, он «на гармошке вальс крутил». Он — оказывается — такой же «карандаш», такая же «спичка-палочка», как и бойцы *по эту* сторону фронта. Поэтому, когда его приходится убить («да только ночью отступили наши — такая получилась дребедень»), — его становится жаль. («Мне — что? Детей у немцев я крестил? От их потерь ни холодно ни жарко! Мне всех — не жалко! Одного мне жалко: того, что на гармошке вальс крутил».) Выдернутый из орды нашествователей становится объектом жалости, потому что он — один. Раздавленный колесами истории, ее объект, а не субъект — в таком качестве удостоен жалости.

Эту, если хотите, философскую мелодраму Слуцкий «свинтил» из двух эпизодов, записанных почти по горячим следам. Два обыденных обыкновенных обычных для войны убийства (как муху прихлопнуть, так и фрица убить) в балладе «выправлены», «преобразованы». Для чего? Наверное, чтобы внедрить в общественное сознание простую мысль, простое «мыслечувство»: «Если враг не сдается, его не уничтожают. Его пленяют, его сажают в большой и чистый лагерь и заставляют работать восемь часов в день, не больше».



Вот эти два эпизода, из которых выросла баллада: «Однажды на командном пункте дивизии офицер допрашивал немца. Его знание языка строго ограничивалось кратким четырехстраничным разговорником. Он беспрерывно лазил в разговорник за переводом вопросов и ответов. В это время фриц дрожал от усердия (сравните: «Он все сказал: какого он полка, фамилию, расположение сил. И то, что Гитлер им выходит боком. И то, что жинка у него с ребенком, сказал, хоть я его и не спросил». — *Н. Е.*), страха и необычайного холода, а разведчики сердито колотили по снегу промерзшими валенками. Наконец офицер окончательно уткнулся в разговорник. Когда он поднял голову, перед ним никого не было. „А куда же девали фрица?“ — „А мы его убили, товарищ лейтенант“. Своей сентиментальностью баллада перечеркивает, сводит на нет бабелевский черный юмор этой прозаической записи, ее, как это ни странно, почти басенную мораль. Цена человеческой жизни измерена в количестве времени, которое потратил офицер, переводя фразу с немецкого на русский и обратно. Возясь со словами, он не глядел на человека — вот человека и не стало. Цена непонимания человека человеком — человеческая жизнь.

Второй эпизод связан с балладой еще ощутимее, еще очевиднее. Вот «...один из разительных примеров этой разбойной доброты. Зимой разведчики поймали фрица. Возили за собой три недели — в комендантской роте. Фриц был забавный (опять-таки: «Солдаты говорят ему: „Спляши!“ И он сплясал. Без лести. От души. Солдаты говорят ему: „Сыграй!“ И вынул он гармошку из кармашка и дунул вальс про голубой Дунай, такая у него была замашка». — *Н. Е.*) и первый в дивизии. Его кормили на убой — тройными порциями каши... стал вопрос об отправке его в штаб армии. Никому не хотелось шагать по снегу восемь километров. Фрица накормили досыта — в последний раз, а потом пристрелили в амбаре. Этот пир перед убийством есть черта глубоко национальная». Эту «национальную черту» Слуцкий, видно, и надеется как-то изменить своей балладой. В ней не «лень», а отступление, стратегическая необходимость, вынуждает пожертвовать одной жизнью. Остается жалость к маленькому человеку, попавшему под «колесо истории».

Баллада написана «якобинцем», комиссаром, который может скрепя сердце понять и принять убийство как вынужденную меру, как необходимость, но не как спокойную обыденность: убили, потому что «никто не хотел тащиться восемь километров по снегу». В прозаической записи зафиксировано полное и исчерпывающее презрение к человеческой жизни, к человеческой личности. Баллада рождается из желания это презрение, это равнодушие взорвать наполовину вымышленным рассказом о жалости к пленному немцу, которого пришлось убить из-за большого отступления.

Между тем Слуцкий не мог не понимать, что презрение к единичной человеческой жизни накрепко связано с тем, что он сам называл российским «страстотерпчеством». «Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому — мы опрокинули армию, которая включала в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты. Зимой 1941 года наша снежная нора, согреваемая собственным дыханием, победила немецкую неприспособленность к снежным норам». Но в «приспособленность к снежным норам», то есть попросту к берлогам, неотъемлемой частью входит незамечание боли, своей и чужой, незамечание жизни, своей и чужой.

Эта проблема — проблема жестокости — механистической, машинной, роботообразной жестокости «немцев» и человеческой, дикой, подростковой жестокости «русских» — мучила Слуцкого всю жизнь.

В середине 70-х годов Слуцкий написал стихотворение «К пересмотру военной истории». Кажется, что оно написано сейчас. «Сгинь! Умри! Сводя во гнев брови, требуют не нюхавшие крови у стоявших по плечи в крови: — Сгинь! Умри! И больше не живи!» — ведь, по сути дела, это продолжение темы 1946 года, темы главки «Гнев» из «Записок о войне». Только теперь все «аргументы и факты», которые выкладывал перед самим собой Слуцкий («Ка-

питан Назаров, мой комбат, ландскнехт из колхозных агрономов, за обедом рассказывал мне, как он бил пленных в упор, в затылок из автомата»), выкладывают перед ним невоевавшие молодые люди: «Ты нарушил правила морали! Все, что ты разрушил, не пора ли правезом взыскать!.. Слушают тоскливо ветераны, что они злодеи и тираны, и что надо наказать порок, и что надо преподать урок». Никаких возражений пылким, «не нюхавшим пороху» молодым людям, угрюмое молчаливое несогласие, которое вдруг переламинается напоминанием: «Впрочем, перетакивать не будем, а сыра земля по сердцу людям, что в манере руд или корней года по четыре жили в ней». Слуцкий — умелый уверенный полемист, знающий, что «боковое», побочное возражение, даже не возражение, а именно что напоминание, сильнее, убедительнее всего. «Без отпусков, без солдатских борделей, без посылок из дому» по четыре года в земле («в манере руд или корней»), без перерыва, без отдыха...

В «Записках о войне» Слуцкий нашел самое важное для себя как для поэта — спокойную деловую патетику, разговорную интонацию, которая удивительным и убедительным образом переходит в интонацию одическую. Разговор бывалого человека незаметно становится одой или балладой — вот что такое поэзия Слуцкого. «На следующее утро эшелон остановился на степной станции. Здесь выдавали хлеб — темно-коричневый, свежесвепеченный, ржаной. Его отпускали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора не убывала. Теплый запах, окутывавший ее в ноябрьской неморозной изморози, напоминал об уюте и основательности. За 2000 км от фронта, за 1500 км от Москвы Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой». Эта прозаическая запись — словно бы «сценарий» стихотворения «Гора». «Эстетическое преобразование действительности» непременно, неизбежно для Слуцкого: Волга, по которой (в стихотворении) подплывают к хлебной горе, символичнее, эстетически значимее, чем просто рельсовый путь в степи. Зато прозаические обороты, канцелярит оставлены почти без изменений. В прозаической записи: проезжающие, пробегающие, эвакуированные, спешащие на формировку; в стихотворении: «раненые, больные, едущие на поправку, кроме того, запасные, едущие на формировку». Прежней осталась и «информация»: гора хлеба под открытым небом; та же и эмоция от этой «информации»: «Покуда солдата с тыла ржаная гора обстала, в нем кровь еще не остыла, рука его не устала». Прибавилось нечто похожее на гиперболу и метафору: «Гора же не убывала и снова высила к небу свои пеклеванные ребра. Без жалости и без гнева. Спокойно. Разумно. Добро». Но это скромные и метафора, и гипербола. Скромные, потому что едва ли не сюрреалистична действительность сама по себе: гора из буханок, курящаяся теплым домашним печным паром под ноябрьским небом. Заметим, однако, что эта гора может вызвать восхищение только у поэта, у эстета, чуть ли не символиста. Какое количество хлеба будет испорчено в этой горе? Вымокнет? Раскиснет? Размокнет? Эти вопросы скрадываются ритмом, той самой одической интонацией, о которой ведем речь: «Не быть стране под врагами, а быть ей доброй и вольной... пока, от себя отрывая последние меры хлеба, бабы пекут караваи и громоздят их — до неба!»

«Записки о войне» — точка отталкивания для Слуцкого, то, из чего он вырастал, то, чему старался остаться верным несмотря на изменившуюся жизнь, несмотря на себя изменившегося. Давид Самойлов в 1956-м писал ему: «...это тема твоих военных записок — толковый образованный офицер, организующий правительства и партии в освобожденных странах. Не продолжай этой темы — она опорочила себя». Слуцкий и сам это чувствовал. По прошествии многих лет после того, как он весело описал тюрьму для «буржуев» в «Записках о войне» и в своей ранней балладе, он пишет стихотворение «Странности»: «Странная была свобода! Взламывали тюрьмы за границей и взрывали. Из обломков строили отечественные тюрьмы»,

Любопытно, что у «якобинца» XX века, у парня в 1933-м голодном году сравнивающего Харьков с Парижем 1793-го, а в 1937-м читавшего «серьезные книги про Конвент», в них старавшегося отыскать ответы на вопросы о сталинском терроре, не так уж много стихов с якобинскими аллюзиями. Солдат заслонил в нем якобинца. Слуцкий написал только одно стихотворение — «Комиссары», напрямую связывающее войну, которую вел Советский Союз в 1944 — 1945 годах в Европе, с войной, которую вела революционная Франция в 1792 — 1793-м.

Однако расставаться с «романтикой революции», с романтикой «разнаипоследних атак» Слуцкому было труднее всего. По «Запискам о войне» видно, что он куда кардинальнее, чем в стихах, посвященных отечественной войне, эстетически преобразовывал действительность в стихах, посвященных войне революционной, войне на чужой территории. Вот баллада «Ростовщики». Ненависть к «ростовщикам», к буржуям, к богачам не оставляет автора баллады даже при виде их добровольной смерти. «Все — люди! Все — человеки! Нет. Не все». Собаке собачья и смерть — подспудная мораль баллады, похожей на басню. «Самоубиваются» при одном только известии о приближении Красной Армии те, кого не жалко. Туда им и дорога. «Старики лежали на кроватях ниже трав и тише вод, — убирать их, даже накрывать их ни одна соседка не придет... Пасторскую строгость сюртука белизна простынь учетверяла. Черные старухины шелка ликовали над снегом покрывала... черные от головы до пят, черные, как инфузории, мертвые ростовщики лежат». В прозаической записи эмоция другая, да и герои другие, хотя совпадает цветовая гамма самоубийства: «Наиболее острым актом сопротивления был, наверное, случай в Фоньоде — маленьком балатонском курорте, вытянувшемся двумя цепочками пансионеров на южном берегу озера. В хорошую погоду здесь можно легко различить противоположный берег. Старик и старуха, жившие одиноко и скромно, послали письменное приглашение всем соседям — посетить их дом завтра утром. Собралось несколько десятков человек. Они увидели старинную двуспальную кровать, застланную белыми покрывалами. На кровати рядом лежали застегнутые на все пуговицы, в черном, старики. На столике нашли записку — не хотим жить проклятой жизнью. Кажется, на меня эта история подействовала сильнее, чем на всех туземцев в Фоньоде». Здесь нескрываемое уважение перед удивительным актом сопротивления, а не презрение к убежавшим в смерть мерзким ростовщикам. Слуцкий приписал ростовщичество несчастным самоубийцам, вспомнив не венгерских, а советских ростовщиков. Об одной даме из этой славной когорты Слуцкий писал в своем мемуарном очерке, посвященном другу и однокурснику, неудачнику, смертельно больному поэту — Георгию Рублеву: «Должал Рублев преимущественно ростовщикам. Была тогда (в конце 40-х годов. — *Н. Е.*) старуха — вдова членкора Академии медицинских наук, дававшая деньги под заклад 10% месячных». Слуцкий в своей балладе соединил фабулу одного события с персонажем из совсем другой жизни. Мужественные покончившие с собой венгерские старик и старуха «сконтаминировались» с советской ростовщицей, кончать с собой не собирающейся. Сюжет понадобился Слуцкому для пропагандистской «печатабельной» баллады, зато эмоция прозаической записи — уважение, смешанное с пониманием высокой необходимости такого поступка в таких условиях, — перекочевала в стихи Слуцкого о самоубийцах: «Самоубийцы самодержавно...», «Самоубийство — храбрость труса...», «Из нагана», «Гамарнику, НачПУРККА по чину...».

Вообще, судя по «Запискам о войне», зарубежный поход учил молодого «якобинца» XX века «с удовольствием катиться к объективизму», видеть прежде всего — факт, а уж потом давать идеологическую оценку факту. Слуцкий узнал, что мир — широк, что люди — разные. Слуцкий уже заселяет социализм, феодализм, капитализм людьми. «Единичность» для него становится важнее «типичности». Его милитаристские рассуждения разбиваются об историю восьмилетнего «царенка», болгарского Симеона.

«Советский человек, с его стихийным республиканизмом, привыкший к битвам титанов и величавости своих властителей, смотрел на балканских корольков с презрительным, но беззлобным удивлением. Верноподданность восьмилетнему Симеону казалась ему абсурдной. Между тем именно жалость и беззащитность царенка помогли ему удержаться на престоле. Немецкому происхождению, республиканизму всех четырех партий Отечественного фронта, казни дяди, отсутствию роялистского дворянства противостояло одно младенчество Симеона, ЕГО ВОСЕМЬ ЛЕТ ОТ РОДУ, — и победило». Кажется, что из этой удивленной записи, набранной заглавными буквами, много позже выросло жалостливое «Царевич». Не презрительное — «Царенок», но красивое — «Царевич». Не пощаженный болгарским народом — восьмилетний Симеон, но непощаженный русским народом — четырнадцатилетний Алексей. «Стихийный республиканизм» оказывается связан с «величавостью властителей», с «титанизмом» и потому жесток, нечеловечен, недемократичен. «Кровь с одной лишь кровью мешая, жарким шумным дыханьем дыша, Революция — ты Большая. Ты для маленьких — нехороша».

Величие связано, сцеплено с бедой — эту свою мысль из «Записок о войне» Слуцкий оснастит рифмами в стихотворении «Судьба Монако»: «В историю же — не суется, история — не для малюток. А ежели со всей душой в историю Монако метит? Пусть отвечает, как большое. Большую кровью пусть ответит». В Слуцком-идеологе, в Слуцком-догматике всегда был силен человеческий скептик, сгибавший все восклицательные знаки в вопросительные. Нельзя сказать, что догматизм для Слуцкого был неестественен, навязан извне — и нельзя сказать, что идеологичность, догматизм были для него совершенно естественны, как кожа, как дыхание. Нет, это было нечто среднее между панцирем черепахи и латами рыцаря. Не внутреннее, но сбросить трудно. Поэтому на любое безапелляционное «догматическое» утверждение у Слуцкого есть человеческое мучительное, но тем более веское возражение. Сначала его не слышно, оно не формулируется, остается крохотной занозой в сознании, зато потом, «обмозгованное», «обговоренное» с самим собой, возражение отливается в ритмическую четкую формулу. На весь гром «великодержавья», на все пренебрежение «малым» и «маленьким» (из «Записок...» о мадьярах: «Мы — маленькая нация — пахнет мюнхенской капитуляцией»), на все восхищение «величавостью правителей» и «битвами титанов» — Слуцкий сам себе ответил, сам себе возразил стихотворением «Маленькие государства...». Резкая строчка, оскорбительное уподобление из известной эпитафии («маленький, словно великое герцогство Люксембург») нейтрализуются. «Малость» не синонимична «мюнхенской капитуляции», вовсе нет. «В маленьких государствах столько мыла, что моют и мостовые. Великие же державы иногда моют руки, но только перед обедом. Во всех остальных случаях они умывают руки». Написанное после подавления венгерского восстания (1956), после разгрома чешского «социализма с человеческим лицом» (1968), это стихотворение оказывается расчетом за «великую историю», в которую лучше не соваться малюткам. «Маленькие государства негромкими голосами вещают великим державам, вещают и усовещают. Великие державы заводят большие глушилки и ничего не слышат, потому что не желают».

Однако уже в «Записках о войне» Слуцкий писал о «маленьком» и «слабом» как о замалчиваемой совести «большого» и «сильного»; той совести, которую и слушать-то не хотят. Это описание гибели «особенного человека» — венгерского коммуниста инженера Тота. «В 1945 году, в марте месяце, в маленьком венгерском городе Бая красноармейцы убили инженера Тота. ...Тот был „особенным человеком“ — так о нем и вспоминают в городе. Эрудит, путешественник, изъездивший целый свет, он был страстно влюблен в Россию, в ее грядущую многоэтажность, столь противоречащую особнячкам его родины. Это был, быть может, единственный горожанин, который принципиально считал, что красноармейцев не надо бояться, а коммунисту — нельзя бояться. Может быть, поэтому он в три часа ночи открыл двери запоздалым путникам.

Его убили через полчаса. Жена Тота, которую пытались изнасиловать, рассказывала, что он говорил солдатам по-русски: я — коммунист. Протягивал им партбилет с надписью на русском языке. Страшные, видно, были люди. Такие доводы останавливали самых черных насильников». Ни в какую балладу эту историю Слуцкий не «преобразовал» и преобразовать не мог. Он и так написал в прозе своего рода «балладу о догматике», о венгерском Дон Кихоте, венгерском «майоре Петрове», уверенном в том, что «русский пролетарий не должен» убивать и насиловать. Его убивают так же, как в балладе убивают майора Петрова, «не спрашивая соцпроисхождения», не обращая внимания ни на слово «Маркс», ни на слово «пролетарий».

«На другой день, тайно от горожан, тело Тота было предано земле. Секретарь обкома рассказывал мне, как они стояли у могилы — 20 человек коммунистов, ближайших друзей покойного. Молчали. Потихоньку плакали». Слуцкий так описывает эти похороны, словно хоронят не только инженера Тота, но и еще что-то очень важное, например, его (Слуцкого) довоенный «прекраснодушный идеализм»...

Остается сказать несколько слов об истории этих «Записок...».

Осенью 1946 года майор политотдела Борис Слуцкий приехал на недолгое время в Москву и привез с собой отпечатанные на машинке «Записки о войне», давал их читать друзьям и знакомым. Я уже писал, что у него было полное ощущение вернувшихся 20-х годов — с их пусть и жестокостью, но честностью, распахнутостью всему миру, с их рывком к почти осуществленному всемирному переустройству. Что же до жестокости — вынужденной, вынужденной, — то она будет обязательно исправлена теми, кто учтет опыт и войн, и революций. Слуцкий ошибся на десятилетие. Спустя десятилетие к власти пришел человек 20-х годов, и вместе с ним пришли «нераздельные и неслиянные» — мечта о мировой революции и распахнутость, открытость всему миру: наивный догматизм и реабилитации. Слуцкий вовсе не похож на Хрущева, но поэзия Слуцкого — странный парадоксальный аналог политики Хрущева. Они решали схожие задачи — «очеловечивания» сталинского наследства, освобождения от страха перед Хозяином, перед земным богом, просто освобождения. Слуцкий передельвал словесные клише сталинской эпохи, лишал их свинцового смертоносного запаха. «Подумайте, что звали высшей мерой / Лет двадцать или двадцать пять подряд. / Добро? Любовь? Нет. Свет рассвета серый / И звук расстрела... / Мы будем мерить выше этой высшей... / А для зари, над городом повисшей, / Употребленье лучшее найдем». Или: «Сын за отца не отвечает» — у Слуцкого: «Вы решаете судьбу людей? Спрашивайте про детей, узнавайте про детей — нет ли сыновей у негодая».

Но осенью 1946 года что-то уже подсказало ему: воздух эпохи если и меняется, то совершенно неожиданно и зловеще. Слуцкий вернулся в армию, в румынский город Крайову. С дороги прислал друзьям письмо с просьбой «изъять из обращения» «Записки о войне». Друзья выполнили его просьбу, но, видимо, Слуцкий уж очень широко раскидывал свои «Записки...». Все экземпляры изъять было невозможно. Один «долетел» аж до Ильи Григорьевича Эренбурга. Слуцкий об этом не знал.

И мы не знаем, что именно случилось со Слуцким в 1946-м, отчего он стал рваться прочь из армии, армии-победительницы, занятой послевоенным переустройством завоеванных стран. Какие-то неясные намеки есть в его стихах: «Я знал ходы и выходы, я видел, что почем. Но я не выбрал выгоду — беду я предпочел. ...Мне руку жали идола — подлее не найдешь. Они бы немцам выдали меня за медный грош. Но я не взял, не выбрал, и мне теперь легко: как лист из книжки выдрал и бросил далеко». Видимо, этот выбор, этот «выдерг листа из книжки судьбы», тоже повлиял на развитие послевоенной болезни Слуцкого — пансунусита, непрекращающихся головных болей. В 1946 году он был комиссован как инвалид второй группы. Он писал: «Эти

годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками. 1946 — 1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948 — 1953, когда я постепенно оживал». Тем временем его «Записки...» жили своей судьбой. В «Людах. Годы. Жизни» Илья Эренбург рассказывает: «Когда я начал писать „Бурю“, кто-то принес мне толстую рукопись — заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных „Кёльнская яма“. Я решил, что это — фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий». В это время Слуцкий лечился по госпиталю, перенес две трепанации черепа. Во всех изданиях романа знаменитого советского писателя до 1949 года печаталось: «Потом был Кёльн, телеги с трупами; каждое утро бросали в яму умерших — иногда сотню. Бросали и живых, которые не могли встать на ноги. Миша Головлев сочинил стихи:

Когда мы в кёльнской яме сидели,  
 Когда нас хлебом манили с оврага,  
 Когда в подлещи вербовать нас хотели,  
 Партийцы шептали: «Ни шагу! Ни шагу!»  
 Читайте надпись над нашей могилой:  
 Да будем достойны посмертной славы!  
 А если кто больше терпеть не в силах,  
 Партком разрешает самоубийство слабым.

Миша крикнул эсэсовцу: „Скоро мы вас повесим!“ Эсэсовец его застрелил. Воронов вспомнил стихи — Миша не выдержал».

В 70-е годы Слуцкий записал, при каких обстоятельствах он прочел в чужой книжке — свои стихи: «Я приходил домой и ложился на диван. Комната была большая и светлая, но стена, выходящая во двор, — сырая почти до потолка. Вода текла по ней зимой и летом, и грошовый гобелен, купленный отцом на толчке, — единственное украшение этой стены — был влажен, хоть выжимай. Под окнами стоял металлический шум. Иван Малявин гнул и гнул толстую проволоку в пружины, делал на продажу матрасы. Голова болела несильно, как раз настолько, чтобы можно было с интересом читать классика и прочно забывать к пятидесятой странице, что же делалось на первой. В библиотеки я не записывался, читал то, что было дома, — Тургенева, Толстого. Однажды, листая „Новый мир“ с эренбургской „Бурей“, я ощутил толчок совсем физический — один из героев романа писал (или читал) мои стихи — восемь строк из „Кёльнской ямы“. Две или полторы страницы вокруг стихов довольно точно пересказывали мои военные записки. Я подумал, что диван и тихая безболезненная головная боль — это не навсегда. Было другое, и еще будет другое». Потом усилием воли Слуцкий заставил себя вернуться к «стихотворению» («Стихи меня и столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы...»). Приехал в Москву, перебивался случайными заработками, читал в компаниях свои «непечатабельные» стихи, стал «широко известен в узких литературных кругах», встретился и подружился с Эренбургом. (Эренбург убрал из романа «Буря» стихи Слуцкого.) После смерти Сталина, когда стихи Слуцкого стали печатать, Эренбург опубликовал статью «О поэзии Бориса Слуцкого». О своей послесталинской известности Слуцкий писал: «Моя поэтическая известность была первой по времени в послесталинский период новой известностью. Потом было несколько слав, куда больших, но первой была моя глухая слава. До меня все лавры были фондированные, их бросали сверху. Мои лавры читатели вырастили на собственных приусадебных участках».

Впрочем, это уже совсем другая история.

# Р Е Щ Е Н З И И. О Б З О Р Ы

## СНЫ О СЕБЕ

Олег Павлов. Степная книга. Повествование в рассказах. СПб., «Лимбус Пресс», 1998, 160 стр.

Олег Павлов. Эпиполия. Вольный рассказ. — «Октябрь», 1999, № 1.

Олег Павлов. Школьники. Повесть. — «Октябрь», 1999, № 10.

**В** «Степной книге» Олег Павлов собрал то, что писалось им еще в 1990 году, двадцатилетним, по следам армейских своих впечатлений. «Школьники» и «Эпиполия» — совсем иные истории. Одна — попытка вспомнить детство. Другая — о том, как стал писать. Точка начала и точка «сегодня» павловского письма. Различие этих отстоящих на десятилетие текстов (в промежутке были «Казенная сказка», 1994, и «Дело Матюшина», 1997) — значительное, не столько тематическое, как стилистическое.

Впрочем, с точки зрения «тематической» можно увидеть цельность писательского интереса: школа, армия, больница («Из дневника больничного охранника», опубликовано в журнале «Индекс/Досье на цензуру», 1998, № 2). Интересуют его всевозможные «узилища» — места, где жизнь каким-то неизбежным образом перерабатывается в не-жизнь. Места небытия и унижения. Павлов — исследователь именно этих мест.

Причем исследователь достаточно своеобразный, даже можно сказать странный. Вот его диагноз себе: «Я стал непонятным сам для себя и, как сомнамбула, неуправляемым. Не жил, а блуждал...», «...выписывался одним бесформенным безадресным письмом». Это Олег Павлов написал в предисловии к «Степной книге» — он пытался найти и выразить источник своего письма. Мне кажется, самодиагноз очень точный. Во всяком случае, именно слово «сомнамбула» способно расшифровать стилистику тех литературных эпизодов, которые составили «Степную книгу».

Вопреки авторскому объяснению, что это его «повествование в рассказах», начинаясь на лирическом дыхании, проходит через драму и восходит к трагедии, я наблюдаю не жанровое, но иное движение: происходит поиск и наслоение своего рода сюжетов-метафор, которые, похоже, проявляют прежде всего и по преимуществу одно почти навязчивое состояние, а может быть, точнее сказать — атмосферу. Иногда мне даже кажется, что в «Степной книге» вообще нет «литературных героев» (все его Долоховы — Ерохи — Гнушины и даже Хабаров, который появится потом героем «Казенной сказки», почему-то как фигуры почти не запоминаются, не говоря уж о том, что они не претерпевают внутреннего развития). Да и то, что автор именует «рассказами», мне видится эскизами, где сюжет статичен, «бездвижен», скорее это психологические этюды. Настоящим литературным героем этого письма оказывается некая общая атмосфера — ее создает особая отстраненность авторского взгляда, как будто замедление мыслей, жестов, движений персонажей, — все происходит в каком-то недооформленном месте, в каком-то мареве, как будто во сне. Как если бы жизнь то ли была, то ли не была, но осталось через сон приходящее воспоминание.

Этот странный эффект ранней прозы Олега Павлова по-настоящему преследует читающего (только ли меня?). Неужели изнывать и скучать неизбежно — еще даже не родившись на свет? Откуда это? У меня есть предположение.

Мне кажется, это связано с тем, что Олег Павлов в своей прозе все время занят одним — он «изживает» странный мир, в котором не принадлежишь себе, в котором избыточность насилия не позволяет тебе свободно и радостно родиться, жить, видеть, участвовать... Оказавшись случайным ли, добровольным ли заложником этого мира, он честно пытается передать прежде всего стилистически его атмосферу. А в ней, по сути, невозможна ни «лирика», ни «трагедия». В ней просто все никак не может родиться герой, тот, на ком будет держаться тот или иной жанр повествования.

Смотрите, в первом рассказике книжки, названном «Тайная вечеря»... Солдатский ужин в столовке, через описание почти физически ощутимы запахи и слышен гул-бормотание ожидающих своей пайки, а потом — дыхание и чавканье-разжевывание неразварившейся «перлы». И — мухи. С них начинается рассказик: «К сумеркам мухи пустынные летали тяжело, дремотно и предпочитали вовсе не летать, а опуститься солдату на плечо или на веко, чтобы отдохнуть. И солдат доставлял их туда, куда надобно им было прибыть по мушиным хлопотам: в столовку, на параши или в больничку...» В мухах этих, собственно, и весь рассказ, ибо их тяжелый полет по немногим известным траекториям и составляет суть этой общеказарменной жизни. Где тот «я-солдат», который появляется в кадре рассказика, только и выделяется из мертвой атмосферы двумя «индивидуальными» жестами — он кладет ладони на колени в ожидании своего котелка и, теребя пуговицу на кительке, первым, без прозвучавшей команды, поднимается со скамьи после ужина... И мысли его движутся в такт мушиным полетам: «...куда Бог муху приведет, если она, по случаю, на него, как на нас, сядет?» Вопрос не вопрос, сюжет не сюжет, может быть, какая-нибудь мораль?

Иногда кажется, что автор имеет это внутреннее желание — морали. Один из рассказов — почти притча. «Часики». Доставшиеся «неправедно» (может быть, не надо было снимать, хоть и прилюдно, с приятеля — пусть и солгавшего, и задолжавшего, — справедливо возмещая убыток), они навлекают несчастья, старослужащие их пытаются выманить и отнять, подавливают и избивают, приходится прятать, а потом — решиться и отдать освободившемуся из лагеря зеку: «Жалко стало, что заржавеет в земле. Они и стоят чего-то только у людей».

Но все-таки сведения к моральной форме в прозе Олега Павлова не происходит. К стати, может быть, по тем же глубинным причинам, по которым его письмо не собирается в энергичное движение сюжета и определенность узнаваемого жанра.

Даже в последнем рассказе «Степной книги», «Беглый Иван», солдат-раб, изнасилованный солдатней и униженный, которому майор-начальник жизнь спас, служивший ему с тех пор бессловесно и преданно, — вдруг, узнав, что майор продает автоматы, и распознав в нем высокомерное небрежение к себе, как к падали, убивает... Даже в этом, заканчивающемся убийством, рассказе — какое-то странное отсутствие, собственно, агента чувства и действия. Как будто убийство не произошло, но «вышло», и какой-то не убийца этот Иван, и в то же время не сказать, что человек, воспротивившийся унижению... Убийство здесь — просто следующий жест персонажа, как бы «средовое движение», столь же «натурально» происходящее, как и предыдущие. Здесь вообще нет того, что можно назвать человеческим решением или действием. Все обволакивает какая-то «дремотная воля». Все происходит как будто во сне.

И ты наконец опознаешь ту территорию, на которой оказался: это мертвая зона. Где человек, отдельный, имеющий свою смысловую, моральную, психологическую территорию, собственное, ему самому подконтрольное пространство движения, — не родился. Он и не может здесь никак родиться: слишком велико насилие внешнего и бессмысленного, а потому здесь можно выживать только — сомнамбулой.

В психологии известны эффекты, которые производит избыточное насилие. Один из них — уход в сон. И мне все время кажется, я повторюсь, что проза Олега Павлова — странное литературное свидетельство об одной из возможностей «выживания» в мире избыточного насилия. Глухая отстраненность от жизни, какая-то униженность, читающаяся в отсутствии нормальных реакций персонажей, не проявленность (и это не противоречит тому, что персонажи книги от сонливого участия в бессмысленной армейской жизни быстро переходят к вспышкам ярости и насилия), бессобытийность — все это в самой атмосфере рассказов, в самой стилистике прорисовки сцен. Мертвая зона, зыбучие пески, из которых не выбраться, и «герою» часто становится жалко себя, жалко всех, а потом выходит, да и не может не выходить, что никого не жалко, да и в себе не схватывается то, что можно назвать собою.

«Караульные элегии», «Записки из-под сапога», «Правда Карагандинского полка». Потом была талантливая «Казенная сказка», написанная на максимальном



напряжении, когда бессмысленность удалось показать основным событием жизни на той территории, что называется «армией». В 80-е годы у нас были откровения «армейской прозы» — Сергей Каледин, Юрий Поляков. Там было — о жестокости. Павлову удалось выразить, с моей точки зрения, иное. Он стилистически воссоздал атмосферу той мертвой зоны, в которой нет жизни, но есть только унижительное и тоскливо-бессмысленное выживание.

Повесть «Школьники» — попытка вспоминать детство. Как если автор решил для себя: вспоминать не эмоцией, не чувством, но сначала — отчетливо увидеть и себя и других. Создать прежде всего зримое воспоминание. Поэтому и описания — с расстояния, и опора на стилистику реализма.

Взгляд выхватывает случай. Но вместе с тем, казалось бы, случайные соположения эпизодов дают вполне цельную зарисовку окраинно-московского школьного мирка. Достаточно убогого и тусклого, довольно жестокого и равнодушного к тем, кто его населяет.

В «Школьниках» сцены, которые выбирает память Олега Павлова, оказываются сцеплены по индивидуальному закону избирательного воспоминания: снова работает память на унижение, на бессмысленную жестокость, свою неуклюжесть, какую-то ненужность этому миру, на бессмысленность рядом происходящего. Вот сцена первая — первый класс, мама ввела мальчика в класс посреди урока, дети засмеялись — очкарик, а потом, на переменах, увальню первоклашке приходилось драться, отчаянно защищая себя от насмешек... Отсюда попадаешь в небольшую сцену-сюжет о том, как появился друг, тот самый, кто бил его в школьном коридоре, с которым теперь украдкой они пьют вино у него дома и враньем скрывают следы преступления, а потом вдруг все оборачивается детским предательством и детским примирением перед страхом вызова родителей в школу. И следующая сцена, сцепившаяся с предыдущей страхом — перед директором, трусливым ожиданием, что какой-то очередной школьный проступок раскроется и ничего никому нельзя будет объяснить, что все не так и все несправедливо...

Повесть разделена на шесть главок-частей. В каждом отрывке — фрагмент пейзажа этой школьной и околоскольной жизни. Свибловские окраины, школы «татарская» и «русская», дворовые компании, народец, что шел или в армию, или в тюрьму. И еще одна детская случайная привязанность к старшему мальчику, который спас от побоев, а потом — снова неловкость и нескладность отношений... В главке следующей история о школьной сторожихе и ее дочери-дурочке, о том, как в школьном дворе повесил кто-то их бесхвостую дворнягу. Ситуативные портреты учителей, в которых самым важным штрихом — их подневольность и бессилие. Сцены школьных обычаев: пионерская линейка, собрание, обязательный доклад о пионере-герое; и сцены послешкольного «досуга»: мены-обмены жвачек-значков у иностранцев на ВДНХ; и еще одно, видимо страхом вспоминаемое, — кража, что как-то сошла с рук...

Все эти сцены нанизаны на детское чувство затравленности, своей неуместности, жалкости собственного бытия... И меня все время преследует эта странность: казалось бы, воспоминания эти принадлежат тому, кто уже приобрел телескоп и научился разглядывать и описывать иные миры (об этом точно свидетельствует мастерство письма), но он все еще не может совладать с желанием — кому-то пожаловаться и выговорить то, что детский мир был несправедлив к нему, а он сам был обидчив и неуклюж.

Но дело не только в этом, он чувствителен к метафизическому — к тому бессмысленному течению времени, в которое погружено его детство. Сам автор довольно точно назвал это время «бездвижным»...

Говоря о прозе Олега Павлова, часто вспоминают Платонова. Столь ли очевидно это сближение? Платоновская дистанция по отношению к миру — бесконечно велика, его взгляд отчужден и безжалостно фиксирует мертвые формы жизни. Его рассказчик не способен стать соучастником происходящего. Олег Павлов скорее страдающий заложник того бессмысленного мира, который он описывает в своих рассказах, в своих романах. Павловский герой, с одной стороны, не может

расположиться в этом мире, он испытывает тошноту и всевозможные несчастные чувства, с другой стороны — он и не может выйти из него, занять ту точную дистанцию, которая, возможно, дает освобождение.

В павловском рассказе из «Степной книги» — «Между небом и землей» — солдат глядит на ладони своих рук, они — его. И ничьи больше. Это очень важно: чтобы было отчетливое, «только свое», и не только воспоминание, но и жизнь. Сегодняшние опыты в прозе Олега Павлова выглядят для меня словно бы продвижением от сна к яви. (Это ни в коем случае не скрыто-оценочное суждение, но — стилистическое замечание.) В его «Эпилогии» — ясная и даже легкая языковая ткань, динамичное движение сюжета, отчетливо прописанные детали. Как будто произошла смена психологии наблюдателя. Он перестал быть заложником состояния, он действует и торопится описать происходящее. И замечательно живой вышла история с купленной на дедово наследство пишущей машинкой... Только это получилась иная проза.

«Степная книга», «Казенная сказка», «Дело Матюшина» и даже еще «Школьники» принадлежали тому странному вовлеченному исследователю мертвых зон. «Эпилогия» выглядит для меня стилистическим переходом к иным темам...

Елена ОЗНОБКИНА.



### НЕ НАДО ВСЕ ВСЛУХ...

Г. А. Балл. Вверх за тишиной. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 240 стр.

Случилось так, что имя Георгия Балла наконец попало в обиход: рожденный в годы нэпа писатель получил на тургеневском фестивале премию за лучшую работу в жанре «лирико-повествовательной прозы» (никого уже не удивляет привычная в литературных кругах терминологическая казуистика). Впрочем, определить жанр вызывающе антибеллетристичного письма всегда сложно, что подтверждает и новая книга Балла — удачно составленный сборник произведений разных лет. Те литературоведы века наступающего, что захотят обратиться к его странно-му творчеству, пойдут, видимо, путем наименьшего сопротивления, извлекая из всего многообразия милый и х сердцу корень. Можно даже предвосхитить названия будущих работ: от «Функции пейзажа в реализации метафизической концепции Георгия Балла» до «Белого цвета „Лодки“ Балла» — кому как нравится. Шутка? Едва ли, ибо любые попытки отобразить внутренний мир этого писателя, пользуясь привычной системой координат, заведомо обречены на опрощение.

На эту же мысль наводит и знакомство с изящно сконструированной автором предисловия Евгенией Воробьевой трактовкой мистерии «Лодка», центрального произведения Балла, как книги о Спасителе — так воспринимает она замысловатое повествование о герое, блуждающем между Озерками и Селением, по тусклому царству мертвых и живых, в сопровождении возникающего из Ниоткуда поручика Николаева. Трудно не согласиться: «поражает, насколько точно определен автором жанр произведения». Вместе с тем речение «Врачу, исцелися сам!» и Ченстоховская Божья Матерь вкупе с причудливыми евангельскими аллюзиями отнюдь не исчерпывают загадочный мир «Лодки», неспроста у Воробьевой невзначай проскальзывают отнюдь не библейские мотивы, как-то: «подобно Орфею» и «своего рода Вергилий». Не оттого ли, что происхождение жанра «Лодки» (греческое «mysterion») подразумевает не только церковное таинство, но и античную мистерию. Может быть, герой потому «болен», что, подобно Персефоне, вкусил гранатовое зернышко из рук Аида и оттого находит себе место и среди живых, и среди мертвых? Впрочем, «все мы Божественное видим туманно» — каждый по-своему.

Возьму на себя смелость интерпретировать творчество Балла и я, не обойдя конечно же ключевого слова в статьях о современной литературе — «постмодернизм». Странно: куда проще, на мой взгляд, используя классификацию Даниила

Хармса (писатели «огненные» и «водяные»), определить Балла в ячейку «водяные», чем в ячейку «постмодернисты». Да, Балл несомненно создает условный и обобщенный образ мира, но там, где у Хармса, коль вспомнил я о нем, тема останавливается у черты: «...вошел он в темный лес... и с той поры исчез», у Георгия Балла повествование только начинается: Карл Давыдович уходил в лес, «становился маленьким». Писателю интересно, что происходит там, за невидимой границей. В мироощущении постмодернизма «корабль уродов» плывет в «страну дураков». Подобная перспектива не устраивает Балла, и корабль, «заросший кустарником», плывет в Вифлеем. Характерная черта — писатель избегает иронического перехлеста. Ему не до шуток; когда он хочет смеяться, на лице его оживает печальная улыбка: несмотря на сюжетные выдумки, проза Балла почти лишена игрового оттенка.

Куда более очевиден символизм Балла. Бесконечная череда наслаивающихся друг на друга знакомых символов (река, стена, зеркало и т. п.), то создающих параллельный системообразующий мир, то отыскивающих непривычное соседство («крылья автобуса» для писателя так же органичны, как «крылья кузнечика»), то образующих длинный смысловой или цветовой ряд, то обескураживающих парадоксальностью математических равенств («жизнь» = «машина», «дорога в Егорьевск» = «лестница в небо»), то играющих многозначностью смыслов («тень от часов»).

«Всё гармония» в фантазиях писателя: «человек-камень», «мужик-дерево», «бабка-лошадь» легко меняют форму существования; свободно перемещаются в воздушном пространстве люди (оставим за кадром шагаловские фигуры — их полет горизонтален, полеты героев книги Балла — вертикальны); реальное и фантастическое образуют некое единое пространство жизни, напоминающее то зыбь, то рябь — бесконечные круги, расходящиеся по зеленовато-мутной поверхности воды, а непрерывно подвывающий ветер, спутник писателя, приобретает смутные черты загадочного поручика Николаева. С порывами ветра проза Балла, утрачивая внешнюю смысловую оболочку, обнаруживает плавно вытекающий из нее «подтекст only»: «*Маленький мальчик стоял на перекрестке*», — где каждое слово может быть не равно себе.

Когда мерное-мирное течение нарушается, на авансцену выходит другой, не соглашающийся со своей концепцией прозаик Балл — больно расстреливающий читателя очередью коротких фраз: «И планировал. Две недели и три дня. Многовато», — успеть бы, успеть. «Я просто ласточка-береговушка, с радостью полета, стремительно-бесконечной и короткой жизнью» — излучающее свет начало фразы словно растворяется, застигнутое врасплох вторжением иного смысла.

Со времен черно-белой фотографии за словом «негатив» все еще сохраняется оттенок значения: «остающийся в прежнем виде». Палиндромом рождается от него слово витаген (*vita + gen*) — «происходящий от жизни». Слова взаимоперетекают друг в друга, образуя некое философическое двуединство: негатив — это и то, что было, и то, что остается; витаген — будущее, исшедшее из прошлого. Именно сосуществование «негатива» и «витагена», органичное их сочетание, составляет основную черту прозы Балла, позволяя формулировать обращение в мир иной в согласии с авторской концепцией: герои «соединяются с небом», «множатся, растворяясь в дожде и снеге», «вырываются из шума в тишину», но не умирают. «Старик никак не умел умереть», — находит слова Балл, приподнимая написанное до уровня облаков. Люди, оставляя след на негативе, переходят в витагенное состояние.

Меня не оставляет ощущение, далеко не всякому чтению сопутствующее, что Георгий Балл *не может писать иначе*. Мир его прозы — это он сам, искренне убежденный, что «есть извечный внутренний свет, проходящий сквозь человека в бесконечность». Но всякий раз, рассуждая о столь серьезном предмете, не решаюсь перейти границу сокровенного и оттого тихо повторяю себе вслед за автором: «Не надо все вслух», не надо все вслух...



## ВЕСЬ ДЕНЬ БЫЛО УТРО

Юрий Коваль. АУА. Монохроники. Повесть. М., «Подкова», 1999, 464 стр.;  
Ю. Коваль. «Я всегда выпадал из общей струи». Экспромт, подготовленный жизнью.  
Беседу вела И. Скуридина. — «Вопросы литературы», 1998, № 6.

**Ю**рий Коваль (1938 — 1995) был человек особенный. «А кто не особенный?» — возразят мне и будут правы. Однако Юрий Коваль был особенным особенным, и особо, и обособленно, и особняком. Короче, как говорят теперь — а он эту лексику не жаловал и сердито фыркал, — был он личностью, батюшки-светы, *экстракреативной и ультраэкссклюзивной*. (Юра, прости!)

Широкий читатель при жизни знал Ковалья исключительно как детского писателя, а Коваль был «просто писателем» (как и художником, и керамистом, и певцом, и педагогом) мирового масштаба. Так с ним распорядилась цензура и автоцензура: сиди в детской нише, в «Мурзилке» и в «Детгизе», — и не рыпайся. Он сидел, но как еще рыпался — о чем ниже... Интересно, что крестным отцом в прозе у Ковалья был Юрий Иосифович (полные тезки) Домбровский, который в 1963 году прочел рассказ двадцатипятилетнего автора, пришел в восторг и понес папку в тогдашний «Новый мир», где рассказ «ласково отклонили». Этот недалеко-видный возврат глубоко и навеки ранил Ковалья (урок «Новому миру» нынешнему) — он незадолго до смерти вспоминал в беседе с Ириной Скуридиной: «Я вдруг понял, что у меня не хватает сил. Если „Новый мир“ даже после рекомендации Домбровского отклонил меня, за что я их до сих пор не хвалю... Я понял, что мне не пробиться никогда. Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни написал — не напечатают. Ни за что». И дальше: «С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового имени... Понимаешь. Там давят». Как мы видим, у Ковалья очень рано возникла мощная обида и фобия, и он сам себя сознательно сузил и укоротил: «Я решил скрыться в детскую литературу, уйти туда».

Грустно? Но это был талант такого сильного и неуправляемого самодвижения, что он — талант — решению Ковалья-человека не подчинился: нишу раздвигал, берега размывал и пел, повествовал, рисовал не в рамках «детской секции», а по воле Божьей. «На полях» детской прозы Коваль, как выясняет теперь читатель, создал замечательный сказочно-фантастический роман «Суер-Выер» и дневниково-мемуарные монохроники «АУА» — и то и другое вышло посмертно. Получается, что как блистательный детский писатель он более-менее процветал и славился, как взрослый — таился и внешне робел. Это отражалось и на его характере — он был сильный и слабый, вспыльчивый и смиренный, капризный, и вольный, и несвободный, и очень щедрый. Мне опять же возразят: «А мало таких?» Да. Но он, как сказал бы сам Коваль, из таких — таковойший.

Однако возьмем наконец в руки новую книгу. Что же такое «АУА»? Юрий Коваль отвечает:

«Впервые, давно-давно, я услышал это слово от девочки, которая обожглась и вскрикнула внезапно:

— АУа!

Размышляя об этом слове, я спросил у некоторого приятеля:

— Что такое „АУА“?

— Агентство Улетающих Арбузов, — ответил тот.

Возможно, возможно... Возможно, в этом слове есть и крик заблудившегося, и ответ успокаивающий, и плач ребенка, и возглас боли, и даже Агентство Улетающих Арбузов. А может, нет ничего, так — белиберда, пустяк.

...А что такое, на ваш взгляд, жизнь человека?

По-моему, АУА — и привет!»

Эту новую книгу Юрия Ковалья смонтировал из оставшихся в архиве записей, миниатюр, воспоминаний, стихотворений и авторских иллюстраций друг писателя — режиссер Юлий Файт. Он ориентировался на недооволощенный при жизни замысел Ковалья — создать домашнюю книгу новаторского жанра. Можно вспомнить и Розанова, и Пришвина, и Олешу, но книга Ковалья получилась абсолютно самобытной. Возможно, истоки ее следует искать не в литературной традиции, а в законах разноцветной мозаики, которую Коваль чрезвычайно жаловал как художник — он ведь на ранних порах был и мозаичист тоже. «Монохроники — это какой-то новый (для меня) жанр, — записал Коваль однажды. — Ясно, что это не дневник, ежедневные записи для меня невозможны, тогда пришлось бы бросить всю работу и писать и рисовать только монохроники. И все-таки кое-что есть в них и от дневника. Записи автобиографичны, хотя иногда я считаю возможным переиначить события, взглянуть на них глазами художника. Во многом монохроники — это случайный сбор. Захотелось что-то записать, нарисовать — „Монохроники“! Точной системы моей жизни в них нет, есть, наверное, какое-то общее движение». Итак, перед нами неполная и разрозненная, но хроника творческой жизни Юрия Ковалья за несколько лет (70 — 80-е годы, рубеж). Здесь и путевые заметки (а Коваль с друзьями исколесил всю Россию, особенно же любил ее Север), и свои собственные «записки охотника», и размышления о природе слова, и мемуары о Борисе Шергине, Соколове-Микитове, Корнее Чуковском, Овсее Дризе, и прозаический портрет с натуры Арсения Тарковского, и любовные переживания и прочее, прочее, прочее. Читая этот глубоко неслучайный «случайный сбор» и разглядывая многочисленные рисунки, шаржи, этюды, наброски, пейзажи, натюрморты, не устаешь *изумляться изумлению*, которое Коваль непрерывно и остро испытывал перед жизнью. Он брал на зуб каждое словцо, имя, название и по-ремизовски погружался в подпочву — тихо *корнесловил*, что ли. Вот бродит он по Вологодчине: «Полумертвая деревня — Палшумо... Нерусское слово, и все-таки я прикидываю, что кто-то когда-то делал здесь пал — палил лес, и был от этого пала немалый шум». Или идет он болотной дорогой сквозь ольшаник, и открывается ему медленная, дремучая, ласковая река Модлона — явь тут же отзывается в слове: «Модлона течет модлонно...» И так далес, как сказал бы Хлебников!

Литературный стиль Юрия Ковалья трудноуловим — здесь нет явственных метафор, кичливых неологизмов (максимум — *снегодождь*), самоцельного интеллектуального нажима. Но нейтральные слова так диковинно прислонены друг к другу, что возникает некое новое языковое качество, которое друзья и ученики писателя именовали «ковализмом». Уникален и матово-нежный, всегда чуть печальный юмор Ковалья. «Его юмор — это правда, не требующая никаких доказательств», — сказал Фазиль Искандер.

А как художник Коваль вышел из школы замечательных мастеров Владимира Лемпорта и Николая Силиса, по-своему учителей переросши, но — вбок. И графика, и живопись, и керамика, и резьба по дереву Юрия Ковалья (а новая книга — она и настоящий альбом) экспрессивны и острохарактерны. Один из прототипов, взглянув на свой портрет карандашной работы Ковалья, сказал: «Я весь тут как тут!» Тут как тут в иллюстрациях Ковалья к своей хронике и все его странствия, и сомнения, и природа с ненаглядными птицами, рыбами и ягодами, и близкие друзья, и первые встречные, и вообще весь окрестный мир. Кстаги, неумной *более чем любовью* Ковалья — и в жизни, и в искусстве — пользовались лесные и полевые букеты цветов. Он, как я помню, обронил в нашем едва ли не последнем разговоре, что замышляет особую серию миниатюр — разные сухие букеты на подоконниках, и чтобы сквозь букеты был виден (но ими преображен) город. Здесь таилась некая глубоко личная мифологема Ковалья, но я в ответ промолчала и развивать сюжет не стала — Коваль резко не любил светской болтовни про символику, семантику и проблематику. Ежели ему что чужое нравилось (рисунок ли, сонет или самовязный шарф) — то он попросту, чуть шуткуя, причмокивал: «Элегантиссимум!» И лишь когда разговор заходил серьезный, несправданный, обязательный — например, с учениками в литературной студии, которых мэтр ласково и старомодно называл «семинаристами», — Коваль проявлял себя как одухогворенный теоретик искусства. Помню еще его мастерскую в переулке на Яузе и то, как, стоя часами у моль-

берга, Юра говаривал: «С улыбкою шизофренической / я прихожу в Серебрянический». Порою ему казалось, что, двоясь между прозой и так называемым изобразительным искусством, он — разбрасывается. Нет. Книга «АУА» выявляет редкую цельность этой ренессансной природы.

«АУА» — победа писателя над навязанным амплуа. Уже в самом разгаре стихийной работы над монохрониками (а как вспоминает Юрина жена Наташа, он с особой страстью прятался в них, когда подпирала очередная поденка) Коваль с радостью записывает на своих клочках: «Это оказался удивительно емкий, совершенно неожиданный жанр». Заметим, что *жанр* не был для него вопросом исключительно техники — это всегда был ключ к душевному обновлению. В уже цитированной беседе с И. Скуридиной Коваль признавался, что ему необходим «сознательный подход к жанру»: «Я меняю жанр и думаю о том, как изменить жанр, и у меня он сам подходит». Теперь-то мы видим, что все эти магические изменения (от лукаво-детективного «Недopesка» или подлинных стихотворений в прозе, выходявших в купе с иллюстрациями Татьяны Мавриной, — и до летяще сюрреалистической «Самой легкой лодки в мире») зрели и выверялись на сокровенном пространстве записей и рисунков для «АУА». Кстати, «Лодка» с иллюстрациями автора тоже в это издание вошла и с монохрониками добрососедствует.

Главное ощущение от этой непростой книги — свежесть. В ней есть пронзительный фрагмент: «Весь день — утро. С утра — солнечное и туманное, только намек на туман и свежесть. И днем — все то же утро. И даже к вечеру все еще утро. „Да что же это такое-то? — думал я. — Когда оно кончится?“ Но оно не кончалось. А потом внезапно сразу превратилось в ночь». Это — пророчество о жизни Ковалья. Ловил ли он язей на пареный горох, наблюдал ли, как «бабы бешено полоскали, а затем дико отжимали белье», толковал ли с приятелями о колдунах, размышлял ли о горестной судьбе сельских церквей, любовался ли пожарной каланчою или пил с большими литераторами в Доме творчества кальвадос, — взгляд его на вещи был *утренним*, то есть устремленным в перспективу и потому признанным.

И в жите-бытье Ковалья, и в прозе, и в живописи ощущалась тайнопись русской народной сказки с ее Иванушкой-дураком, и Иваном-царевичем, и лежаньем на печи, и чертом в ступе, и щучьими веленьями, и, конечно, ковром-самолетом. Даже в минуты внутренней тьмы и смятения (они тоже отражены в монохрониках) здесь из всех щелей бил *свет*. Помните у Пастернака: «Пусть ветер, рябину занячив, / пугает ее перед сном. / Порядок творенья обманчив, / как сказка с хорошим концом»? Конец, увы, наступил ранний, внезапный, скоропостижный. Утро сразу перешло в ночь... Но состоялся творческий опыт такой силы и, повторяю, особости, что остается лишь воскликнуть вслед за Юрием Ковалем: «АУА!»

Татьяна БЕК.

\*

## СТРУКТУРАЛИСТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Б. Ф. Егоров. Жизнь и творчество Лотмана. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 383 стр.

**П**отребность в «творческой биографии» Лотмана существовала давно. Убеждает в этом хотя бы классический трехтомник ученого, вышедший в Таллине в 1991 году, где в первом томе работы общетеоретического характера расположены без указания дат их первой публикации. Комментарии же отсутствуют во всех трех томах. Это понятно — сборник составлял сам Лотман и, стремясь дать системное представление о своей теории культуры, не выстраивал хронологического ряда.

Однако сейчас, по прошествии восьми лет, несмотря на предпринимавшиеся попытки систематизации, научное наследие Лотмана пока не предстает в виде теоретического монолита или стройной системы. Немало работ ученого имеют характер тезисов, научных проектов. Именно поэтому для средней руки гуманитария со-

слаться на какое-нибудь его положение как на научно доказанный факт — соблазн непреодолимый. Всегда можно найти что-нибудь созвучное своей мысли. Прочно заняв место в списках литературы для студентов гуманитарных вузов, работы Юрия Лотмана постепенно превращаются в сверхавторитетный источник цитат, сам ученый из живого человека — в непогрешимого олимпийца.

И вот нашему вниманию предложена первая биография Юрия Лотмана. Мы берем ее в руки с надеждой увидеть системность уже не в совокупности печатных трудов ученого, а в мотивах, экзистенциальных толчках, импульсах, в программе исследований, эти труды породивших.

Конечно, задача требует комплексного подхода. И действительно, при скромном объеме «биографической» части автор затрагивает необыкновенно широкий круг проблем. «Жизнь и творчество Юрия Лотмана» — это книга о русской гуманитарной мысли советского периода: ученик Гуковского, Томашевского, Азадовского, Проппа и Эйхенбаума оказывается в роли «культурной монады», и «на выходе» мы получаем сообщение, по значимости не уступающее поступившему «на вход».

В жанровом отношении книга Егорова представляет собой явление довольно сложное. С одной стороны, это — собственно биография Лотмана, с другой — очерк его «творческой» (то есть методологической) эволюции. С третьей — это мемуары самого Егорова о Лотмане, Тартуском университете, «летних школах» по семиотике. В результате мы узнаем немало об исходных импульсах, сделавших Лотмана сначала ученым, а затем и властителем дум своей эпохи, и, как и ожидалось, получаем доступ в творческую лабораторию ученого.

...По мере того как реалии советского государства все дальше отходят в прошлое, становится труднее представить себе, какой путь — научный, гражданский, человеческий — был пройден ученым, прежде чем его имя стало синонимом инакомыслия. Как показывает Егоров, идеологический климат тридцатых годов сыграл исключительно важную роль в формировании творческих интенций ученого, известного прежде всего своей оппозиционностью официальной науке. Культ науки, убежденность в том, что гуманитарное и естественнонаучное знание едины, вера в неразделимость технического и социального прогресса — все это молодой Лотман принимал и разделял, так же как множество других его современников. Это предопределяет выбор специализации и методологии. Эпоха Просвещения — культура, противопоставившая накоплению исторического опыта переустройство жизни на разумных началах, — оказалась созвучна настроениям будущего ученого.

Все это вовсе не означает, что Лотман был слеп, ничего вокруг не видел. Просто будущий ученый и его друзья верили в социализм и мировую революцию, а аресты и показательные процессы называли «маразмом». Для них это было не сутью системы, а досадными недоразумениями, сбоями в ее работе.

Военный период биографии представляет пересказ воспоминаний Лотмана о войне — сами воспоминания помещены в «Приложении», и факт их переиздания можно считать событием. В них поражает нравственная позиция мемуариста. Когда было объявлено о капитуляции Германии, Лотман сразу же стал вспоминать о том, как во время обстрела на притоке Терека он не помог четырехлетнему мальчику. Не помог, потому что выполнял приказ восстановить связь (в противном случае его батарея оказывалась под угрозой гибели). Вот что Лотман пишет по этому поводу: «Но вот в первую же пьяную ночь после окончания войны я все это увидел вновь. Это и многое другое. Не случайно мы пили мертвую и было немало самоубийств. Их официально списывали по формуле „в пьяном виде“, как позже списали самоубийство Фадеева. Но причина была, конечно, в другом. Пришло время расплачиваться за долги. Так же, как оно позже пришло и к Фадееву. (Замечу в скобках, что не могу не уважать Фадеева за то, что он оказался честным должником. А я нет.)»

Окончательное обретение гражданской зрелости для героя войны оказывается крайне болезненным. Егоров описывает мытарства Лотмана, пытавшегося найти работу в разгар борьбы с космополитизмом. Раскрываемый Егоровым исторический парадокс состоит в том, что человек, не желавший думать, кого и за что арестовывают, самой системой оказывается поставлен в положение оппозиционера.

Оппозиционной оказывается и наука филология. При том, что непосредственно после войны в университете у Лотмана все складывается на редкость благополучно. Научную деятельность будущий теоретик культуры начинает со своего рода интеллектуальной аскезы, избрав научным руководителем не блестящего экс-формалиста Гуковского, а скромного позитивиста Мордовченко. И это несмотря на то, что в университете Лотман занимается Карамзиным, а артистизм и остроумие, которое у Лотмана зачастую работает как методологический принцип, на наш взгляд, сближает его именно с Гуковским.

Однако и в этот момент, и позже, когда в Тарту Лотман работает над докторской диссертацией, он обнаруживает, что добросовестный позитивизм в духе Венгерова и Оксмана несовместим с классовым подходом, в эту же пору он становится на позиции гегельянства.

Здесь, когда Егоров касается этого поворотного пункта в научной и человеческой биографии Лотмана, его историко-биографический метод полностью себя оправдывает, так же как и при описании деятельности ректора ТГУ Федора Клемента, тартуского быта и нравов. Очень полезен и обобщенный срез интеллектуальной жизни эпохи (конец 50-х — начало 60-х), предваряющий обсуждение «оригинального» Лотмана.

Дальнейшая эволюция ученого, по мнению Егорова, происходит под знаком поиска точных методик гуманитарного исследования. Именно этот поиск усматривает Егоров в последовательных попытках Лотмана излагать историю культуры на языке семиотики, кибернетики, информатики, артроники (системное искусствоведение), с позиций науки о полушариях человеческого мозга и пригожинской теории.

Безусловно, периодизация творчества Лотмана крайне важна, обидно только, что автор по преимуществу рассматривает выделенные им этапы лишь как «увлечения» ученого и ограничивается обсуждением их пользы (возникновение масштабных коллективных научных проектов) и вреда (насилие над фактами в работах Лотмана по истории культуры). Стоящий за этим поиск методологических основ для широкого культурологического синтеза Егорова не интересует. Хотя признаки того, что именно этой задаче были подчинены все остальные исследования Лотмана, у Егорова зафиксированы: это (в качестве симптома косвенного) и многочисленные сбои, которые давала феноменальная память ученого, и преобладание дедукции над индукцией в его работах, и его обыкновение возводить единичные факты в ранг категории, и, наконец, глубокая метафоричность основных положений его теории культуры.

Такие черты научного проекта раннего Лотмана, как детерминизм, рационализм, утопизм, и последующий отказ от них у Егорова заслонены разбором более частных тем.

Без ответа остается вопрос, почему же произошел перелом в мировоззрении Лотмана, в результате которого культура превращается из «ставшего» единого потока саморазвития в отрезок между двумя точками бифуркации, из иерархии «мыслящих миров» — в сумму мысленных экспериментов, при помощи которых зажатое между точками бифуркации коллективное сознание пытается компенсировать свою неспособность реконструировать собственное прошлое и предсказать будущее.

Стало ли это результатом безуспешных попыток определить культуру через понятия, заимствованные из точных наук? Может быть, Лотман осознал, что культура — это объект со структурой слишком сложной, слишком текучей и непредсказуемой и что к ней эти понятия неприменимы?

Похоже, что именно в этом аспекте разница между ранним и поздним Лотманом для Егорова несущественна.

Андрей Немзер назвал монографию Егорова «книгой исполненного долга». Конечно же с этим определением нельзя не согласиться, придется только специально указать на некоторые вытекающие отсюда последствия. Прежде всего это сказалось на сглаженном тоне повествования, который можно было бы поэтому обозначить как близкий к агиографическому. Егоров неустанно подчеркивает ис-



ключительное мужество, бескорыстие и благородство Юрия Михайловича. Впрочем, личностные качества Лотмана известны достаточно широко. Взять хотя бы те же воспоминания Лотмана о войне, которые Егоров помещает в приложении.

При этом не обходится без курьезов. Поскольку для автора понятия «хороший человек» и «православный» тождественны, он доказывает читателю, что к концу жизни у Лотмана созрело решение принять христианство, только он не успел его осуществить. То, что в зафиксированной текстуально «сотериологии» Лотмана Религия и Культура были альтернативны и что Лотман явно симпатизировал последней, то есть предпочитал Всезнание (иерархия мыслящих миров, семиосфера) Всезнающему Существо (Бог), Егоров не воспринимает как дилемму.

Конечно, влияние личности Лотмана на нравы научного мира трудно недооценить. Вместе с Лотманом в фокусе оказывается культурное сообщество со своим «неприкосновенным запасом», а именно, интеллектуальная и этическая система координат взращенного в Тарту поколения русских ученых. Однако ожидать в книге «исполненного долга» каких-либо серьезных «прикосновений» к этому НЗ не приходится, монография Егорова — книга преимущественно нравоописательная.

Безусловно, мы получаем массу очень ценной информации. Например, выясняется, что причиной появления на свет загадочного термина «вторичные моделирующие системы», над которым ломало голову не одно поколение западных ученых, стала нелюбовь советской номенклатуры к слову «семиотика».

Но в целом получается, что более чем наполовину эта книга — ритуальный жест, порождение принятого в научном мире этикета. Этикет, опять-таки, вещь совершенно необходимая, на нем этот мир и держится. Явная и (кто знает?), возможно, скрытая полемика с другими мемуаристами, сглаживание противоречий, стремление вопросы спорные по возможности обходить стороной — все это для такого жанрового гибрида, каковым является книга Егорова, естественно. Но для тех, кто к поколению Егорова не принадлежит, это существенно затруднит дешифровку его книги.

Впрочем, на что читатель никак не может пожаловаться, так это на скуку. Книга Егорова написана легко и живо. Главное, при знакомстве с ней твердо помнить все то, о чем советуют не забывать историки при работе с мемуарными источниками.

В. К.

**И. ДАВИД РАСКИН. Доказательство существования. Стихи 1962 — 1987.** СПб., Омск, Издательство ОмГПУ, 1998, 66 стр.

**ДАВИД РАСКИН. Запоздалые сообщения. Стихи 1988 — 1998.** СПб., Омск, Издательство ОмГПУ, 1998, 47 стр.

**ДАВИД РАСКИН. Стихи.** — «Вестник Санкт-Петербургского Пен-клуба», 1999, № 7, ноябрь.

«Есть поэты, приходящие в литературу со стихами, — и есть другие, оставляющие ей свою поэзию, то есть новую тему, свой особый мир, обогащающий и усложняющий наше сознание. Первых правильнее было бы, в сущности, назвать стихотворцами...» (Г. Адамович). Давид Раскин именно поэт. У него — свое видение, свой мир, своя

тема. Его непреклонное отрицание «добра и света», позиция человека, не поддавшегося никаким обольщениям жизни и иллюзиям, сосредоточенно выслеживающего жесткие и мрачные стороны бытия (даже сирень у него — «сухая и темная»), как бы смягчаются или, лучше сказать, компенсируются подробностью описания, подробностью, которая дается живым, заинтересованным, умным наблюдением. Его образы и метафоры пластичны и неожиданны, они говорят о гибкости ума и отзывчивости души. Его рифмы точны, он избегает пустых красотостей; благодаря искусному введению разговорных оборотов стихи звучат живой речью; обусловлены психологически переходы от самых приземленных деталей к высокой поэзии.



II. АЛЕКСАНДР ТАНКОВ. На том языке. СПб., «Теза», 1998, 87 стр.

АЛЕКСАНДР ТАНКОВ. Стихи. — «Таллинн», № 15 (1999).

Прежде всего чувствуешь высокую температуру этих стихов, их горячечный жар, жар души, которая, как бывает в детстве при простуде, видит мир лихорадочным зрением, в полубреду. Этот бред — нельзя не отметить — не имеет ничего общего с тем за последнее десятилетие вошедшим в моду «поэтическим бредом», когда за стихами стоит не воодушевленное никакой конкретной мыслью или чувством полое, однообразное речевое возбуждение — почти физиологическое (похожее на описанное в одной из повестей Маканина речевое возбуждение больных, лежащих в общей палате, наступающее между 6-ю и 7-ю часами вечера; есть такая потребность организма, которой не всегда надо потакать, иногда следует гасить). У Танкова реактивное — если применить невропатологический термин — состояние объясняется разными всякий раз и предъявленными тут же причинами, что, на мой взгляд, и отличает подлинную поэзию от имитационной. Повышенная температура, отражающая состояние души, не только не деформирует мысль и речь, а, наоборот, обостряет способности думать и формулировать мысль.

Мысль Танкова — поэтическая мысль. Она отталкивается от попытки философского осмысления жизни, она замещает ее. Поэту свойственно особое восприятие — осмысленное, но не ищущее результата. «То ли с возрастом стал я как-то слезлив, / То ли просто ветер стал с годами сильнее». Мысль поэта — не итоговая, а сросшаяся с приметами бытия даже тогда, когда она взмывает высоко над ними. «Господи, с какой певучей ахинеей сердце сколото...» Это сказано по поводу пожелтевшей березы. Постоянный лейтмотив Танкова — красота, отзывающаяся в сердце болью; это словцо — *сколото* — очень точно выражает реакцию поэта на мир, исполненный *избыточной, кричащей* красоты. В этом я вижу глубинное, потайное сходство его с Анненским, поэтом, уязвленным необъяснимой *лишней* красотой, *красой* (анненское слово). «Только ты и не да-

ешь, и не даешь отчаяться, — / Роза дикая, трагический вьюнок!»

Поэт имеет возможность рассказать о себе, обнаружить характер, привычки, образ мысли и чувствования, ничего о них не говоря. Все, что нам интересно о нем узнать, скажет его интонация, которая порой выражается совершеннейшими пустяками — например, знаками препинания:

Замерзшей; замершей; озябшей;  
полумертвой  
Казалась издали ноябрьская вода.

Точки с запятой вместо запятых убедительно подсказывают, что причастия здесь только прикидываются определениями к слову *вода*, как бы маскируются; на самом деле они выдают движения души автора, его походку, тип мышления. *И Гамлет, мысливший пугливыми шагами...* — вспоминается мандельштамовский стих. В этом же стихотворении характерна вопросами сама себя перебивающая речь:

Какой трамвай? По-моему, четвертый.  
До Стрельны, кажется? По-моему, туда  
Я ехал этим же грохочущим трамваем...

Это имитация разговора — самому себе не говорят: *по-моему*. Зато ясно, как этот человек ведет разговор с другими людьми. В стихах одно местоименное наречие может представлять от целого стилистического пласта и стоящих за ним ситуаций.

Еще одно следует сказать, говоря о Танкове. Музыка стиха. «Как татарин-дворник, кашляя и шаркая калошами, / Не припомнит степи выцветшие, кожаные пыльные кибитки...» Все стихотворение прошито глухими согласными и шипящими, создающими особую речевую музыку. Она звучит и в акцентном, самом немзыкальном стихе, к которому Танков нередко обращается. Но и это не все. Музыка пронизывает все языковые уровни стиха. Особенно интересно одно музыкальное качество содержательного плана, которое можно обозначить как постоянное присутствие оксюморона. «Эта рифма обдаёт текущим леденящим жаром, / Замирает сладким холодком, / Голубым стеклом, рубином ярым...» Рифма и в самом деле — вид оксюморона, во всяком случае, она стремится к нему: чем более

разведены рифмующиеся слова, чем менее похожи семантически и грамматически, тем богаче рифма, тем ценнее. У Танкова постоянно встречается соединение противоположных смыслов: «И разгрома вчерашнего стыд / Оборачивался торжеством». Или: «Господи, какой обворожительный, / Бессердечный, антисанитарный!» Подобное стяжение разнохарактерных определений, можно сказать, — любимый прием Танкова, его конек: «Что роднее этой выцветшей, скупой, недорогой, / Ненаглядной...»

Ты, художник, по какому праву,  
Смяв перегородки бытия,  
Слил в одно уладу и отраву...

Не знаю, что сказал бы в ответ Танков, если этому риторическому вопросу придать буквальный смысл и переадресовать автору, но у меня есть свои соображения на этот счет. Музыка, счастливая сестра поэзии, в высшей степени обладает этим *свойством оксюморона* — назовем его так. «Добро в музыке слито со злом, горесть с причиной горести, счастье с причиной счастья и даже сами горесть и счастье слиты до полной нераздельности и нерасчлененности...» (А. Ф. Лосев). Танков постоянно устраивает шипучую смесь из горячего и холодного, грусти и радости, уныния и упоения, робости и восторга...

Это жизни жар и жалость, жар и жалость,  
жар и жалость,  
Лихорадка марта, судорога, жаркий поцелуй  
щемящий, ледяной...

Я хочу почувствовать всей жалостью,  
всем жаром

Каждый сердца млеющий удар,  
То бесценное, что нам дается даром.  
Ничего не стоящее. Дар.

И последнее, о чем необходимо сказать. Листая книгу, вспоминая эти стихи и задаваясь вопросом, о чем они — о любви, о смерти, о Даре, о художнике, о весне, о морозе, об оттепели... — видим одни и те же вечные темы лирики, круг их невелик. Но как разнообразен антураж этих стихов, как много самого разнообразного материала попадает в поле зрения поэта: лоток-палатка, берега Леты, проходная в НИИ, площадь Сан-Марко в Италии, Шувалово и Озерки, аспирин УПСА, бухгалтерия, четвертый трамвай, первый отдел, Фор-

тинбрас, Диккенс, гашиш, таллинский двуязычный билетик в музей... Все приметы современной жизни пригодились поэту и подтверждают подлинность его существования в русской поэзии.

Елена НЕВЗГЛЯДОВА.  
С.-Петербург.

\*

**РОМАН ЧАЙКОВСКИЙ.** Случайные строки. Стихотворные тексты, этюды в прозе, переводы. Магадан, «Кордис», 1999, 84 стр.

Книжка, изданная крохотным тиражом (175 экз.) к 60-летию автора, начинается довольно неожиданным предведением: Роман Чайковский вовсе не считает себя ни профессиональным поэтом, ни профессиональным прозаиком и ни на что в этих художественных сферах не претендует. И действительно, за исключением переводов, выполненных умелой профессиональной рукой, планка оригинальных сочинений автора, в общем, невысока.

Однако странным образом это ничуть не убивает книгу. Дело во взаимодействии текстов. Ремарк (многие ли знают его как поэта?), Рильке, Борхерт, Шевченко и другие общаются с любящим их Чайковским, как бы приглашенные в дружеский круг, — и тут возникает некое новое качество. Восклицания Шевченко: «В неволе, где так одиноко, — с кем сердце мне соединить?» — вдруг тематически подхватывается знаменитой рильковской «Пантерой». Переводы говорят об авторе порой не менее, но даже и более, нежели его собственные стихи. Разве не о себе пишет Чайковский, переводя «Полночный троллейбус» на немецкий, английский, украинский? Вообще Окуджаву — любовь Чайковского, лучшее свое стихотворение он посвятил Окуджаве.

Мне кажется, автор совершил ошибку, разложив тексты по жанровым корзинам. Случайные строки и должны быть случайны. Правда, эта книжка вовсе и не требует последовательного чтения: читатель перелистывает страницы и произвольно переходит от стихов к дневниковым записям, а от них к переводам и обратно, денонсируя условные границы. И вдруг ощущает дыха-

ние автора — эффект, не всегда достигаемый и в сочинениях куда более высокого уровня.

Ключевой текст книги — о воробьях в Магадане. До поры до времени не было в городе этих, казалось бы, вездесущих птиц. Не бывает городов без воробьев — Магадан обходился. Роман Чайковский рассказывает, как остро он ощущал их отсутствие. Магадан трудный, очень трудный город, но именно эта мелочь, чепуха как-то особенно Чайковского задевала: даже и воробьев нет!

И вот они появились: прилетели самолетами, приплыли на парсходах, обжились потихоньку, теперь мельтешат под окном Чайковского. «И они примирили меня с этим городом».

В сущности, это внятней образ судьбы самого автора, в одиннадцать лет в зарешеченном спецвагоне совершившего путешествие с Западной Украины на самый что ни на есть дальний Восток: мелкая серенькая птичка, воробушек, обживший холодное бесчеловечное пространство, очеловечивший его, согрешивший своим дыханием. И тут возникает тема человеческой стойкости и воли к культуре. Роман Чайковский — доктор филологических наук, автор более сотни научных работ по проблемам стилистики, поэтики, теории поэтического перевода, заведующий кафедрой немецкого языка, декан факультета иностранных языков Международного педагогического университета в Магадане. Студенты и аспиранты этого университета стажировались в Германии, США, Японии. Роман Чайковский — один из создателей самого северо-восточного форпоста мировой культуры.

Но эта книжка — не ученого, не исследователя, но просто человека, глядящего в окно на воробьев, размышляющего о смысле в значительной мере уже прожитой жизни и думающего о смерти. Он пишет о своих дневниковых записях:

Не попадут они — я знаю — в вечность — зато войдут в семейный наш фольклор.

Своеобразие книжки Чайковского — сочетание камерной семейной и большой европейской культуры.

Все-таки поразительный феномен: житель столицы колымского края пишет на немецком языке посвященное Герману Гессе стихотворение, сорок

один раз виртуозно играя с одной и той же рифмой!

Calw — nicht Paris — ist wert'ne Messe,  
denn hier geboren wurde Hesse.

В контексте семейной эстафеты естественно завершить рассказ о книге Романа Чайковского стихотворением Романа Ольговича (1905 — 1994), переведенным с украинского. Ольгович — псевдоним отца Чайковского. В 20-х годах Ольгович был известным в Западной Украине молодым поэтом, после принятия в 1930 году священнического сана писать стихи перестал.

Рукопись этого стихотворения пережила в тайнике войну, арест, обыски, лагерь. Незадолго до смерти отец рассказал сыну, как найти тайник. Стихотворение, наверное, можно назвать пророческим, хотя это слово ужасно истерлось. Понимал ли вполне молодой человек, о какой судьбе пишет?

Погулял мой конь крылатый,  
Ох и погулял...  
Мчался, гнался: где отары?  
Сбил копыта: где те чары:  
...Вышла фея нарвать мяты:  
Где-то сын пропал...

И не щелкал тихой ночью  
Сладкий соловей...  
Били кузницы огнями,  
Тюрьмы тешили цепями...  
...Вышла. Смотрят в темень очи,  
В белый снеговой...

Я не слышал крика-звука:  
Плакала печаль...  
И пошел мой конь ярами,  
А я выше — в горы, к храму —  
Встречать правду и разлуку:  
Ту — за жизнью — даль.

Михаил ГОРЕЛИК.

\*

ОТ ГОРОДА W. ДО ГОРОДА D. Петер Альтенберг. Венские этюды. [Перевод А. и Е. Герцык]. Джеймс Джойс. Дублинцы. [Перевод под редакцией И. А. Кашкина]. М., Издательство «Рандеву-АМ», 1999, 302 стр.

Сборник, или, как определяют характер издания составители, антология, «От города W. до города D.» объединяет под своей обложкой произведения практически неизвестного австрийского писа-

теля-импрессиониста Петера Альтенберга и одного из основателей литературного модернизма Джеймса Джойса.

Такая конгломерация известных и мало- или совсем неизвестных имен продиктована политикой издательства: в серии «Литературная галерея» за счет первого на поверхность «вытаскивается» и второе, также заслуживающее, по мнению составителей, читательского внимания. По этому принципу построены и другие сборники «Рандеву» — «Опиум», «Венеция, город любви и смерти»...

«Венские этюды» — это название, данное рассказам Альтенберга при нынешнем переиздании. Название, под которым книга выходила в России в 1904 году — «Эскизы Петера Альтенберга», — тоже не авторское. По сути, это избранные новеллы из сборников «Как я это вижу» и «Что приносит мне день».

Текст «Венских этюдов» приводится в переводе Аделаиды и Евгении Герцык — известных представительниц русского серебряного века. И хотя язык перевода заметно устарел, похоже, что здесь как раз именно тот случай, когда от минуса до плюса — один шаг: то, что могло бы вызывать нарекания у педантичного стилиста, читателю скорее всего покажется обаянием старого, почти столетней давности, слога.

Излюбленные образы Альтенберга — «эстетика-сibarита» и «донжуана ощущений», как называла его А. Герцык, — прелестные отроковицы, нежные, хрупкие, болезненно бледные — и обязательно грустные, такие же грустные, как юные герои и героини Пруста, сестер Бронте или Жюльена Грина.

«Завлекалка» на задней странице обложки — фраза о «нездоровом интересе» взрослого мужчины, то есть автора, к девочкам-подросткам — на поверку оказывается, в общем-то... правдой.

Что можно сказать о восхищении голыми детскими коленками, об упоительном созерцании, граничащем с вайеризмом, — и в то же время о трогательном внимании к внутреннему миру молодой женщины или ребенка? О полетах фантазии, об опьянении красотой юных девочек — и об их утонченном бесстыдстве?

«Красота убивает стыд», — отвечает на этот вопрос сам Альтенберг. И еще: «Душа художника любит глазами».

...Писатели просто так с неба не падают. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что «Этюды» Петера Альтенберга — книга, воздух которой «насыщен запахом батистовых платяев маленьких девочек, пылью и резиновыми мячами», — предшественница того, что сказал во весь голос Набоков. (Кстати, что интересно, и автор «Лолиты», и автор «Венских этюдов» были шахматными композиторами.)

В жанровом отношении «Этюды» довольно своеобразны: они стоят где-то между собственно новеллами, лирическими сценами, стихотворениями в прозе и рождественскими рассказами — грустными и умильными, как и положено им быть.

Так, самый короткий и самый красивый *этиюд* — «Ночные бабочки» — напоминает скорее стихотворение в прозе:

«Отчего Цецилия улыбается, встречаясь со мной?!

Отчего и Берга улыбается?!

А ты, Камилла? Отчего же твое милое личико так неподвижно и печально при встрече со мной?!

Она... погибла...

Очеловечившись, мгновенно умирает Бог...»

«Альтенберг — импрессионист, — писала в своем предисловии к „Эскизам...“ Аделаида Герцык. — Несколькими оригинальными штрихами набрасывает он свои впечатления, намечая лишь контуры, боясь лишней чертой испортить рисунок...»

Дорога от импрессионизма к модернизму лежит через французский символизм, утверждает в своем подробном послесловии составитель А. Козубов. Мостик протяженностью в десять лет, перекинутый между городом W. и городом D., слишком длинен, чтобы выстоять без опоры в точке P., то есть в Париже. И то, что он все-таки был перекинут, — заслуга в первую очередь французских символистов. Ведь именно творчество таких ярчайших его представителей, как Верлен, Рембо, Малларме, и их последователей стало единственно возможным связующим звеном между воздушностью, штрихпунктиром импрессионизма и перенасыщенной экспериментальностью модернизма.

Так уж сложилось, что Джойса из-за сложности его «Улисса» и «Поминок по Финнегану» у нас больше упоминают,

нежели читают. Поэтому переиздание именно «Дублинцев» дает читателям прекрасную возможность приобщиться к наследию классика ирландской литературы XX века. И хотя большинство героев новелл Джойса стали эпизодическими персонажами «Улисса», а рассказ об одном дне дублинского еврея сначала задумывался именно как новелла для сборника, «Дублинцы» — образец скорее классического письма (близкого к физиологическому очерку), чем стилистических экспериментов: здесь нет ни «потока сознания», ни сложных мифологических параллелей. «Дублинцы», в отличие от парящего на облаке грез Альтенберга, — книга совершенно земная и, я бы сказала, очень городская. Бутылочка пива и тарелочка аррорутевого печенья, мосты, темные улицы, сэндимаунтский трамвай, прозрачные дворцы, на ступеньках которых копошатся грязные дети, благотворительный базар, мюзик-холл Тиволи и колонна Нельсона, дешёвые «заведения» и Шотландский бар, залитый ослепительным светом и окутанный дымом дорогих сигар, красотики и виски с аполлинарисом... Люди с лицами «темного цвета дублинских улиц», завсегда таи баров, прожигатели жизни... Развлечения золотой молодежи, мелкие интрижки в пансионах, честолюбивые мечтания клерков... Несостоявшиеся отношения. Утраченные иллюзии. Нравственный паралич. Таков Дублин, город глазами Джойса.

Евгения СВИТНЕВА.

\*

**Т. В. ВАСИЛЬЕВА.** Путь к Платону. Любовь к мудрости, или Мудрость любви. М., «Логос»; «Прогресс-Традиция», 1999, 208 стр.

Эту книгу, пожалуй, по достоинству смогут оценить или читатели, совсем не знающие Платона, поскольку перед нами действительно «путь к Платону», приглашение к знакомству, сделанное просто и ненавязчиво, — или же искушенные знатоки истории интерпретаций Платона, которые поймут, в чем оригинальность — если не дерзость — автора.

Заезженное цитированием высказывание Уайтхеда о том, что западная фи-

лософия — это подстрочные примечания к Платону, не так уж далеко от истины. Но справедливо и обратное: платонистика отражает ситуацию в современной ей философии. Платонистику XX века можно охарактеризовать как капитуляцию философии перед позитивными науками (прежде всего — филологией) и проецирование на проблему норм науки Нового времени с их канонизацией системности, линейности, дедуктивности, редукционизма, психологизма. Предложенный в книге подход к толкованию Платона предполагает радикальный отказ от принятых в платонистике нашего века методологических и герменевтических установок.

Т. В. Васильева призывает отойти от привычных попыток примирить противоречия платоновских текстов посредством биографического метода (будь то биография Платона или Академии), стилеметрического (количественный анализ текста), «тюбингенского» (см. ниже) и т. п., поскольку общий недостаток этих подходов — нежелание довериться самой философской логике текстов Платона и предположение, что все объясняется тем, что Платон сначала думал одно, а потом — другое.

Новизна того метода, который обнаруживается в книге Васильевой, на мой взгляд, в трех ведущих принципах: 1) осуществляется попытка отвлечься от исторической персоны Платона и переклестить внимание на целостную систему диалогов, то есть на устройство корпуса произведений и — в чем особая оригинальность данного подхода — на «лицо» этого корпуса, на тот смысловой центр, излучениями которого являются конкретные тексты, по-разному репрезентирующие центр, но не исчерпывающие его. (Называя свой метод «*гипо*-критикой», автор бросает вызов пресловутой «*гипер*критике» с ее технической, скорее следовательской, чем исследовательской, дотошностью и недоверием к авторскому слову.) «Довасильевская» платонистика считала, видимо, такой метод недостаточно объективным, зависимым от философской позиции исследователя. Однако Васильева смело возвращается к установке Гегеля на то, что понять философию может только философия, и с блеском доказывает, что попытки изъять собственно философскую

работу из интерпретации наследия Платона приводят к изначальному искажению всей исследовательской «оптики»; 2) предлагается посмотреть на платоновский корпус «телеологически», обращая внимание на то, чему и как служат конкретные тексты, какую задачу выполняют; это позволяет найти эстетические и дидактические «оси» корпуса, вокруг которых организуется хаотичная — на первый взгляд — разногласица текстов; 3) вырабатывается «динамический» принцип продвижения по созвездию диалогов, и принцип этот противопоставляется традиционной линейности даже в ее наиболее гибких вариантах. Автором убедительно показано, что корпус диалогов не случайным образом подобен космологической модели Платона и предполагает циклическое движение мысли с периодическими изменениями аспектов. Такое движение рассматривается не как техническое средство, а как единственно адекватный способ существования мысли, направленной на Эйдос и Благо.

Решимость перейти наконец от внешнего анализа диалогов к философствованию, открывающему «устройство» платоновского корпуса, является «скандально»-революционным моментом данного метода. Дело не в том, что в XX веке отсутствовали философские усилия читателей Платона, а в том, что процесс философствования рассматривался как средство и отрывался от словесной формы, найденной Платоном. Этим грешил даже современный «диалогизм» с его приматом психологической коммуникации. В свете метода, предложенного Васильевой, по-новому видится результат «тюбингенского» подхода, который предлагал реконструировать «неписаную» философию Платона, предназначенную, в отличие от беллетризованных диалогов, для узкого круга посвященных. Васильева реабилитирует «писаную» философию Платона и именно в нее встраивает те эзотерические схемы, которые выявили тюбингенцы.

В результате предложенного пересмотра интерпретационных установок «недостатки» литературной формы платонизма превращаются в ее философские достоинства. Перед нами альтернативная по отношению к традиционному рационализму Нового времени (а

не псевдоальтернативная, как в постмодернистском мышлении) модель философствования. В книге много конкретных оригинальных толкований платоновских построений, но при всей их ценности, как мне кажется, они особенно интересны тем, что демонстрируют, как доверие к предложенным Платоном «правилам игры» позволяет преодолевать тупики современной платонистики.

Лучше всего, конечно, читать книгу, зная другие работы автора. В своеобразной диалогии (или, может быть, трилогии, если присоединить к монографии блистательную статью «Беседа о логосе в платоновском „Тезете“» в сборнике «Платон и его эпоха» /М., 1979/) Васильева подходит к новому прочтению Платона с двух сторон: в «Афинской школе философии» (М., 1985) описано, как рождается новый философский язык, предполагающий самопорождение мыслящей личности; в «Пути к Платону» — как устроен космос платоновских текстов, возникший в результате сократовской мыслительной революции. Характерно, что в обеих монографиях автор оказался на шаг впереди интеллектуальной моды: во времена, когда стремились свести мысль к языку, Васильева показывала, как язык порождается культурой мысли; сейчас же, когда модно сведение мысли к «культуре», она демонстрирует, как мысль воплощает себя в культуре текстов.

Книга возбуждает естественное, но несколько подавленное вековой академической ученостью желание понять, что же, собственно, хотел сказать Платон. «Не аутентичность корпуса составляет сегодня существо платоновского вопроса, — утверждает автор, — но историческая уникальность платоновского идеализма и прежде всего — как это ни парадоксально — философский смысл той платоновской интуиции, которая стоит за центральным словом всего корпуса, а впоследствии и всей европейской философии — за словом „идея“».

Наконец, эта книга сделана красиво. В том смысле, в котором математики говорят о красивом решении задачи. И красиво написана — в обычном смысле этого слова. (Не стоит, по-моему, репрессировать этот эпитет хотя бы сей-



час, во времена узаконившего себя уродства.)

Есть верная культурологическая примета: если появляются радикально новые прочтения Платона, значит, жди больших перемен. Это предчувствие мне кажется впечатляющим итогом знакомства с исследованием, которое — отважусь сказать — станет рубежом не только в отечественной платонистике.

Александр ДОБРОХОТОВ.

\*

**Т. СТУПНИКОВА. «...Ничего кроме правды...». Нюрнберг — Москва. Воспоминания. М., «Русские словари», 1998, 199 стр.**

Все дальше в прошлое уходят события, прямо или косвенно связанные с периодом Второй мировой войны, редуют и ряды непосредственных свидетелей и участников этих событий. Одно из них — это Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками, продолжавшийся без малого год (с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го). Об этом процессе за минувшие десятилетия написано множество книг — мемуары, научные труды, изданы целые тома документов, стенограмм заседаний Международного трибунала и т. п.

Казалось бы, тема полностью исчерпана. Но вот недавно появилась небольшая книга воспоминаний Татьяны Ступниковой «...Ничего кроме правды...». Имя автора читателям едва ли известно. Это естественно. Перед нами записки одной из советских переводчиц-синхронисток, работавших на Нюрнбергском процессе. Итак, в обширной литературе о работе Международного трибунала точка еще не поставлена.

Что нового добавляет книга Ступниковой к тому, что уже известно читателям об этом «процессе века»? На первый взгляд, почти ничего существенного. Сама мемуаристка во вступлении к своим записям отводит себе более чем скромную роль, заявляя, что присутствовала на процессе только в роли статиста, которому «не положено знать о том, что происходит за кулисами».

Действительно, книга не претендует на широкий охват событий. Это всего лишь рассказ о ходе процесса, как он отложился в памяти двадцатидвухлетней девушки, лейтенанта, переводчика штаба Советской военной администрации в Германии, которой довелось принимать участие в работе Нюрнбергского процесса.

Столь стремительный поворот в жизни молодой переводчицы явился для нее полной неожиданностью: в один из январских дней 1946 года ее вызвал к себе в ставку, в Карлсхорсте под Берлином, заместитель Берии генерал Иван Серов. Ступникова шла на эту встречу с тяжелым чувством. Ее состояние станет понятным, если учесть, что она была дочерью репрессированного «врага народа» — факт, о котором девушка не упомянула в анкете, когда попала в армию. Поэтому Ступникова, отправляясь на аудиенцию к Серову, полагала, что разговор с ним будет иметь для нее роковые последствия.

Даже после того, как она убедилась, что ее «всего лишь» направляют в качестве переводчика на Нюрнбергский процесс, подсознательное чувство страха не оставляет ее.

Так уже с первых глав в воспоминаниях Ступниковой завязывается та внутренняя коллизия, которая придает напряженную тональность всему ее рассказу. Участвуя в заседаниях Нюрнбергского трибунала, автор книги все время мысленно сравнивает, сопоставляет две системы — нацистскую и советскую.

Поначалу может показаться, что мемуаристка стремится тем самым придать своим воспоминаниям большую злободневность. Как бы убедить нынешнего читателя в том, что уже тогда, в далеком 1946 году, она (в отличие от многих других!) видела и ощущала «параллелизм» обоих тоталитарных режимов.

Но, вчитываясь в книгу, знакомясь с детством автора, понимаешь, что подобное впечатление ошибочно. Детство героини было как бы насильственно оборвано в 1937 году, когда арестовали отца девочки — крупного специалиста-химика, несколько лет прожившего вместе с семьей в Германии (отсюда, кстати, у Ступниковой и превосходное знание немецкого языка, что она тоже вынуждена скрывать до призыва в армию: ведь подобное обстоятельство

могло ей только навредить!). Однако во время войны в наших вооруженных силах ощущалась острая нехватка квалифицированных переводчиков с немецкого и там мало интересовались фактом, почему русская девушка хорошо знает язык врага.

Итак, детство будущего автора записок было далеко не безоблачным, и потому ее критические наблюдения, когда она резко осуждает обе тоталитарные системы, не видя в них большого различия, а, наоборот, улавливая поразительное сходство, кажутся вполне естественными, совершенно непроизвольно срывающимися с ее уст. Ведь она с юных лет на собственном горьком опыте испытала, что значит быть в глазах окружающих дочерью «врага народа»...

Выше отмечалось, что Ступникова называет свою книгу воспоминаниями статиста, которому не положено знать о происходящем за кулисами. Думается, авторские слова не следует понимать буквально. Нельзя не заметить, что перед нами выступает вовсе не статист, а умный, думающий, внимательный наблюдатель. Что из того, что воспоминания Ступниковой написаны спустя полвека после Нюрнбергского процесса. Важнее то, что, будучи в ту пору юной девушкой, мемуаристка запомнила много важных эпизодов, подробностей, деталей, ускользнувших от внимания других участников и свидетелей этого суда.

Кроме того, Ступникова с самого начала, несмотря на свой юный возраст, отдает себе отчет в уникальности и значительности того события, участником которого ей довелось быть. Впервые в истории на скамье подсудимых оказались правители гитлеровского рейха, которые, руководствуясь преступной, бесчеловечной идеологией о превосходстве «нордической расы» над остальными, обрекли на страдания и гибель миллионы людей в оккупированных нацистами странах Европы.

Но при этом мемуаристку в ходе процесса часто не оставляет чувство сожаления, что подобный суд не был проведен в нашей стране, когда бы на позорной скамье оказались руководители советского государства и правящей коммунистической партии. С горечью она пишет: «По данным, обнародованным в 1996 году, всего лишь 50 (!) работников

огромного сталинского аппарата насилия и террора были после смерти диктатора привлечены к уголовной ответственности... На моей многострадальной Родине было совершено немало преступлений, но Нюрнбергского процесса у нас не было и нет. Может быть, поэтому в России ныне остались только жертвы и нет палачей».

Не случайно поэтому Ступниковой особенно запомнились два случая в ходе судебного разбирательства, которые вызвали резкое недовольство Сталина, ибо они развивались не так, как намечалось по советскому сценарию. (Кстати, тут уместно напомнить один малоизвестный факт, который приводит в своих записках Ступникова: во время работы Международного трибунала при ЦК ВКП(б) была создана специальная комиссия по руководству Нюрнбергским процессом. И возглавлял ее сам Вышинский. Но даже эта комиссия оказалась не в состоянии изменить «незапланированное» развитие событий.) Первый такой эпизод связан с оглашением в зале суда Секретных протоколов, подписанных Молотовым и Риббентропом осенью 1939 года во время визита гитлеровского министра иностранных дел в Москву. Тем самым миру стало известно, что два диктатора, Гитлер и Сталин, вступив в преступный сговор, прибегли к новому разделу Польши. Что касается прибалтийских государств, то Гитлер «уступил» их Советскому Союзу.

Второй сходный эпизод, вызвавший особый гнев Сталина, связан был с массовым расстрелом польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. Советская версия, что данное преступление — дело рук гитлеровцев, была практически опровергнута. В ходе судебного разбирательства и допроса свидетелей многим из присутствовавших в зале Дворца правосудия стало ясно, что этот расстрел — спецоперация НКВД. У самой Ступниковой и ее коллег-переводчиков на этот счет сомнений не возникало.

Впрочем, как уже отмечалось выше, главное в мемуарах Ступниковой — это, пожалуй, не отдельные эпизоды и детали (сами по себе крайне интересные и важные). Главное, думается, — общая их тональность и настрой. Они написаны в откровенной, исповедальной ма-

нере, как бы для себя, для узкого круга близких друзей, до которых автор жаждет донести свои тогдашние переживания, ощущения и наблюдения, свое восприятие того, что происходило на ее глазах в зале суда.

Эта искренность, даже некоторая наивность, свойственная молодой девушке, как раз и составляет одну из наиболее сильных сторон этих записок. Все это не придумаешь, не присочинишь задним числом. Автору предстояло предварительно пережить все это, перечувствовать и сохранить глубоко в душе до лучших времен, когда наконец ей представился случай изложить все

пережитое на бумаге, не замалчивая того, что она там видела и слышала. Изложить, уже не опасаясь того, что за свою откровенность, резкость суждений она может дорого поплатиться.

Есть своя закономерность в том, что эти мемуары появились только теперь — полвека спустя. В итоге читатели получили волнующую книгу, и мемуаристка вправе была озаглавить ее словами, позаимствованными из Нюрнбергской присяги, которую она давала, приступая к своим обязанностям переводчика-синхрониста: говорить только Правду и ничего, кроме Правды...

**А. МИХАЛКОВ.**



**Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах**  
**«Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7),**  
**«Библио-глобус» (Мясницкая, 6),**  
**«Гилея» (Большая Садовая, 4),**  
**«Графоман» (ул. Бахрушина, 28),**  
**«Книжная слобода» (Новослободская, 14/19),**  
**«Летний сад» (Большая Никитская, 46),**  
**«Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54),**  
**«Паолине» (Большая Никитская, 26),**  
**«Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».**

# КНИЖНАЯ ПОЛКА

## ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

**В. В. Набоков. Русский период. Собрание сочинений в 5-ти томах. Т. 1. Составление Н. Артеменко-Толстой. Предисловие А. Долинина. Примечания М. Маликовой. СПб., «Симпозиум», 1999, 832 стр.**

Теперь, благодаря этой увесистой (и прекрасно сделанной) книге, мы знаем, из какого литературного сора вырос чистый, ясный, гибкий, сильный голос набоково-сиринской прозы золотой поры. Ни «Машенька», ни рассказы из сборника «Возвращение Чорба» на роль той ранней чепухи, которую стыдливо прячут, а то и жгут, скупив по лавкам все экземпляры, не тянули — больно хороши. Теперь Набоков обрел своего «Ганса Кюхельгартена». Читатель, которому уже несколько наскучило бесконечное совершенство (и некоторый бойскаутский задор) набоковской прозы, может злорадно подхихивать над такой, например, присказкой: «И подумай только: никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплескивает лунных заблестков, сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики...»

Это, конечно, не значит, что 1-й том собр. соч. Сирина распух от сенсационных открытий. Отнюдь. Почти все набоковское «раннее» уже печаталось то в питерской «Звезде», то в томе сириных стихов, то отдельным изданием (перевод Кэрролла). И все же. Собранные вместе сочинения 1918 — 1925 годов («крымского», «кембриджского», «раннеберлинского» периодов) воссоздают тот контекст, тот хаос, ту многоголосицу влияний, из которой родилась удивительная набоковская мелодия. А уж впадает ли в холодную ярость сам скрытный автор — там, в райских кущах, подозрительно похожих на окрестности Выры, — нам неизвестно.

(Только что вышел 2-й том этого издания. Как я и предполагал, открытий там нет. Обычный гениальный Сирин.)

**Сага об Эгиле. Серия «Личная библиотека Борхеса». Предисловие Х.-Л. Борхеса. Перевод с исландского. СПб., «Амфора», 1999, 315 стр.**

Можно объяснять любовь Борхеса к скандинавским сагам жадным любопытством интеллигентного мальчика к жестоким дракам во дворе. Обожанием, с которым очкарик смотрит на хулигана. Тайным комплексом вины слепца-белоблестника перед кабальеристыми предками-героями южноамериканских войн. Тем более, что есть у Борхеса рассказ «Юг», где alter ego автора, чуть было не ослепший библиотекарь Дальман, выходит биться на ножах с забубенным «куманьком».

Но мне кажется, дело в другом. Скандинавские саги были для Борхеса (особенно зрелой и поздней поры) чуть ли не эстетическим эталоном прозы. Путь от барочной экспрессии к суховатой, экономной, точной, энергичной прозе Борхес проделал явно не без оглядки на саги, из которых он выделял «Сагу об Эгиле». Именно она включена в «Личную библиотеку» автора «Вавилонской библиотеки».

В эссе «Удел скандинавов» Борхес воспекает «реализм саг». Там же он говорит: «В XII веке исландцы открыли роман, искусство норманна Флобера». Думается, что в XX веке аргентинец Борхес закрыл это искусство, спрессовав роман в микророман или короткое эссе. Так что появление «Саги об Эгиле» в «Личной библиотеке Борхеса» символично вдвойне.

**В. Гандельсман. Эдип. Стихи. СПб., «Абель», 1998, 104 стр.**

Поэтам очень полезно выпускать свое «Избранное». Лучше бы — несколько «Избранных», чтобы по тому, что «избрано» на сей раз, безошибочно судить о ны-

нешнем поэтическом самочувствии автора-составителя. В этом смысле «Эдип» — очень важная для Владимира Гандельсмана книга. Она вышла одновременно с другим «Избранным» поэта — книгой «Долгота дня» (только почему-то в продаже появилась чуть ли не через год — в 1999-м). Двойняшки совсем не похожи друг на друга. «Долгота дня» — прозрачна и в то же время сдержанна. «Эдип» — книга «густая», полная запятанной страсти, алчбы. По «Эдипу» можно проследить и движение поэта. Маршрут этого движения таков: от некоторой избыточности, наплывов и напластований образов, запахов, звуков, от железнодорожной станции на юге, со свистками, шипением паровоза, украинской скороговоркой, задорными воплями «ты шо!», с ума сводящим запахом подгнивших фруктов, с обморочной белизной незагоревших полосок на плечах девочки из соседнего купе к вечно подпростуженному, с закутанным горлом, советскому, детскому Ленинграду, оставшемуся там, позади, в рамочке исторической хронологии. Таков путь «Эдипа» — спиной вперед, пятясь, всматриваясь, внюхиваясь, вслушиваясь в прошлое. Впрочем, сам поэт считает иначе: «Тихий из стены выходит Эдип, / с озаренной арены он смотрит ввысь...»

**М. Пруст. Памяти убитых церквей. Перевод с французского И. И. Кузнецовой. Вступительная статья, комментарии С. Н. Зенкина. М., «Согласие», 1999, 164 стр.**

В родословной Марселя Пруста значатся Монтень, Сен-Симон, Бальзак. Рискну дополнить этот список. Гиральд из Камбрии или, например, Адам из Бремена — одним словом, средневековые сочинители травелогов, занимательных и познавательных путеводителей, услады и неперемногого спутника образованного паломника. «Памяти убитых церквей» — тоже описание паломничества, но не религиозного, хотя речь идет о соборах и церквях, а эстетического паломничества в страну Прекрасного, в духе эстетизма конца XIX века. Роль Священного Писания, которое неустанно цитируется, комментируется, интерпретируется, играют книги англичанина Джона Рёскина. Ситуация несколько странная, учитывая сложные отношения двух наций, разделенных Ла-Маншем: англичанин открывает французам красоту старинных французских церквей. Сюжет, достойный пера Джулиана Барнса.

Главное, что поражает в этой восхитительной книге, — завораживающее простодушие автора. Он просто разъезжает по своей родине с английской книжкой в руках и осматривает церкви и соборы. И рассказывает об этом, смешивая в волшебную прозу историю искусства, кулинарию, географию, газетный фельетон, воспоминание. Не важно, как она называется: «У Германтов» или «Памяти убитых церквей». Воистину описание автомобильной прогулки, предисловие к переводу, биографическая и просто газетная статьи могут вместе составить шедевр.

*Р. С.* Читая эту книгу, обратите особое внимание на магические переходы от текста Рёскина к авторскому и наоборот. Примерно так же бывает трудно понять, едва проснувшись, где сновидение, а где явь.

**М. Пруст. Против Сент-Бёва. Статьи и эссе. Перевод с французского Т. В. Чугуновой. Вступительная статья А. Д. Михайлова. Комментарии О. В. Смолицкой, Т. В. Чугуновой. М., «ЧеРо», 1999, 224 стр.**

Кому нужно издание черновики французского романа, выпущенное большим по нынешним временам тиражом в 2500 экз.? Пусть великого романа, но черновики? Незамедлительно отвечу: всем истинным читателям, тем, кого Борхес в беседе с Сьюзен Зонтаг назвал «Сектой читателей».

Вообразим: на арене артист показывает невероятной красоты и сложности фокус. Публика, затаив дыхание, следит за тем, как фокусник таинственными манипуляциями стягивает к себе незримые нити времени и пространства. Номер закончен. Гром аплодисментов. Капельдинер объявляет: «А сейчас мы откроем вам, как это было сделано!» Фокусник отбрасывает ширму, засучивает бездонные рукава и демонстрирует изнанку, черновик своего чуда. И тут все с изумлением понимают, что никакого технического секрета нет, а есть только волшебство гения, что ширмы и рукава были не нужны, что номер возник сам собой, во всеоружии своего великолепия, будто Афина Паллада из головы Зевса.

Книга представляет собой смесь различных сочинений «неизвестного Пруста»: псевдороман (или псевдопамфлет) «Против Сент-Бёва», из которого выросла потом великая эпопея, и несколько эссе о литераторах и литературе. Ничего «второсортного», случайного, не достойного авторства Пруста в ней нет. Пруст, видимо, уже родился гениальным прозаиком. Что же до «нужности», «актуальности» издания, то не звучит ли упреком нынешним исследователям, упражняющимся в низгонке великих стихов, романов, картин к мутной браге социальности, сексуальности, интертекстуальности, следующее высказывание: «Сент-Бёв, видимо, так и не понял, в чем состоит неповторимость вдохновения и литературного труда от деятельности других людей и иной деятельности самого писателя»? (Нерусскость оброста оставляю на совести переводчика.)

**М. Пруст. Обретенное время.** Перевод с французского А. И. Кондратьева, под редакцией О. И. Яриковой. М., «Наталис», 1999, 355 стр.

Теперь у русской культуры есть свой «полный Пруст». Создание его растянулось более чем на семьдесят лет, срок одновременно и огромный и ничтожный — как посмотреть; средняя продолжительность жизни скандинавского мужчины и советской власти.

Автобиографические нотки неуместны в речах рецензента, но отважусь-таки на одно воспоминание: само название рецензируемой эпопеи обязывает. Лето 1982 года. Пыльная жара. Книжный толчок под сенью чахлах тополей ПКЮ. Я протягиваю мятые, влажные купюры (два червонца и пятерка, однако) и становлюсь обладателем странной книги в чудной суперобложке (зеленые и сиреневые полосы, неявные геральдические цветочки, лестница-диагональ) и с еще более чудным названием «По направлению к Свану», которое мой приятель тут же глумливо переделал в «По направлению к Свину». Раз двадцать я нырял в нее, но все время утопал в безумном синтаксическом круговороте; когда же выныривал, чтобы глотнуть воздуха, то мгновенно забывал прочитанное до этого. Лишь сделав свое дыхание столь же длинным, как прустовское предложение, я махом добрался до конца. Довольно быстро одолел второй том. Махом — третий. Паузы между ними становились все больше. В этих паузах я читал переводы Франковского и Федорова. И вот сегодня эти две эпопеи — эпопея чтения (издания) и эпопея «В поисках утраченного времени» — закончены. Теперь я (мы) знаю(-ем), чем там у них — Сванов, Вердюренов, Германтов, Шарлю — все закончилось. Закончилось словами: «...я опишу их занявшими такое значительное место, — наряду со столь ограниченным, отведенным им пространством, — место, безмерно растянутое, ибо они касаются синхронно, — как гиганты, погруженные в года, — самых удаленных эпох, меж которых может уместиться столько дней — во Времени». Не правда ли, будто сказано это о самих семи томах прустовского романа?

И все-таки сделать г-жу Вердюрен герцогиней Германтской («де Германт!» в версии переводчика А. И. Кондратьева) было бесчеловечно!

**У р а н и я.** Карманная книжка на 1826 год для любителей и любителей русской словесности. Вступительная статья Т. М. Гольц. Составление А. Л. Гришункина. Примечания Г. М. Гольц и А. Л. Гришункина. М., «Наука», 1998, 352 стр. («Литературные памятники»).

Зачем сейчас издавать «Литпамятники», если, конечно, не иметь в виду исключительно научные цели? Все-таки эта серия, продолжающая традиции «Academia», была наследником великого большевистско-горьковского культуртрегерского проекта; авторам его грезилась письма Рубенса или мемуары Греча в мозолистых руках тянущихся к знанию заточников и фрезеровщиков. В результате эти книги украсили собой книжные полки недовольных позднесоветских интеллигентов. Наконец, после ряда бурных событий, включая раздел страны, самого издательства «Наука» (и, кстати говоря, интеллигентов на «довольных» и «недовольных»), выходит в свет очередной «литпамятник», подписанный в печать 23 сентября 1998 года, помеченный тем же 1998-м, но поступивший в продажу с традиционной советской неторопливостью — чуть ли не год спустя. Внимательное изучение

издания не обнаруживает почти никаких прискорбных последствий вышеперечисленных катаклизмов. Настоящий «литпамятник».

Глупо, конечно, рецензировать литературный альманах, вышедший 174 года назад. Отмечу лишь одно обстоятельство. Решительное преобладание стихов над прозой. И дело даже не в том, что поэзия «Урании» блистает именами Вяземского, Тютчева, Пушкина, Баратынского, Веневитинова, а несчастная проза протекционистски представлена в основном опусами составителя альманаха Погодина. Дело в другом. Даже средний уровень стихов неизмеримо выше среднего уровня прозы. Ничего удивительного в этом нет, любой историк русской литературы первой трети XIX века знает эту особенность эпохи. Удивительно то, что литературная ситуация 1826 года странным образом схожа с литературной ситуацией 2000 года: много хороших стихов и мало даже просто приличной прозы. Лучшая проза в рецензируемом издании — в «Дополнении»: это рецензия Булгарина на «Уранию». В этом мне видится некая извращенная актуальность переизданного альманаха.

### -3

**Илья Кабаков. Борис Гройс. Диалоги (1990 — 1994). Общая редакция и вступительная статья Е. В. Петровской. М., «Ad marginem», 1999, 192 стр. (Серия «passe-partout»).**

Жанр «диалогов», «бесед», «разговоров» все более входит в моду в отечественной словесности (и книгоиздании). В советские годы был издан Эккерман, в постсоветские — застольные беседы Гитлера, совсем недавно — «Диалоги с Иосифом Бродским» Соломона Волкова. «Актуальные» искусство с философией, внешне чужающиеся форм и жанров, характерных для презренного мейнстрима (кто такой Бродский для Пригова?), тоже решили отметиться здесь. Замечу сразу: характер диалога у «актуальных» иной, нежели у Эккермана или Волкова; эта разница обусловлена эстетическими обстоятельствами. Гёте или Бродский — полубоги, беседующие с простыми смертными культуртрегерами. В «актуальной» эстетике художник находится не выше (если не ниже) культуролога-интерпретатора и куратора. Итак, диалоги ведутся на равных. Интерпретатор равен творцу.

Перед нами — культурные герои ушедшей эпохи; они, сделавшие ставку на «актуальность», намертво привязавшие себя к советскому социокультурному контексту, оказались запертыми в этом времени. Московский концептуализм вполне оправдан психологически — он «заговаривал» советскую действительность, создавал из нее произведение искусства, а значит, умерщвлял и делал нестрашной. Потом совок раздвоился: его политическая составляющая исчезла, а социокультурная — осталась, получив подпитку из примороженных на семьдесят лет российских корней. «Советская жизнь» оказалась не столько «советской», сколько просто «жизнью» — заболтать ее до смерти, сделать произведением искусства невозможно.

Потому так скучна эта красиво изданная книга. Она похожа на вышедшие недавно фешенебельно оформленные компакт-диски английских панк-групп баснословной эпохи расцвета панка. «Анархия в Соединенном Королевстве» звучит сейчас столь же элегически, как и следующее рассуждение Ильи Кабакова: «...сталинская цивилизация должна быть описана с точки зрения другой цивилизации, что и делают Булатов или Комар и Меламид. Надо было описать этот рай, когда пламя его уже не могло обжечь описывающего, но еще светилось». Кому нужны вчерашние газеты? Кого сейчас интересуют перспективы «сталинской цивилизации»? Или перспективы анархии в Соединенном Королевстве?

**Иосиф и его братья. М., Издательство «Остожье», 1999, 192 стр.**

Давно я не видел столь странной книги. Начнем хотя бы с названия. Нет-нет, речь не идет о переиздании пухлого сочинения Томаса Манна. В книге всего 192 страницы крупным шрифтом. Впрочем, Томас Манн имеет к ней отношение. В аннотации читаем буквально следующее: «У человечества не так много преданий, которые должны знать все. Читателям предлагается краткий пересказ романа То-

маса Манна „Иосиф и его братья”. Слегка адаптированная, позаимствовавшая из романа самое увлекательное, эта история столь же доступна, сколь и необходима каждому». Пересказчик — Александр Эбаноидзе.

Существует несколько способов переписать, пересочинить произведение искусства. Первый избрал небезызвестный Пьер Менар. Второй придумал Андрей Левкин, предложивший в своем легендарном «Роднике» заняться кратчайшим пересказом шедевров русской литературы. «Война и мир» ужималась в полстраницы. Третий способ — римейки — открыл Голливуд, а четвертый — ремиксы — поп-музыка. Первые два есть не что иное, как материализация таких базовых для культуры двадцатого столетия метафор, как «чтение» и «аннотированный каталог». Третий и четвертый — порождение «массовой культуры» — призваны «облегчить», «осовременить» переделываемую вещь. Рецензируемая книга имеет прямое отношение к этим практикам.

Никто никогда не сможет объяснить мне, зачем нужно было Эбаноидзе превращать не самый, думаю, удачный роман Т. Манна в окончательно бесцветный развернутый конспект ветхозаветной истории. Каков социокультурный адресат этого сочинения? Бивис и Батхед не прочтут — для них оно слишком сложно (эти парни вообще книг не читают), религиозным неопитам полезнее было бы ознакомиться с первоисточником. Может быть, издательство «Остожье» хотело осчастливить читателя чем-то в духе «Легенд и мифов Древней Греции»? Не тот материал.

Шестиклассник этой книгой не зачитается.

**Н. Берберова. Александр Блок и его время. Биография. Перевод с французского А. Курт, А. Райской. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 256 стр.**

Трудно выразить, насколько я расстроился, прочитав эту книгу. Великолепный мемуарист, крепкий беллетрист (примерно сороковая ракетка русской прозы столетия) сочинила в 1947 году невообразимую пошлость, да еще и о кумире своей юности. Порочен прежде всего сам тон биографии — местами умильный, местами сентиментальный, местами риторический. Конечно, на него наложил отпечаток язык, на котором сочинена эта книга. Есть во французской литературной традиции нечто подобное: «Раннее развитие и красота мальчика (Ал. Блока. — К. К.) восхищали почтенных профессоров. Менделеев познакомил его со своей дочкой, годом моложе его. На набережных прохожие оборачивались, чтобы полюбоваться прелестными детьми, гулявшими под присмотром нянь». Как тут не вспомнить хармсовские анекдоты? Можно даже сочинить нечто в этом духе: «Александр Блок в детстве очень любил прогуливаться по петербургским набережным с одной девочкой. Девочку звали Люба, и она была моложе его на год. Прохожие даже оборачивались, чтобы полюбоваться прелестными детьми». А вот еще одна стилистическая нелепость: «Здесь Блок учился ходить, говорить, читать, любить животных» (это о Шахматове). Без комментариев.

Впрочем, странным образом эта книга может оказаться востребованной именно сейчас и именно в нашей стране. Современный русский читатель в подавляющем своем большинстве знает о Блоке примерно столько же, сколько знал французский читатель 1947 года. Ему надо подробно объяснять (с хрестоматийными цитатами из «Подростка»), что такое питерская мифология, символизм, кто такие Ремизов и Гумилев. Тогда, может быть, стоило издать книгу поплотнее и ббльшим тиражом?

И последнее. В книге Нины Берберовой приводится стишок пятилетнего Саши Блока. Стишок этот, если вдуматься, определил всю последующую жизнь великого и несчастного поэта:

Жил на свете котик милый,  
Постоянно был унылый, —  
Отчего — никто не знал,  
Котя не сказал.



# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИГИ



**Джон Барт.** Химера. Перевод с английского Виктора Лапицкого. СПб., «Азбука», 1999, 400 стр., 10 000 экз.

Одна из самых знаменитых книг классика (по «разделу постмодернизма») современной американской литературы. (См. статью М. Бутова «Отчуждение славой» в № 2 «Нового мира» за 2000 год.)

**В. Г. Бенедиктов.** Стихотворения. Составление, предисловие, послесловие С. Б. Рассадина. М., «Текст», 1999, 141 стр., 5000 экз. («Русские поэты. Серебряная серия»).

**П. А. Вяземский.** Стихотворения. Составление, предисловие, послесловие С. Б. Рассадина. М., «Текст», 1999, 173 стр., 5000 экз. («Русские поэты. Серебряная серия»).

**Стефан Георге.** Избранное. Стихотворения. Перевод с немецкого Нины Кан. М., 1999, 100 стр.

Сборник малоизвестного у нас, знаменитого в начале века немецкого поэта-символиста Стефана Георге (1868 — 1933).

**Д. В. Давыдов.** Стихотворения. Составление, предисловие, послесловие С. Б. Рассадина. М., «Текст», 1999, 141 стр., 5000 экз. («Русские поэты. Серебряная серия»).

**Юрий Давыдов.** Бестселлер. Роман. Книга первая. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 320 стр.

Книжное издание романа, получившего Большую премию имени Аполлона Григорьева за 1999 год. Первая публикация — в журнале «Знамя» (1998, № 11, 12). Книга вторая опубликована в «Знамени» (1999, № 8).

**Александр Житинский.** Фигня. Роман-буфф. СПб., «Геликон Плюс», 1998, 256 стр.

Комический детектив о русской наркомафии за границей. Книжная серия, в которой вышел роман, помечена значком «WWW», что означает место первой публикации романа в Интернете (<http://kulichiki.rambler.ru/prikol/>).

**М. Кузмин.** Проза и эссеистика. В 3-х томах. Составление, комментарии Е. Г. Домогацкой, Е. А. Певак. Вступительная статья Е. А. Певак. М., «АГРАФ», 1999, 3000 экз. Том 1. Проза 1906 — 1912 гг. 622 стр. Том 2. Проза 1912 — 1915 гг. 654 стр.

**Ю. Латынина.** Колдуны и министры. Роман. М., «ОЛМА-Пресс», СПб., Издательский дом «Нева», 1999, 479 стр., 9000 экз.

**Николай Панченко.** Живу во глубине России. Книга стихов. М., «Соль», 1999, 264 стр., 500 экз.

**Поэзия русского футуризма.** Составление, подготовка текста В. Н. Альфонсова. СПб., «Академический проект», 1999, 750 стр., 3000 экз. (в серии «Новая библиотека поэта»).

**Михаил Синельников.** Незнакомый голос. Стихотворения. СПб., «Лимбус-Пресс», 1999, 80 стр., 500 экз.

**Сказки и песни Белозерского края.** Собрание Б. Ю. Соколовых. В 2-х книгах. Книга 1. СПб., «Тропа Троянова», 1999, 800 стр., 3000 экз.

**В. Соколов.** Неповторимый венец. Стихотворения, поэмы. Составление, подготовка текста, библиография М. Е. Роговой-Соколовой, Н. С. Аришиной. Вступительная статья Е. Евтушенко. М., «Новый ключ», 1999, 592 стр., 500 экз.

**Руфь Тамарина.** Щепкой — в потоке... Томск, «Водолей», 1999, 320 стр., 1000 экз.

Мемуарная повесть поэта, однокурсницы Слуцкого и Наровчатова по Литературному институту, прошедшей сталинские лагеря.

**Александр Твардовский.** Лирика. Составление и предисловие Андрея Туркова. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 368 стр., 10 000 экз.

**13 рассказов.** Лучшие рассказы конкурса «АРТ-Тенёта'97». Составитель А. Н. Житинский. СПб., «Геликон Плюс», 1998, 176 стр.

Рассказы финалистов одного из ведущих литературных конкурсов в русском литературном Интернете «АРТ-Тенёта» ([www.art.spb.ru/konkurs/](http://www.art.spb.ru/konkurs/)) Алексея Андреева, Мити Буковского, Владимира Григорьева, Леонида Коганова, Олега Постнова, Вадима Смоленского и других. Книга вышла в новой серии «Геликон Плюс» «WWW» (Word Wide Writers — «мировые» писатели), представляющей произведения, впервые опубликованные в Интернете.

**Олдос Хаксли.** Двери восприятия. Роман, повесть, трактаты. Перевод с английского В. Бабкова, И. Русецкого, С. Хренова. СПб., «Амфора», 1999, 409 стр., 10 000 экз.

В сборник вошли: фантастический роман «Обезьяна и сущность», повесть «Гений и богиня», «психоделические трактаты».

**Пауль Хейзе.** Новеллы. Карл Шпиттелер. Избранные произведения. Составители О. Жданко, В. Седельник. Послесловие А. Гугнина и В. Седельника. М., «Панорама», 1999, 496 стр., 5000 экз.

Сборник вышел в серии «Лауреаты Нобелевской премии» и содержит впервые изданные на русском языке произведения немецкого писателя Пауля Хейзе (лауреат 1910 года) и швейцарского писателя Карла Шпиттелера (лауреат 1919 года).

**Евгений Шварц.** Бессмысленная радость бытия. Дневники и письма. Составление М. О. Крыжановской, И. Л. Шершеневой. М., «КОРОНА-Принт», 1999, 592 стр., 5000 экз.

**В. Шилейко.** Пометки на полях. Стихи. Публикация И. В. Платоновой-Лозинской. Предисловие А. Г. Мерца, И. Г. Кравцовой. Подготовка текста, примечания А. Г. Мерца.

**Баян Шириянов.** Низший пилотаж. Роман. СПб., 1998, 176 стр.

См. о романе в подрубке «Сетевая литература» в этом номере журнала.



**Жоржи Амаду.** Каботажное плаванье. наброски к воспоминаниям, которые не будут написаны никогда. Перевод с португальского А. Богдановского. М., «Вагриус», 1999, 414 стр., 5000 экз.

Мемуары знаменитого бразильского писателя.

**Н. Баранская.** Странствие бездомных. Жизнеописание. Семейный архив. Старые альбомы. Письма разных лет. Документы. Воспоминания моих родителей, их друзей. Мои собственные воспоминания. М., 1999, 560 стр., 1000 экз.

**Александр Генис.** Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 336 стр.

Новая книга Александра Гениса, которую составили: «Беседы о новой словесности» (о Синявском, Битове, Макашине, Венедикте Ерофееве, Т. Толстой, Пелевине и других), «Швы времени» (обзорные статьи), «Частный случай» (о Галковском, Борхесе, Уоллесе Стивенсе и других) и эссе на «вольные темы» — раздел «Маргиналии». Автор предисловия Михаил Эпштейн («Веселье мысли, или Культура как ритуал») определяет подход Гениса к разнообразнейшим явлениям культуры, описываемым им в книге, как к «целостному произведению еще неизвестного жанра, ближайшим прообразом которого является ритуал».

**Н. П. Игнатъев.** Походные письма 1877 года. Письма к Е. Л. Игнатъевой с балканского театра военных действий. М., «РОССПЭН», 1999, 336 стр., 1500 экз.

Письма к жене известного дипломата, свидетеля и участника событий, происходивших в императорской Главной ставке во время русско-турецкой войны.

**Александр Каменский.** Российская империя в XVIII веке. Традиции и модернизация. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 328 стр.

**Ханс-Дитер и Хельмут Клумпьян.** Генри Дэвид Торо, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Перевод с немецкого Э. Ф. Осипова. Челябинск, «Урал-LTD», 1999, 396 стр., 3000 экз.

В «Приложении» к биографии писателя помещены «Дневники» Торо и эссе «Прогнулки».

**Кирилл Кобрин.** От «Мабиногион» к «Психологии искусства». Избранные опыты на историко-культурные темы. «Urbī». Литературный альманах. Выпуск восемнадцатый. СПб., АО «Журнал „Звезда“», 1999, 72 стр.

**П. Кропоткин.** Анархия, ее философия, ее идеал. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 864 стр., 7000 экз.

**Е. Лямина, Н. Самовер.** «Бедный Жозеф». Жизнь и смерть Иосифа Вильегорского. Опыт биографии человека 1830-х годов. М., «Языки русской культуры», 1999, 560 стр., 1000 экз.

**В. А. Мануйлов.** Записки счастливого человека. Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных стихов. Под редакцией Н. Ф. Будановой. СПб., «Европейский дом», 1999, 447 стр., 700 экз.

**Д. Мережковский.** Собрание сочинений. Тайна трех. М., «Республика», 1999, 608 стр., 5000 экз.

**Михаэль Нерлих.** Стендаль, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Перевод с немецкого М. И. Бент. Челябинск, «Урал-LTD», 1999, 362 стр., 4000 экз.

«Жизненная» и творческая биография Стендаля, составленная биографом на основе высказываний и автобиографических проговорок писателя в художественных произведениях. В «Приложении» — стендалевский трактат «О любви» и анализ этого текста, сделанный Ортегой-и-Гасетом («Любовь у Стендаля»).

**В. В. Розанов.** Собрание сочинений. Во дворе язычников. М., «Республика», 1999, 463 стр., 5000 экз.

**Жак Сегела.** Национальные особенности охоты за голосами. Перевод с французского М. Огородова, В. Орлова. М., «Вагриус», 1999, 262 стр., 5000 экз.

Книга одного из самых известных в мире специалистов по избирательным технологиям и политическим коммуникациям, предисловие к которой названо «Жак Сегела, творец президентов и парадоксов».

**Андрей Синявский.** «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова. М., «Захаров», 1999, 318 стр.

Текст книги печатается по единственному прижизненному изданию (Париж, 1982). Изданию книги предшествовал курс лекций о Розанове, прочитанный Синявским в Сорбонне в 1974 — 1975 годах.

**Словарь терминов московской концептуальной школы.** Составитель и автор предисловия Андрей Монастырский. М., «Ad marginem», 1999, 222 стр., 3000 экз.

Кроме словаря Монастырского в «Приложении» помещены «дополнительные словари», составленные А. Ануфриевым, И. Кабаковым, Н. Панитковым, Ю. Лейдерманом, П. Пепперштейном, Д. Приговым, тем же А. Монастырским, и отдельно приложен дополнительный словарь В. Захарова. Книгу открывают предисловие Монастырского и статьи И. Бокштейна («О месте русского концептуализма в истории русского искусства») и Ю. Лейдермана («Этика дополнения»). Практическое применение словаря сомнительно, по сути, это оригинальная самодостаточная работа группы концептуалистов, в которой, в частности, традиционное соотношение определяемого словосочетания и его толкования (!) поменялись местами («фотографический дискурс — система документирования, с помощью которой выстраиваются метауровни художественного события как результирующие контексты эстетического действия»; «концептуальный анимализм... — зоологическая знаковая конвенция, выступающая как опосредованность между „двумя текстами“ в концептуальном произведении — инспиратором и конкретным демонстрационным высказыванием»).

**Семен Файбисович.** Русские новые и неновые. Эссе о главном. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 288 стр.

Книга известного современного художника, в последние годы ставшего еще и известным культурологом и публицистом, о «сегодняшних метаморфозах нашего обще-

ства, о том, как трудно расстается оно со старыми мифами и как легко подпадает под власть новых... о процессах, происходящих в политике, в общественной жизни... и прежде всего в сфере культуры» (из издательской аннотации).

**Иосиф Флавий.** Иудейские древности. В 2-х томах. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1999, 5000 экз. Том 1 — 636 стр. Том 2 — 636 стр.

**Е. Г. Эткинд.** «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопозитики русской литературы XVIII — XIX веков. М., «Языки русской культуры», 1999, 446 стр.

**«Я жил и пел когда-то...».** Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. Томск, «Водолей», 1999, 352 стр., 1000 экз.

Среди авторов воспоминаний Вениамин Блаженный, Инна Лиснянская, Юрий Коваль, Левон Мкртчян.

Составитель **Сергей КОСТЫРКО.**

**«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:**

**М. Кузмин.** Проза и эссеистика.

**Юрий Давыдов.** Бестселлер.

**Поэзия русского футуризма.**

**ПЕРИОДИКА**



*«Арион», «День литературы», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Известия», «Ингерманландия/Ingermanland», «Коммерсантъ», «Континент», «Кулиса НГ», «Ликбез», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Евразия», «Литературная Россия», «Наш современник», «Новая русская книга», «Новый журнал», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Фигуры и лица», «Хранить вечно»*

**Василий Аксенов.** Блюз 116-го маршрута. Рассказ. — «Континент», № 100 (1999, № 2, апрель — июнь). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/contin> или <http://www.members.home.net/continent>

Авторский перевод с английского. Набоков улыбается.

**Владимир Александров.** Расписание уроков: алгебра, гармония. Карион Истмин — это наш достойный ответ Деррида. — «Ex libris НГ», 1999, № 47, 2 декабря. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Пожалуй, единственное, что позволяет объединить две столь различные поэтические книги (Амелин Максим. Dubia. СПб., 1999; Полищук Дмитрий. Страннику городскому. Семисложники. М., 1999. — А. В.) в одной рецензии, — это память о Владимире Ивановиче Славецком, который благословил обоих поэтов, в самом прямом и горьком смысле „в гроб сходя“...» Можно добавить, что Амелин и Полищук (как и покойный Славецкий) — авторы «Нового мира».

**Павел Басинский.** Синдром Пелевина. «Новый писатель» — старый как мир. — «Литературная газета», 1999, № 45, 1 — 16 ноября.

Пелевин, как и Чернышевский, прозаик — «никакой». Мечты о среднем классе не менее пошлы, чем швейная мастерская и коммунистические сны Веры Павловны. Однако лет через сто ни один человек не сможет по прозе Андрея Дмитриева понять, как и чем жили люди в 90-е годы XX века, а по «Generation 'П'» — сможет, что уже немало.

**Павел Басинский.** Авгиевы конюшни. — «Октябрь», 1999, № 11. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

«Когда-нибудь, надеюсь, общество культурно созреет и до того, чтобы навести в литературе нормальный полицейский порядок. Я подчеркиваю: *полицейский*». Только вот жить в эту пору прекрасную, жаль, не придется ни мне, ни тебе.

**Галина Белая.** «...И речка, вероятно, еле билась, затвердевая в каменном гробу...» («Оттепель»: случайность или неизбежность?). — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». Над номером работали Григорий Файман, Владимир Халтурин. 1999, № 6, 29 сентября.

Документы партийного архива (Центр хранения современной документации — ЦХСД), связанные с «оттепелью», заняли два выпуска приложения «Хранить вечно» (№ 6, 29 сентября; № 7, 29 октября). Первый выпуск посвящен Александру Фадееву и включает, в частности, его предсмертное письмо в ЦК КПСС. Во втором выпуске — документы 1953 — 1969 годов: обращения писателей к генеральным секретарям, резюме и справки партаппаратчиков о положении в Союзе писателей и Союзе композиторов, обкомовская справка о настроениях литераторов и проч. «Дорогой Леонид Ильич! Я прошу Вас помочь мне в том, чтобы мне снова была предоставлена возможность выступать с чтением стихов перед широкой аудиторией. Я ручаюсь, что эти вечера будут проходить на высоком идейном и творческом уровне...» (из письма Евгения Евтушенко Л. И. Брежневу от 7 апреля 1969 года).

**Борис Березовский.** «Я по-прежнему сам с собой». Беседу вела Наталия Геворкян. — «Коммерсантъ», 1999, № 220, 27 ноября. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

«Я не умею читать книги, написанные плохим языком, зато я могу читать книги практически ни о чем, но написанные блестящим языком».

**Елена Берковская.** У Бориса Леонидовича. — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 216 (сентябрь 1999). Электронная информация о журнале: <http://www.lebed.com>

«На мой вопрос, не случилось ли что-нибудь, он сказал, что после очень долгого перерыва получил наконец письмо от Аси Цветаевой, сестры Марины. Из лагеря... Ужасное, отчаянное письмо, где Ася пишет, что она только теперь узнала о смерти сестры и что она не знает, как, и когда, и где умерла Марина, и ничего не знает про Мура (а он уже погиб к этому времени)... Не письмо, а страшный, отчаянный вопль из таких преисподних глубин, что чудом казалось, что оно все же дошло до адресата. Не знаю, почему она совсем ничего не знала о Марине. Прошло ведь уже больше двух лет...»

Эти же воспоминания Елены Берковской (1923 — 1998) напечатаны в ноябрьском номере «Знамени» под названием «Мальчики и девочки 40-х годов» (предисловие Ю. Р. Берковского).

**Ефим Бершия.** Попытка прикосновения. — «Континент», № 100 (1999, № 2, апрель — июнь).

О поэзии недавно умершего Евгения Блажеевского. Тут же — подборка его стихов, напечатанных в разные годы в «Континенте». См. также статью Станислава Рассадина «Отщепенец Евгений Б. — семидесятник» («Континент», № 96).

**Юрий Бондарев.** Бермудский треугольник. Роман. — «Наш современник», 1999, № 11, 12.

«...И был тогда октябрь девяносто третьего года...»

**Владимир Бондаренко.** Екимов ставит на Пиночета. — «День литературы», 1999, № 11, ноябрь. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Скудный, емкий, живой язык. Простой и ясный провинциальный сюжет. Но за этой провинциальностью такая универсальность проглядывает... Вот главное, не замеченное почти никем откровение современной русской литературы, откровение „Нового мира“ за 1999 год», — критик ведет речь о новомировской повести Бориса Екимова «Пиночет».

**Чарльз Буковски.** Почтовое отделение. Роман. Перевод Юрия Медведько. — «Ингерманландия/Ingemanland». Журнал *свежей* литературы. Главный редактор Сергей Лютов. СПб., 1999, выпуск первый.

Этот роман (1971) принес настоящую славу своему скандально известному автору. Печтается с продолжением (если у первого выпуска будет продолжение). Все публикации первого номера — с *запашком*. Кстати, недавно в московском издательстве «Глагол» вышли три тома Чарльза Буковски.

**Владимир Войнович.** Писатель и муравей. Вопросы задавала Юнна Чупринина. — «Общая газета», 1999, № 47, 25 ноября — 1 декабря. Электронная версия: <http://www.og.ru>

«Но честно говоря, за современной литературой я особо не слежу: в основном читаю мемуары и перечитываю классику. А только что, перебирая скопившиеся книги, кое-что решил выкинуть. Одну случайно раскрыл на первой странице, просто посмотреть. И представьте, не смог оторваться. „Страна происхождения“ Дмитрия Бакина. Кажется, хороший писатель. А я о нем и не слышал».

**Михаил Володин.** «Я готов конкурировать с „Новым миром“». Беседу вела Анна Вербиева. — «Ex libris НГ», 1999, № 46, 25 ноября.

«Контрапункт» (Бостон, США) — новый *русский толстый журнал* (адрес в Сети: <http://www.k-punkt.com>). Главный редактор — Михаил Володин.

**Леонид Гиршович.** «Второй план — он-то и есть первый». Беседу вел Аркадий Блюмбаум. — «Новая русская книга». Критико-библиографический журнал Гуманитарного агентства «Академический проект». Издатель Игорь Немировский. Ответственный редактор Глеб Морев. Санкт-Петербург, 1999, № 1.

«Я из того пионерского отряда, где не Пушкин, а Набоков — это наше все, — говорит Леонид Гиршович, скрипач оркестра Ганноверской оперы (ФРГ) и автор романа „Прайс“ (1998), попавшего в последний букеровский „шорт-лист“. — Но если на первых порах кажется, что Набоков несет тайную свободу, то вскоре с удивлением понимаешь: тайная свобода после великой набоковской революции оборачивается явным рабством. Набоков растаптывает своих подражателей, это Клеопатра: ночь творческого блаженства — и как писатель ты мертв... Что до меня, то противоядием послужило чтение прозы Пастернака, не „Доктора Живаго“ — эту великую книгу я всерьез прочел лишь в позапрошлом году, — а каких-то фрагментов; ведь много и не надо».

Своим названием и отчасти оформлением новый питерский журнал, состоящий из обзоров и рецензий, обязан известному берлинскому журналу 20-х годов. Среди авторов, отрецензированных в первом номере, — Ролан Барт, Чарльз Буковски, Дмитрий Галковский, Эмма Герштейн, Яков Друскин, Илья Кабаков, Андрей Левкин, Милорад Павич, Виктор Пелевин, Александр Пятигорский, Владимир Сорокин, Виктор Топоров, Владимир Тучков и другие.

**Борис Грушин.** «Я до сих пор не знаю, что собой представляет наш народ...». Беседу вел Матвей Хромченко. — «Огонек», 1999, № 36, ноябрь. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

Говорит создатель знаменитой службы изучения общественного мнения «*Vox Populi*»: «Я утверждаю, что подавляющее большинство нынешних россиян *просто не понимают, о чем их спрашивают* (курсив мой. — А. В.) так называемые социологи, и потому не верю ни одному так называемому политическому рейтингу».

**Андрей Дмитриев.** «Пессимизм — это богохульство». Беседу вела Елена Михайлова. — «Известия», 1999, № 222, 25 ноября. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

«Интеллигенция — это лучшее, что у нас есть».

«Москва — самая настоящая Россия, ее насыщенный раствор».

«В отношении же будущего русской литературы я пока что несогнутый оптимист».

**Доверие к потоку, или Беспечный педант.** Петр Вайль в беседе с Иваном Толстым. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 11. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Не всякий Аверинцев удостоится такого *огромного* интервью в «Звезде», как Петр Вайль к своему пятидесятилетию.

**Евгений Ермолин.** Месторождение совести. Заметки о Викторе Астафьеве. — «Континент», № 100 (1999, № 2, апрель — июнь).

«Почти с самого начала Астафьев выносит за скобки „общие истины“; он отказывается учитывать любой суммарный идеологический или геополитический, национальный или классовый интерес... Писатель идет уже в первых своих повестях от личного опыта, от опыта рядового, обычного, простого человека. От *просто человека*, значительного не своими званиями и статусом, а лишь и уже тем, что он, человек, — есть».

**Есть ли будущее у социализма в России?** — «Знамя», 1999, № 11. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

Рубрика «Конференц-зал». Андрей Илларионов, Борис Кагарлицкий, Александр Мелихов, Николай Шмелев. Одни считают, что у социализма есть будущее, другие — что нет.

**Борис Животов.** Новое из пушкинского окружения. — «Литературная Евразия». Газета писателей Содружества Независимых Государств. 1999, № 13, ноябрь.

Русские переводы трех писем к Чаадаеву: двух — от Марии Гончаровой (Мещерской) и одного — от ее мужа, Ивана Гончарова.

**Наталья Иванова.** Счастливый дар Валентина Катаева. — «Знамя», 1999, № 11.

«Дар, который дал ему (Катаеву. — А. В.) возможность щедро понять, что он обязан *впустить* в литературу новую, свежую силу, — ведь то, что он сделал в „Юности“ для Аксенова, Гладилина, Искандера, Чухонцева, Рассадина и других, Твардовский не сделал бы ни за что. Ни при какой погоде. Потому что они были ему *социально* (и культурно) *чужие*... Можно сказать, что во многом благодаря Катаеву сформировалась литература шестидесятников: тут понадобились его вкус к форме, страсть к „модерну“, здесь было удовлетворено его „отцовское“ чувство...»

См. также статью О. Новиковой и Вл. Новикова «Зависть. Перечитывая Валентина Катаева» («Новый мир», 1997, № 1).

**Николай Климонтович.** Последняя газета. Роман. — «Октябрь», 1999, № 11.

О том, как прозаик Кирилл попал на работу в *буржуазную* Газету и как он из Нее выпал. Поскольку автор некоторое время работал в газете «Коммерсантъ», то это, видимо, она и есть.

**Континент свободы.** Стенограмма расширенного заседания редколлегии «Континента» (Берлин, 5 — 7 ноября 1977). — «Континент», № 100 (1999, № 2, апрель — июнь).

Совещание открывается выступлением Владимира Буковского: «Я узнал о возникновении „Континента“, сидя на 35-й зоне Пермских политлагерей. Узнал из советской прессы...» Стенограмма печатается с сокращениями. В этом же юбилейном, *сотом* номере журнала напечатаны заметки Натальи Горбаневской «Из моих шестнадцати лет в „Континенте“», а также весьма полезный указатель содержания журнала за 1974 — 1999 годы.

**Евгений Конюшенко.** Горький миф XX века. Заметки и размышления о Максиме Горьком. — «Ликбез». Литературный альманах. Барнаул, № 13 (август 1999). Тираж 450 экз.

«А ведь в другие времена Горький мог бы стать хорошим, добрым священником или мужественным, самоотверженным монахом-миссионером».

**Леонид Костюков.** О тех, кто умеет писать стихи. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 3. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/arion>

«В сегодняшней ЛЖМ (литературной жизни Москвы) отсутствует стыд».

**Эрнст Кречмер.** Гениальные люди. Перевод с немецкого и вступительная заметка Г. Ноткина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 11.

«Демоническое», «Пророк» — главы из книги немецкого психолога и психиатра Эрнста Кречмера (1888 — 1964).

**Нина Кривошеина.** Нежданная встреча в Ульяновске (о А. А. Любичеве и Н. Я. Мандельштам). Вступительная заметка и публикация Никиты Кривошеина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 10.

Ульяновск, конец 40-х — начало 50-х. Воспоминания Нины Алексеевны Кривошеиной (урожд. Мещерской; 1897 — 1981) о встречах с Любичевым и Надеждой Мандельштам не входили в ее мемуарную книгу «Четыре трети нашей жизни» (Париж, «УМСА-press», 1984).

Следом напечатаны два письма А. Любичева 1955 и 1958 годов к Н. Я. Мандельштам, два письма А. Любичева 1959 и 1960 годов к Никите Кривошеину, сыну Нины Алексеевны, сидящему в мордовских лагерях, и, наконец, фрагмент огромного письма-статьи А. Любичева к Д. А. Никольскому от 20 декабря 1960 года. «Замечания О. Э. (Мандельштама. — А. В.) „Вокруг натуралистов“ и „Заметки о натуралистах“, конечно, очень любопытны для суждения о том, как преломляются биологические теории в умах поэтов и писателей, наукой специально не занимавшихся. Записки не датированы. Если они написаны после того, как О. Э. познакомился, например, с Б. С. Кузиным (он был, кажется, довольно близко знаком), то непонятно, почему биологические взгляды Б. С. Кузина, весьма оригинальные, как и все у этого нашего общего друга, совершенно не отразились на этих записках. Вероятно, они мало говорили о науке, а больше о поэзии. А Кузин весьма критически относился к Дарвину, у О. Э. же к Дарвину необыкновенно восторженное отношение. Нельзя отрицать, что как тип ученого Дарвин необыкновенно привлекателен. Исключительная любовь к науке, честность, самокритичность, огромное трудолюбие, позволившее ему преодолеть очень слабое здо-

ровые, полное отсутствие карьеризма, неторопливость в подготовке работ, исключительная наблюдательность и благородное отношение к возможным соперникам. Ему вполне под пару его соратник по обоснованию теории естественного отбора, Уоллес. Вы, вероятно, знаете, что я далеко не поклонник Чернышевского, но приходится с ним согласиться, что звучит странным парадоксом, что два этих гуманнейших человека были основоположниками теории, достойной Торквемады...» (из письма А. Любищева к Н. Я. Мандельштам от 18 марта 1958 года).

**«Крупный человек превратился в большого писателя».** Беседа вел Михаил Новиков. — «Коммерсантъ», 1999, № 220, 27 ноября.

Интервью с букеровским лауреатом 1999 года — автором романа «Свобода» Михаилом Бутовым: «Я собрал большую коллекцию высказываний о своем романе в прессе, и она меня удивила: там вообще не рассматривается языковый пласт. Критика проходит абсолютно мимо него. Пишут, о чем этот роман, дается ли в нем какой-то выход или не дается... Но для меня языковое измерение этого текста очень важно».

**Ирма Кудрова.** Поговорим о странностях любви: Марина Цветаева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 10.

О *многолюбии* поэта. «Известно, что жар сердца Цветаевой пробуждали не только мужчины». Особое содержание цветаевского «люблю».

**Марк Липовецкий.** Голубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе. — «Знамя», 1999, № 11.

«Нехитрая комбинация двух названий, вынесенная в заголовок, напрашивается сама собой: когда два писателя (Владимир Сорокин и Виктор Пелевин. — *А. В.*), не без оснований считающиеся литературными лидерами русского постмодернизма, фактически одновременно выпускают по роману, то эти романы волей-неволей читаются как единый текст (несмотря на все различия). Такова власть совпадения во времени и пространстве... Между тем это только для Павла Басинского или других борцов за христианский реализм, воспринимающих постмодернизм как нынешнее имя дьявола, что Пелевин, что Сорокин — все едино. На самом деле между ними *дьявольская* разница».

См. также статью Марка Липовецкого «Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи“» («Новый мир», 1999, № 11).

**Галина Люкшина.** И прости меня, и оправдай. История одной любви. — «Наш современник», 1999, № 11.

Вспоминая Вампилова (начало 60-х).

**Уистен Хью Оден.** Table Talk. Записал Алан Ансен. Перевод Глеба Шульпякова. — «Ex libris НГ», 1999, № 47, 2 ноября.

С осени 1946-го поэт и поклонник Одена Алан Ансен стал записывать за Оденом его высказывания на различные темы. «Вы знаете, со временем мне кажется, что даже Данте не совсем христианский писатель. Он в самом деле *величайший* поэт. Забавно, как трудно приходится человеку, если он воспринимает вещи слишком серьезно. До того как я стал верующим человеком, мне было легче принять Дантову теологию. Теперь же я сомневаюсь, был ли он вообще христианином. Он не осознавал, что Бог страдает. В Дантовом аду грешники наказываются внешней силой, а не своей греховностью, как следует из христианской догмы. С другой стороны, я не вижу, как нехрист может понимать смысл „Дон Кихота“. Если ты считаешь двойственную природу Христа нонсенсом, тогда пара Дон Кихот — Санчо Панса для тебя пустое место...» (март 1947). Глеб Шульпяков — составитель и один из переводчиков книги эссе и избранных стихотворений У.-Х. Одена (М., 1998).

**Вадим Перельмутер.** Пушкинское эхо. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 3.

«Завершающийся XX век, если прислушаться, озвучен разнообразными откликами на этот голос. Начать хотя бы с того, что российская катастрофа семнадцатого года уже в начале двадцатых ассоциировалась с гибелью Пушкина...»

**Сергей Петрофф (США).** Куда делось российское золото? — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 1999, № 8, 30 ноября.

Доклад о российском золотом запасе (1914 — 1929 годы). Автор — сын того самого колчаковского генерала, которому японцы вручили знаменитую расписку на золото.

**Письма Г. В. Адамовича А. В. Бахраху.** Публикация Вадима Крейда и Веры Крейд. — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 216 (сентябрь 1999).

34 письма 1940 — 1951 годов из Бахметевского архива при Колумбийском университете. «А сегодня я получил письмо от Чиннова и стишки — неожиданно *прекрасные*. Я даже расчувствовался, читая их, в этом пузыре что-то есть, несмотря на потные руки» (из письма от 3 сентября 1949 года).



**Письма Ю. Н. Тынянова к Л. М. Варковицкой (1927 — 1928).** Публикация А. В. Громова. Вступительная заметка и примечания Л. С. Сталбо. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 11.

Пять малоинтересных писем 1928 — 1929 годов.

**Политическое завещание. (Последние мысли Г. В. Плеханова).** Примечания Александра Бережанского. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 1999, № 8, 30 ноября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Я, Георгий Валентинович Плеханов, отдавший революционному движению России и Европы почти всю сознательную жизнь, являясь не только свидетелем, участником, но и, по мнению многих, прямым виновником величайших по драматизму событий на Родине, не могу уйти из жизни, не высказав своего к ним отношения. После того как большевики разогнали Учредительное собрание, горькие упреки в мой адрес посыпались со всех сторон. Не считая нужным оправдываться, я все же должен заметить, что вина моя не столь велика, как полагают г. Чернов и его единомышленники. Как Прометей нельзя обвинять за то, что люди злоупотребляют огнем, так и меня не следует упрекать в том, что Ленин ловко использует мои идеи для подкрепления своих ложных выводов и вредных действий...»

Тут же напечатаны статья Н. И. Нижегородова, преподающего в Ботсванском университете и располагающего полным текстом Завещания, «Как этот документ попал в мои руки» и заключение директора липецкого Дома-музея Г. В. Плеханова «„Завещание“ принадлежит именно Плеханову».

**Григорий Померанц.** В поисках свободы. — «Континент», № 100 (1999, № 2, апрель — июнь).

Страницы духовной автобиографии. «Я помню страстность, с которой Ирина Роднянская осенью 1968 года доказывала мне, что иначе и не могло быть, что социализм с человеческим лицом невозможен, что самые основы коммунизма порочны». О лагере: «Я попал в плен и надеялся, что меня освободят, что мы вернемся в Москву под голубыми знаменами Объединенных Наций».

**Вячеслав Пьецух.** Дневник читателя. — «Октябрь», 1999, № 11.

«В преклонном возрасте человек еще потому несчастен, что ему нечего почитать».

**Иосиф Ратнер.** Воспоминания. Публикация, вступительная заметка и примечания Е. Григорьевой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 11.

Первая мировая, немецкий плен, возвращение на родину.

**Ирина Роднянская.** Школа Александра Квятковского. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 3.

«Когда я впервые взяла в руки переиздание „Поэтического словаря“ Александра Павловича Квятковского — переиздание, которое не должно было сулить мне неожиданностей, поскольку я, приглашенный редактор его, держала все корректуры, — я была прямо-таки сражена: и на переплете, и на титуле стояло: „А. П. Квятковский. Школьный поэтический словарь“... И как же так — изменить аутентичное название, данное покойным автором, который из гроба не может ни возразить, ни согласиться?.. Прошло время... и я не просто успокоилась, а взглянула на происшествие веселее...»

**Бенедикт Сарнов.** Угол отклонения. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1999, № 44, ноябрь. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

Развернутый критический автокомментарий к двум рассказам о своем детстве, написанный Б. Сарновым в 60-е годы: «...и я тоже был одним из тех, кто пусть не на деле, а только в сердце своем, но все-таки повторил подвиг Павлика Морозова».

**Всеволод Сахаров.** Героиня, блудница или покорная раба? Чехов и «женский вопрос». — «Литературная Россия», 1999, № 47, 3 декабря.

Чернышевский, Чехов, «новая женщина».

**Сергей Секиринский.** Боборыкин: без общества и без мундира. — «Ex libris НГ», 1999, № 46, 25 ноября.

«Следуя известной традиции отечественной литературной критики, вполне можно сказать, что и беллетристика Боборыкина для своего времени стала своеобразной „энциклопедией русской жизни“. Но при всем разнообразии сюжетов, занимавших Боборыкина, и у него была излюбленная тема, развитие которой в жизни он внимательно отслеживал в своем творчестве: от ранних романов до позднейших воспоминаний включительно. Это тема судеб особенно близких ему мыслящих университетских людей, интеллигентской с либеральным оттенком среды, объединявшей первоначально

главным образом выходцев из дворянских домов, прошедших, как правило, гимназию и университет, и пополнявшейся за счет новых и более пестрых по происхождению пореформенных поколений. А поскольку в череде этих боборыкинских образов переплетенные мысли и судеб автора и его персонажей оказалось наиболее тесным, постольку обращение к ним помогает воссозданию как его собственной, до сих пор еще не написанной биографии, так и вообще истории либеральной личности в пореформенной России».

**Савелий Сендерович, Елена Шварц.** Кто изобрел Чернышевского? К теме «Набоков и Пушкин». — «Новый журнал», Нью-Йорк, № 216 (сентябрь 1999).

Образ «Чернышевского» в XXXVIII строфе главы шестой «Евгения Онегина»: «Исполняя жизнь свою отравой, / Не сделав многого добра...» Известный тип публициста 50 — 60 — 70-х годов XIX столетия еще не существовал в 1826 году, когда эта «восхитительная», по мнению Набокова, строфа была сочинена.

**Николай Славянский.** Кушнер и Эвридика. Открытое письмо Ирине Роднянской. — «Кулиса НГ», 1999, № 19, ноябрь.

Полемический ответ Славянского на полемическую статью Ирины Роднянской «И Кушнер стал нам скучен...» («Новый мир», 1999, № 10) о полемической статье Н. Славянского «Театр теней. Поэзия Александра Кушнера» («Москва», 1999, № 5).

**Игорь Сухих.** Догма долга. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 10.

Авторская рубрика «Книги XX века». «Разгром» как русский вариант литературы «потерянного поколения». В первом издании последняя фраза содержала вроде бы незаметное, но важнейшее «как-то»: *нужно было жить и как-то исполнять свои обязанности*, — потом автор убрал неопределенное местоимение. Первый роман Фадеева стал его последней удачей.

«Фашистом я никогда не был...». Неопубликованное письмо Ивана Шмелева. Публикация Елены Осьмининной. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 1999, № 8, 30 ноября.

Письмо к председателю американского Толстовского фонда Александре Львовне Толстой от 10 августа 1948 года в опровержение сообщений московского радио и некоторых эмигрантских газет о «коллорационизме» писателя.

**Евгений Федоров.** Проклятие. Повесть. — «Континент», № 100 (1999, № 2, апрель — июнь).

На этот раз новое произведение Евгения Федорова — о русском еврействе — не связано с его лагерной эпопеей «Бунт» (отдельные части которой печатались в «Новом мире»), но косвенно связано с другой повестью — «Кухня» («Континент», № 95). См. о повести «Проклятие» статью Марии Ремизовой «Кое-что о русско-еврейском вопросе» («Кулиса НГ», 1999, № 18, 13 ноября).

**Чудо — тайна — достоверность.** Беседу с Борисом Стругацким вела Татьяна Вольтская. — «Литературная газета», 1999, № 46, 17 — 23 ноября.

«С кем ни поговоришь — у нас, оказывается, стоит на дворе духовная стагнация, гибель культуры происходит и полный упадок литературы. А вы попробуйте представить себе любой, именно любой роман из номинационных списков любого Букера последних лет: как смотрелся бы он, каким-нибудь чудом выскочив из печати, всего пятнадцать лет назад?» (Б. Стругацкий).

**Максим Шевченко.** «Из осажденной крепости не сбегают». — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 1999, № 18, 12 ноября.

Беседа с Сергеем Аверинцевым: «...жизнь моих родителей не была церковной, но на мой первый вопрос о том, что такое Бог, я получил от мамы ответ хотя и припахивающий деизмом („Высшее существо”), однако никоим образом не отрицательный, и советский атеизм был для меня какой-то несурзадой, стыдной новейшей модой».

**Глеб Шульняков.** Шум словаря на перекрестке, или «Я» со строчной буквы. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 3.

Поэтика Льва Лосева.

**Михаил Эпштейн.** Информационный взрыв и травма постмодерна. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 11.

«Этот „травматизм”, вызванный растущей диспропорцией между человеком, чьи возможности биологически ограничены, и человечеством, которое неограниченно в своей техноинформационной экспансии, и приводит к постмодерной „чувствительности”, как бы безучастной, притупленной по отношению ко всему происходящему...»

**Илья Эренбург.** Тринадцать стихотворений. Вступительное слово и публикация Бориса Фрезинского. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 3.  
Не публиковавшиеся ранее стихи 1911 — 1941 годов.



ДАТА: 19 (31) марта исполняется 200 лет со дня рождения писателя и журналиста Осипа (Юлиана) Сенковского (1800 — 1858), редактора и издателя знаменитого журнала «Библиотека для чтения».

Составитель Андрей Василевский.

**«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:**

**«Литература».** Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». Электронная версия: <http://www.1september.ru>

**«Новая русская книга».** Критико-библиографический журнал Гуманитарного агентства «Академический проект». Выходит 6 раз в год. 199002, Санкт-Петербург, а/я 35. E-mail: [aprojec@sut.ru](mailto:aprojec@sut.ru)

---

## СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



*WWW в обозначении книжной серии; о сетевом конкурсе «Улов»; о прозе Комова; о вызове обывателю Баяна Ширянова; об интернетовских заморочках и домовых*

1

Сказанное в первом обзоре сетевой литературы о том, что нет изначальных границ между сетевой литературой (сетературой, как называет себя часть «эксклюзивно интернетовских» авторов) и собственно литературой, становится общим местом на глазах. Очередным подтверждением этому стал выход в петербургском издательстве «Геликон Плюс» нескольких книг, в графическом оформлении издательской серии которых использована интернетовская аббревиатура «WWW» (Word Wide Web — мировая паутина), в фирменном значке новой книжной серии аббревиатура расшифровывается как **Word Wide Writers** («мировые» писатели). Серия представляет произведения, впервые опубликованные в Интернете. Сейчас в Москве, правда с большим опозданием, появились три книги из этой серии: **13 рассказов. Лучшие рассказы конкурса «АРТ-Тенёта'97»** (см. аннотацию в: «Библиография. Книги»), роман-буфф Александра **Житинского «Фигня»** и роман **Баяна Ширянова «Низший пилотаж»**; а также альманах виртуального ЛИТО им. Лоренса Стерна «**Stern**». Об этих изданиях чуть позже, а пока хочу процитировать характерный, как мне кажется, для нынешних умонастроений в Интернете отклик на это событие: «Первопроходцы русскоязычной сетературы после появления первых, пусть малочисленных, но бумажных книг стали теперь еще и просто писателями. Они, конечно, останутся в Интернете, конечно, там будет происходить множество захватывающих литературных событий, и с каждым годом все будет еще интереснее. Но только при одном условии: теперь свою состоятельность нужно доказывать и за пределами Сети. Кончились игры» — **Андрей Цунский, «Сетевая литература: нужен прорыв из Сети»** ([http://www.russ.ru/netcult/19990817\\_tsunsky.html](http://www.russ.ru/netcult/19990817_tsunsky.html))

## 2

Вторым событием в этом ряду стало проведение осенью сетевого литературного конкурса «Улов» (<http://iday.stars.ru/contests/ulov/works.htm>). Отличие этого конкурса от уже существующих в Интернете — в активном сотрудничестве русского литературного Интернета с толстыми литературными журналами: в жюри конкурса вместе с известными интернетовскими литературными обозревателями Максом Фраем, Дмитрием Кузьминым, Александром Барашем и Александром Левиным вошли представители толстых журналов: Алексей Алехин («Арион»), Дмитрий Бавильский («Уральская новь»), Ирина Барметова («Октябрь»), Андрей Василевский и Сергей Костырко («Новый мир»), Елена Холмогорова («Знамя»). Конкурс проводился по двум номинациям: «Проза» и «Поэзия». Результаты были объявлены 30 ноября. Лауреатами конкурса стали:

в номинации «Проза»: Олег Постнов. Из романа «Страх» (главы 11 — 13) — 1 место; Илья Бражников. Из повести «Кулинар Гуров» — 2 место; Виктория Фомина. Держиморда (отрывок из романа) — 2 место; Мэри Шелли. Голос (из романа «Паутина») — 3 место;

в номинации «Поэзия»: Владимир Строчков. Стихи 1998 — 1999 годов — 1 место; Дмитрий Воденников. Стихотворения — 2 место; Хамдам Закиров. Наброски для Кавафиса — 2 место.

И естественно, что рукописи участников конкурса «Улов» внимательно читаются сейчас в редакциях журналов.

Комментируя в «Известиях» итоги «Улова», Алексей Зосимов констатировал, что лауреатами стали достаточно хорошо известные в «бумажной» литературе писатели: «Победителем в разделе поэзии оказался Владимир Строчков, одновременно получивший в Италии премию Фонда Иосифа Бродского, а в разделе прозы — один из лучших новосибирских прозаиков Олег Постнов, чья книга „Песочное время“ стала ярким событием в литературной жизни Сибири». Имена поэтов-лауреатов действительно знакомы тем, кто следит за сегодняшней поэзией. Менее знакомы читателю (но не сказать, чтобы уж совсем не знакомы) имена прозаиков. Я хотел бы чуть подробнее остановиться на их работах, приведя свой собственный рейтинг участников конкурса (он расходится с нашим коллективным решением, но ненамного). Вот, на мой взгляд, десять наиболее интересных работ, представленных на конкурсном сайте «Улова»:

1. Андрей Комов, Аноним (сокращенный вариант);
2. Станислав Львовский, Из сборника «Выводитель ритма»;
3. Виктория Фомина, Держиморда (отрывок из романа);
4. Мэри Шелли, Голос (из романа «Паутина»);
5. Эдуард Шульман, Время полукровок;
6. Яна Вишневская, Музей кино;
7. Яна Вишневская, Обходя моря и земли;
8. Николай Байтов, Узел;
9. Алексей Толкачев, Мы скоро приедем. Мы уже едем;
10. Е. Михайличенко, Ю. Несис, Иерусалимский синдром.

Выбрав всего десять текстов из тридцати четырех, предложенных на конкурс, я вынужден оговориться, что эта десятка кажется мне интересной только в контексте предложенного. Одной из проблем русского литературного Интернета остается проблема контекста. «Со избранными избран будешь», как говорилось в старинных русских книгах. Увы. Общий уровень произведений, представленных по условиям конкурса ведущими литературными сайтами русского Интернета, оказался, скажем так, не слишком высоким.

К достоинству практической всех выставленных текстов я бы отнес внутреннюю свободу авторов. Она стоит дорогого. Я хорошо помню времена, когда молодые, для того чтобы напечататься, должны были «попасть в струю», идеологическую и стилистическую. Слишком многие ломались на этом. Я понимаю, что внутренняя свобода сегодняшних авторов Интернета — не столько заслуга самих авторов, сколько черта наступившего времени. И все же...

Сами условия конкурса ставили прозаиков в достаточно сложное положение: представленные тексты должны были быть короткими. То есть условия конкурса предполагали прозу, в которую читатель входит уже после первых абзацев, когда ощущение целого чувствуется на любом отрезке этой прозы. А способность писать «антологические» рассказы дана далеко не каждому даже талантливому прозаику. И для меня, например, так и осталось непроявленным: фрагменты из прозы **Олега Постнова «Страх»** — это что, претенциозная заявка на современный готический роман? Или это состоявшийся, художественно воплощенный замысел? Достаточно экзотический антураж украинской деревни, старинная усадьба, загадочный ритуал над гробом умершей старухи-ведьмы, «черная свадьба», на которой одиннадцатилетнего хлопчика женят на покойнице, и тут же уже как бы и неметафорическая свадьба с девочкой, наследующей роль ведьмы; а рядом в повествовании электричка, самолет из Киева в Москву и т. д. Короче, «эффектностей» вполне достаточно для модного мистического триллера. А с другой стороны, написано это уверенно, с хорошим умением создать интонационное напряжение — на кич тоже не похоже.

(Я не привожу здесь интернетовского адреса каждого из перечисляемых мною рассказов — еще раз отсылаю читателя на страницу всего конкурса «Улов», откуда легко открыть каждый из названных мною текстов: <http://iday.stars.ru/contests/ulov/works.htm>)

Зато отрывки из романа **Виктории Фомкиной «Держиморда»** можно сравнить с увертюрой, проигрывающей основные музыкальные темы всего романа. Повествователь в романе — девочка, вспоминающая детский сад и свое нежелание жить по некоторым законам, принятым в человеческом сообществе, свое нежелание стать «держимордой». Героиня отказывается принимать жизнь как совокупность ситуаций перманентного противостояния одного человека другому, человека и социума и т. д. Написано это как бы легко, иронично, обаятелен характер девочки. Фоминой удается решить труднейшую художественную задачу — не погрешив против художественной правды (ребенок в ее прозе остается абсолютно достоверным ребенком), поразмышлять на более чем взрослые темы: о природе силы, которая позволяет человеку быть открытым для жизни, доверять жизни, и о природе слабости, диктующей неизбежную жизненную позицию обороняться нападением.

Антологичен по-своему **Станислав Львовский**, цикл коротких рассказов которого — **«Выводитель ритма»** — строится еще и по законам стихосложения, с предельной нагрузкой на слово, образ, интонационный жест. Слово, образ, жест в его прозе даются как бы в нескольких смысловых планах. Это несомненное достоинство и, как продолжение достоинства, недостаток его прозы — излишняя, не всегда обеспеченная содержанием многозначительность интонации. Во всяком случае, в миниатюре **«Парад победы»** мешает некоторая пафосная приподнятость (не берусь ее определить однозначно, здесь и ирония, дошедшая по наследству от соцартовцев, и как бы философское, точнее, историософское переживание процесса смены поколений). Органичнее для стилистики Львовского воспринимается горчащая лирика рассказа **«Вторник, второе января»**.

Одна из черт нашего сегодняшнего литературного Интернета — это его ориентированность на традицию сугубо литературную, игровую, идущую еще от Эдгара По. Многие авторы способны сочинить, и вполне профессионально, почти с борхесовской изобретательностью раскрутить парадоксально выстроенный сюжет, но, увы, без борхесовского содержания. Обычно смысл сказанного полностью воплощен в сюжете, как в **«Мстителе»** **Андрея Воронцова** или **«Великом немом»** **Виктора Шнейдера**, или же такой рассказ выглядит просто иллюстрацией к некой широко известной философской максиме (**«Настоящий мужчина»** **Александра Геймана**). Но бывают и приятные исключения, каким стал **«Голос»** **Мэри Шелли**, — рассказ, написанный в традициях современной фантастики, активно использующей реалии современного технологического оснащения нашей жизни, вдруг отсылает нас прямоком чуть ли не к Андерсену простодушием и лирической чистотой выраженного чувства.

Хороши, можно сказать, безупречно выполнены рассказы Эдуарда Шульмана из цикла «Время полукровок» (о его рассказе «Трубач» я писал в предыдущем обзоре сетевой литературы). Пятое, а не первое место в моем рейтинге объясняется только одним обстоятельством — некоторой внутренней как бы отстраненностью повествующего, отсутствием того «простодушия», о котором я говорил в отношении рассказа Шелли.

Текст же, который меня зацепил всерьез, — повесть Андрея Комова «Аноним» — откровенно неровен в художественном отношении, клочковат, внутренне отрывист, да и просто не всегда прописан как надо. Он берет другим — подлинным напряжением мысли, воплощенным — несмотря на кажущуюся «архаичность» его прозы — художественно. Если искать литературные аналогии, то нам придется оторваться от того, что представлено в «продвинутом литературно» Интернете, и вернуться отчасти к «Крейцеровой сонате», отчасти — к Камю. Повесть Комова представляет собой монолог человека, приговоренного болезнью к уже близкой смерти. Но смерть для героя, как обнаруживает он, началась задолго до проявлений болезни. Она началась с того момента, когда герой вдруг обнаружил зияющую пустоту в своих взаимоотношениях с женой, отсутствие внутренних связей с сыном, нарастающее равнодушие к собственной профессии философа. Противостояние с собственным телом — это только финал. Это мужественная проза, автор которой не боится размышлять о незащищенности своего героя перед смертью во всех ее проявлениях. В отличие от толстовской повести (разумеется, я не сравниваю художественные уровни, я говорю только о внутренней художественной интенции) у Комова нет морализаторства и учительства, он не отгораживается от читателя неким «высшим» знанием.

## 3

Из книг в серии **Word Wide Writers**, которые я помянул в самом начале обзора, следует, видимо, остановиться на романе Баяна Ширянова «Низший пилотаж» (<http://parker.paragrahp.com>). Роман этот, насколько я понимаю, — своеобразная интернетовская гордость, «наиболее скандальное произведение русского литературного Интернета в 1998 году». Так сказать, наш отечественный Берроуз (или Чарльз Буковски). Событие, возможное, как считают некоторые сетевые обозреватели, только в Интернете, потому как там все без цензуры. Ну а «бумажные» писатели, которые приняли участие в присуждении ему первой премии сетевого литературного конкурса «АРТ-Тенёта'97» (номинация «Повести и романы»), повели себя сверхкорректно — возможно, памятуя о судьбе горького пьяницы, невыносимого человека и большого писателя Венички Ерофеева (или большого художника Алексея Зверева). Вячеслав Курицын, обличая замшелость консерваторов из бумажной литературы, назвал в «Неприкосновенном запасе» «Низший пилотаж» романом замечательным. Собственно, роман этот я решил прочитать еще и из-за этого Славинского отзыва (я внимательно, а иногда и с доверием читаю Курицына). Прочитал. Мог бы, наверно, написать об этом отдельную полемическую статью. Но не хочется. Скучно. Мне кажется, я понял, почему скандал с «Низшим пилотажем» оказался скандалом локально интернетовским. Это роман о наркоманах, написанный как бы наркоманом (а может, и не «как бы», судить не берусь), — писатель выбрал себе имя Баян, то есть шприц на жаргоне наркоманов, а фамилию Ширянов, думаю, объяснить не нужно. Роман про то, КАК ШИРЯЮТСЯ. Роман, на мой взгляд, настолько одномерный, что для меня это определение исчерпывает его содержание чуть ли не полностью. «Низший пилотаж» представляет собой цикл рассказов-очерков о жизни и самоощущении наркомана. Написано с попытками передать чувство самоуважения наркомана — в отдельной главке автор помещает что-то вроде «манифеста наркомана»:

«...замороженные совдепы, вы тащитесь от своих комплексов и знания реальности. Но шировой чихал на эту реальность. Он вырвался из нее и попал в другую...»

...спроси любого ублюдка на улице, что бы он предпочел: жить долго, но скучно или коротко, но радостно? И он выберет последнее. Ну да, не все. Но большинство!

Так что? Все наркоманы? Пусть и в потенциале.

...это именно вы создали мир, из которого хочется уйти навсегда и как можно скорее! Что вы держите наркоманов за изгоев? Может, потому, что сами боитесь вступить на их путь?»

Эффектно.

Сам же текст представляет описание, так сказать, технологии жизни наркомана. Своеобразная смесь производственного романа с исповедальной прозой образца «Юности» начала 60-х, внутренний монолог какого-нибудь романтически воспарившего геолога (туриста, сплавщика плотов, каскадера), короче, героя, принадлежащего к некоему суровому братству, с романтикой этого братства, недоступной обывателю. Описание аранжировано специфическим жаргоном наркоманов (терки, баян, ширнуться, бодряжить, контроль и проч.) и более чем плотным на единицу текста употреблением мата. Само содержание жизни героев — добывание наркотика, ширяние, кайф, ломки и проч. — должно, в принципе, шокировать обывателя. А еще больше — сопутствующее ширянию траханье. Прошу прощения у читателя, но для тех с подростковой брутальностью описанных физиологических отправлений героев романа, полностью исчерпывающихся заборной эстетикой, в нашем языке, похоже, нет другого слова. Даже ублюдочное «заниматься сексом» на фоне изображаемого в «Низшем пилотаже» обретает претензии на поэзию эротики. Вместо шока я испытывал элементарную усталость. И от мата, и от эффектной чернухи, и от обилия самоутверждения.

Самое забавное в романе — это декларируемое презрение к обывательскому взгляду на мир при постоянном оглядывании на этого самого совдеповского обывателя. И, может, потому потуги на «психоделическое измерение» этой прозы воспринимаются как беспомощная претенциозность.

#### 4

Мне не хотелось бы делать традицией вот такие «ругательные концовки» наших сетевых обзоров. Это было бы несправедливо по отношению к литературной жизни — и вообще жизни — в Интернете. А здесь именно живут, общаются. И писатель в Интернете не отчужден от читателя, как писатель в «бумажной литературе», где он предстает перед читателем в виде книги. Физическое присутствие писателя рядом с читателем в известной степени реальность. Интернет — штука домашняя. Почти интимная. Вы читаете художественный текст на экране как электронное письмо, адресованное именно вам. А может, и не «как», а именно вам. Потому что на той же странице, на которой текст, внизу (или сверху) стоит адрес автора, и, щелкнув по нему мышкой, вы получите на экране бланк письма с уже заполненным адресом. И если вы захотите написать, вступить в диалог, вы знаете, что письмо ваше уйдет не на деревню дедушке (в издательство или редакцию), а на точно такой же экран, за которым, скорей всего, и сидит сейчас автор.

Короче, в Интернете есть все, что и в жизни. Даже приметы и суеверия свои, сугубо интернетовские. Если, например, вы наткнулись на неработающие ссылки, то работу надо прекратить, ничего хорошего не будет: вещи, которые вы купите по найденным в Интернете адресам, обязательно украдут, а скачанные из Интернета программы не заработают. И вообще, учитесь ладить с Хомовым: когда он сердится, то «портит HTML, играет не те звуковые файлы при заходе посетителя, стирает из директории картинку — словом, ведет себя подобно домовому, недовольному своими хозяевами. Хомового можно задобрить (как и домового). Для этого нужно, например, положить в главную директорию хорошенькую картинку, озаглавленную „hhh.gif“. Хомовой будет целыми днями рассматривать картинку и перестанет бузить» — это советы Линор Горалик из ее микроисследования «Сеть и суеверия» ([http://www.russ.ru/netcult/19991109\\_goralik.html](http://www.russ.ru/netcult/19991109_goralik.html)).

Составители «Книжной полки» и «Периодики» будут благодарны провинциальным/зарубежным издательствам и редакциям провинциальных/зарубежных литературных журналов, если те найдут возможность присылать образцы своей продукции. Это послужит более полному освещению литературной жизни России и Русского Зарубежья на страницах «Нового мира».



### ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Март*

**35 лет назад** — в № 3 за 1965 год напечатаны «Стихи разных лет» Марины Цветаевой («Школа стиха», из цикла «Стихи к Пушкину», «Куст», две главы из лирической сатиры «Крысолов»).

**40 лет назад** — в № 3 за 1960 год напечатана повесть В. Тендрякова «Тройка, семерка, туз».

**65 лет назад** — в № 3 за 1935 год напечатана поэма Бориса Корнилова «Моя Африка».

**70 лет назад** — в № 3 за 1930 год напечатано стихотворение Семена Липкина «С прогорклым, стремительным дымом...».



# SUMMARY



The poetry section of this Issue is represented by new poems of Irina Lisnyanskaya, Vladimir Zakharov and Boris Viktorov. You can also read poems of Semen Lipkin — one of the most outstanding modern Russian poets, whose first publication in the magazine «Novy Mir» appeared exactly seventy years ago.

This Issue also features Galina Shcherbakova's narrative «Ascending the King Solomon's Hill with a Pram and a Bicycle», stories by Sergey Shargunov and Nikolay Kononov, the continuation of the prose work «The Long Distance or The Slavic Accent» by Marina Paley; the author herself calls such a genre «screen script imitations».

In this Issue you can also find the translation of the monologue «1900», made by a well-known Italian writer Alessandro Baricco.

Under the heading «Times and Manners» the continuation of Marietta Chudakova's sketches «Human Talks and Horses' Thud» are represented.

Under the heading «Close Remote Past» you can read notes «Beyond Volga Region» («Zavolzhye») by Kirill Gradusov.

The article by Elena Knyaseva and Aleksey Turobov «The Universal Science about the Universe» is published under the heading «The World of Science»

The constant heading «Along the Course of Events» is represented by Yury Kagramanov.

Under the heading «Les Essais» you can find articles of Olga Slavnikova «The Art Does not Belong to People» and Sergey Kostyrko «The Kurilov's Syndrom».

The literary critique is represented by Nikita Eliseev's article «The Deep Breath of Freedom», dedicated to the prose of Boris Slutsky, a famous Russian poet.

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятна, Т. И. Филадельфа

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Пугинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: <http://www.infoart.ru/magazine>

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

---

Сдано в набор 20.11.99 г. Подписано к печати 01.02.2000 г. Формат бумаги 70x108<sup>1/16</sup>. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 14 700 экз. Зак. 2057. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

# **УЧЕБНИКИ И КНИГИ ДЛЯ ТЮРЕМНЫХ БИБЛИОТЕК**

**ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ДРЕВО ДОБРА» СОБИРАЕТ  
УЧЕБНИКИ И КНИГИ  
ДЛЯ ТЮРЕМНЫХ БИБЛИОТЕК.  
ОНИ ПРИНИМАЮТСЯ  
КРУГЛОСУТОЧНО ДЕЖУРНЫМ  
В МОСКОВСКОМ ХРАМЕ  
КОСЬМЫ И ДАМИАНА  
(СТОЛЕШНИКОВ ПЕР., 2).**

**Контактный телефон:  
(095) 229-41-04**